

М
О
С
К
В
А

Москва

12
1959

12
1959

Москва

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ
III

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОБЕДА ПРАВДЫ И РАЗУМА. Передовая	3
С. Н. Сергеев-Ценский. ВЕСНА В КРЫМУ. Роман.	7
Э. Севостьяников. САРПИНСКАЯ БЫЛЬ. Повесть. (Окончание)	68
Хазрет Ашинов. ХАРИЕТ. Рассказ	99
Надежда Медведева. ГОСТЬ. Рассказ	109

Илья Швец. ВАШИ РУКИ. — У КОСТРА. Стихи	119
Осип Колычев. НА КУЗЬМИНСКОМ ШЛЮЗЕ.— АСТАХОВ МОСТ. Стихи	120
Вл. Фирсов. НЕБОЛЬШОЙ РАЗГОВОР. — УШЛА, ЛЕДКОМ ПОХРУСТЫВАЯ...— ПРИЕЗЖАЙ, АЛЕША, ПРИ- ЕЗЖАЙ... Стихи	121
Федор Фоломин. НАЧАЛО.— ДУНЕТ ЛИ ВЕТЕР С ВЕРХОВ... Стихи	123
Иван Ерошин. ИЗ НОВОЙ КНИГИ. Стихи	124
Марк Шехтер. СОЛНЦЕ.— МЕЧТА МОЯ.— БОЛЕЗНЬ НА ДАЧЕ. Стихи.	125
СТИХИ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ. Лоуренс Фер- лингетти. ПЕС.— Джек Спайсер. БЕРКЛИ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.— Психоанализ. — Роберт Фрост. ПОЧИНКА СТЕНЫ.— Карл Сэндберг. ЧИКАГО	126

ДЕЛА И ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

М. Раузен. «ТАЙНЫ» НАШЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ	131
--	-----

12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1959

ОЧЕРК

Анатолий Семиренко. МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА.
Из записок инспектора школ 139

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

Владимир Канторович. САСОВО—ГОРО-
ДОК ПОД РЯЗАНЬЮ 151

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

Анна Караваева. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О АЛЕК-
САНДРЕ ФАДЕЕВЕ 160
Иван Рахилло. РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ ДОГАДКЕ . 171

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. Михайлова. БОЛЬШОЕ В МАЛОМ. 179
В. Бавина. ПРЕЖДЕ ВСЕГО—О ЛЮДЯХ! 194

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

А. Эльяшевич. «ТО, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ МАСТЕР-
СТВО» 201

РЕПОРТАЖ

Еф. Борисов. МОСКОВСКАЯ ПОЧТА 203
Мартын Мержанов. «УРОЖАЙНЫЙ ГОД».
Спортивные заметки 205

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Г. Куликовская. ДАР ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ
СТЕПАНОВОЙ.—**М. Толмачев.** ПЯТИДЕСЯТИКВАР-
ТИРНЫЙ ДОМ ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ.—**П. Куделин.**
В МЕЛИХОВО, ПОД МОСКВОЙ.—**В. Шаламов.** КТО
ИЗОБРЕЛ БАЯН.—**Л. Светлов.** СУДЬБА СЕМЬИ ПУ-
ГАЧЕВА.—**И. Белоконов.** — МЕТРО И «РАЗУМНЫЙ
ЭГОИЗМ».—**С. Брагин.** «ЕСЛИ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК...»—
М. Жалнина. РЫБЫ ОБРАЗЦОВА.—**Л. Дарова.**
РАСКРЫВАЮТСЯ ТАЙНЫ РАСТЕНИЙ 209

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1959 ГОД 220

На вклейках:

ЛЕНИНСКИЕ МЕСТА В МОСКВЕ. Гравюры **А. Мищенко**

ВЫСТАВКА СОВЕТСКОГО ЭСТАМПА

В номере вкладки: «ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ»

Главный редактор **Е. Е. ПОПОВКИН**

Редакционная коллегия: **В. П. ДРУЗИН, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, В. А. КУ-**
ЛЕМИН, Е. В. ЛЕБАКОВСКАЯ, А. В. НИКУЛИН, А. С. ОБАЛОВ (зам. главного
редактора), **С. А. САВЕЛЬЕВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ, М. А. ШОЛОХОВ**

Художеств. редактор **Н. Бобкова**

Техн. редактор **Г. Дубман**

Адрес редакции: Москва, Арбат, 20, тел. Г 1-78-01

Подписано к печати 30/XI 1959 г. А 08864. Тираж 43 000 экз. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Печ. л. 14 =
= 19,18 усл. печ. л. 22,041 + 2 накидки = 22,903 уч.-изд. л. Заказ № 931. Цена 6 руб.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

ПОБЕДА ПРАВДЫ И РАЗУМА

(Жить в мире и дружбе! Пребывание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в США. Госполитиздат. Москва. 1959)

Мы не погрешим против истины, если скажем, что не было за последние годы другой книги, которая пользовалась бы таким спросом у читателей, какой выпал на долю книги «Жить в мире и дружбе!». В ней собраны выступления Никиты Сергеевича Хрущева и другие материалы, относящиеся к историческому визиту главы Советского правительства в Соединенные Штаты Америки. Достаточно было появиться сообщению о выходе книги, как читатели стали не давать покоя продавцам книжных магазинов. И, едва она появлялась на книжных прилавках, сразу же образовывались очереди, и книга моментально раскупалась...

А ведь книга эта не занимательный роман, не мемуары политического деятеля, приоткрывающие завесу над какими-либо государственными тайнами, не медицинский трактат о том, как продлить свою жизнь!

Впрочем, хотя книга эта и не трактат, посвященный проблемам долголетия, в ней говорится именно о том, как продлить человеческую жизнь, говорится, что и как надо сделать для того, чтобы сохранить миллионы и миллионы человеческих жизней. Только книга эта не отвлеченное рассуждение кабинетного ученого, а подлинный акт непосредственной борьбы за Человека, за будущее человечества.

У этой книги совершенно неповторимая и яркая история. Она создавалась не в кабинетной тиши, не в ходе отвлеченных размышлений о жизни. Каждая ее страница рождалась в самой напряженной борьбе за победу правды и разума.

Книга наполнена пафосом такой непримиримости к войне, к человеконенавистничеству, что читатели ее вольно или невольно включаются в борьбу за мир и дружбу на нашей доброй и измученной войнами Земле.

И хотя напряженная работа, которую вел Н. С. Хрущев в дни своего пребывания в Соединенных Штатах Америки, подробно освещалась во всех газетах, хотя его выступления публиковались всей мировой прессой и передавались по радио и телевидению, теперь, когда они собраны вместе и изданы отдельной книгой, интерес к ним,

интерес к работе Н. С. Хрущева, проделанной им в Америке, усилился еще больше.

Да это и понятно! Нельзя переоценить громадную работу Н. С. Хрущева,— потребуются годы, чтобы понять все значение исторического подвига, совершенного коммунистом Хрущевым.

В самый разгар холодной войны между лагерем социализма и лагерем капитализма пойти одному в стан противника, встретиться лицом к лицу с умнейшими государственными деятелями противной стороны, согласиться ежедневно подвергаться перекрестным допросам защитников капитализма! Вооруженный идеями Маркса и Ленина, с потрясающей неутомимостью, с энергией и напряжением, доступными лишь немногим людям, Хрущев каждый день, каждый час, каждую минуту своего пребывания в Америке посвящал борьбе за мир, за торжество мирного сосуществования.

«Никогда прежде Америка не проявляла такого зачарованного интереса к иностранному визитеру... Восемь дней поездки Хрущева по Америке вероятно войдут в историю как одно из наиболее интенсивно освещаемых событий последних лет»,— пишет американский писатель Митчел Уилсон в своей статье, публикуемой в следующем номере «Москвы».

День за днем Хрущев завоевывал сердца и умы миллионов американцев. Стойкий и непримиримый ленинец, Хрущев с неопровержимой силой обосновывал прогрессивное значение социализма для человечества, простыми жизненными фактами обосновывал неодолимую жизненную силу марксизма-ленинизма, бесстрашно вступал в полемику с самыми убежденными апологетами капитализма и выходил из этих споров победителем.

Да, мы, советские люди, можем гордиться тем, что посланец советского народа Н. С. Хрущев, вступив в жаркую схватку с десятками,— да какое там с десятками,— с сотнями самых сильных и самых умных представителей противной стороны, вышел из этой схватки победителем, неопровержимо доказав неизбежность торжества коммунизма.

«Сегодня вы, может быть, не согласны, но придет время, и вы согласитесь, что у коммунистов самые благородные мысли и чаяния,— сказал Н. С. Хрущев, обращаясь к представителям деловых кругов и общественности Сан-Франциско.— Мы стремимся построить коммунистическое общество, основанное на самых высоких идеалах. Коммунизм еще пока — не сегодняшний, а завтрашний день. Но мы его уже строим. Мы строим общество, где человек человеку друг, где нет вражды, где не будет литься кровь, где все люди будут равны...»

Читая книгу, в которой собраны выступления Н. С. Хрущева, сделанные им за время пребывания в Америке, и другие материалы, связанные с этой поездкой, как бы сам сопутствуешь Никите Сергеевичу Хрущеву.

15 сентября 1959 года Н. С. Хрущев летит на самолете ТУ-114. Четырнадцать напряженных дней. Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелос, Сан-Франциско, Де-Мойн, Питсбург. Декларация Советского правительства, зачитанная Н. С. Хрущевым на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Встречи Н. С. Хрущева в Кэмп Дэвиде с президентом Эйзенхауэром. Возвращение в Москву. Волнующая встреча Н. С. Хрущева с москвичами...

Хрущев выступал и действовал в Америке один, но все советские люди мысленно сопутствовали ему во все время его поездки.

Миллионам американцев хотелось,— теперь уже в том не приходится сомневаться,— миллионам американцев, всем простым людям Америки хотелось, чтобы Н. С. Хрущев убедил их в том, что

ни советский народ, ни советское правительство не хотят войны, что все народы жаждут мира и дружбы. «Мы устали от страха!» Этот вопль вырывался из груди множества простых людей, встречавших Н. С. Хрущева. Американцы, запуганные войной, ненавидят войну так же, как и советские люди. И Хрущев успел в своем благородном деле. После его поездки по Соединенным Штатам Америки американцы поверили в то, что Советский Союз не хочет войны. Они верят этому, кто бы и что бы им теперь ни говорил. А это — победа. Это уже большая победа!

Советских людей не нужно убеждать в том, что мир, мирное сосуществование — лучшее, что может обрести современное человечество. Но с тем бóльшим волнением советские люди ждали результатов поездки главы своего правительства в страну, которая поставляла «холодильники» во все районы нашей планеты...

И вдруг выяснилось, что планета перенасыщена холодом, что люди хотят тепла. Наиболее трезвые политические деятели США начали как будто понимать, что потепление в международных отношениях — самая насущная проблема современности.

События, последовавшие за визитом Н. С. Хрущева в США, свидетельствуют о том, что стремление к потеплению ширится и охватывает все большие и большие круги государственных и общественных деятелей, политиков, экономистов и деловых людей, работников прессы и деятелей культуры. Мир и дружба! С этим лозунгом отправился в свою поездку Н. С. Хрущев. Этот лозунг выражает волю и чаяния всех народов мира. Этот лозунг принимают или начинают принимать все трезвые и деловые люди, которые хотят, чтобы человечество не подверглось ужасам взаимоистребления.

Мир и дружба! Дружба и сосуществование! Великой благодарностью наполнены сердца всех простых людей к тому, кто, не жалея сил и страсти, делает все для того, чтобы эти понятия стали реальностью наших дней.

Книга «Жить в мире и дружбе!», книга о поездке Н. С. Хрущева в США, — это дорогая книга для всех людей, которые хотят жить в мире и дружбе. В этой книге сосредоточено столько прекрасных надежд, столько веры в человечество, веры в созидательный человеческий гений, что навряд ли есть сейчас в мире какая-либо другая книга, которая способна вызвать более теплые и светлые чувства.

Пройдет много лет, справедливость и разум восторжествуют, опасность войны перестанет лихорадить людей, но и тогда люди с благодарностью будут перечитывать эту книгу — один из ярких документов, свидетельствующих о благородных усилиях советского правительства и советского народа в борьбе за мир во всем мире.



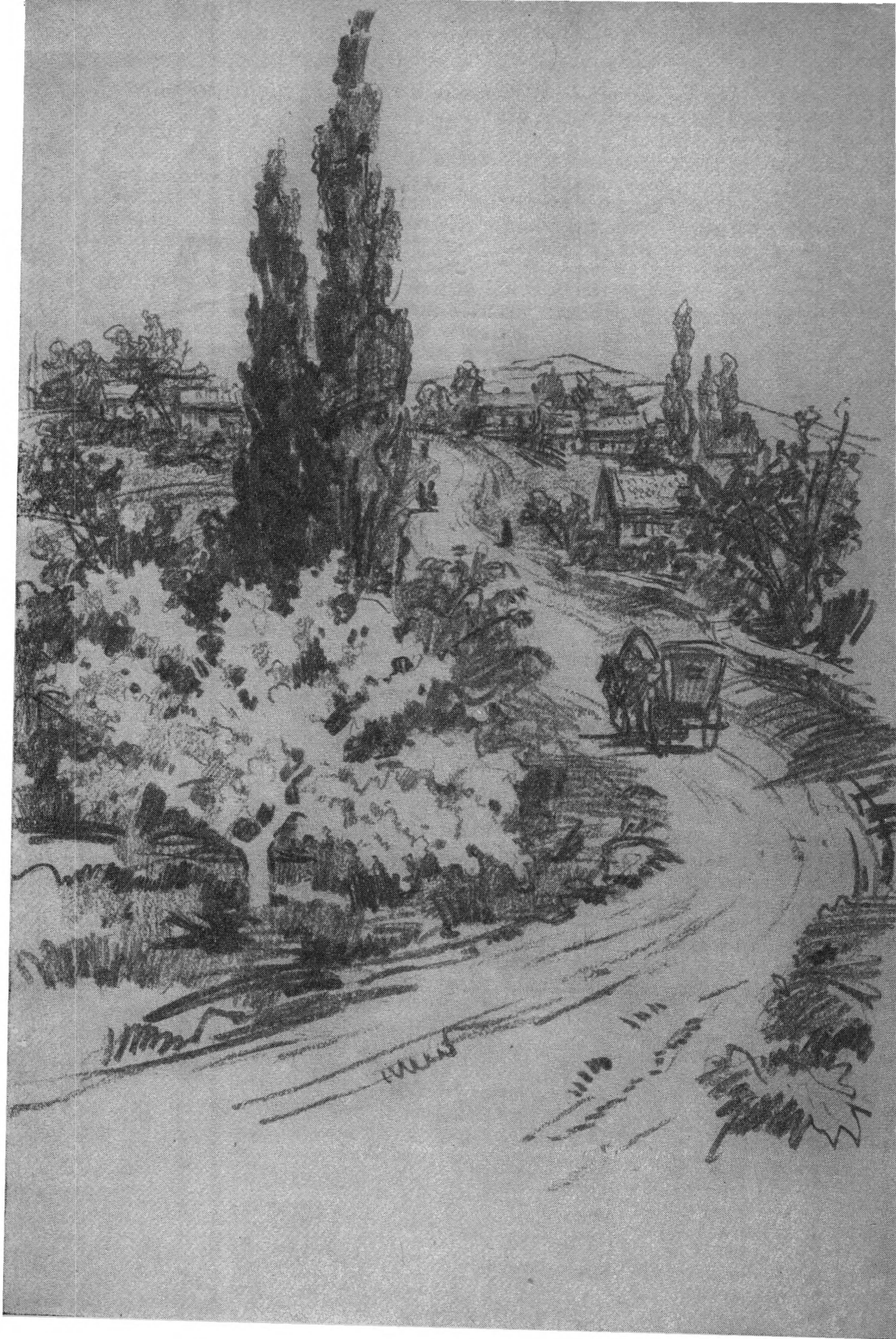


Рис. художника И. Сущенко

Весна в Крыльце

РОМАН

(Из эпопеи „Преображение России“)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Было утро 26 февраля 1917 года, когда художник Алексей Фомич Сыромолотов сказал за чаем своей молоденькой жене:

— Ну, Надя, сегодня я решил поставить точку. Свою «Демонстрацию перед Зимним дворцом» считаю вполне законченной. Ни одного мазка добавить к ней не могу и даже боюсь, чтобы не засушить.

— А что значит — «засушить»? — спросила Надя, некрупная, русоволосая, с голубыми спокойными глазами, начав уже убирать со стола лишнюю посуду.

— Вот те на-а! Не знает, что значит «засушить»! — с виду как бы удивился Алексей Фомич. — Это значит переборщить, перемудрить, а в результате испортить картину... Начнет художнику казаться, что вот бы добавить еще деталь, а в ней, в этой детали, совсем никакой надобности нет, а есть только прямой вред: упрется зритель в нее глазами, и ее, эту деталь-то, он, конечно, разглядит, а целое упустит... Из-за деревьев леса не заметит! Из-за букашек и таракашек — слона!.. Каждая деталь должна в одну общую цель стрелять, а не раскорячиваться самовольно и неизвестно зачем!

Алексей Фомич встал и сделал по столовой несколько медленных и тяжелых шагов, отчего зазвенели на столе стаканы, и, увидя, что Надя держит в руках полотенце, чтобы начать мыть посуду, взял ее за руку и сказал:

— Брось-ка это, Надя, и давай посмотрим на картину как посторонние люди, но-о... знатоки искусства! Такие, что пальца им в рот не клади — откусят! Помаши-ка вот так рукой перед глазами и свою привычку к картине смахни, — поняла?.. Ты теперь не ты, а какая-нибудь Фелицита Кузьминишна, и не какая-нибудь так себе, вообще, а тоже художница, вроде Виже Лебрэн, и можешь мне прописать ижицу!

— Не пойму, Алексей Фомич, что тебе еще от меня надо, — несколько недовольно сказала Надя, — я тебе, кажется, все сказала, что мне казалось нужным...

— Все?.. Вот как!.. А пер-спек-тива? — И Алексей Фомич покачал влево и вправо головой.

— Какая перспектива? — удивилась Надя; Алексей же Фомич почти испугался:

— Ты... жена художника... не знаешь... что называется перспективой?

— Ты мне никогда не говорил о ней,— защитилась, но покраснела Надя.

— Не говорил?.. Неужели не говорил?.. Значит, думал, что тебе это там, в твоей гимназии, говорил учитель рисования!.. А если он вам, девицам, не говорил, что такое перспектива, то почему же, спрашивается, его держали в гимназии? Что же такое? Может быть, у тебя даже и чувства перспективы нет, а?

— Не знаю, есть или нет,— согласилась Надя, сидевшая все еще с полотенцем в руках.

— Вот, например, что такое перспектива линейная, так как есть еще и воздушная,— она касается красок. Видишь — дверь: обе половинки закрыты... Какая фигура каждой половинки? Геометрию-то у вас преподавали?

— Прямоугольники это,— слегка вздохнув, не совсем уверенно ответила Надя.

— Прямоугольники — очень хорошо!.. Хорошо, что не сказала: квадраты... А если эту половинку я открою, то какая фигура получится тогда?

И Алексей Фомич открыл дверь и впился испытующим взглядом в растерявшуюся от неожиданности Надю.

— Какая же фигура может получиться из прямоугольника, кроме того же прямоугольника? — проговорила Надя.

— Та-ак! — пренебрежительным тоном протянул Алексей Фомич.— Смотри в оба и убедись, что не прямоугольник, а трапеция! Причем неравнобокая — это тоже заметь.

Он вынул карандаш из бокового кармана тужурки и подал ей.

— Вот — меряй!.. Возьми его так, левый глаз прищурь и меряй заднюю линию двери и потом переднюю... Меряй внимательно, а не кое-как! .

Надя внимательно поглядела на мужа — не шутит ли,— потом, поняв, что не шутит, принялась измерять карандашом линии двери и, наконец, сказала удивленно:

— А ведь ты, Алексей Фомич, действительно прав!

— Как всегда!.. Добавь это: как всегда!.. Вот это и есть закон перспективы: в науке — быть, а в искусстве — казаться!.. Профессор живописи Зорянко, чтобы вколотить в головы своих учеников законы перспективы, приносил в класс веревки и натягивал их на аршин от пола вперекрест, поперек и вдоль, чтобы получилось подобие паркета: сидите или стойте, но зарисуйте, что видите, в точности! А профессор Чистяков доказывал, что на исторической картине художника Лебедева «Боярский пир» человеку, который вносит на блюде лебедя, совершенно нет места на полу: идет по воздуху!.. Вот что такое линейная перспектива! Быть и казаться! Быть и казаться!.. А если бы не было этого самого «казаться», то не могло бы быть и искусства!

— Хорошо, перспектива, но почему же так? — продолжала недоумевать Надя.

— Таково устройство нашего глаза. А как устроен наш глаз, это ты тоже должна была узнать в гимназии. Хотя, конечно, можно представить, как у вас проходила физика! Ну, после такого вступления пойдём в мастерскую!

Надя повесила было полотенце на стул, но в это время раздался

оглушительный лай овчарки Джонни, и оба они повернулись к окнам, выходящим на двор.

Джонни был в передней, скреб лапой входную дверь и не переставал лаять — на дворе показалась какая-то хлипкая, сутулая фигура явно духовного звания.

— Какой-то поп! — определила Надя.

— Да-а... Что-то в этом роде... Зачем же ко мне поп, сам я еще пока жив? — недоумевал Алексей Фомич.

— Я пойду его встречу, а ты, Алексей Фомич, уведи Джонни на кухню, а то кабы не порвал! — И оба пошли в переднюю, причем Сыромолотов бурчал на ходу:

— Может быть, это он с фронта — что-нибудь насчет Вани сказать хочет?

Фигура духовного звания оказалась дьяконом по имени Никандр, приехавшим из городка на южном берегу.

У Сыромолотова недоуменно поднялись брови, когда дьякон Никандр объяснил ему, зачем он приехал.

— Понимаете ли, Алексей Фомич, несчастье случилось, икону нам один доброхот пожертвовал. Большая икона и название имеет «Христос у Марфы и Марии». Так вот, икона эта пострадала от свечки.

— То есть, как пострадала? — спросил Сыромолотов.

— Так, стало быть, свечка наклонилась к иконе из подсвечника, а никто не доглядел. Тлел, тлел холст, и порядочный кусок сотлел.

— Позвольте, икона, вы говорите, а не то что это копия с картины Генриха Семирадского? У Семирадского как раз и есть такая картина: «Христос у Марфы и Марии». И, должен вам сказать, мне она нравится и по замыслу и по исполнению. Отлично передан там свет солнечный, южный и сюжет хорош. Христос на ней, конечно, — символ общепонятный. Мог быть и не Христос, а, например, философ Платон, или художник Леонардо да Винчи, или итальянский поэт Торквато Тассо, или, наконец, Ньютон, Коперник, вообще, человек духа, а не желудка. Мария сидит около ног Христа и его слушает, а сестра ее, Марфа, требует, чтобы она помогала ей по хозяйству. Тут — единственный случай в жизни Марии... А не угодно ли идти помогать варить чечевичную похлебку? Исключительный случай в жизни: завернул в их хижину великий человек, и Мария не хочет пропустить ни одного его слова — вот смысл этой картины.

— Мы ее освятили, Алексей Фомич, какая же она теперь картина, она икона, — и лицо дьякона Никандра стало вдруг строгим. Небольшие, черные глаза дьякона глядели на художника в упор. Алексей Фомич спросил:

— Большой кусок холста истлел?

Дьякон отмерил на столе три своих четверти в длину и две четверти в ширину.

— Так я должен восстановить это? — спросил Сыромолотов. — Картину я представляю, но вы не сказали мне, где выгорело — слева, справа, в середине?

— В левом углу, — сказал дьякон.

— А-а, это там, где голуби, — догадался Алексей Фомич.

— Истинно, где голуби. А это у прихожан любимое было место.

— Ну да, ну да, — сказал Сыромолотов, — значит, мне голубей надобно написать на своем холсте, а потом холст пришить к картине, то есть, к иконе. У меня есть репродукция Семирадского, где-то в папке лежит, могу найти. И, пожалуй, если бы мне поехать с вами, я бы мог там, на месте, написать голубей и сам пришел бы холст. Вообще сделал бы всю реставрацию...

Эти слова заставили дьякона Никандра просиять.

— Вот бы обрадовали и наш причт и прихожан наших,— он сделал ударение на «о». Алексей Фомич поднялся и начал искать в шкафу папку с репродукциями картин.

— Времени я терять не привык, отец дьякон,— сказал Алексей Фомич, когда репродукция с картины Семирадского была у него в руках.— Если ехать, так ехать. Угостить вас могу только чаем. Стали жить теперь скудно. И я даже удивляюсь, как это у вас остались свечи?..

— Свечи? Да заготовили раньше, вначале войны. Ведь от свечей главный доход церкви. А потом делали и так: погорит, погорит свечка в подсвечнике, среди службы снимает ее свечной староста, а потом продает как новую. Так одна свечка на несколько служб...

Не больше чем через час Алексей Фомич, условясь с дьяконом о плате за реставрацию иконы и взяв с собой все нужное, выезжал на извозчике из Симферополя. И в то время, как дьякон рассеянно глядел вперед, Алексей Фомич, как сухая губка воду, впитывал в себя холмистую местность, на которой кое-где, пятнами, виднелись небольшие стада овец.

— Давно не ездил тут. Это вы, отец дьякон, явились ко мне, должен вам сказать откровенно, очень кстати: и отдохнуть и встряхнуться мне было надо.

Когда доехали до памятника Кутузову, Алексей Фомич, как ни спешил к месту работы, все же попросил дьякона остановиться.

— Поймите,— говорил он,— ведь именно тут, в этих местах, было сражение Кутузова с десантным отрядом Гасана-паши. Здесь он получил рану в голову. Вот, может быть, под этой двухсотлетней дикой грушей он и лежал раненый.

Алексей Фомич ходил между деревьями, стремясь представить себе, где тут могли быть русские солдаты и где турецкие десантники в красных фесках.

— Именно сюда,— говорил он дьякону Никандру,— я и приехал бы писать этюды для картины, если бы такую картину задумал. Какова обстановка, поглядите, поглядите-ка хорошенько!..

Дьякону пришлось напомнить Алексею Фомичу, что надо ехать.

Так как в городок приехали засветло, то Алексей Фомич решил тут же приступить к делу, и дьякон отворил для него церковь.

— Плохо освещена картина,— сказал дьякону Алексей Фомич,— но даже при таком освещении вижу, что копия сделана отлично. Могу пожелать, чтобы копии с моих картин делались так же талантливо... Кстати,— сказал он,— я думал, что меня встретит ваш священник.

— Отец Виталий болен, лежит. Я не говорил об этом, лежит, вы уж извините,— заторопился дьякон.— Он бы и сам поехал к вам, да разболелся. Вы уж извините, Алексей Фомич.

— Охотно извиняю,— и тут же, вынув из ящика палитру, кисти и краски, Алексей Фомич начал копировать с репродукции голубей...

2

В это время в церковь вошла молодая красивая женщина, одетая просто, но не бедно, с черными страусовыми перьями на шляпке, с высокой открытой белой шейей.

— Привезли Алексея Фомича? — оживленно спросила она дьякона.— Вот как хорошо получилось.— И тут же обратилась к Сыромотову: — Здравствуйте, Алексей Фомич!

— Простите, я... Откуда вы знаете мое имя и отчество? — пробормотал Сыромолотов.

— Все знают, не только я,— продолжала вошедшая.— А я — виновница того, что часть иконы истлела: у меня была свечка — осталась еще от похорон отца полковника,— десятикопеечная, длинная, с золотой канителькой... Я ее поставила перед любимой своей иконой, да, значит, она не вошла как следует в подсвечник и наклонилась... Я и посоветовала вот отцу дьякону к вам обратиться.

— Это верно,— поддержал ее дьякон.— Наталья Львовна, наша прихожанка, она нас надоумила,— верно!

— Но прошу меня извинить — времени у меня в обрез,— я должен писать и стоять к вам спиной,— проговорил с досадливыми нотками в голосе Алексей Фомич.— А слушать вас я, конечно, могу...

— Нет, нет, что вы! — замахала рукой Наталья Львовна.— Я совсем не хочу вам мешать! Я зашла потому только, что дверь была открыта... Сейчас уйду!

И она действительно направилась к выходу, а за нею пошел дьякон, говоря на ходу:

— Как же это я дверей не закрыл, разиня! Ведь так и еще кто может зайти, кого не нужно совсем.

Когда он вернулся, Алексей Фомич спросил:

— Кто эта дама?

— Жена одного тут подрядчика — Макухина... Свой дом у него, а сам он на военную службу в начале войны взят... Пока что бог милует, жив... А полковника, отца ее, у нас на кладбище похоронили — в цинковом гробу его привезли... Потом и мать слепую ее мы отпели, так что осталась теперь она одинокой.

— Да-а, видно, видно, что военная косточка: походка четкая, строгая,— заметил Алексей Фомич.

— Осталась тут, возле паперти: говорит, что дождется, когда вы выйдете.

— А-а! Какие-то, стало быть, виды на меня имеет? Та-ак! — протянул Алексей Фомич.— Может быть, желает пригласить меня поужинать,— что же, я не прочь... Да и вам, отец дьякон, вреда это не принесло бы...

— Ну, теперь редко, кто кого в гости зовет,— усомнился дьякон, но Сыромолотов оказался прав: они вышли из церкви, когда стемнело, и увидели Наталью Львовну, которая сказала, обращаясь к Сыромолотову:

— Вы где будете сегодня ужинать, Алексей Фомич?

— Да вот, в самом деле,— улыбнулся ей Алексей Фомич.— Я полагал, что отец дьякон что-нибудь приготовил в этом роде.

— Ну, что вы! У отца дьякона семья. Нет, уж раз я виновница вашего беспокойства, то вы ко мне и идите. Много обещать не могу, конечно, не то время, но что-нибудь заморить червячка у меня найдется. Идемте без разговоров!.. И вы, отец дьякон!

Дьякон вопросительно поглядел на Сыромолотова, и Алексей Фомич понял, что отказываться от приглашения поужинать было бы, может быть, даже оскорбительно для этой одиноко живущей молодой женщины. Не больше как через десять минут он входил уже вместе с дьяконом в просторный дом подрядчика Макухина — ныне каптенармуса одного из пехотных полков...

Без проволочек сели за стол, покрытый белой клеенкой, и, когда прислуга Натальи Львовны, Поля, низенькая, круглая женщина, глядевшая серьезно и исподлобья, принесла из кухни что-то дымящееся, дьякон вполголоса хрипуче обратился к Наталье Львовне:

— Свечка десятикопеечная у вас, вы сказали, залежалась, а может, и бутылочка винца от хороших времен осталась, а?

Наталья Львовна только развела руками, и дьякон горестно выдохнул:

— Эх-х! Доняла всех нас война эта!

— Чтобы вас утешить, отец дьякон,— сказал Алексей Фомич,— полагаю с большой вероятностью, что скоро вина польются реки.

— Почему это вы так полагаете? — оживился дьякон.

— Да по той простой причине, что скоро у нас начнется революция... как это было в девятьсот пятом.

— Это что же — вы так думаете, Алексей Фомич? — приостановилась раскладывать жаркое на тарелки Наталья Львовна, а дьякон только открыл изумленно рот.

— Очень многие теперь так думают,— уверенно ответил Сыромолотов.

Дьякон поглядел на него с затаенным лукавством в глазах и обратился к Наталье Львовне:

— Не допустят теперь такого, как в девятьсот пятом!

— А убийство Распутина допустили же! — заметил на это Алексей Фомич.— И кто же были убийцы Распутина? Великий князь Дмитрий Павлович, князь Юсупов, царский родственник, и Пуришкевич — член Государственной думы, правый, а не левый.

— Так вы думаете, значит, Алексей Фомич... — упавшим уже голосом начал было дьякон, но Сыромолотов перебил его, повторив:

— Не я один,— очень многие так думают...

3

Когда дьякон собрался уходить, он обратился к Наталье Львовне:

— Как скажете, так и сделаю: скажете — увести Алексея Фомича,— уведу, у меня переночует, а скажете — оставить, то оставлю.

— Конечно, конечно, Алексей Фомич, вы у меня и заночуете! — кинулась к Сыромолотову и взяла его за руку Наталья Львовна.— Где же вам у отца дьякона ночевать? Совершенно негде. Разве я не знаю его квартиры? У меня, у меня, разумеется: дом большой и весь пустой.

— А может быть, лучше будет, если в гостинице? — спросил Алексей Фомич.

Но дьякон замахал руками:

— В гостинице! Чтобы деньги зря тратить! Ведь не вы будете платить, а мы должны — приход, мы же люди бедные, у нас каждая булавка на счету! Вам здесь хорошо будет, вы увидите — заснете, как у себя на даче!

— Вам неудобства доставлю, Наталья Львовна,— вот я о чем...

— Никаких решительно! Я даже гордиться этим буду, что вам случилось ночевать в моем доме!

Тут дьякон простился и с художником и с хозяйкой дома и направился к выходной двери.

— Я ведь и с вашим сыном знакома, Алексей Фомич,— радостно сказала Наталья Львовна, подходя к Сыромолотову с папиросами.

— Не курю, спасибо! — отодвинул коробку Алексей Фомич.— С сыном моим? Где же и когда вы познакомились? Сын мой с самого начала войны взят в ополчение, а не так давно был тяжело ранен...

— Не-у-же-ли, тяжело ранен? — вскрикнула Наталья Львовна с такой острой болью в голосе, как будто ранена была сама.

— Да, писал, что тяжело и что дают ему какой-то «бессрочный отпуск», а это значит, что не полная отставка, но все-таки к строевой службе считается уже не годен.

— Вот как! — глухо отозвалась она и жестом, повторившим жест Сыромолотова, отодвинула от себя коробку с папиросами, добавив: — Я тоже совсем почти перестала курить после смерти матери. А с вашим сыном я познакомилась в Симферополе, в больнице.

— В больнице? — удивился Сыромолотов. — Когда же он лежал в больнице? Что вы?

— Лежал в больнице не он, — поспешила объяснить Наталья Львовна, — лежал наш общий с ним знакомый... И ваш сын и я — мы в один час приехали в больницу его проведать, — вот и познакомились. Богатырем таким показался мне тогда он, ваш сын, и вот...

— И вот искалечен, — закончил за нее Алексей Фомич, — и уж едва ли будет теперь художником...

— Будем надеяться на лучшее...

— Надеяться никому не воспрещается. Надеюсь и я, что вы мне покажете комнату, где будет моя постель.

Постель оказалась уже приготовленной в комнате, которую Сыромолотов сразу признал уютной и располагающей к крепкому сну.

— Может быть, вам какую-нибудь скучную книгу дать, Алексей Фомич, чтобы вы поскорее заснули на новом месте? — предложила Наталья Львовна.

— Зачем? — удивился Алексей Фомич. — Нет, я имею свойство засыпать сразу, чуть голова моя коснулась подушки.

— Хорошо, что вы мне это сказали, а то я могла бы говорить с вами до полуночи: здесь ведь и поговорить не с кем. В таком случае — покойной ночи!

И Наталья Львовна ушла к себе в спальню, а Алексей Фомич, хоть и казалось ему, что он быстро заснет, довольно долго перебирал впечатления этого неожиданного для него дня, причем воображение его как художника больше всего занимала молодая женщина с высокой шеей и красивыми, но тоскующими глазами.

И он даже пожалел о том, что как-то очень круто и поспешно напомнил ей о том, что ему хочется спать с дороги, она же, видимо, хотела высказаться, так как говорить ей здесь было не с кем.

Встал он, чуть рассвело, и тут же, после чая, поспешил в церковь, чтобы пораньше закончить свою работу.

Прощаясь с Натальей Львовной, он сказал ей, что больше уж некогда ему будет зайти в ее дом: прямо после того как закончит реставрацию иконы, поедет к себе домой.

— А вот вы, если будете в Симферополе, милости прошу, заходите ко мне, — закончил он и увидел, как эти несколько слов обрадовали ее, как она вся засияла.

Эта неподдельная радость тронула Алексея Фомича, и он еще раз сказал:

— Прощу, прошу! Загляните!

К церкви он подошел одновременно с дьяконом. Сиккатив помог закрепленному с вечера холсту высохнуть. Сыромолотов, пользуясь цыганской иглой и суровыми нитками, аккуратно пришил кусок холста к картине.

— Это — самое важное, отец Никандр, — самое важное. Нитки потом я замажу, и никто, издали глядя, не догадается даже, что здесь была зияющая прореха, — говорил Алексей Фомич, делая частый шов.

К полудню он садился уже на линейку извозчика, снабженный на дорогу куском серого хлеба и вареными яйцами.

Уже смеркалось, когда пара плохо кормленных извозчичьих коныг довезла Сыромолотова до его дома на Новом Планае...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Когда утром на другой день Алексей Фомич разглядывал свою картину, он смотрел на нее уже не прежними глазами, а и всем тем, что он видел во время поездки: и горами, и морем, и целым приморским городком. И все люди, какие встречались ему,— не только дьякон Никандр и Наталья Львовна,— все толпились около него, в его доме: ведь картина должна быть выставлена для всех.

Разумеется, нечего было и ждать, чтобы хоть один человек из публики в красках и линиях картины увидел то, что вложил в нее и видел автор картины.

Да и можно ли вообще кому бы то ни было за короткое время обзора картины заметить и вобрать в себя все, что вкладывалось в нее художником изо дня в день за многие годы? Ведь каждый штрих, каждый мазок — это мысль художника, выношенная им в одиночестве: не с кем делиться ему этими мыслями, пока он пишет.

Пусть было бы хотя бы только одно: ушел зритель из выставочного зала и унес с собою те образы, что остались в его восприятии от картины. Больше ничего и не нужно: он разберется в картине потом, у себя дома.

Но когда Сыромолотов мысленно дошел до выставочного зала и зрителя, неожиданно возник вопрос: где же можно было выставить такую картину теперь, когда царь все еще царствует, и война все еще идет? Ведь его «Демонстрация перед Зимним дворцом» с первого же взгляда на нее будет всякому царскому чиновнику и полиции напоминать 9 января 1905 года, когда поп Гапон привел толпу безоружных рабочих к Зимнему дворцу, где их встретили залпами!

И ничего не значит, что автор картины всячески отклонялся от «9 января», что он стремился отыскать вечное во времени,— этого не поймут, этого не захотят понимать. Просто сделают то, что привыкли делать с «нецензурными» произведениями...

Подобные мысли скопились в голове Алексея Фомича до того густо, что он даже не пригласил Надю в этот день для окончательного просмотра картины.

А часа в четыре, когда уже начало смеркаться, в калитку ворвался одержимый бешеным восторгом мальчишка-газетчик с красными листами телеграмм, только что выпущенными местной газетой, и пронзительным криком:

— Революция в Петрограде! Революция в Петрограде!

Алексей Фомич приоткрыл окно, но когда хотел взять три листа телеграмм, маленький газетчик сказал строго:

— Довольно одного. Другим тоже надо!

И побежал к калитке.

Эта стойкость мальчишка, которому было важно не то, что он продаст все телеграммы, а то, что он обрадует побольше людей, очень понравилась Алексею Фомичу. И, передавая красный лист Наде, он сказал:

— Заметил я, что война заставила очень многих у нас, особенно из молодежи, значительно поумнеть!.. Умнеют люди от каждой большой войны — вот мой вывод, и дойдут когда-нибудь до того, что выкинут всякие войны из обихода своей жизни!..

2

— Ну вот,— весело говорил Наде Алексей Фомич,— теперь вполне беспрепятственно могу я выставить свою картину! Вовремя, значит, я ее закончил.

— Только что против истины погрешил,— заметила Надя.— Зимний дворец в телеграммах совсем не упоминается: без него обошлись.

— Да ведь царя не было в Зимнем — он уехал в Ставку... А Зимний или какой другой дворец без царя — что же он такое? Просто огромное здание, прочно построенное...

— Все-таки, Алексей Фомич, имей в виду, что публика будет говорить: «Не так произошла революция!»

— Да ведь я не иллюстрацию на тему дня выставлю, а картину, то есть произведение искусства! — горячо возразил Алексей Фомич.— Так на мой холст и надо смотреть.

Однако Надя не сдавалась:

— Я ведь не о том говорю, как ты сам смотришь на картину и как я на нее смотрю, а как посмотрит на нее провинциальная публика! Кто тут у нас понимает искусство так, как понимаешь его ты? И «Сикстинская Мадонна» Рафаэля,— ты же сам мне об этом говорил,— писалась не для публики, а для римского папы.

— Так что же,— в Петроград мне везти картину? — Алексей Фомич прошелся по комнате и добавил: — Пожалуй, ты права, картину оценить смогут только в Петрограде, а не здесь, но... будут ли исправно ходить теперь поезда? И можно ли будет в обстановке, какая теперь сложится, довести картину целой до Петрограда?

— Я думаю, что надо подождать, а не с места в карьер,— решительно отозвалась на это Надя.— Поедем в Петроград — тут у нас все ограбят... Была полиция, а теперь кто будет?

— Да, в самом деле, ведь теперь должны быть поставлены везде новые люди, а тем более в полиции!.. Подождать, говоришь? Подожду, что ж... Надо оглядеться, это так.

Алексей Фомич оделся и вышел из дому, обещав жене, что пройдет только по своей улице...

...Конечно, ничего еще не изменилось здесь, на тихой улице отдаленного от столицы южного города, но художнику уже представлялись какие-то невнятные пока еще отзвуки, отголоски, течения в воздухе.

Даже как будто тише, чем обычно, была тихая улица, по которой вихрем пронеслись мальчишки-газетчики с листками телеграмм.

Алексей Фомич представил себе этот красный вихрь по всем улицам города и неминуемую ошеломленность всех людей, хотя и ожидавших, что революция должна непременно совершиться.

Шедшая поспешной семенящей походкой старушка встретила Алексея Фомичу на перекрестке улиц: это была его теща Дарья Семеновна.

— Ах, как я рада! Ах, как рада! Даже и сказать не могу,— улыбалась она беззубым ртом.

— Вы тоже рады? Вот как! — несколько недоверчиво протянул Сыромолотов.— Революции рады?

— Ка-кой революции? — испугалась Дарья Семеновна, и улыбка ее сразу померкла.— Вам рада, что вы приехали, а об какой это революции вы сказали?

— В Петрограде!

— В Петро-гра-де? — И по ее округлившимся, испуганным глазам Сыромолотов увидел, что красные телеграммы до нее не дошли.

— Несколько телеграмм выпустила пока газета...

— И что же там, в телеграммах?

— Народ вышел на улицы... Главным образом женщины... и кричат: — Хлеба!.. Работницы фабрик и заводов... матери семейств... Детей-то кормить им надо, а хлеба нет: довоевались! Довоевались до того, что кормить людей нечем стало.

— Ну вот! Женщины! Их расстреляют! — сказала Дарья Семеновна.

— А кто же будет их расстреливать, когда солдаты от этого отказались? Что же, солдаты звери такие, что в своих матерей и жен стрелять будут?

И Алексей Фомич сжал свой крепкий кулак и потряс им в воздухе...

3

Как этот, так и несколько последующих дней Алексей Фомич жил всем своим существом не в своем городе, а там, в Петрограде, где вот именно теперь, как ему ясно представлялось, он мог выставить свою картину. И вместе с тем, так как без дела проводить время он не мог, он делал наброски карандашом: толпы народа посредине чинных улиц столицы.

Он как бы делал зарисовки с натуры, до того отчетливо представлялись ему и опрокинутые народом вагоны трамвая, и пылающее здание суда на Литейном проспекте, и арестованные министры и генералы, которых на грузовиках везли к Государственной думе.

Сильно обрадован был он, когда узнал об отречении Николая II на станции Дно под Псковом.

— И название станции-то какое, а? — почти кричал он, обращаясь к жене.— Точно нарочно придумано для этой страницы истории! Дошел до дна! До дна, куда успешно тянул его в последние годы Распутин! Станция Дно! Ну, как хочешь, а история, она часто бывает неожиданно остроумна! Утонул в этой страшной войне и дошел до дна! Ниже уж некуда — конец!

Сыромолотов теперь читал все газеты, какие мог достать в ближайшем газетном киоске.

Однажды, в середине марта, к нему подошел плохо одетый, с тонкими чертами лица юноша. Глядя на художника, он подал ему газету и сказал:

— Вы вот нашу «Правду» почитайте, Алексей Фомич, а из буржуазных газет что же вы узнаете?

— Нашу «Правду»? — повторил недоуменно Сыромолотов.— Это что за газета?

— Газета нашей партии — большевиков,— объяснил юноша.

— А-а! «Нашей партии — большевиков»,— снова повторил его слова Сыромолотов.— Значит, вы — партия большевиков? А почему вы знаете, как меня зовут?

— Ну, кто же у нас тут этого не знает? — даже как будто обиделся юноша.— Тем более я должен знать, что мой покойный отец —

доктор Худoley — вздумал как-то перед войной устроить пансион в доме сына вашего, Ивана Алексеевича.

— А-а! Вот вы кто!.. То-то я смотрю на вас и думаю, что как будто где-то видел...— Алексей Фомич подал Коле Худoley руку, добавив при этом: — Он тяжело ранен, мой сын... Но мне послышалось, что вы сказали «покойный отец»... Это что же значит? Умер или убит на фронте?

— Убит... И там где-то схоронен... А я приехал домой из ссылки только вчера... И я в доме Ивана Алексеевича успел побывать — там в нижнем этаже теперь тоже как будто пансион... для дураков!..

— Да, на дураков моему Ване везет! — улыбнулся Сыромолотов. — Когда он уезжал, то нотариусу оставил доверенность на продажу дома, но тот решил дома не продавать: дескать, это — «реальная ценность», а деньги теперь — одна видимость, и вот сдал кому-то весь нижний этаж с кухней. Я к сыну в дом, признаться, не ходил... Так дураки, вы говорите, там поселились?

— Полнейшие! — с живостью ответил Коля.

— Значит, такова уж судьба этого нижнего этажа!.. — заметил Алексей Фомич и добавил: — Вот вы — партиец, и, значит, вам книги в руки. Скажите — образовалась ли у нас в городе какая-нибудь власть?

— А как же! Известно со времен Ломоносова, что природа тел не терпит пустоты! — бойко сказал Коля.

— Из кого же, позвольте вас спросить, она образовалась?

— Там теперь всякой твари по паре... Есть эсеры, есть меньшевики, есть кадеты... Только большевиков нет...

— Вот как! — удивился Алексей Фомич. — А почему же собственно нет?

— Мы пока под запретом! — и Коля Худoley приложил к губам указательный палец. — Но, погодите, придет час, — вдруг преобразился он. — Вот придет наш Ленин, и тогда все будет по-другому. Партия большевиков имеет гениального вождя, а где же подобные вожди в других партиях?

— Так, так... Так, так... гениальный вождь, вы сказали... А где гений, там и победа... Так всегда бывало в истории.

Говоря с Сыромолотовым, Коля Худoley понемногу отходил от киоска, и Алексею Фомичу приходилось двигаться тоже. Наконец, он заметил:

— Вы как будто боитесь, чтобы кто-нибудь нас не подслушал?

— Отчасти, конечно, в этом сказывается привычка подпольщика... Ведь пока что все другие партии смотрят на нас, большевиков, косо и в Советы нас не пускают... По крайней мере здесь, в Симферополе... А как в других местах, я точно не знаю.

На перекрестке двух улиц, до которых дошли Алексей Фомич и Коля Худoley, сидела пожилая женщина в очках, а перед нею на скамеечке возвышалась корзина с пирожками, прикрытыми вышитым полотенцем. Остановившись, Коля так неприкрыто приковался глазами к пирожкам, что Алексей Фомич спросил его:

— Позвольте-ка: а вы не хотите ли есть? Случается это иногда с людьми...

— Очень! — признался Коля. — Мать меня кормить не желает, а работы я пока никакой не нашел.

— Ну-ка, берите, сколько сможете скушать, — сказал Сыромолотов, доставая кошелек, и добавил: — это я вам плачу за вашу «Правду».

Прошло еще несколько дней, пока Алексей Фомич укрепился в мысли — сходить в бывшую городскую управу, где теперь был Городской совет рабочих депутатов: не помогут ли ему выставить картину.

— Ведь эта картина не мое только личное, частное дело,— говорил он Наде,— а общественное. Картина совпадает с событиями, и всем будет вполне понятна... Она будет ложкой к обеду.

— А не спешишь ли ты, Алексей Фомич? — подумав, сказала Наде.— Что-то подозрительно тихо у нас: повесили везде красные флаги, заменили полицию милицией... Кто-то взял власть, но...

— В неопытные руки,— вставил Алексей Фомич.

— А когда же они стояли у власти?

— Ну, были бы головы на плечах... Мужик сер, да ум у него не волк съел. А мне почему-то кажется, что теперь самое подходящее время для выставки. Пока тихо, а вдруг начнется борьба политических партий за власть — и тогда уж будет широкой публике не до картины. Вообще, отчего не попытаться? Может быть, как раз попадется мне человек, что-нибудь понимающий в искусстве, отведет помещение и даже, может быть, закажет в типографии афиши...

— Попробуй,— согласилась, наконец, Наде, и он пошел в Горсовет.

В знакомое ему здание бывшей городской управы, теперь украшенное длинными и широкими полотнищами кумача, Сыромолотов входил с сознанием своего достоинства, как большой художник, честно и во всю силу своего незаурядного дарования трудившийся над картиной в течение двух с половиной лет...

В пустом коридоре спрашивать было не у кого, и Сыромолотов, остановившись перед дверью с надписью «Зав. культ. просветотделом», отворил ее. За столом сидел и читал какую-то длинную бумагу небольшой, весьма черноволосый, молодой еще человек с нахмуренным лбом и маленькими глазками, которые злобно уставились на вошедшего.

— По всей видимости,— начал Алексей Фомич,— к вам именно должна относиться моя просьба: отвести мне в центре города зал для выставки моей большой картины...

— Ка-а-ак? — выкрикнул фальцетом черноволосый человек, взорвавшись на художника агатово-черными глазами и изобразив полнейшее недоумение на худощавом длинном лице.

— Я — художник, написал картину «Демонстрация перед Зимним дворцом» и хотел бы показать ее народу, ныне уже свободно,— объяснил Алексей Фомич и думал, что теперь все стало понятным для этого странного человечка.

Однако человек заерзал на стуле, точно его кололи булавками снизу.

— Ка-а-а-ак? — еще громче крикнул черноволосый и не закрыл после этого рта, как бы приготовясь выкрикивать еще и еще начальственное «как».

И это точно подбросило Алексея Фомича. Он круто повернулся и ушел, хлопнув дверью. Теперь, когда он шел по коридору к лестнице, шаги его были тверды, четки и даже быстры...

Когда Алексей Фомич вернулся домой, он сказал Наде:

— Совершенно неожиданно для меня ты оказалась права. Я поспешил и только себя насмешил. Людей надо, чтобы завертелась машина, а разве их сразу найдешь? Вот и сажают черт знает кого,— лишь бы умел на стуле сидеть! А в черепушках у них сенная труха!

Еще прошло дня четыре. Алексей Фомич начинал уже привыкать к мысли, что и картину «Демонстрация» так же трудно будет выставить, как и картину «Майский день».

Он говорил Наде:

— Уехав из столицы, уединившись здесь, я бил на то, чтобы быть совершенно независимым и в выборе сюжетов для картин своих, и в технике письма. В то время, когда я так сделал, — имей это в виду, — появились такие объединения молодых художников, как «Ослиные хвосты», «Червонные валеты», «Кубисты», «Лучисты» и черт там их знает, как они там еще назывались. Я добровольно взял на себя миссию: настоящее, исторически сложившееся, большое искусство сохранить и, по мере сил и возможностей своих, продвинуть вперед. Я был достаточно силен и смел, чтобы жить здесь одиноко. Положим, что в том направлении, каким я шел, кое-чего я все-таки добился. Но я не учел одного, всемогущего в наше время — рек-ла-мы! Репин от столицы не отрывался: от его Куоккалы до Петербурга — рукой подать. Кроме того, он среды завел. Пусть угощал гостей каким-то анекдотическим супом из сена и вареным сельдереем, однако и это заставляло публику говорить о нем. А я что же? Затворник! Пещерножитель!

— Неправда! Тебя везде знают! — пылко перебила Надя.

— Ну, так уж и знают? — махнул рукой Алексей Фомич. — Я и сам полагал, что знают, а в Городском совете услышал самое пренебрежительное: «Ка-а-ак?...» Это мне он говорит, нездешний этот, «ка-а-ак?», откуда-то присланный, развивать здесь у нас культуру. А культура — это что такое? Это — искусство и наука. Печной горошек, да, он необходим, конечно, для жизни, и как же без него обойтись в деревенской избе? Но это не культура, это — первобытная цивилизация, то есть то, что отличало человека от животных. Волк баранину не варит, а жрет сырым. А люди Европы ели вареное мясо руками до конца шестнадцатого века, когда при дворе испанского короля введены были в употребление вилки. А у нас по глухим деревням и до сего времени обходятся без вилок. И с вилками или без них — это жизнь брюха, а не духа. А вот «Илиада» и «Одиссея», а вот «Лаокоон», а вот «Сикстинская Мадонна» как апофеоз материнства — это жизнь духа, а не брюха. И в моей картине не голая злободневность, нет! Ищите в ней вечные мотивы. Разве была злободневность в репинских «Запорожцах, пишущих ответ турецкому султану»? Когда жили те запорожцы, и когда написана и выставлена картина? Что же было в ней вечного, что привлекло к ней всеобщее внимание? Смех! Вот что там было и есть и останется навсегда... «Поцелуй ось куды нас», — пишут вольные запорожцы всемогущему тогда турецкому султану, и все хохочут, так как представляют все одинаково, что это значит — «ось куды»!.. А в другой картине Репина: «Смерть сына Ивана Грозного», что вечно? Там — ужас на лице Грозного, ужас перед тем, что им только что сделано: убийство собственного сына! А не будь этого ужаса, какое бы нам через четыреста лет было дело до Ивана Грозного с его сыном? Я вывел в своей картине толпу людей, толпу безоружных людей разных возрастов, но объединенных одним порывом, и это не «9 января» и не «27 февраля», а бери глубже, и без чисел, без месяцев, без годов! А если уж очень хочется тебе, чтобы непременно были и число и месяц, то поставь гоголевские из «Записок сумасшедшего»: «Мартобря 86 числа»!

— Ты всегда что-нибудь такое скажешь, Алексей Фомич, — улыб-

нулась последним словам Надя,— что даже и наш Джонни, хоть он на дворе, начинает лаять!

— Кто же это гремит так щеколдой? — попробовал догадаться Алексей Фомич.

— Какой-то солдат... Шинель без погон... В левой руке чемодан — довольно объемистый... Джонни, Джонни! Назад! Сюда! — закричала в форточку Надя.

И тут же ставший рядом с нею Сыромолотов вскрикнул:

— Да это же Ваня! Это Ваня из госпиталя, с фронта!

6

Алексей Фомич все следил за тем, владеет ли правой рукой его Ваня, и, когда увидел, что сын, несший чемодан левой рукой, перехватил его в правую и поставил в передней на пол, радостно сказал:

— Bravo! Значит, писать кистью и подавно можешь! Брависсимо! — Заметив, как недоуменно глядит Ваня на молоденькую женщину с голубыми глазами, Сыромолотов поспешно представил Надю:

— Моя жена! Ведь я, кажется, писал тебе, что женился?

— Нет, ничего не писал,— отозвался на это Ваня, целуя руку Наде почтительно, как совсем еще незрелый пасынок у мачехи величественного отца. Алексей Фомич бормотал при этом:

— Странно! Неужели не писал? Но в конце-то концов не все ли равно, писал или нет! Важно то, что если тебя и покалечили, то как будто по-божески, по-божески... Дай-ка пощупаю, где это! — протянул руку Алексей Фомич к плечу сына, когда тот снял шинель и оказался в мундире тоже без погон.

— Пощупай, пощупай! — улыбнулся Ваня, и отец его охватил бицепс, твердый, почти как камень.

— Это и есть протез, о каком ты писал?

— Он самый. Под ним трубчатая кость, которую сломать ничего не стоит любому борцу.

— Ну уж, только ли борцу! Стало быть, теперь-то ты ни в каком цирке выступать не будешь?

— Куда уж теперь выступать в цирке! — горестно согласился Ваня.

— А красками писать пробовал?

— Пробовал: могу.

Алексей Фомич ждал, что сын спросит, в свою очередь, его, окончил ли он свою картину. Но Ваня сказал:

— На тебя вся надежда: дай мне какое-нибудь свое старенькое пальтишко вместо проклятой моей шинели! Твое на меня годится, а в магазине готового платья я не мог по себе подобрать. Из твоего дома в свой я должен буду перейти совершенно штатским во избежание... как бы это выразиться?.. неприятных инцидентов со стороны солдат, хотя погоны и с шинели и с мундира я снял и на всякий случай не выбросил их, а положил в чемодан, но именно чемодан-то и привлечет внимание солдат. Переодеться я должен сейчас же, а ты все мое военное спрячь куда-нибудь — на чердак, что ли!

— Постой-ка, постой-ка! Ты каких-то страстей наговорил за одну минуту столько, что и в голову не уложишь!

— Да ты читал ли приказ по армии номер первый?

— Это, кажется, чтобы солдаты не отдавали больше чести офицерам? — не совсем уверенно припомнил Алексей Фомич.

— Вот именно! И с того началось!.. Потом пошли «Советы солдатских депутатов», — «солдатских» — понимаешь? А не «солдатских и офицерских»... Значит, офицеры в армии стали лишними, и сиди — жди, когда тебя выволокут и убьют!

Заметив, что великовозрастный пасынок ее очень взволнован, Надя сказала:

— Иван Алексеевич! Вам с дороги и белье переменить надо. На кухне у нас сейчас никого нет, а на плите в котле много горячей воды... Подите, выкупайтесь! Алексей Фомич вам поможет.

— Непременно! Это непременно надо сделать в первую голову! — поддержал жену Сыромолотов и повел сына на кухню.

7

У Вани был счастливый, сияющий вид, когда после головомойки, как он это назвал, устроенной ему отцом на кухне, он сидел за самоваром, поставленным его мачехой, допивал восьмой стакан чаю и говорил:

— Не знаешь, где найдешь, где потеряешь, а это оказалось большой моей удачей, что меня ранили австрийцы. Если бы не эта рана, я не попал бы в госпиталь, и меня убили бы свои. Убивают и младших офицеров, не одних только кадровиков ротных и батальонных. Развал армии — вот что делается на фронте. Стихотворение кто-то из младших офицеров написал на эту тему — оно ходит среди горемычного офицерства. Длинное, и я помню из него только три первых куплета:

О, боже святой, всеблагий, бесконечный,
Услыши молитву мою!
Услыши меня, мой заступник предвечный.
Пошли мне погибель в бою!

Смертельную пулю пошли мне навстречу,
Ведь благодать безмерна твоя!
Скорей меня кинь ты в кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я!

На родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас сколотил погребальные дроги
И грязью нас всех забросал...

Непременно я был бы убит: ведь я полковым адъютантом был, приказы по полку составлял — непосредственно, значит, помогал командиру полка, а против этого командира взбунтовался полк еще до революции. Фамилия командира нашего полка — Ковалевский. Говорили мне, когда я был в госпитале, что ему удалось спастись, однако пуля прошла сквозь шею — лежит теперь в госпитале, а выживет ли — неизвестно: рана куда более тяжелая, чем моя.

— Тебя лечили на совесть, — вставил Алексей Фомич. — Протез бицепса отлично сделан и хорошо прилажен к руке... Гм... Где же я читал о князе Меншикове, не петровском Сашке, а его внуке или правнуке, ну, о том самом, который Крым защищал, — читал, что при осаде нами в Турецкую войну Варны был ранен в икры обеих ног турецким ядром. Снесло ему это ядро икры обеих ног, и вот еще в те времена — почти сто лет назад — ему сделали протезы, и, представь, он мог отлично верхом на лошади ездить... Что же из этого следует, какой вывод? Не призовут ли тебя обратно в твой полк, а?

— Могут призвать, — согласился Ваня. — Ведь в бумажке у меня стоит не «отставка», а только бессрочный отпуск. Могут взять снова

на нестроевую должность, однако куда же именно брать и зачем брать? Союзники наши — англичане и французы — требуют от нас наступления во что бы то ни стало в апреле, а мы не только наступать, даже и защищаться не можем. И наступать нам не с чем: нет у нас ни снарядов к трехдюймовкам, ни пулеметных лент, ни патронных ящиков для винтовок — ничего! Англичанам и французам хорошо назначать день всеобщего наступления до 10 апреля по новому стилю, а у нас в это время самое половодье, везде разливы рек. Одним словом, положение такое: немцы могут устроить баню нам в любой точке и даже в ста точках сразу!

— Почему же они этого не делают? — не понял сына Алексей Фомич.

— А чем они будут кормить наших пленных солдат? У них и без того два с половиной миллиона пленных с одного только русского фронта. Они, эти немецкие генералы — Гинденбурги и Людендорфы, воевать умеют: линию своего Западного фронта они выпрямили — на сто шестьдесят километров она стала меньше, освободилось сорок дивизий, и этого вполне довольно, чтобы резать русский фронт где угодно, как мясо ножом! Они этого пока не делают, а зашевелились мы, выйди из окопов, — что им мешает где угодно зайти нам в тыл? Перед выпиской из госпиталя я слышал, что все наши запасы продовольствия измеряются несколькими днями: на двенадцать дней — только и всего! А Нивель, главнокомандующий французов, требует непременно наступления всем фронтом в конце марта по нашему стилю!

— Значит, теперь же должны готовиться? Понимаю... Но почему же нашими войсками командует какой-то Нивель?

— Потому что мы были куплены за огромный заем, вот почему! Мы — пушечное мясо для французов... Когда немцы перебили всех сенегальцев под Верденом, тогда погнались русские корпуса... А теперь наша революция взбесила наших хозяев в Париже: тоже нашли время, когда революцию делать! И вот теперь министр обороны или военный — Гучков насаждает на Алексева. Милюков-Дарданельский — министр иностранных дел хоть сейчас готов толкнуть в наступление миллионы наших солдат и офицеров: а то не получим от союзников Дарданеллы! А русские солдаты предпочитают смещать и убивать своих офицеров, чтобы через них французские генералы Нивели и прочие ими не командовали... И солдаты бегут, бегут неудержимо! И никакие полевые суды удержать их не могут.

— Ты таких ужасов нам нарисовал, — поежился Алексей Фомич, — что я уж не удивлюсь, если увижу немецких солдат у нас в Крыму!

— Вполне возможна такая картина, — согласился Ваня. — Вполне возможна... Одним словом, события были большие, а ожидают нас огромнейшие... И пока что я в твоей рубахе и в твоём старом пиджаке чувствую себя в полной безопасности, а может случиться и так, что через какой-нибудь месяц и они не спасут: все может полететь кверху ногами!..

Алексей Фомич долго смотрел на сына, пившего в это время десятый стакан чаю, и проговорил наконец:

— К ци-ви-ли-зации рвутся люди, это их законное право. Только вот что меня интересует: а как же все-таки пойдет дальше? Ты был там, в самой гуще, два с половиной года, тебе виднее, чем мне: как может пойти дальше? Не может ли случиться так, что и из других армий, даже из германской, начнут бежать домой, а? Из французской армии тоже могут бежать, если, разумеется, побегут из германской; ну, а австрийцам и сам бог велел «нах Вену» — опе-

ретки Штрауса слушать... Не может ли так случиться, а? Как ты полагаешь?

— То есть, это чтобы и там началась революция, как у нас? — качнул отрицательно головой Ваня. — Не-ет, они там, то есть правительство германское, а также австрийское, нашим пленным читают лекции о революции, это я слышал, а чтобы у себя — не-ет, этого они не допустят!

— Постой-ка, ты какую-то ересь и дичь понес!.. Тебе говорили, а ты повторяешь, как попугай! Какие такие лекции нашим пленным? Зачем им это?

— Как же так — зачем? Расчет у них очень понятный. Два с половиной миллиона, говорят, наших пленных в одной Германии — это ли не сила? Пять-шесть огромных армий. Их там обучают, как им сподручнее будет отнимать земли у помещиков, потом выпустят к нам через границу: идите, действуйте в этом духе! Они и пойдут чесать.

— А за ними Вильгельм?

— А за ними, конечно, Вильгельм, чтобы занять территорию нашу до Урала.

— Ты-ы... ты, кажется, чью-то шутку принял всерьез, а? От тебя станет!

— На шутку это чем похоже? Похоже, как гвоздь на панихиду, — угрюмо отозвался Ваня.

— Два с половиной миллиона даровых рабочих, чтобы выпустил такой хозяйственный народ, как немцы? — искренне возмутился Сыромолотов-отец.

— Даровых, да не очень, — пояснил ему Ваня. — Эту рабочую силу кормить надо, а чем? Из Румынии вывезли недавно хлеб, это так, а надолго его хватит? А хлеб теперь и есть самое дорогое, именно хлеб, а совсем не какие-то бумажки всех цветов радуги и не почтовые марки... Выпустят два с половиной миллиона ртов, чтобы от них избавиться, это с одной стороны, и чтобы у нас они все подчистую съели, с другой стороны...

— Если это действительно будет так, как ты сказал, то план этот... план этот какой-то даже и не человеческий, а только сам сатана смог придумать! — развел руками Алексей Фомич. — Вот что значит заниматься всю жизнь свою искусством и никогда не соваться в политику. За это мне и наказание!..

— Как это тебе наказание? — буркнул Ваня и посмотрел на отца, взметнув брови.

— Есть где-то такая строка: «И это все, чему я поклонялся!» — глядя в пол, говоря как бы сам с собою, начал объяснять сыну Алексей Фомич. — Искусство, культуру человеческую и общечеловеческую ставил я во главу угла всей своей жизни, и вот выходит — что же именно выходит? Выходит, что совсем не на ту карту ставил... Проиграл, значит, а? Да-да, да... Выходит, что проиграл... Это и есть наказание. Ведь ты, кажется, сказал, что в одной Германии два с половиной миллиона?.. Ну да, именно в одной, и я сам где-то читал... А ведь есть еще много таких пленных и в Австрии... Сколько?.. Если, например, считать тоже до двух миллионов, а?.. Пусть даже только полтора. Всего, значит, у них четыре миллиона... Ого! Ведь они голодные будут, эти миллионы ртов. А где голод, там какие же законы могут удерживать людей? Что такое голод? Прежде всего невменяемость!.. Значит, что есть в печи, то на стол мечи!.. Нет у тебя, говоришь? Прячешь? Мы кровь свою проливали, а ты дома сидел, а теперь от нас же прячешь? Вон же за это! Хоп — и дух вон! В том-то и будет ужас, а с точки зрения голодных — какой же тут ужас? Это

только всего-навсего в порядке вещей. Ты — чтобы сытый был, а мы — чтобы с голоду сдохли? Хлоп камнем по голове, и давай шарить, хлебушка искать!..

— Вся надежда на то, что они все-таки солдаты, что военному делу их обучать не надо. Так что дай закон, крепкую власть — огромная может быть армия...

— Против кого? Армия?.. Еще бы не армия, а против кого?..

— Против тех же немцев, конечно... Чтобы не дошли до Урала.

— Четыре миллиона голодных людей... Пусть даже только два... если два других устроятся дома... Не могу себе представить, не хватает воображения... Тут только статистика, статистика нужна, а не воображение, потому что это же потоп. Стихия это, а стихия всегда вне всякой человеческой логики... Стихия живет сегодняшним днем, когда разбушует, а о завтрашнем дне зачем ей думать? У стихии не мозг, а только чрево. И оно проглотит, оно все проглотит: и хлеб, и водку, и искусство... Что-о? — вдруг выкрикнул Алексей Фомич так зычно, что Ваня поглядел на него с испугом и на немой вопрос в его глазах добавил: — Думаешь, что я уже с ума сошел? Нет, пока еще нет... Я только кое-что вспомнил... В живописи, как ты знаешь, есть пейзаж, есть, например, в жанре две-три фигуры или масса, как у Сурикова, как и у меня в «Демонстрации», как у Репина в «Крестном ходе»... и тут свои законы письма... Не только перспектива линейная и воздушная, а еще и экспрессия! Экспрессия всего в целом и каждого лица в особицу... Живопись может передать — что именно?.. Один только момент!.. А тут миллион моментов и миллионы людей... И все лица искажены! Это самое главное — иска-же-ны! И не имеет ничего прежнего, что мы называем человеческим, общечеловеческим, чтобы точнее сказать... Искусство — это культура... Что осталось от древних греков? Искусство! Фидий, Скопас, Илиада и Одиссея, Софокл, Эсхил, Аристофан и мифология, как нетленное искусство, очеловечившее даже небо Зевсом и море Посейдоном, и недра земные, и всякие там преисподние... Принимаю! — вдруг снова выкрикнул Алексей Фомич. — Принимаю, но-о... но с оговоркой: чтобы не был расчеловечен человек, чтобы человеческое в человеке удержали — вот!.. Чтобы не погибло наше с тобой искусство!

— Погибнуть оно и не может, — пробасил Ваня, — а временно, конечно, должно уйти...

— Куда уйти?

— Со сцены уйти, хотел я сказать, ну, просто не тем люди заняты будут...

— А надолго ли уйти со сцены велют? Ты был там, на фронте, может быть у тебя сильнее представление. И в госпитале с рукой лежал, мог думать на свободе... Надолго?

— Трудно сказать.

— Смотря, значит, как пойдет дело... Дело всех миллионов, о каких ты говорил, и всех прочих миллионов и у нас, и в Германии, и во Франции... везде...

Алексей Фомич отошел к окну, глядел в него с минуту и добавил:

— Чувствую, что надолго... — и затем, после паузы, проговорил: — Значит, мне совершенно незачем думать о том, чтобы выставить свою картину?

— Да, вот картина! — вскинул голову Ваня. — «Демонстрация»?.. Много фигур ты там задумал... И в каком же они виде сейчас?

Алексей Фомич не отрывал глаз от сына, пока тот говорил, а на вопрос его ответил вяло, переводя взгляд на жену:

— Поставил точку...

— Неужели успел закончить?

— Закончил... А выставлять, вижу, негде будет...

— Посмотреть можно? — очень знакомым Алексею Фомичу просительным тоном обратился к нему Ваня.

У художников принято, как правило, что рассматривать картину можно только с расстояния трех ее диагоналей, но «Демонстрация перед Зимним дворцом» занимала целую стену в мастерской Алексея Фомича. От этой стены до двери было только две диагонали, поэтому, показывая картину сыну-художнику, открыли настежь обе половины дверей из мастерской в столовую.

Сам Алексей Фомич стал так, чтобы ему было видно лицо сына, на котором он мог бы разглядеть первое, самое дорогое для него, впечатление от картины. Ваня же непосредственно, по-детски, как всякий истинный художник, воспринимающий живопись, отшатнулся на полшага, как будто трех диагоналей, отмеренных для осмотра картины отцом, ему оказалось мало.

Людей на полотне было много: они были очень разнообразны по своей одежде и лицам, но все они были живые, все смотрели в одном направлении через решетку фигурной железной ограды, отделяющей панель площади от обширного дворцового двора. На всех лицах чувствовалась ярко схваченная одна мысль, одна всех охватившая решимость вот именно теперь, как бы отказавшись от своих обычных будничных забот, добиться чего-то большого, способного в корне изменить всю жизнь.

Люди, занявшие передний план картины, были написаны в естественную величину, и они стояли на мостовой так, что над их головами поднимались головы фигур второго плана, занявших панель.

Как художника Ваню изумило то, с каким искусством его отец расположил на картине разнообразные красочные пятна, слив их в то же время в одно гармоничное целое и в единый порыв: напряженность всей картины ощущалась в целом и в каждом отдельном мазке.

А левый фланг картины, свободный от человеческих фигур первого и второго плана, занял конный отряд полиции с монументальным приставом во главе, сидевшим на красивом, породистом гнедом коне, тонкие ноги которого были в белых чулочках; так что совсем рядом с требовательной, охваченной одним порывом, но совершенно безоружной толпой стояла вооруженная, притом конная охрана дворца, ожидавшая, как это было очевидно, только команды, чтобы ринуться на толпу и частью смять ее, частью — рассеять.

Прошло в полном молчании не меньше десяти минут: сын смотрел на картину отца, отец смотрел на лицо сына. Но вот это лицо медленно повернулось к нему, и сын слабым голосом, почти шепотом, сказал:

— Это... изумительно!

— Что изумительно? — также не в полный голос спросил сына отец. И сын, помолчав, ответил:

— Изумительно прежде всего то, что ты с таким огромным холстом справился с неслыханной быстротой.

— Я ведь только этим холстом и был занят все время, больше ничем, — ответил отец.

— А где же ты взял этого командира конной полиции? Необыкновенно он тебе удался... И мне даже кажется, что я его где-то видел, такого точно.

— Ты и мог его видеть у нас здесь: это бывший наш пристав, только потом его перевели в Петербург, где я и сделал с него, конного, этюд. Фамилия его Дерябин.

— Хорош! Очень хорош!.. Олицетворение идеи самодержавной

власти... И вообще у тебя, что ни деталь, — бьет прямо в цель! Не картина это, нет!

— А что же?

— Подвиг во имя искусства! Чудо, а не картина!

— Это ты серьезно говоришь, или?..

— Не говори ничего больше! — перебил сын и широко открыл для отца объятия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

День развернулся теплый, и Алексей Фомич дал Ване не пальто, а плащ — черный, с капюшоном и белой металлической застежкой в виде львиной головы. Сам он не носил этого плаща, и плащ имел такой вид, как только что купленный в магазине.

Так, в черном плаще и в серой отцовской шляпе, как вполне штатский человек, Ваня отправился посмотреть, в каком состоянии теперь дом, принадлежавший лично ему. Единственное, что пока он узнал о своем доме, было то, что сказал ему отец со слов Коли Худолея:

— В нижнем этаже там у тебя поселились какие-то идиоты. Не знаю, семейство ли какое умственно убогих, или это какая-нибудь артель идиотов — на месте будет тебе виднее!..

На Ване под штатскими брюками оставались высокие фронтовые сапоги, и он по привычке сделал широкие строевые шаги.

Но, как только Ваня остановился перед своим домом, оглядывая по-хозяйски, какого ремонта он требует, к нему подбежал гулявший невдалеке длинный тонкий подросток лет шестнадцати и, прищурив левый глаз, с самым серьезным видом стал щелкать — «стрелять» в него из игрушечного пистолета.

— Это что? Ты кто такой? — крикнул Ваня. — Не идиот ли номер первый?

Однако «идиот номер первый» закричал визгливо:

— Я тебя убил! Я тебя убил, и ты падай!

Ваня схватил левой рукой его правую, вырвал игрушку и сунул ее в карман пиджака, но мальчишка заорал так неистово, что из дверей дома выскочила растрепанная пожилая женщина в фартуке и тут же кинулась на Ваню:

— Вы что это, а? Вы что это бьете моего сына, а?

— А-а! Вы, стало быть, семейство, а не то чтобы артель идиотов! — спокойно сказал Ваня, входя в дом.

— Вы куда? Вы зачем это к нам? — вопила женщина, хватаясь за плащ Вани, на что Ваня отозвался как мог спокойнее:

— Я — хозяин этого дома.

Женщина в фартуке бросилась к дверям, ведущим в другую комнату, и из-за этих дверей донесся ее крикливый голос:

— Спишь все, дурак проклятуший! А там уж хозяин какой-то объявился!

— Там, значит, идиот номер третий, — пробормотал Ваня. Спустя минуту появилась из дверей заспанная красноглазая фигура седого, подстриженного ежиком коротенького человечка в грязных подтяжках на давно уже не стиранной рубашке.

— Ваша фамилия? — спросил, брезгливо его оглянув, Ваня.

— Я должен спросить вашу фамилию! — наставительно, но хрипуче выдал из себя человечек в подтяжках.

— Извольте: моя фамилия Сыромолотов, и я хозяин этого дома.
— Когда я снял квартиру в этом доме, мне сказали, что хозяин на фронте, прапорщик и, кажется, даже убит.

— Был тяжело ранен, лежал в госпитале, теперь в бессрочном отпуску, то есть, в отставке... Сегодня утром приехал. Считаю, что с вас этого довольно. А вы кто и на каких условиях снимаете у меня квартиру?

— Я тоже теперь в отставке, а был делопроизводителем штаба начальника дивизии,— прокашлявшись, сказал квартирант Вани.— Так что я — тоже военный, хотя нестроевой, как, скажем, врачи полковые, а также и дивизионные.

— Как же в Симферополе могли вы быть делопроизводителем штаба дивизии, когда здесь стоял всего один пехотный полк? — не поверил Ваня, но человек в подтяжках замахал руками:

— Не здесь! Не здесь! Я из Нижнего Тагила, с Урала сюда переехал на постоянное жительство, исключительно в целях экономии в дровах.

— Какой экономии в дровах? Ничего не понимаю!

— Написали мне отсюда хорошие знакомые, что здесь можно прожить зиму, не топя, вот я и двинулся.

Ваня с интересом, присущим художникам, наблюдал лицо своего квартиранта. Оно все — желтое и дряблое — состояло из одних параллельных морщин: прямые морщины располагались на лбу, а навстречу снизу, от подбородка, шли закругленные, но тоже строго параллельные морщины.

Ваня даже подсчитал эти морщины: их оказалось восемь на лбу и шесть, идущих снизу. «Не лицо, а гармошка!» — подумал Ваня и разглядел еще у своего квартиранта в уголках маленьких мутных глаз какие-то совершенно ненужные, но плотно усевшиеся морщины, отчего глаза казались еще меньше...

А человек, приехавший сюда с Урала с надеждой на крымское солнце, продолжал:

— Дрова нас там одолели, в Нижнем Тагиле! Восемь месяцев в году топка печей, а пенсию дали небольшую. Там она вся, эта пенсия, выходила из трубы дымом. Полагал, истинно полагал, что скорая будет победа, однако наши генералы Дитянины, оказалось, воевать совсем не умеют.

— Какие «генералы Дитянины»? — не понял Ваня.

— А те самые, каким лекарь Пирогов «ап-перацию» делал: череп отпилил и мозги вынул, положил на тарелку. Он еще тогда только полковник был, этот Дитятин, а тут вдруг входит адъютант и кричит: «Высочайшим приказом вы произведены в генерал-майоры!» — «А-а! — тут говорит Дитятин.— Лекарь Пирогов, пришивай мне обратно череп». Пирогов с перепугу череп-то пришил, а мозги позабыл вставить на свое место. Генерал Дитятин махнул на свои мозги рукой: «Раз я теперь генерал-майор, то зачем же мне какие-то там еще мозги!» — и пошел...

— Это, кажется, рассказ Горбунова,— вспомнил Ваня.— Но генералы в нашем поражении меньше виноваты, чем тыл. Однако вы мне не ответили, сколько вы платите за квартиру в моем доме и кому именно платите?

— Ни-ко-му ни-чего не пла-чу! — приподнявшись на носки и покачиваясь на них, отдельно проговорил жилец.

— Вот тебе раз! — удивился Ваня.— Я дал доверенность на продажу своего дома одному нотариусу, и это уж его промах, что он не продал дома, а нашел мне такого квартиранта, как вы!

— Ага! Вот-вот! Я тоже так думаю, что в видах возможной революции умнее было бы его продать, а то могут ведь отобрать и бесплатно,— и жилец торжествующе захихикал.

— Таких домишек отбирать не будут...

— Однако же двухэтажный! — продолжал жилец.

— Ну, с меня довольно,— выкрикнул Ваня,— и с вами я больше говорить не хочу! Пойду к нотариусу!

Несколько успокоило Ваню только то, что, поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж, где он сам жил прежде, он увидел на дверях тот самый прочно висящий замок, какой повешен был им, когда он уезжал в ополченскую дружину...

2

Нотариус Солодихин был, как помнил Ваня, преисполнен сознания важности занимаемой им должности. Пенсне у него было в золотой оправе и на обеих руках тяжелые золотые перстни.

Седая прямая узенькая бородака придавала некоторую картинность его крупному лицу с широким лбом. Цenia каждое слово свое, говорил он медленно и наставительно, так как строго придерживался законов. Какие же могли быть у него ошибки, если законы он знал?..

Таким видел Солодихина Ваня около трех лет назад, но теперь перед ним сидел сильно поседевший и ставший почему-то суетливым человек, снявший с себя и золотое пенсне и перстни. И сам он подох и сгорбился, и пиджак на нем оказался поношенным.

Ваню Сыромолотова он узнал только тогда, когда тот сам ему назвался. Ване пришлось напомнить ему и о своей доверенности на продажу дома, и когда Солодихин припомнил все обстоятельства дела со сдачей квартиры «какому-то приезжему военному в отставке», то даже улыбнулся и с чувством сказал:

— Прирожденный мошенник, хотя и в отставке! Я с него получил только за первый месяц, а потом услышал от него: «Так как деньги падают в цене, то я затрудняюсь высчитать, сколько я должен добавлять ежемесячно к назначенной вами квартирной плате!» Я увидел, с кем имею дело, и махнул рукой: сторожа, думаю, если нанять,— ему надо платить, а тут этот отставной будет торчать бесплатно...

— Ну, а теперь мне как же с ним быть? — спросил Ваня.

— Вы — другое дело, вы — хозяин, можете заявить, куда теперь следует заявлять, и его выкинут, я думаю. Кому теперь нужен этот чин на пенсии, который работать не может или не хочет? Я постарше его, однако же вот сижу на своем прежнем месте и при новом строе... покамест не прогонят, конечно.

Так как нотариус посмотрел при этом на Ваню вопросительно, то Ваня стал уверять его, что он необходим и при новом строе: как же без нотариуса? Ведь собственность остается, и ее разрешается продавать и покупать — вот для этого и необходима нотариальная контора. А что касается новых людей, то ведь их еще надо приучить к такому сложному делу...

С этим Солодихин согласился охотно и добавил в своем прежнем наставительном тоне:

— Государственная машина создавалась веками и даже тысячелетиями,— так вот сразу все переделать в ней нельзя, а надо исподволь и в порядке необходимости.

У Солодихина Ваня узнал фамилию своего жильца — Епимахов и пошел снова к себе домой.

Идиот и на этот раз торчал на улице, но уже без пистолета, он испуганно бросился бежать, когда подходил известный уже ему хозяин дома. Мать идиота открыла запертую теперь дверь, чуть только Ваня дотронулся до звонка. Он поднялся по лестнице и отомкнул объемистый замок.

Все оказалось в целости, как было, но что удивило Ваню,— это пыль, лежавшая на всем густым серым слоем.

Здесь было тоже три комнаты, как и внизу, причем самую большую Ваня превратил в свою мастерскую. В углу этой мастерской он нашел и холсты и картон, свернутые в трубки.

Не раздеваясь, так как в комнате было холодно и сыро, Ваня развернул и расстелил холсты на полу, прижимая их углы прессами,— этим он был занят больше двух часов. Еще утром, будучи только прапорщиком, получившим «бессрочный отпуск», он искал теперь прежнего, довоенного себя — художника, которого когда-то называли «любимое дитя Академии художеств» и который получил командировку за границу.

Мало сказать, что Ваня был обрадован: он как бы переродился сразу — сбросил с себя наносное, фронтное.

Добродушный по природе, какими бывают многие очень сильные физически люди, всем своим товарищам и по Академии художеств и по полку позволявший называть себя попросту Ваней, он не удивился бы теперь, если бы Ваней назвал его вдруг нечаянно и «прирожденный мошенник», его жилец.

Он представил себе, как, если не сегодня, то непременно завтра, прислуга отца принесет сюда дров из отцовского сарая и затопит здесь печку и, пока будут гореть дрова, сотрет со всей мебели и подоконников пыль. Тогда он вновь приспособит под постель свою широкую оттоманку и перейдет на «свой хлеба», лишь бы удалось найти какую-нибудь работу или продать что-нибудь из своих картин.

Закрыв снова свой этаж на замок, Ваня пошел к отцу,— теперь уже как художник к художнику, причем художник куда более зрелый, чем четыре года назад, когда он приехал сюда из Риги с цирковой акробаткой, немкой Эммой Шитц, и когда купил здесь по дешевке, хотя и старый, но все-таки двухэтажный дом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Когда дочь полковника, Наталья Львовна, вышла замуж за арендатора каких-то каменных карьеров и известковых печей Федора Макухина, то первая, кто удивился ее поступку, была она же сама. Но с каждым может случиться, что неожиданно для себя он вдруг сделает плохо обдуманый, однако важный в своей жизни шаг, а потом не знает, как выбраться из трясины, в какую попал...

Когда Наталья Львовна делала опрометчивый шаг свой, она как бы хотела показать тому, кто пренебрег ею, что у нее есть своя ценность, что она замечена другим, что она не осталась старой девой. И она не бедна теперь: у нее есть свой дом, и муж ее, пусть он и не так хорошо образован, заявил во всеуслышание, что будет делать большие дела вместе с нею.

Война помешала этим его «большим делам», но война когда-нибудь должна же будет окончиться, тогда-то и начнутся «большие дела».

Что это за «большие дела», она не знала, но понимала только, что нужна своему простоватому мужу для этих дел так же, как вдохновение необходимо художнику.

И вдруг — война, и муж ее оторван от всяких дел, на нем рубаха защитного, тускло-зеленого цвета с унтер-офицерскими погонами, и все, чем он занят теперь, называется «каптенармус».

Порывистая по натуре, она всю жизнь, пока еще недолгую, куда-то рвалась, но война, взяв от нее и отца и мужа, оставила ее с беспомощной слепой матерью, от которой куда же можно было уйти?

Жизни не было, а что же было? Как бы сон, затянувшийся на года.

Слепая мать, которая прежде говорила мужу, полковнику в отставке: «Ты от меня не уходи, а то мне в темноте страшно одной», теперь то же самое говорила ей. И если отец отвечал ей бывало: «Куда же я от тебя уйду? Ты — крест мой», то дочь отвечала кротко: «Ухожу только по делам и то, когда ты ложишься спать».

Наталья Львовна стала кроткой, притушенной как лампа с подкрученным фитилем. Оставшаяся на ее заботах слепая мать давала ей оправдание жизни.

После того как благодаря стараниям мужа было привезено в цинковом гробу для похорон на здешнем кладбище тело отца, ее неотступно преследовала мысль, что вот-вот сообщат, что убит муж, старший унтер-офицер Макухин Федор. Тело его не привезут, конечно, — схоронят в большой общей могиле рядом с другими убитыми, но написать ей об этом из канцелярии полка должны, — так она думала.

Такой же притушенной, как сама Наталья Львовна, становилась день ото дня заметнее и ее мать. Теперь она пила только чай — пива ей не покупали: никакие гости не приходили больше в их дом, в преферанс играть было не с кем; даже и просто поговорить о чем-нибудь не с кем было. Только иногда Наталья Львовна читала ей из газет телеграммы с театра военных действий, но чем дальше, тем все меньше и меньше они ее занимали.

И вдруг, после одного из таких чтений, слепая сказала проникновенно:

— Ох, Наташечка, мой дружок... Кажется, я уж умирать начала!..

Многое поняла Наталья Львовна в этих неожиданных словах матери и испуганно начала целовать ее в незрячие глаза.

Но слова эти стали повторяться, только короче — теперь мать говорила убежденно:

— Чувствую, что умираю...

И в конце ноября, в дождливое подслеповатое холодное утро, она уже не проснулась. А с вечера, когда ложилась спать, проговорила многозначительно:

— Освобожу тебя скоро...

Наталья Львовна не поняла ее и переспросила, а в пояснение услышала:

— От себя освобожу... вот что...

И освободила. И это было как раз в то утро, когда Наталья Львовна, ходившая на базар вместе с прислугой Пелагеей, купила полдюжины бутылок пива.

После похорон матери, когда Наталья Львовна угощала обедом пригт, пиво это выпил дьякон Никандр.

А когда окончился обед и Наталья Львовна осталась одна, ее охватила непередаваемая словами пустота.

В одной комнате пусто, в другой — пусто, в третьей — пусто... Пустой дом и чужой. Пока жива была мать, хотя и слепая, хотя и немощная, все-таки дом был свой, — таким он казался ей... И вот все оборвалось.

Дом был Федора Макухина, ее мужа, а если он уже убит теперь, и она только пока не знает об этом? Тогда неизвестно, чей это дом, только не ее... Она не успела к нему привыкнуть.

Своего дома не было никогда и у ее отца; к своему дому никогда и раньше не стремились ее мысли.

Однажды, когда она была еще девочкой, случилось видеть большое грачиное гнездо на старой осине. Особого искусства не показали грачи, строя свое гнездо из сухих прутьев. Но все-таки гнездо это держалось, как ветры ни раскачивали осину. И это был законный их грачиный дом, вот именно этой пары грачей. А в свой дом ввел ее Макухин, как раньше вводил ее в номера гостиницы, в которой тоже было все для нее чужое.

Чужою была для Натальи Львовны и ее прислуга Пелагея Позднякова, незадолго до смерти матери нанятая ею, так как прежняя прислуга уехала к себе домой в Орловскую губернию.

У Пелагеи к тому же были какие-то недобрые глаза. Было ей лет сорок, глядела она, низенькая, исподлобья, а улыбаться как будто даже никогда не умела: по крайней мере Наталья Львовна не могла приметить ее улыбки.

После смерти матери Наталье Львовне стало даже как-то жутко оставаться в пустом доме вдвоем с Пелагеей, и на ночь она запирала дверь, ведущую из комнат на кухню.

Иногда, просыпаясь по ночам, она замечала, что щеки ее мокры от слез, хотя не могла вспомнить, что же такое печальное видела она во сне, от чего нельзя было не заплакать.

После смерти матери у нее не было желания с кем-нибудь поближе познакомиться, пригласить кого-нибудь к себе в гости, пойти к кому-нибудь самой.

Стараясь разобраться в том очень запутанном и сложном и страшном, что происходило в мире и называлось мировой войной, она читала газеты. Однако или в газетах не писали того, что надо было ей узнать, или она сама неспособна была понять в газетах то, что таилось в них между строчками, только непонятное так и оставалось для нее непонятным.

Непонятно для нее было и то, что муж ее присылал ей время от времени подписанные им чеки на местный банк, и чеки эти были не очень крупные, так что ей приходилось жить поневоле расчетливо, к чему она совершенно не привыкла.

В этих скупых чеках она видела недоверие к ней мужа. Но в то же время никаких дел его она вести не могла, и они сами собою зачухали.

Похоронив мать, она стала часто ходить в церковь, куда усиленно гнал ее испуг, страх смерти, врывавшейся к ней так неотвратимо.

В здешней церкви во имя Федора Стратилата не было ничего такого, чего она не видела бы раньше в других церквах, но она сама теперь была иной — гораздо более, чем когда-либо раньше, податливой к тому, что внушала церковь. Кроме того, здесь, на левой стороне, висела как икона большая копия с хорошо известной ей картины художника Семирадского «Христос у Марфы и Марии».

Эта картина-икона заставила ее вспомнить о другом известном художнике — Сыромолотове, сына которого она нечаянно встретила

в симферопольской больнице года три назад, у койки того, кого любила тогда, — Ильи Лепетова, раненного Алексеем Ивановичем Дивеевым, мстившим ему за смерть своей жены Вали.

И теперь, когда она смотрела на картину Семирадского, перед нею неотступно стоял уже не Илья, а почему-то Ваня Сыромолотов, молодой богатырь, несокрушимый на вид.

Как вышедший из земли слабый стебелек вьюна ищет по сторонам, на что бы опереться ему, вокруг чего бы обвиться, чтобы вслед за большими сердцевидными листьями распустить красивый колокольчик — цветок искрасно-розово-лиловый, так и Наталья Львовна, оставшись совсем одинокой, искала в памяти, не находя вблизи себя, кого-то каменно-крепкого, к которому не смела подходить смерть...

О том, что Ваня мог быть взят в армию, как очень многие, ей почему-то не думалось. До нее дошло, что Алексей Иванович, стрелявший в Илью, был убит где-то в Галиции, но он пошел в армию добровольцем, его могли бы не взять в ополчение как больного. А насчет Вани Сыромолотова была почему-то прочная уверенность, что он недалеко от нее, в том же городе, где живет и его отец. Когда во время всеобщей упала свеча на картину-икону, Наталья Львовна уверила себя, что это именно ее свеча упала и заставила подумать даже о художнике, который мог бы помочь в беде. Она хотела даже ехать с дьяконом, но Никандр остановил ее резонными словами: «Зачем же вам тратиться зря? Авось художника этого я с помощью божьей и один уломаю».

Когда он вернулся, довольный своей удачей, она спрашивала его, видел ли он сына Сыромолотова, и опечалилась, когда тот ответил, что не видел.

И как же могла она утерпеть, не прийти в церковь посмотреть на отца Вани? Очень поразило ее, когда узнала она от Алексея Фомича, что его сын также служил в армии, был на фронте, где и ранен; и очень обрадовало, что он освобожден теперь и обещал скоро приехать. Еще неизвестно было, приедет ли, и гораздо менее известно, как можно будет ей хотя бы увидеть его, но она уже чувствовала, что оживает.

Еще страшно было, проснувшись среди ночи, ощущать, что она одна во всем доме, и не в своем доме — в чужом, она никак не могла привыкнуть к мысли, что это ее дом; еще слезы тут же наполняли глаза и скатывались по щеке на подушку, но уже рождалось что-то вроде светлеющих при утренней заре полосок между окнами и ставнями — скоро должен приехать сын Сыромолотова!..

Ей даже не казалось странным, что так любимый ею прежде Илья Лепетов, около койки которого в больнице сидел сын Сыромолотова, как будто растерял все свои яркие тона, выцвел, потускнел в ее глазах, а о муже в такие часы она даже и не думала совсем. Теперь каким-то непостижимым для нее самой наваждением представлялось ей, что она — жена унтер-офицера Федора Макухина и бережет для него дом, в котором живет.

Никакой привычки к мужу у нее не было и прежде, так что нельзя было бы сказать, что она от него отвыкла. Когда приходили от него письма с грубыми ошибками и без знаков препинания, она стыдилась показывать их кому-нибудь, хотя и не рвала: клала в стол — пусть себе лежат.

День ото дня яснее складывалось в ее голове несколько слов, имевших, по ее мнению, очень большой смысл: одиночество для молодой женщины — совершенно непереносимое состояние...

И никого не было около, с кем можно было бы хотя бы поговорить.

Соседка ее, чахоточная старуха Боярчук, вдова почтового чиновника, не умевшая читать и похожая на цыганку, промышляла гаданием на картах и все набивалась ей погадать о муже, и в ней нажила врага, так как она говорила, что в гаданья не верит.

А соседкой с другой стороны была Мелешко, жена плотника, плотник промышлял где-то в деревне поблизости и приходил домой только по воскресеньям и спал целый день, так как пить было нечего. А Василиса Егоровна, его жена, если о чем и могла говорить, то о своем коте черной масти с белой «душкой», которого нежно звала «Коточка-Проточка». Нахвалиться им она никак не могла: он и будил ее по утрам, стаскивая с нее одеяло, он и «звал ее на двор, если заходил кто-нибудь чужой: мяукал, глаза страшные делал и хвостом водил!»... Он до того был к порядку приучен, что даже колбасу не трогал, если ему не давали... Но он часто убегал из дома, и Василиса Егоровна ходила по соседским дворам и звала его: «Коточка-Проточка! Коточка-Проточка!»

Летом очень надоедал своим визгом поросенок, которого Василиса Егоровна привязывала к колу посредине двора. Осенью визг затих, и Василиса Егоровна горестно жаловалась Наталье Львовне: «Намерение мое иное было: откормить, а к Рождеству резать! Ну, что ты будешь делать, когда кормов нигде нет, вот оно когда, горе-то горькое, явилось!..»

Наталья Львовна ходила в библиотеку читать журналы, и однажды она увидела в библиотеке нового для нее человека, лет сорока пяти, в черепаховом пенсне и с остроконечной бородкой чалого цвета. Он делал в записной книжечке какие-то выписки из книг, почему Наталья Львовна приняла его за журналиста. С первого на него взгляда чем-то напоминал он ей Алексея Ивановича Дивеева, о котором она знала, что он убит на фронте, в Галиции. Этот был также лыс, как и Алексей Иванович, но ниже ростом, и никакой стремительности, как у того, не было в его движениях. Так как она внимательно приглядывалась к нему, то он потом еще внимательнее и дольше глядел на нее. Наталье Львовне стало неловко, и она поспешила уйти, не спросив у библиотечарши, кто бы это мог быть.

Но на другой же день, когда она сидела на набережной на скамейке, перед войной окрашенной в голубой цвет, а теперь ставшей почти белой, и глядела на чаек, носившихся над морем, к той же скамейке подошел человек в черепаховом пенсне и серой шляпе и, сняв на отлет шляпу, просил почтительно позволения сесть рядом.

Наталья Львовна кивнула головой, хотя и не знала, чем она привлекла его внимание. Садясь, он заговорил:

— Я приехал сюда для изучения здешних памятников старины... Мне кажется, что и вы здесь в тех же самых целях, а? Или я ошибся?

— Да, вы ошиблись,— спокойно сказала Наталья Львовна.— Я здесь живу вот уже три почти года и ни о каких памятниках старины не думала. Кажется, их здесь и нет даже.

— Ну как же нет! А генуэзская башня? — изумился он ее легкомыслию и даже реденькие белесые брови вздернул.

— А да, это, где голубей всегда много? Там у них, должно быть, гнезда... А еще какие памятники?

— Есть еще каменная стена на горе Кагель,— поспешно ответил он.— Это, видимо, остатки крепостной стены: ведь слово Кагель с итальянского взято и значит «крепость». Затем я еще нашел тут в окрестностях, в Кизилташе, что значит по-татарски «красный камень», в монастыре, две колонны из цельного камня: они древней работы. Они круглые, книзу шире, а кверху уже, и без капителей...

Очень древней работы. Может быть, и не здесь даже их делали, а сюда только привезли откуда-нибудь из Малой Азии, например из Синопа, родины философа Диогена... Могли, конечно, сделать такие колонны и в Херсонесе — там были в старину хорошие мастера.

— Да, вот... В Херсонесе, конечно, есть древности, а не у нас, — встала Наталья Львовна.

На что он отозвался очень оживленно:

— Был, был я там, — а как же! Я две недели там жил... Там сохранилось несколько колонн, только они на цементной кладке и оштукатурены цементом... и с капителями... Но в общем, должен сказать, сохранилось там мало... И музей тамошний — очень бедный музей по своим экспонатам... очень бедный... Это, конечно, в связи с постройкой Севастополя, куда самым откровенным образом свозили из Херсонеса камень... Ведь Херсонес теперь — что же он такое? — пустыня. Очень жалкая картина, очень... В Балаклаве, при входе в бухту, была крепость, но от нее теперь осталось одно грустное воспоминание...

Наталья Львовна поняла, что рядом с нею человек, действительно увлеченный далекою стариною, и сказала:

— В Судак, мне говорили, уцелела генуэзская крепость, сама я там не была и не видала.

Напоминания о крепости генуэзцев в Судак было достаточно, чтобы воодушевить его.

— Это — замечательный памятник, замечательный! И я там уже был и сделал снимки... Я в первую голову именно туда и поехал из Феодосии. А в Керчи я осмотрел церковь седьмого века во имя Иоанна Богослова... Седьмого века, вы представляете? Маленькая, низенькая, вроде часовни. Снимки этой церкви я сделал, у меня есть. Совсем маленькая! На сколько же человек? Ну, не больше, как на двадцать, не больше! В Херсонесе тоже откопал одну такую церковь, то есть пол, конечно, из каменных плит... Удивительно маленькая тоже! Как же это прикажете понимать? Христиан ли тогда было так мало, или это были частные церкви, домашние, так сказать, богатых людей, а? Вы как думаете?

— Совершенно никак, — сказала Наталья Львовна.

— Второе предположение, конечно, вероятнее, — как бы не заметив тона собеседницы, продолжал знаток старины.

Наталье Львовне представился Алексей Иванович Дивеев, архитектор, и она сказала:

— Вас, стало быть, интересует старинная архитектура?

— Вообще искусство, а в частности, разумеется, архитектура, как более долговечное искусство... Я — искусствовед... Пишу книгу об искусстве Крыма... А родом я москвич, Жемарин моя фамилия, имя-отчество — Николай Андреич...

И, назвав себя, он посмотрел так испытующе на Наталью Львовну, что той пришлось отозваться.

— Не встречала, простите, вас в журналах... Впрочем, я ведь мало читаю, редко когда... Я домовладелица здешняя... и только... И больше нет у меня никаких достоинств. Когда-то была у меня подруга по гимназии... Встретились мы с нею потом через несколько лет, спрашиваю ее, чем занимается, а она мне вдруг: «Китайской живописью XVI века!»... Я, конечно, чуть в обморок не упала: явно с ума сошла!

— Китайской живописью XVI века? — повторил Жемарин. — Это идеально... Но позвольте: какие же художники были в Китае в XVI веке?

— Ну уж не знаю я таких тонкостей, это вам знать, а совсем не мне.

И, найдя, что и так очень долго говорила о том, что ее совсем не занимало, Наталья Львовна поднялась, сослалась на то, что у нее дела по хозяйству и простилась с искусствоведом так, видимо неожиданно для него, что он не решился провожать ее: постоял около скамейки, посмотрел ей вслед и, когда она свернула с Набережной в переулок, медленно пошел в направлении, взятом им раньше...

Наталья Львовна пришла к себе домой, возмущенная этим Жемариным, мысли которого витают где-то около церкви седьмого века и колонн, вытесанных из цельных камней, может быть две тысячи лет тому назад, где-нибудь в Синопе. Она даже и Пелагее, подававшей на стол к обеду, сказала с сердцем:

— Какие еще люди есть — прямо удивительно! Идет война, убивают столько людей, все уничтожают — понимаете? — все дочиста, а они, Жемарины какие-то, приезжие из Москвы, скорбят, о чем же, скажи пожалуйста? О том, что у нас в городе не геноуэзцы!

— Шпиёны, значит? — догадливо заметила Пелагея.

— Не шпионы, а сумасшедшие! Не иначе, как в сумасшедшем доме в Москве сидел, а по случаю войны выпустили.

— Значит, из богатых: откупился, вот и выпустили,— догадалась Пелагея, гремя тарелками.

Не было никакой надобности, по мнению Натальи Львовны, так греметь тарелками, но Пелагея, видимо, считала это совершенно необходимым, и тарелки у нее всегда гремели.

Разговор об искусствоведе из Москвы на этом и кончился, но на другой же день и тоже на Набережной Жемарин встретился Наталье Львовне снова и, держа на отлете шляпу в левой руке, сказал восторженно:

— А в Петрограде — читали? — что-то вроде беспорядков.

Наталья Львовна не успела еще узнать об этом, и он продолжал:

— Усмирят, конечно, в этом не может быть сомнения,— там большой гарнизон и полки гвардейские... Но все-таки — как вам это понравится?

— Что же собственно там происходит?

— Рабочие бросили работу и вышли на улицу... Точнее, на улицы, так как рабочих много в Петрограде...

— Забастовка?

— Да, разумеется, а как же еще можно это понять? Только ведь заводы казенные, военные,— забастовка во время войны... Это как называется?

У Жемарина был даже несколько испуганный вид и, чтобы успокоить самого себя, он добавил:

— Усмирят, конечно, однако чего будет стоить даже час такой забастовки в военное время, а не то чтобы целый день: ведь снаряды фронту нужны как хлеб, а их, значит, вовремя не доставят — вот чем это угрожает. У нас забастовка рабочих, а этим воспользуется противник и нападет. Наконец, это плохо подействует и на солдат на фронте, а?

— Что же все-таки за беспорядки?

— Будто в продуктовых магазинах и в булочных бьют витрины, грабят и тут же хлеб едят...

— Значит, голод выгнал их на улицы?

— Это заранее обдуманый был, конечно, шаг — поверьте! — И Жемарин приложил руку к сердцу.— Голода, конечно, нет, а только приказано им было кричать: «Хлеба! Хлеба!» — вот и кричали.

— Кто мог им приказать это? — удивилась Наталья Львовна.

— Да ведь план беспорядков разрабатывался опытными в этом деле людьми... По-нашему с вами «беспорядки», а по-ихнему — «старый порядок»...

— «По-нашему с вами», вы говорите? — вдруг спросила Наталья Львовна.— Нет, я думаю, что если люди громят булочные и тут же едят хлеб, то это значит, что они голодны. Сытые не станут есть лишнего!.. Кроме того, я вчера читала в газетах, что там на иных заводах нет каменного угля, а как же можно работать на заводе, если нет каменного угля? А уголь там откуда, не знаете?

— Из Донецкого бассейна, конечно.

— Вот видите! Оттуда его надо привезти в Петроград по железным дорогам, а для паровозов тоже надобен уголь.

— А как же иначе! — согласился он.

— А тех, кому уголь приходится добывать, убивают на фронте. Спрашивается: откуда же возьмется уголь?

— Введено военное положение,— сказал Жемарин вместо ответа.

— Может быть, кричали и чтобы переговоры о мире начать? — спросила Наталья Львовна.

— Ну, уж это ведь дело правительства, а не...

— А не тех, кого убивают? Так вы хотите сказать? У меня отец убит на войне. И мать моя умерла недавно!.. А муж, может быть, тоже убит, только до меня это пока не дошло, так как не офицер он, а то, что называется, «нижний чин»!

Все это Наталья Львовна выговорила без передышки и пошла, едва кивнув головой Жемарину. Она пошла к газетному киоску и, не отходя от него, пробежала две столичные газеты и листок телеграмм.

— Усмирят или нет? — спросила она газетчика, и тот поглядел на нее исподлобья, погладил лохматые рыжие с проседью усы и ответил с большой серьезностью:

— Их как мурашей там!

— Кого «их»? — не поняла Наталья Львовна.

— Рабочего сословия — вот кого... Как мурашей, говорю! А нешто мурашей всех передавишь?

— Так что, вы думаете, победят рабочие?

Газетчик присмотрелся к ней, хотя почти каждый день ее видел, и ответил многозначительно:

— Всего можно ожидать по настоящему времени!..

И Наталья Львовна отошла от него, почему-то радостно встревоженная.

— Ну, в Петрограде что-то такое затеялось! — сказала она Пелагее, вернувшись домой.

— Заварюха, что ль? — насторожилась Пелагея.

— Какая «заварюха»?

— А вот какая в японскую войну была.

— Заварюха так заварюха... Однако там войска много... Посмотрим, как дальше пойдет эта заварюха. Завтра не прозевай телеграмму, купи. Или лучше я сама пойду: я сказала газетчику, чтобы для меня одну спрятал, никому другому не продавал. Авось не забудет.

В газетах, которые купила и принесла домой Наталья Львовна, о «заварюхе» ничего не говорилось, но никогда с таким вниманием не читала она газет, стараясь выяснить, что могло привести к «беспорядкам», начавшимся неожиданно. Она чувствовала, что в жизнь ее, как и всех кругом, вошло вдруг что-то очень большое, чего задавить, усмирить, уничтожить нельзя, и с вечера долго не могла заснуть.

И это не война где-то там, в Галиции, или в каких-то Августовских лесах, или в болотах Восточной Пруссии,— это в своей столице, которую совсем недавно, в силу ярко вспыхнувшего патриотизма, называли, наконец, по-русски — Петро-град,— а то двести лет слишком называлась она то Санкт-Петербурх, то Санкт-Петербург, то короче — Петербург. Теперь в этом русском уже городе заговорили, наконец, по-русски: «Хлеба!.. Хлеба!.. Хлеба!..» Во множестве вышли на улицы женщины, которым нечего есть самим, у которых голодают дети. Как же воевать дальше, если нечего есть даже в столице? И почему не подумали раньше, когда начинали войну, что солдаты не пашут, не сеют, а только едят готовое? И кто же теперь пашет и сеет и убирает хлеб по деревням? Старики, женщины, ребята? Прежде они помогали, но «кормильцами» семей их никто не называл: кормильцы теперь там, на фронте, где и ее муж, полковой каптенармус Макухин, хотя и старший унтер-офицер, с тремя басонами на погонах, но все же «нижний чин», которому говорят «ты» все офицеры...

— Ну что? Усмирили? — спросила Наталья Львовна газетчика, когда утром брала из его рук оставленный для нее листок телеграмм.

— Ку-у-да! — сказал газетчик, сияя, и махнул рукой.

— Ну вот!.. То-то... Это хорошо! — вырвалось у Натальи Львовны.

— Чего лучше,— в тон ей отозвался газетчик. Тут он поглядел кругом, понизил голос почти до шепота и добавил: — Прекращение войны может быть из-за этого дела — вот что!

И потом с каждым днем все веселее становился этот, суровый с виду, как школьный сторож, газетчик, а третьего марта он уже по-приятельски подмигнул ей, когда подошла она за телеграммой, и сказал громко:

— Отрекся — заставили! Сняли с престола!

— Ура! — вскрикнула неожиданно для себя самой Наталья Львовна.

— Ура-а! — крикнул и газетчик. Потом он снял левой рукой картуз, а правую протянул ей: — С чем вас и поздравляю.

Весь этот день был праздником для Натальи Львовны, притом таким, какими бывают праздничные дни только в детстве. Удивило ее и то, что также приподнято чувствовали себя и другие; однако были и недовольные. Об одном таком рассказал ей почтальон Пантелеймон Дрок. Этот красноглазый, дюжий крепыш лет под пятьдесят был вообще разговорчив, когда приносил ей почту, но в этот день, принеся письмо от Федора, он был особенно многословен.

— Вот случай какой со мною вышел на почте, прямо мне даже самому удивительно, до чего я осмелел!.. Приходит к нам на почту сдавать письмо заказное действительный статский советник Аверьянов, хотя в отставке теперь считается, но все равно форму свою носит. Глядит на стенку, а там портрета царского нема-а! Сняли! Я сам сымал утром, как телеграммы получили. Своими руками сымал, вот! — и протянул Наталье Львовне обе руки.— Как заорет советник этот: «Как смели портрет царский снять! Как смели! В острог вас за это!» А я ему: «Чего орете зря, когда он от царского звания отрекся!» — А он палку свою поднял на меня! А я, все одно, как тот чертик с рожками, какого на иконах малюют, верчусь, за людей прячусь, а сам кричу: «Отрекся! Отрекся! Отрекся!..» Вот до чего осмелел!.. Ну, тут другие ему тоже со всех сторон: «Раз царя теперь нету, портреты его на чердак — там их место!» Палку у него отняли, а самого на скамеечку посадили. Был царский советник он и в форме ходил, а теперь он куда?.. Ну, извиняйте и с тем до свидания — в разноску идти мне надо!..

Письма от Федора приходили с большим опозданием, и это письмо было еще от 15 февраля, когда все солдатские письма читались. Кончалось оно обычными словами: «Здоров, слава богу, чего и тебе желаю»...

Прошло еще с неделю, все дни один другого необычайней. Жемарин не встречался Наталье Львовне в эти дни, и она думала, что он совсем уехал из Крыма.

Но вот как-то, уже в середине марта, выйдя в сумерки купить хотя бы медовых пряников к чаю — сахару уже не продавали, — Наталья Львовна увидела Жемарина в лавке, — он тоже покупал медовые пряники, которые были нарасхват.

Из лавки они вышли вместе. На улице было уже темно, и Жемарин сказал:

— Как угодно, Наталья Львовна, но я обязан проводить вас до вашего дома.

Так как ей хотелось узнать, где он был эти дни, она пошла с ним рядом, говоря:

— Вы куда-то скрылись, и я подумала, что уехали к себе в Москву.

— Не только в Москву, никуда вообще не уезжал, — сказал Жемарин, — но, во-первых, мне нездоровилось, а во-вторых, я приводил в порядок, что писал урывками, на клочках... Случайно мне удалось купить тетрадь в целую десь, — туда я и переписал и планы раскопок, и свои зарисовки... Судакскую крепость, например, я зарисовывал с нескольких точек, — и она того стоит, — это редкостный памятник искусства!.. А делать все это я мог только при дневном свете... У моих хозяев имеется моргалка, а керосину нет... Говорят, в церкви здесь свечки были еще с месяц назад, а теперь уж и там нет...

— Да, теперь уж негде достать и восковых свечек, — согласилась Наталья Львовна и добавила: — А если даже восковых свечек не достанешь, то кому же будет нужно, что вы пишете о всяких крепостях генуэзских?

— Сейчас, конечно, кому же нужно, это так... Но как только жизнь войдет в норму...

— Чего вам, пожалуй, придется долго ждать, — вставила Наталья Львовна.

— Долго ждать?.. Не думаю... нет, я так не думаю. — Тон Жемарина был решителен и даже как будто немного насмешлив. — Великий князь Николай Николаевич пришлет согласие занять трон, и все восстановится очень быстро — вы увидите.

— Позвольте, что вы! Ведь ему же предлагали князь Львов и Родзянко, и он уже отказался, — разве вы не читали в газетах?

— Пустяки! Отказался сегодня, согласится завтра, под давлением обстоятельств... Да ведь и союзники наши заинтересованы, чтобы в России была крепкая власть, а не какая-то там республика! Не кто во что горазд, а «мы, милостию божией» и так далее... указом «повелеваем» и тому подобное.

Так странно было слышать это Наталье Львовне, что она поспешила проститься было с Жемариным, но тот обиделся:

— Чуть ли не две недели я не видел вас, и вы не хотите позволить мне довести вас до вашего дома? За что же такая немилость?

Идти оставалось совсем недалеко, и Наталья Львовна дошла рядом с ним до дома, но тут Жемарин сказал просительно:

— У вас, наверно, есть что-нибудь вроде лампы, Наталья Львовна? Надеюсь, вы разрешите мне посидеть немного около лампы вашей, дадите мне стакан настоящего чаю, а?

Наталья Львовна не успела ничего ему ответить. Она в это время

стучала во входную дверь. И вот дверь отворилась, но когда вслед за Натальей Львовной в темную прихожую втиснулся и Жемарин, то чьи-то сильные, совсем не женские руки так толкнули его обратно на улицу, что он упал, хрипло вскрикнув. Вскрикнула и испуганная Наталья Львовна, но тут же щелкнул замок, вспыхнула зажигалка, и она увидела перед собою своего мужа, Федора Макухина, которого узнала, хотя он был не в служебной шинели, а в черном штатском пальто.

2

Насколько могла рассмотреть Наталья Львовна при слабом свете желтого колеблющегося язычка зажигалки лицо Федора сделалось одутловатым, раздался в стороны нос и вполне фельдфебельскими стали усы.

Однако испуг, охвативший Наталью Львовну, был до того силен, что она только дрожала всем телом, а из ее открытого рта не вылетало ни одного звука. В себя пришла она, когда Макухин, оставив левую руку с зажигалкой, обнял ее правой, сказал:

— Ну, теперь здравствуй, Наташа,— и ткнулся волосатыми губами в ее щеку.

Потом он взял ее под руку и повел в столовую, где горел огарок стеариновой свечи, воткнутой в горлышко бутылки, и стоял начищенный толченым кирпичом самовар.

Только теперь, в столовой, сказала Наталья Львовна тихо, почти шепотом:

— Я сяду... я не могу стоять...

И она опустилась на стул совершенно бессильно и заплакала вдруг, а появившаяся в это время с тарелками Пелагея тоже вполголоса заговорила:

— Ничего, Федор Петрович, ничего, пусть... Это они со страху так... Это ничего...

Однако Федор спросил ее и не шепотом, а в полный голос:

— А этот, в шляпе,— он часто ходил сюда без меня, а?

— Ка-кой «в шляпе»? — удивилась неподдельно Пелагея.— Никто ни в шляпе, ни в картузе,— это вы напрасно, Федор Петрович!

— Ну, стало быть, это черта толкнул я сейчас,— зло сказал Макухин.

— Неуж в самом деле толкнул кого? — хлопнула себя по крутым бедрам Пелагея.

— Не иначе черта! — повторил Макухин, и только после этого подняла на него мокрые негодующие глаза Наталья Львовна и проговорила:

— Как тебе не стыдно так!.. Как тебе не стыдно!

Федор не сразу отозвался на эти первые слова жены, он повздыхал и сказал, глядя в пол перед собою:

— Поэтому черт...— но тут же обратился к Пелагее: — Посмотри поди, отвори двери,— упал ведь, я явственно слышал,— может, и теперь лежит, тогда его сюда втащим с тобой, разглядим, как следует, какие черты бывают.

Пелагея тут же пошла в переднюю, но следом за нею, быстро поднявшись со стула, пошла и Наталья Львовна.

Федор тоже поднялся, подождал, пока она выйдет из столовой, и тяжело тронулся с места. Когда он вошел в переднюю, Пелагея, отпершая дверь, говорила Наталье Львовне:

— Похоже, никто не валяется... Может, дальше где?

И вышла на улицу.

Наталья Львовна чувствовала, что рядом с ней стоит Федор. И с минуту было так, и не навертывалось ни единого слова: острая обида отшвыривала все слова.

Но вот вошла Пелагея, буркнула: «И дальше никто не валяется!» и закрыла дверь. Только тогда щелкнул зажигалкой Федор, выходя первым из передней в столовую, и сказал угрюмо:

— Раз он черт, этот в шляпе, он валяться не должен, а должен он ускакать на своих козлиных ножках куда подальше.

— Черта этого фамилия Жемарин,— отчетливо отозвалась на это Наталья Львовна.— Он искусствовед, чего ты не понимаешь, и чего тебе втолковать нельзя... Он меня провожал сюда из лавки, как это делают порядочные люди, и ты завтра же извинись перед ним за свой дикий поступок.

— Я чтоб? Извиняться? Держи карман! — крикнул Федор.— А как он сюда сам заявится, то увидишь, как я ему морду набью!

— Таким, какой ты теперь, Федор, я тебя не видела,— скорее с удивлением, чем с обидой в голосе, сказала Наталья Львовна.— Ты не таким зверем уезжал отсюда, каким вернулся. Ты очень озверел там, ты знаешь?

— Еще бы не знать,— кивнул головой Федор.— Там нет человека, какой бы не озверел,— на то он и называется фронт. Убивают там людей, или что с ними делают? В лапту, что ли, играют? Убивают, как последнюю сволочь, какой жить — зачем?.. Незачем! Вот!..

— А почему ты в пальто, а не в шинели? — вдруг спросила Наталья Львовна.

Федор поглядел строго на Пелагею и сказал:

— Сделала одно свое дело, иди делай другое,— чего зря стоишь?

— И то зря стою,— согласилась Пелагея и ушла, но дверь хлопнула громче, чем могла бы.

Федор подождал немного, прислушиваясь к ее шагам, потом придвинулся на шаг к жене и сказал вполголоса:

— Потому я в штатском, что войну со своей стороны я самовольно кончил... чтобы свои от большого ума меня не убили — вот!

— То есть, другими словами... ты, значит, просто бежал! — с нескрываемым презрением и на лице и в голосе сказала Наталья Львовна и добавила: — Ты, значит, не больше и не меньше, как дезертир?

— Все бегут оттуда, поняла это? — выкрикнул Федор.— Там теперь никакой не фронт, а настоящий ад крошечный! Никто никакого начальства не слушает и даже чести генералам не отдают,— какое же это теперь войско? Это называется сброд, а не войско, как никакой дисциплины военной там нет!.. А за военные действия кто из офицеров если скажет — ну уж в живых его тогда не ищи!.. «Дезертир»! — протянул он.— Вон чем напугала! Теперь ты поняла, зачем я шинель бросил, а пальто купил. Поняла?

— Поняла,— ответила она и отвернулась.

— Не понравилось тебе, значит, что я приехал? Хотелось тебе, значит, чтобы меня ухайдакали?

— Нет, этого мне не хотелось!

С такой искренностью вырвалось это у Натальи Львовны, повернувшейся теперь к мужу, что Федор не мог не поверить ей, и он отозвался на это, качнув головой:

— Как по тебе заскучал я там, об этом не говорю: писал же тебе, должна была знать... А заместо того — вон как ты меня встретила!

И Федор не сел после этих слов на стул, а как-то рухнул и голову взял в обе руки.

Наталья Львовна сказала было:

— Ты меня встретил, а не я тебя...— но тут же поняла, что говорить этого было не нужно. Она села рядом с ним, так же, как он, опустила голову на руки и заплакала снова.

Так они сидели и молчали минуты три, и первой заговорила Наталья Львовна:

— Значит, ты вошел в дом, когда я только что ушла, а как же тебя впустила Пелагея?

— Ведь я же ей сказал, кто я такой.

— Хорошо, допустим... А как же ты разглядел этого Жемарина, не понимаю.

— Очень просто я его разглядел: стоял у двери и в прорез глядел на улицу... А на улице нешто так уж темно было? И разговор его я расслышал...

Наталья Львовна догадалась, о какой прорези говорил Федор: в двери была щель, а под нею с внутренней стороны ящик для писем и газет, и ей самой показалось странным, что такая мелочь почему-то сразу ее успокоила. Она поднялась и сказала теперь уже тоном жены и хозяйки:

— Ну что же,— значит, с приездом! Снимай пальто, садись к самовару поближе, будем чай пить... Я сладких пряников принесла, а чай у меня настоящий, не какой-нибудь.

Ей даже показалось, что надо было улыбнуться теперь мужу, но в улыбку — точно она забыла, что это такое,— никак не складывались губы.

— Все-таки мне не совсем понятно это,— заговорила Наталья Львовна, наливая стакан мужу.— Вот подошел к двери, постучался, вышла на этот стук Пелагея,— и как же она тебя пустила? Ведь так, согласишься с этим, она могла бы пустить и кого угодно, даже двух-трех грабителей. А ведь я ей сколько раз приказывала, чтобы она спрашивала: — Кто там?

— Она и спрашивала, а как же иначе? — объяснил Федор.— А я ей: — Это ты, Пелагея?

— Почему же ты знал, что ее зовут Пелагея? — удивилась Наталья Львовна.

— Вот тебе раз! — удивился и Федор.— Раза два мне в письмах ты ее имя называла, значит, об этом забыла? Она мне в ответ: Я — Пелагея, а ты кто такой? — А я говорю — твой будущий хозяин, Федор Петрович.— Врешь, говорит, наглая душа, Федор Петрович наш на фронте воюет.— Был, говорю, на фронте, точно, а теперь я здесь, только что приехал... Ну, она и отперла дверь. Вот как это получилось у нас с Пелагеей.

— Ну, тогда ее и спроси, бывал у меня этот в шляпе, Жемарин, или она его никогда не видела. При мне спроси!

Федор выпил полстакана горячего чая, потом вздохнул и сказал:

— Разве прислуга против своей хозяйки что сказать посмеет? Чудное дело! Она же за свое место будет опасаться... Об этом не беспокойся: я у людей спрошу, какие считаются посторонние.

Наталья Львовна поглядела на него изумленно:

— Да ты понимаешь, что оскорбляешь меня такими словами, или не понимаешь?

— Ну, какое же в этом может быть оскорбление,— отходчиво ответил Федор.— Твое дело молодое, и считалась ты солдатка, а солдатки — они уж известные...

Наталья Львовна долго глядела на него широкими глазами, наконец покачала головой и сказала:

— До чего ты поглупел там у себя на фронте за эти два с половиной года, что даже и слушать тебя противно! Не говори ничего больше!

Посидев за столом молча еще с минуту, она ушла к себе в спальню и заперлась там, а Федору через дверь сказала:

— Поди на кухню и вымойся там, а чистое белье достанет тебе Пелагея.

— Помыться с дороги, конечно, надо,— согласился с нею Федор, и она слышала, как он отошел от двери, а потом заскрипел стулом: значит, сел допивать чай.

Она прислушалась потом, пойдет ли он на кухню, и слушала, что он позвал Пелагею и сказал ей громко:

— Воды мне нагрей котел: купаться буду!

Хотя было еще рано, чтобы ложиться спать, но Наталья Львовна легла просто из боязни, что к ней постучится Федор, но он не постучался.

Она не зажигала своего ночника, хотя и боялась темноты. Для нее теперь не было темноты, до того ярко стояло перед глазами все то неожиданное, что она только что пережила.

И разговор ее с Федором продолжался здесь, в ее спальне, хотя сам Федор был в это время на кухне.

Ни смерть отца, ни смерть матери так не ошеломили Наталью Львовну, как смерть ее мужа, того Федора Макухина, которого она провела на вокзал, когда его вместе с полком отправляли на фронт.

Вернулся кто-то другой, а тот не то что бы убит, как был убит отец, а умер на ее глазах, вот теперь, и это оказалось очень страшно, почти непереносимо страшно.

Вышло так, что испуг, охвативший ее, как только отворилась входная дверь и совершенно необъяснимо выброшен был на улицу вошедший вместе с нею Жемарин, не покинул ее,— он продолжался потом в столовой, продолжался и здесь, в ее спальне, испуг непреодолимый, ошеломляющий!

Был два с половиной года назад привычный уже для нее Федор, Федор Петрович Макухин, по-своему неглупый, очень услужливый, ценивший ее над собой превосходство, благодарный ей за то, что снизошла к нему, согласилась стать его женой, и вот теперь явился вместо того Федора Макухина кто-то другой, похожий на него, только гораздо старше на вид...

Проблескивала мысль, что он не мог быть прежним — фронт вселился в него, но тут же отбрасывалась эта мысль как ненужная, только мешающая... Представлялся тот Федор, который на ялике в море стал было жертвой шторма, и какой он был, когда его спасали люди, работавшие у него на известковой печи... Представлялось, как он, чтобы отблагодарить рабочих за спасение своей жизни, дарил им вот здесь, в этом доме, в день свадьбы и печь эту, и постройки, в каких они жили, и как рабочие нашли этот подарок для себя обременительным и от него отказались.

Тогда она любовалась своим мужем, тогда он был ей понятен. Любовалась им и тогда, когда надел он блузу цвета хаки с унтер-офицерскими погонами: у него был тогда бравый вид настоящего защитника отечества, он был тогда в ее глазах воин в войске, в котором ее отец был в числе командиров,— именно воин, а не какой-то там «нижний чин».

И вот теперь он уже больше не воин, а дезертир, которого уважать

за что же? За то, что больше не хочет защищать ничего, даже того вот своего дома, который она берегла для него два с половиной года?.. Она берегла и сберегла, а он даже спасибо ей не сказал.

Она представляла себе любителя старинных построек Жемарина, и ее охватывал острый стыд за то, что так дико обошелся с ним ее муж. Догадался ли он, Жемарин, что именно неожиданно вернувшийся муж выбросил его на улицу? Не повредил ли ему руки или ноги Федор?.. А может быть, он подумал, что дом захвачен грабителями, и пошел заявить об этом в полицию?

Что ей утром надо уйти из этого дома, сразу ставшего ей чужим, к этому решению она пришла, когда сидела в столовой с Федором, но куда уйти, с чем уйти, об этом она думала теперь, в темной спальне, но ничего не придумала: некуда ехать, не с чем.

Ей представился единственный выход: завтра она скажет Федору, что от него уезжает, только просит дать ей на дорогу денег. Если он спросит, куда она поедет, то что может она ответить? Только одно ответить может: там видно будет, куда... Только так, потому что сама не знает куда...

3

На следующий день Наталья Львовна поднялась по привычке, когда начали белеть окна. Она спала в эту ночь мало, забылась только под утро. Встала она не то чтобы разбитой, но охваченной одним желанием — бросить дом своего мужа и этот городок, в котором прожила года три и где она как будто совсем не была собою. Как будто тянулся какой-то тяжелый полусон, но поняла она это только вчера...

Когда она вышла в столовую, то первое, что ее остановило, было новое в доме: кто-то спал на диване. Первой явилась именно эта мысль: какой-то чужой человек спит на диване, только через момент она поняла, что это — Федор, но иначе, чем о чужом, она не могла уже о нем думать. И чтобы не разбудить его, этого чужого, она на цыпочках прошла на кухню, стараясь не скрипнуть дверью.

Пелагея уже возилась около плиты, однако Наталья Львовна заметила, что смотрит она как-то по-новому. И сразу же зашептала Пелагея:

— Боязно мне стало теперь у вас, прямо вам скажу, — вот что боязно... И кажется так, что лучше всего будет мне от вас уйтить!

И хотя Наталью Львовну удивило то, что и Пелагея, как и она сама, решила за эту ночь куда-то уйти, она спросила с виду спокойно:

— Как это так уйти? Почему боязно стало?

— Да ведь вон какой приехал, — поспешно зашептала Пелагея. — И все меня допытывал, кто к вам сюда из мужиков приходил. — Никто, говорю, не приходил и даже нехорошо это с вашей стороны. — А он мне, — Федор Петрович-то, — кулак свой прямо к самому носу поднес, а? Это как? Хорошо это?.. А между прочим, требует, чтоб я никому, боже избави, ни одним словечком не проболталась, что он приехал, — вот как! Твое, говорит, дело такое: никого не видела, ничего не знаю! Вот твое дело! — Как же теперь, может, убил он кого, Федор-то Петрович, потому скрывается, а?.. Я, говорит, и на улицу даже выходить не буду, а только нешто когда стемнеет совсем, потому что ночью все кошки серые.

— Убивать-то он, конечно, никого не убивал, — медленно находя слова, сказала Наталья Львовна, — даже и на фронте, ведь он в нестроевых, полковой каптенармус... Он боялся, как бы его свои же солдаты не убили. Дисциплины теперь никакой на фронте, и никто начальства слушать не хочет... Вот почему многие уезжают...

— А говорить, стало быть, об этом все-таки никому нельзя? — еще более испуганно спросила Пелагея.

— Если Федор Петрович так... советует не говорить, то, значит, он понимает свое положение... Поэтому говорить никому и не надо.

— А если полиция спросит?

Такого вопроса от Пелагеи не ожидала Наталья Львовна, и, подумав, она сказала:

— Милиция спрашивать тебя не будет, а сама сюда придет, если ей понадобится!

Когда Наталья Львовна проходила через столовую обратно в спальню, то могла убедиться, что Федор спал крепко и что Пелагея напрасно шептала так таинственно.

То, что Федор, по словам Пелагеи, вынужден прятаться, как всякий дезертир, подняло Наталью Львовну в собственных глазах: правота была за нею, а не за ним,— ей прятаться ни от кого не было нужды. Выходило так, что не только Пелагея, но и она не должна была никому говорить, что в доме теперь ее муж. Между тем не зря Пелагея вспомнила о полиции: в домовую книгу должно быть вписано, что в доме Макухина живет с такого-то марта сам владелец дома Федор Макухин, и домовая книга с этой записью должна быть заявлена в милиции.

Федор спал долго: было уже двенадцать часов, когда он, наконец, заворочался на диване, загремел отодвинутым стулом и поднялся. Можно было понять, что ему мало приходилось спать в дороге, и она поняла это, когда одетый стоял он перед нею, виновато, по-двоевному улыбаясь ей, в то время как ее губы, как одеревенелые, не могли сложиться в улыбку. С минуту держалась на его лице, ставшем после долгого сна еще более одутловатым, эта виноватая улыбка и потухла. Он отвернулся к окну, и Наталья Львовна услышала глухим голосом сказанное им:

— Пока что ни одна душа не должна знать, что я здесь, потому, понимаешь, с моей стороны так надо, а по закону выходит незаконно. Между прочим, власти царской, которой я присягал, что буду служить верой, правдой, больше уже не существует, а другой власти, какая теперь, я не присягал, даже и не знаю толком, что это за власть такая, да и никто на целом фронте того не знает! По тому самому и бегут... А тут, может быть, узнают и, чтоб пред новой властью отличиться, станут нас ловить, чтобы обратно на фронт доставлять — вот! Одним словом, погодить надо с объявлением,— поняла или нет? — Федор повернулся к ней и поглядел на нее в упор.

— Отчего же не понять? Поняла, конечно,— ответила она и отвернулась. И даже отошла поспешно — пошла на кухню, давая этим понять ему, что больше говорить о его положении ничего не надо.

И глаза ее в это время были отчужденно холодные и даже для нее самой непривычно серьезные.

Когда снова прошла из кухни через столовую, она увидела, что Федор стоял около окна и сквозь занавеску глядел на улицу. Это прежде всего бросилось ей в глаза, что он не откидывал занавески, с вышитыми на ней журавлями, а глядел сквозь нее, чтобы его самого не разглядел кто-нибудь, проходя мимо дома.

И тут же самой себе призналась она, что не было у нее жалости к мужу, которому приходится скрываться: чужого не жалко.

А он обернулся к ней и по-прежнему деревянно, без малейшего оживления на плотном задубелом лице, проговорил:

— Смотрю на всякий случай, нет ли еще кого из таких, кто тоже с фронта прибеж и свободно себе ходит,— и добавил: — Конечно, если дать кому следует сотняги три, то будет молчать, только вопрос

в том, как эти три сотняги из банка взять... Конечно, и для домашности нам деньги тоже понадобятся, а как я сам за ними в банк заявлюсь, тут меня и на цугундер: каким манером в Крыму ты оказался, когда на фронте обязан быть? Это теперь нам вдвоем очень тонко обдумать надо, чтоб с деньгами быть, а не то, чтобы с пустыми карманами. Хотя бумажки эти теперь уж мало что стоят, однако же и без них тоже никак нельзя.

Наталья Львовна ни одним словом не отозвалась на это и прошла в свою комнату.

С полчаса пробыла у себя она, все ожидая, что он отворит дверь и войдет, но он так и не отошел от окна.

А когда снова понадобилось ей пойти на кухню, он бросил ей вслед:

— Дал я этой дуре твоей, Пелагее, бумажку, чтобы молчала, ну да ведь бабий язык — он известный! Чтобы баба утерпела не сказать, хотя бы ее никто и не спрашивал, этого не жди... Ты бы ей со своей стороны тоже внушение сделала.

Наталья Львовна слегка кивнула головой...

— Тебе неудобно самому идти в банк, — так что же тут такого? Напиши чек на мое имя, я пойду и получу.

— «Пой-ду!» — передразнил ее Федор. — В Симферополь пешком пойдешь?

— В Симферопольском банке деньги?

— А то в нашем «Взаимкредите»? Да он теперь, должно быть, уж лопнул...

— Об этом не слыхала, чтоб лопнул... А в Симферополь могу хоть сейчас поехать.

— Сей-ча-ас? Как это так сей-час? — удивленно спросил Федор. — Не завтракав, не обедав?

— Позавтракать и в дороге можно... А если сейчас не поехать, то до сумерек и не доберешься.

— До сумерек, дай бог, и теперь добраться: дорога грязная, я ведь видел.

— За один день все равно не сделаешь этого...

— Обыденкой не выйдет дело... Придется ночевать там в гостинице... Пока придешь — банк закроют: банки в два часа закрываются... Ехать, так с утра пораньше, а нынче извозчика договорить.

— Конечно, если завтра пораньше выехать, то будет гораздо лучше, — сразу согласилась она, довольная уже и тем, что может поехать.

Завтракали вместе. Лицо Федора и за завтраком осталось деревянным.

— Князь Львов будто стоит во главе теперь, — говорил он, жуя крутое яйцо. — Пускай себе он князь, но сила, однако ж, в том, что не великий, а маленький, вот что! Родзянко — помещик екатеринославский, Керенский — адвокат... Там другие еще всякие, однако ж я им не присягал, и не смеют они от меня никакой службы требовать... Да там и не служба — это в мирное время считается служба, а там, на фронте, сейчас ты живой, а через пять минут сапоги с тебя, с убитого сымут. А также шинель твою и всю одежду мундирную обратно в цейхгауз сдадут, другим каким пригодится, — вот как на фронте: не об человеке забота, а об одежде, об сапогах. А от вас, от людей, какое вы прежде название имели, — отодрали подковки, свалили вас в кучу, как все одно поленья, полковой поп вас отпел, кадиллом над вами помахал и в яму вас общую свалили, — называется это «братская могила»... И в список вас занесли писаря на случай справок каких, — вот и вся наша жизнь!..

Наталья Львовна слушала Федора, и перед ней вставала не куча, а целая гора человеческих тел, едва прикрытых, а рядом другая гора грязных и дырявых шинелей, стоптанных и тоже дырявых и грязных сапог, мундиров и шаровар, которые должны будут пригодиться для других, пригнанных на фронт,— именно «пригнанных», как пригоняют гурты скота на убой. А все-таки, как ни странно казалось это даже самой Наталье Львовне,— она не чувствовала ничего, глядя на Федора, кроме отчужденности: сидит за одним столом с нею чужой ей человек. Он — муж ее, но чужой, и это проникло в нее, как страх... А страх был такой ошеломляющий, что хотелось вот сейчас вскочить из-за стола, выскочить в дверь и бежать куда-то по улице... Куда? — Все равно куда.

Вот почему она действительно вскочила и даже вскрикнула:

— Я поеду!.. Я сейчас же поеду!

Когда Наталья Львовна вскрикнула: — «Я поеду!» — Федор поглядел на нее понимающими глазами.

— Засиделась ты тут, конечно, два года сидишь, да еще и с лишком большим...

— Сейчас и могу поехать! — повторила она.

— Сейчас?.. Сейчас уже девятый час идет. Ну, одним словом, за день не обернешься, чтобы тебе засветло домой вернуться. А ночью ехать с деньгами, это — не модель по нынешним временам: вполне могут ограбить!

— Значит, в гостинице лучше переночевать? — встала быстро она.— Ну, что же тут такого? Переночевать в гостинице. А завтра пораньше деньги получу и тут же назад, чтобы засветло приехать...

Говоря это, Наталья Львовна подумала вдруг, что у нее теперь предательски радостно должны сиять глаза и, чтобы не обратил на это внимания Федор, она отвернулась к окнам.

Федор понял это по-своему и сказал:

— Смотришь, дорога не грязная ли будет? Это, конечно, тоже надо иметь в виду... Дорога, я тебе скажу, такая, что, считай, все шесть часов туда,— шестнадцать верст считается подъем до Перевала. С Перевала вниз лошади сами, без кнута, бежать будут... Оттуда, значит, за пять часов. Да в банке — пускай всего час... В общем, считай, двенадцать часов... Вот я почему и говорю: обыденкой не обернешься.

— Если вот теперь поеду,— излучая сияние глаз и даже как бы считая про себя часы, сказала Наталья Львовна,— то засветло доеду, не до банка, а до гостиницы, там переночую, а завтра утром в банк и, как получу деньги, сейчас же на том же извозчике обратно. В девять если оттуда выеду, в два приеду.— И, посмотрев на мужа взглядом вполне серьезным, она добавила: — Этого ни на один день откладывать нельзя при твоём положении: могут и сегодня от кого-нибудь узнать, что ты самовольно отлучился, а не то чтобы отпуск получил. А завтра смогут тебя проведать — вот деньги и пригодятся — кому-нибудь сунуть, а?

Федор ответил ей не сразу. Он посмотрел ей прямо в глаза, посмотрел потом на дверь, как бы желая представить, кто именно может в нее войти, чтобы его «проведать», и только через минуту, не меньше, сказал тихо, но решительно:

— Ну что ж,— когда такое дело, иди, ищи извозчика... Только боже тебя сохрани проболтаться ему, что в банк за деньгами едешь!.. Боже сохрани! Слышишь?

— Что же я, девочка, что ли? — тоном обиженной отозвалась на это Наталья Львовна и тут же пошла в свою комнату готовить чемодан в дорогу.

Бывают такие счастливые моменты в жизни людей, когда они будто перерождаются вдруг каждой клеткой своего тела. До последних мелочей ясно становится им, что надобно делать и как делать. Тяжесть их тела отлетает куда-то, — оно делается невесомым. Человечек становится одним стремлением, захватившим его целиком, и в действиях его не может уже проявиться ни малейшей ошибки. Так почувствовала себя Наталья Львовна после разговора с мужем. Войдя в свою комнату собираться в дорогу, она намеренно крепко притворила за собою дверь, чтобы ей не мешал Федор: пусть садится за свою чековую книжку, пишет для нее чек на полторы тысячи.

Она была похожа на заключенную в тюрьму, ожидавшую только момента, когда можно будет совершить задуманный побег.

Момент этот настал. Ею как будто уже овладел кто-то невидимый, но все видящий сам, и ей нужно было как можно быстрее исполнять все, что он прикажет. А теперь он приказывал ей в последний раз пересмотреть все свои золотые вещи, которые были уложены ею еще ночью, а потом тут же надеть на свое платье другое, затем третье, из более дорогих и новых, и сверх них меховую шубку. Она была проторная, и сколько под нею платьев, не мог бы угадать Федор.

Именно затем, чтобы не возбудить у него никаких подозрений, она брала с собою небольшой чемодан, легкий на вид, хотя ей и жаль было того, что оставалось здесь из ее вещей. Но она как бы летела уже теперь, выходя из своей комнаты одетая и с чемоданом в руке, а в полете всякая лишняя тяжесть очень тяжела.

И тот невидимый, который руководил ею в побеге, подсказал ей, что она должна теперь погасить свою радость и принять вид озабоченно-серьезный. Придав себе такой вид, она и подошла к Федору.

— Уже собралась?.. Скоропалительно! — с нотой явного одобрения в голосе встретил ее Федор.

— А как же иначе? Надо же извозчика найти, чтобы засветло доехать, — озабоченно ответила она, беря у него чек. — И как же у меня там в банке, — паспорт будут требовать? — спросила она, очень внимательно вглядываясь в то, что написал Федор.

— Зачем же им паспорт, когда чек на предъявителя? — объяснил он. — А паспорт, разумеется, возьми, раз придется в гостинице ночевать.

— Я и взяла, а то как же, — очень серьезно отозвалась на это она и головой прикачнула.

Чек она спрятала во внутренний карман шубки и, не ставя чемодан на пол, — хотела показать, что он очень легкий, — обняла мужа, чтобы тут же поспешно летучей походкой ринуться в переднюю, отпереть входную дверь и выскочить на улицу. Где и как найти извозчика, она знала.

А на улице первое, что ее встретило и обняло гораздо крепче, чем муж, была весна.

Мы всегда глядим, но редко видим.

Когда мы глядим на то, что уже примелькалось нам, то думаем в это время о чем-нибудь своем, иногда очень далеко от того, что кругом. Мы наперед знаем, что встретит наш глаз, когда мы будем продвигаться дальше и дальше. Мы будем проходить мимо известных уже нам домов, встречать ненужных нам людей, по которым бегло скользит взгляд. Мы смотрим на тротуарные тумбы, на приклеенную к стене большую, цветную и уже разодранную афишу и на многое еще, а видим в это время только того или тех, о ком думаем.

Бывает, что, увлекшись мысленным разговором с ним, мы не замечаем даже, что шевелим губами, хотя это замечают встречные и смотрят на нас удивленно.

Когда Наталья Львовна шла теперь по улице, она чувствовала себя так, будто никогда раньше не видела этой улицы, преображенной весной.

Улица сверкала вся до рези в глазах — так щедро хлынули на нее потоки солнца. Даже стариннейшая нескольковековая генуэзская башня, верхушку которой, украшенную бесчисленными голыми теперь кустами, она видела с улицы, и та глядела на нее вызывающе молодой и веселой. Все семь или восемь веков истории смыло с нее весеннее солнце.

На заре шел, видимо, небольшой неторопливый дождь, и теперь все добротные каменные дома на улице были в ярких радужных каплях, радостных необычайно. По обочине тротуара выбилась уже из земли пахнущая весной густая трава, и ее щипали жадно и радостно очень красивые по оперению, разномастные куры, и большой золотистый петух залился вдруг таким оглушительным «кукареку» — как раз в то время, когда подходила к нему Наталья Львовна, будто тоже вместе с нею был рад тому, что так удачно вышел ее побег.

И извозчик Силантий, которого она знала раньше, показался ей теперь новым, увиденным как следует в первый раз. Это был хотя и кривой на один глаз, но разбитной малый, как и полагается быть извозчику, который по три, по четыре раза в неделю делает на своей паре концы в пятьдесят верст через Перевал, по шоссе, огибающему Чатыр-даг.

У него были белесо-рыжие усы под утиным носом, а единственный глаз, серый, бойкий и не сомневающийся в себе круглый глаз, встретил ее весело и довольно.

— Ехать на Симферополь желаете? — первый заговорил Силантий, который уже надевал в это время хомут на крепкого сухопарого, но жилистого на вид коня вытертой вороной масти.

Сильно вытертый был и теплый на вате зеленоватый пиджак Силантия. И шапка-ушанка на нем, тоже старая и неопределенного цвета, надета была весело, ухарски, набекрень.

— Еще один у меня договоренный пассажир есть — Черекчи, лавочник, — сообщил ей, орудуя привычно руками, Силантий. — Их два брата в лавке торгуют, считается так — две Июды Скаринотские. Так это старший сейчас подойти должен. Приискивался еще один — печник, за печным прибором будто бы ему надо, будто здесь ему печного прибора не хватает, но я ему сказал: — Деньги вперед заплатишь, тогда поедешь, а на шермака если желаешь, то это уж — ах, оставьте!.. Бывает, по дороге, по деревням, люди стоят, извозчика ждут, — тех возьму, а печника этого, как он мне наперед деньги не уплатит, — не-ет!

И пока подошел грек Черекчи, Силантий успел сообщительно рассказать, что не взяли его по мобилизации из-за глаза.

— Вот же мне горе какое было из-за этого глаза, ежели хотите вы знать, как я его еще парнюгой выколочил ночью об сучок сухой, и ж, сказать нельзя, сколько горя принял! А что же оказалось в конце-то концов? А в конце концов — вот я, кривой, жив себе и здоров, а какие с обома глазами были, тех на фронт взяли, и поди ищи ты, ворон-птица, где их кости закопаны. Вот как дело обернуться может, каким концом!

Счастливого человека видела перед собой Наталья Львовна, и так шел этот бойкий, поворотливый, одноглазый человек ко всему весеннему, что видела она кругом!

Подошел Черекчи, низенький, тучный, чернобородый, с совершенно деревянным каким-то, желтым оплывшим лицом, но и тот как бы озарился чем-то веселым, весенним и постарался сделать улыбочивыми агатовые глаза, протягивая ей деревянную, неспособную гнуться руку.

При виде его вспомнила Наталья Львовна, как два с половиной года назад ехала она тоже в извозничьем фаэтоне вдоль берега моря, стремясь спасти Федора, которого в море захватил на легкомысленном рыбацком ялике шторм. Тогда на обратной дороге попался ей другой грек — Попандопуло. И странно было ей самой чувствовать, что будто очень давно это случилось с ней, а между тем теперь она гораздо как-то моложе и душой и телом, чем была тогда. Поэтому она весело улыбалась даже этому своему спутнику, одному из двух «Скариотских Июд».

Она улыбалась, глядя на печника, который явился следом за греком, — борода клином вперед, лоб под старой фуражкой покато назад, а глаза красножилые, как будто успел он уже где-то несколько выпить.

Деньги вперед он действительно не дал, и Силантий не взял его в свой фаэтон.

5

Наталья Львовна знала обоих Черекчи: в их бакалейной лавке покупала она сама или посылала Пелагею, и два «Июды» знали ее. Потому не удивилась она, когда грек обратился к ней полусшепотом, чтобы не слышал его возившийся около лошадей Силантий:

— Что будем делать, а? Как жизнь будет, а?

— Это вы насчет революции? — в тон ему полусшепотом спросила она.

Черекчи оглянулся на Силантия, отошел шага на три дальше и ответил:

— Это какой революции, ххе! Это... так не будет, наш грек говорит себе так: оч-чень плох будет, оч-чень! — Попандопуло — он хитрый человек — дом свой продал.

Наталья Львовна знала где — на Набережной был большой дом Попандопуло — в нижнем этаже ресторан — и удивилась:

— Продал? Неужели? Зачем?

— Грецию едет! — таинственно сообщил Черекчи. — Спугался. Бойтся от-чень!

— Вот как? Бойтся? А кому же продал?

— Приезжий один... Богат человек... Там боялся оч-чень, там земля да продал, здесь дом да купил.

— А кто купил у него землю, у этого помещика, тот, значит, не боялся?

Черекчи выпятил толстые губы и развел короткопалые руки в знак непонимания. Но тут же он перешел на шепот:

— Муж ваш, скажите, приехал, тоже дом свой продавать будет, а?

Это удивило Наталью Львовну.

— Как-как так мой муж приехал? Что вы говорите? Он на фронте!

— Фронте, да! Я тоже сам знаю! Фронте, да!... Говорил так один человек, ххе. Значит, так думаем — врал!

А Наталья Львовна думала в это время: «Пелагея сказала — кто же больше!» — И невольно оглянулась назад и по сторонам, не идет ли Пелагея: вдруг ее послал Федор, чтобы она отложила поездку и вернулась домой.

Поэтому тут же пошла она к Силантию и спросила резко:

— Ну что же, мы все-таки поедem сегодня?

— Готово, все готово, садитесь! — и Силантий отстегнул кожаный черный фартук фэтона и поддержал ее под локоть, когда она, став на ступеньку, занимала заднее место. Рядом с нею грузно уселся Черекчи, который тут же обратился к Силантию:

— Тарабогаз будем ехать — Гелиади возьмешь! Гелиади, слышаль?

— Мне все едино, какой он там, лишь бы пассажир был настоящий! — буркнул Силантий, влезая на козлы, и тронул лошадей. А Наталья Львовна очень встревоженно и в то же время притаилась на своем месте глядела, не бежит ли остановить ее Пелагея, и успокоилась только тогда, когда экипаж оказался уже на шоссе, ведущем к Тарабогазу, небольшой пригородной слободке, где жили одни только греки. Оказалось, что Гелиади был не один, а с женой, что понравилось Силантию. Понравилось это и Наталье Львовне, так как у новых пассажиров завязалась с Черекчи оживленная беседа на их языке, и к ней Черекчи больше уж не обращался.

Гелиади был лет сорока, с горбатым тонким носом, с черными редковолосыми усами и бритым, сухим подбородком. На нем была черная круглая смушковая шапка — такая же, как у Черекчи. Был он подрядчик, хозяин артели каменщиков, строивших дома. И хотя теперь, во время войны, домов никто уже не строил, все-таки у него осталась привычка как со своими рабочими, так, видно, и со всеми рассуждать громко и с полным знанием дела. А жена его, полнотелая и неуклюжая женщина, была, как определила ее Наталья Львовна, из тех рано стареющих гречанок, которые способны были делать сразу три дела: гнать домой свою корову с пастбища в мелколесье, тащить на спине охапку сушняка, набранного там, и вязать спицами шерстяной чулок себе или мужу на зиму. Закутанная в теплый коричневый платок, она внимательно слушала то, о чем говорил Черекчи с ее мужем, но сама каменно молчала.

Однако, взглядывая на нее, Наталья Львовна думала о ней, что вот она отлично знает, куда и зачем едет, — может быть так же, как и Попандопуло, хотя бы они с мужем продать свой дом в Тарабогазе и уехать в Грецию, не ожидая ничего хорошего для себя здесь, в Крыму в близком будущем. А вот она сама, уехавшая от мужа, никак не может представить себе ясно, куда она поедет дальше, когда получит деньги по чеку: ей совершенно все равно было, куда ехать, лишь бы куда-то дальше.

Между тем по обе стороны извилистого шоссе, на обнаженных, гладко обкатанных камнях которого подпрыгивали колеса на старых резиновых шинах, плотно прижалась ко всем лесистым взгорьям и балкам та же сверкающая весна, какая встретила ее по выходе из дома.

Только здесь она была необъятно шире, эта весна, и охватила Наталью Львовну всю, целиком.

Какие бы ни были кругом безлистые кусты и деревья, дубняк или граб, дикie груши или дикie черешни, кизил или орех-фундук, — они проникали в нее, во все поры теми своими бойкими весенними соками, своей безмолвной, как бы не очень говорливой радостью возрождаемой жизни. Радостно весенней была и каждая одинокая хатка, попадавшаяся по сторонам дороги. Белые стены ее казались именно весенне-белыми, а черепичная крыша ярко-светло-красной, в то время как небо было ослепительно голубое, без единого облачка.

Как настоящее, подлинное освобождение от того, что почти задавило ее в последнее время, особенно же в два последних дня, вдыхала Наталья Львовна вместе с воздухом южно-горной весны ширину, простор, ликование. И не только подъем на Перевал — теперь уже шагом шли лошади,— а это в ней самой рос и рос подъем, и, что еще отметила она в самой себе,— ворвалась в какую-то большую удачу, которая ее ждет. И даже на безмолвную гречанку Гелиади Наталья Львовна глядела радостными, помолодевшими, мечтательными глазами.

Проехали деревню Шумы, где домики затейливо, амфитеатром, расселись на горке над самым шоссе, а сады с большими орехами, яблонями и грушами и виноградниками, в которых обрезанные кусты были похожи на кочерыжки, стремительно поползли от шоссе вниз, в глубокие балки.

Силантий обернул к Наталье Львовне красное рыжеусое лицо и сказал:

— Значит, считается, сем верст отмахали... А еще пять отмахаем, остановку сделаем коней поить — колодец там есть.

— А до Перевала оттуда сколько останется? — спросила она.

— До Перевала отсюда еще четыре считается, ну, те четыре двадцати стоят, потому как дорога там скаженная,— объяснил Силантий.

Ей хотелось узнать не это, а то, сколько времени пройдет еще, пока, наконец, окончится «скаженная» дорога и начнется веселый спуск вниз, но тут же показалось ей совершенно лишним даже и спрашивать об этом: как бы медленно ни двигался фаэтон, двигался он к ее удаче.

И так как она верила в свою удачу, то удача ее и ожидала на месте остановки у колодца на двенадцатой версте, вблизи красивого одноэтажного здания шоссеиной казармы. Там — не на шоссе, а под огромной, старой, может быть двухсотлетней дикой грушей — стоял фаэтон, тоже запряженный парой только не вороных, а гнедых коней, еще более поджарых и усталых на вид, чем у Силантия, и возница сидел на пеньке с задним колесом, снятым с оси, а седоки — их было тоже четыре — стояли около него с лицами не очень веселыми. По знакомой ей старой коричневой шляпе Наталья Львовна узнала среди этих четырех Жемарина, хотя он стоял в это время спиной к ней. Именно эту встречу и признала она удачей.

Тут же выпрыгнула она из своего фаэтона и подошла к нему.

Жемарин — он был без пенсне и потому несколько странен на вид — обрадовался ей чрезвычайно. Даже слезы на его подслеповатых глазах заметила она и приписала их этой именно радости.

— Вы? Невероятно!.. Какими судьбами?

— А вы какими? — шаловливо спросила она.

— Я еду к себе домой, в Москву, а вы?

— Я только в Симферополь... А где же ваше пенсне?

— Там осталось где-то... возле вашего дома...

— Упало, и вы его не нашли?

— Я его искал, и под ногами что-то хрустнуло... По всей вероятности, я его раздавил... А в аптеке хотел купить новое — оказалось, нет... Доеду до Симферополя — прямо в оптический магазин.

Тут он приблизил свое лицо к ней, чтобы разглядеть лучше, и добавил встревоженно:

— А почему у вас глаза так блестят? Вы не больны ли? Только при повышенной температуре могут быть у людей такие глаза.

— У меня и в самом деле повышенная температура,— тут же

согласилась с ним она и еще радостнее улыбнулась. Потом, взяв за руку, отвела его на несколько шагов и добавила, понизив голос:

— Это у меня не от болезни, что вы вздумали. Это от счастья, что я уехала!

— То есть как, «уехала»? — не понял он.

— То есть, совсем: и от мужа, и из его дома!

— И куда же? К кому же? — вдруг так и засиял Жемарин, и слезы переполнили его глаза и покатались по щекам. И снова они показались Наталье Львовне слезами радости, и ответила она вполне безжалостно:

— Не к вам, конечно, так как не думала вас даже и встретить тут на дороге. А к тому — да, действительно, к тому, кого, может быть, и не встречу совсем!

— Вы сказали «от мужа» — значит, действительно, ваш муж приехал, и это он меня... толкнул за дверь, он? — возбужденно, хотя и не повышая голоса, заговорил Жемарин, и брови его заерзали по лбу.

— Конечно, муж... А вы как подумали? — и Наталье Львовне тоже пришлось поднять брови и округлить глаза, когда Жемарин ответил:

— Я думал, представьте себе, мне от неожиданности показалось, что в ваш дом проникли грабители...

— Та-ак,— протянула Наталья Львовна.— И какой же у вас тогда план действий?

— Я хотел тут же бежать в милицию, заявить об этом.

— Вот был бы театральный грюк!.. Однако вы одумались?

— Одумался, совершенно верно... Ведь вы мне говорили, что ваш муж на фронте, вот я и догадался потом, что это именно он приехал. Я только не мог понять одного,— и сейчас не понимаю, признаться,— как он мог меня увидеть...

— По его словам, разглядел вас в дверную щелку, куда почтальон письма и газеты просовывает,— объяснила Наталья Львовна.

— А-а... Вот в чем тут был секрет!.. А что догадка моя была правильна, я уж на другой день услышал: говорила какая-то женщина.

— Эта женщина была, конечно, Пелагея, кто же еще? Ну, хорошо, об этом довольно. Это мне больше совсем не нужно.

И, смотря прямо в слезящиеся глаза Жемарина, сквозь них и даже сквозь лесистую гору перед собою, Наталья Львовна добавила:

— А если я не встречу, кого хочу встретить, то... то может быть, меня примут в трупку. Могут ведь принять, хотя бы сначала и на выходные роли, как вы думаете?

И, не дожидаясь, что ответит Жемарин, ответила себе сама:

— Конечно, примут! — и головой прикачнула уверенно.

— На сцену? А-а!.. Тогда вам лучше всего в Москву! — очень оживился Жемарин и даже взялся за рукав ее шубки, как бы с намерением помочь ей доехать до Москвы, но она коротко отозвалась на это:

— Нет там у меня знакомых...

Она почувствовала себя даже как бы оскорбленной им, этим любителем старинных построек: он не поверил в то, что ей суждена удача! И она отвернулась от него и пошла к своему фаэтону, где Силантий встретил ее бодро:

— Коней напувал... по две цибарки выпили,— вот какая у нас дорога,— сейчас поедем, сидайте.

— А у них там что такое случилось? — кивнула Наталья Львовна в сторону другого фаэтона.

Силантий махнул широко рукой.

— Раз плоха справа, куда же ты едешь и людей берешь! Шина лопнула в двух местах, проволокой ее чинит, а ехать еще верстов сорок... На полчаса раньше всех поехал, а приедет на час або на два позже, вот что у него случилось. Сидайте, эй! — крикнул он в сторону Черекчи и Гелиади.

Когда Наталья Львовна прощалась с Жемариным, он поцеловал ей руку, и на эту руку упала слеза...

6

Поднимались на перевал шагом. На этом участке шоссе Наталье Львовне отчетливо были видны щедро освещенные то синеватые, то почему-то оранжевые скалы на ближайшей половине ровной, как стол, вершины Чатыр-дага. Кое-где между скалами ярко белели полосы снега. Это было величественно и, казалось, очень близко. Наталья Львовна так и сказала об этом Силантию:

— А Чатыр-даг-то, красавец какой! И совсем он близехонько!

Но на это Силантий отозвался, крутнув головой:

— Глазком-то видно, да ножкам обидно... С перевала туда люди ходили, какие приезжие, — пойдут, так на целый день... Теперь уж не ходят тут — на фронте ходят.

Зато очень оживился Силантий, когда встретились три огромных дилижанса с сеном. Он даже остановил свою пару, сам слез с козел.

Сено чудесно пахло, и Наталья Львовна поняла Силантия, когда он подошел к первому возу, выхватил клок сена и стал его нюхать и разбирать руками. Но он минут пять стоял и говорил с хозяином сена, а когда сел снова, сообщительно обратился к ней:

— Сказал ему, чтоб один воз обязательно ко мне завез, там жинка примет... Как мои бедолаги летом ни пасутся, а все то же сено хрумкают. Сено степовое — хорошее сено, хаять никто не будет!

«Степовое» сено как нельзя более кстати подошло к настроению Натальи Львовны. На нее, освободившую себя, повеяло степным простором, отчего и уверенность в душе окрепла.

И теперь уже бесповоротно ушло все старое, даже и Жемарин и фаэтон, на котором он ехал. Думалось об одном только человеке: сыне художника Сыромолотова. Память сохранила его всего, целиком, таким, каким был он тогда, более двух с половиной лет назад, в больнице того города, в который она ехала. Перед койкой раненого Ильи Лепетова он сидел на белом табурете, поразив ее тогда своею мощью. В просторном сером пиджаке, голубоглазый, круглоголовый и с прочным лицом, и ростом выше своего отца, и видом открытее, благодущнее: у отца оказался сверлящий, пронизывающий взгляд, не привлекающий к себе, а останавливающий на том или ином расстоянии.

Отец сказал ей, что сын его тяжело ранен, но она так обрадовалась тогда, в церкви, тем, что он скоро приедет, что не спросила, как именно ранен, куда ранен. И даже после, там, в доме Федора, ей почему-то не думалось об этом. Только вот теперь, когда медленно везла ее вороная пара Силантия на перевал, ей стал представляться сын Сыромолотова, раненный то в ногу, то в руку, то в его богатырскую грудь.

Ей представилось вдруг даже самое страшное, что только могло быть с молодым Сыромолотовым: он не приехал, его привезли, так как ему оторвало обе ноги большим осколком снаряда, и вот теперь прислуга отца везет его в коляске!..

Наталья Львовна так измучилась нарисованной ее же воображе-

нием картиной, что закрыла глаза, а когда открыла их снова, то стала очень внимательно глядеть на лес по сторожам шоссе.

Тут, на довольно большой уже высоте, были деревья,— она не знала, что это дубы, грабы, ясени, дикие груши,— но по цвету этого моря безлистных веток, льющемуся вниз, к другому, голубому морю, видела, что лес ожил весь, что нет в нем нигде места, где бы не наливались теперь почки.

Этими миллиардами почек древесных и пахло теперь так же сильно, как от степного сена. И думалось ей только о том, что ее непременно примут — не могут не принять! — хотя бы на первое время только на выходные роли, а через месяц-другой она добьется того, что ей будут давать и главные...

От Перевала вниз лошади уже бежали сами. Лес здесь пошел буковый, огромные деревья около получаса радовали Наталью Львовну, но кончался спуск, ровное предгорье как бы бежало далеко между высокими берегами, и то справа, то слева часто стали попадаться и небольшие хутора и целые деревни, а потом даже и село с церковью. Старые, двухобхватные тополя стояли рядом возле каждого хутора, точно для того, чтобы показать всем едущим по шоссе, что и двести лет назад тут тоже жили люди, сеяли пшеницу, сажали капусту, разводили кур и овец.

Когда подъехали к окраине города и показались совсем неказистые, как бы сложенные из глины хатки с маленькими подслеповатыми окошками, Наталье Львовне подумалось, что может случиться и так: нет здесь теперь никакой труппы, и что ей делать тогда? Остается только одно: уехать в большой город — Екатеринослав или Харьков, где театры даже и теперь должны быть непременно.

Но потом пошли большие белые здания консервных заводов, проехали мимо очень памятной Наталье Львовне обширной городской больницы, а затем вспомнила она и все людные улицы города, в котором было не менее пятидесяти тысяч жителей, и опять появилась уверенность, что должна играть тут труппа,— как же иначе? — и что ей удастся поступить в нее, если задобрить директора театра.

Шел всего только пятый час, и было еще совершенно светло, когда Силантий подвез всех своих пассажиров к гостинице,— не к той, где прожила Наталья Львовна несколько дней с Федором, а к другой, гораздо проще на вид, но знакомой грекам. Чета Гелиади и Черекчи тут же вошли в нее нанять номер, а она медлила.

Она слышала, как греки говорили Силантию, что пробудут тут два, а то и все три дня, и как Силантий говорил, что ему их ждать «безрасчетно».

Поэтому и она сказала Силантию, что может задержаться тут по делам дня на три, чтоб он и ее тоже не ждал.

— Дело хозяйское,— отозвался на это Силантий.— Буду других шукать... А на всяк случай завтрашний день сюда утречком, часов в десять зайду,— может, надумаете домой возвратиться... Пока я на постоялый.

Дотронулся до своей ушанки и повернул лошадей. И только теперь почувствовала себя Наталья Львовна совсем и навсегда отрезанной и от дома Федора, и от маленького городка, в котором пришлось ей прожить более трех лет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Оставшись одна, Наталья Львовна пошла к гостинице, очень внимательно, как человек, сбросивший с себя тягостное прошлое, всматриваясь во все встречные, совершенно новые для нее лица.

В то же время она искала глазами круглый широкий столб, на который наклеивались афиши, и такой столб скоро попался, — на нем розовела последняя афиша: в здешнем театре в этот день должна была идти «Свадьба Кречинского». С радостным лицом прочитала она всю афишу с начала до конца и твердо решила этот вечер провести непременно в театре, чтобы посмотреть, что тут за актрисы. Так, неся на лице радость, раздумывавшую ей щеки, шла она дальше к намеченной гостинице и вдруг почувствовала, что побледнела. И это произошло от другой радости, несравненно более сильной и охватившей всю ее до самозабвения: навстречу ей шел очень широкоплечий, в широкополой серой шляпе и в черном плаще с металлической круглой застежкой сверху Ваня Сыромолотов.

Он шел упругим твердым строевым шагом, отчего развевался, как от ветра, хотя было совершенно тихо, его накинутый на плечи безрукавный плащ с пелериной. Наталья Львовна подумала, что он спешил куда-то, но не отошла в сторону; она остановилась прямо против него, чувствуя, что не только очень бледна, но и ослабела вдруг, и что у нее широкие и неподвижно устремленные только на его лицо глаза.

Ваня сделал было широкий шаг в сторону, но она протянула к нему руку, как бы за помощью, и он остановился и спросил:

— Что? Вам дурно?

— Да... Мне дурно... — совсем почти обессилив, отозвалась она, и Ваня тут же взял ее за руку и подвел к стене дома, чтобы ей было обо что опереться и чтобы ему самому не мешать движению прохожих.

— Вы меня никогда не видели? — спросила она, почувствовав опору и овладев собою.

— Нет, не приходилось, — тут же ответил Ваня и добавил: — Я сюда совсем недавно приехал.

— А я только что... И весь багаж мой со мною... Но вы видели меня, как и я вас, здесь, в больнице, когда вы сидели около Ильи, раненного здесь на вокзале...

— Ильи? Он где теперь? — оживился Ваня.

— Не знаю... Когда я вошла в палату, где он лежал...

— Вспоминаю! — перебил ее Ваня и посмотрел на нее очень внимательно, несколько даже наклонившись к ее лицу. — Вы, и еще с вами кто-то, похожий на унтер-офицера запаса...

— Он и был тогда унтер-офицер запаса... а в самом начале войны был взят в армию.

— Как и я... Я только недавно получил так называемый «бессрочный отпуск», отставку...

— Это мне говорил ваш отец.

— Вот как? — удивился Ваня. — Где? Когда?

— Алексей Фомич сказал мне, что вы были тяжело ранены, но он не сказал мне куда, и вы представьте себе, что я подумала. Я подумала, что вы ранены были в обе ноги! И как же я рада теперь! Вы остались таким же, каким и были... И даже еще могучее!

Это было сказано так неподдельно горячо, что Ваня улыбнулся и прогудел:

— Благодарю вас... Весьма благодарен!

Но тут же дотронулся до своей правой руки левой и постучал пальцами по протезу:

— Вот здесь у меня мышцы, называемой бицепсом, уже нет. Так что эта рука у меня теперь инвалид... Кстати сказать: вы вспомнили про Илью, а я вспомнил фамилию психически больного этого, который в Илью стрелял,— ведь он в моем доме жил потом с месяц,— Дивеев...

— Да, Дивеев Алексей Иванович!.. Вы знаете, ведь он добровольцем поступил в армию! Вот чем окончилась его болезнь,— с большою как бы даже радостью за Дивеева сказала Наталья Львовна, но Ваня отозвался на это опечаленно:

— Ну, значит, это и был он самый, а не какой-то его однофамилец!

— А что? Что такое с ним, скажите? — встревожилась она.

— Когда я прочитал в списке убитых офицеров «Прапорщик А. И. Дивеев», то вспомнил, конечно, что нашего с вами Дивеева звали Алексей Иванович,— меня зовут Иван Алексеич, а его — наоборот,— запомнить было легко.

— Значит, он убит? И Алексей Иваныч убит? — глаза Натальи Львовны наполнились слезами, она взялась за правую руку Вани, и тот почувствовал на своей руке ее слезы.

И, почувствовав эти ее слезы, Ваня положил другую руку на ее плечо и проговорил взволнованно:

— Позвольте, я теперь вспомнил, что ведь вы же приезжали в мой дом к этому самому Дивееву... Вот теперь я это отчетливо вспомнил! Приезжали вместе с вашим мужем,— помню! И тогда как раз был у меня на верхнем этаже Илья, когда вышел из больницы... Алексей же Иванович и другие... несколько человек их было,— в нижнем этаже... А теперь вы куда же шли?

— Никуда,— ответила Наталья Львовна.

— Ни-ку-да?.. Как же так «никуда»? — пробасил Ваня удивленно и даже обеспокоенно: ведь только что вспоминал он пансион доктора Худолея, открытый в его доме года три назад для психически неуравновешенных.

— Никуда,— повторила она.— В гостиницу — это все равно что никуда.

— Ну и где, позвольте, где же вы постоянно живете? — совершенно недоуменно спросил Ваня.

— Нигде! — с большой ясностью в голосе и в глазах ответила она, все еще держась за руку Вани.

Она ничего не добавила больше, она только смотрела в лицо Вани, и этот многоречивый взгляд ее Ваня понял.

— Знаете ли что? — сказал он тоном человека, принявшего твердое и единственно нужное решение: — Вам необходимо отдохнуть, а в гостинице — кто же там около вас будет? Только чужие люди. Поедьте в тот дом, где вы были,— в мой дом, только на верхний этаж, а в нижнем — там опять поселились идиоты. Там отдохнете, с мыслями соберетесь... Чаем вас напою... И знаете что еще? Портрет ваш набросаю углем на холсте: пальцы у меня работать еще могут... А? Поедете?

Наталья Львовна ничего не сказала. Глаза ее вновь переполнились слезами, только слезы эти были уже другие. И Ваня, оглянувшись в сторону гостиницы, к подъезду которой извозничий экипаж привез кого-то, крикнул зычно:

— Извоз-чик!

Они стояли укрыты от тех, кто шел по тротуару. Тут на улицу вы-

ходил подъезд большого двухэтажного дома, но если бы и не было этого, Наталья Львовна все равно не в состоянии была обратить внимание на людей, проходивших мимо. Она не разглядела и лица извозчика, который повез ее в дом Вани, не заметила, какой масти были его лошади. Она глядела только на того, кого как бы подарила ей судьба.

2

Какого-нибудь дела в области живописи искал Ваня с первых же дней по приезде сюда, так как картин продать было здесь некому. Тут был музей и при нем небольшая картинная галерея, но для нее были сделаны когда-то покупки нескольких картин известных художников, между ними и две картины Алексея Фомича, и для покупки других теперь, во время войны, тут же после падения царской власти, у музея, как сказали Ване, не было «надлежащих средств».

Представилась только одна возможность: написать занавес для небольшой театральной сцены в новопостроенном купеческом клубе, причем тема для занавеса была там своя: пролог сказки «Руслан и Людмила». И занавес на эту тему был уже написан учителем рисования здешней гимназии, взявшим за свою работу не так дорого. Но этот художник все свое внимание обратил на русалку, которая «на ветвях сидит». Его русалка не сидела, а лежала, заняв половину занавеса, так как оказалась очень толста и велика ростом. Художник, не имея для русалки более подходящей натуры, писал ее со своей жены, дамы весьма дородной. Это обстоятельство озадачило членов хозяйственной комиссии клуба. Одни из них сомневались, чтобы возможны были вообще такие дородные русалки, другие недоумевали, на чем держалось такое исполинское тело, так как каких-либо очень толстых и потому крепких сучков под ним не было, трети утверждали, что висеть такому занавесу в театральном зале клуба даже как будто и зазорно, что клубная русалка вредно будет влиять на воображение не только подростков обоего пола, но и зрелых людей, отцов семейств. Занавес решительно забраковали, автору его ничего не заплатили и только оставили ему в утешение холст.

Новый занавес, на котором были бы и дуб зеленый, и кот ученый, и русалка, такая воздушная, чтобы действительно могла сидеть на ветвях, и взялся написать Ваня, обещав, что русалка его будет полузакрита листьями дуба, почему и смущать никого собою не станет.

Получив холст, Ваня в этот день с утра весь погрузился в расчерчивание его углем, когда вдруг донеслась до него из нижнего этажа через пролет деревянной лестницы затажная и вполне самозабвенная старая песня. Пел жилец, отставной военный, у которого оказался голос очень неприятного тембра, да еще и с завываниями.

Жилец пел о каком-то вине «крамбамбули»:

Крам-бам-були, отцов на-след-ство,
Питье любимое у-у нас,
И у-у-теши-тель-ное средст-ство,
Когда взгрустнется нам подчас!..

Ваня оставил занавес и спустился вниз.

— Вы что это распелись, как какой-нибудь соловей курский? — спросил он.

Небольшое подвижное лицо Епимахова собралось в льстивые складки, в глазах услужливая веселость.

— Удовольствие вам имел намерение доставить, Иван Алексеевич, удовольствие! — заговорил он. — Песня эта старинная, правда, да ведь она военная, гусарская, а вы давно ли с фронта. Вот я поду-

мал: дай-ка спую, а Иван Алексеич послушает и мне спасибо скажет!..

— Это черт знает что такое! — совершенно возмутился Ваня. — Вы пьяны, что ли?

— С удовольствием, с большим удовольствием выпил бы что-нибудь, что вам будет угодно мне поднести, с большой благодарностью!.. Хотя бы денатура та даже, а? Есть?.. Я его через хлеб пропущу и ничего! И он будет почти что безвреден... А? Угостите?

— Я вижу, что вы уж и без меня угостились! — буркнул Ваня, но Епимахов взял его за руку и заговорил умоляюще:

— Для спиртовки, а? Вам как домовладельцу поверят в казенной винной лавке,— поверят, ей-богу, поверят! А мне — нет! Сколько ни заявлял я насчет спиртовки, ни-ка-ко-го внимания! И даже, скажу вам как хозяину этого дома — есть нечего! В буквальном, в самом буквальном, а не то чтобы фигурально как-нибудь!.. Вот пошли на базар жена с сыном, понесли по два стула каждый, то есть — жена и сын! И вот думай, как хочешь, если продать их удастся, что-нибудь купят на обед, а если нет? А если нет, я вас спрашиваю? Стульев же люди не кушают!

— Какие стулья? — изумился Ваня и оглянулся, а Епимахов тут же помог ему догадаться:

— Ваши, конечно, а то какие же еще!..

— У меня, здесь, в нижнем этаже, была дюжина стульев! — вспомнил Ваня.

— Совершенно верно,— подтвердил Епимахов.— Была дюжина — двенадцать...

— И было семь коек!

— Совершенно верно, семь... Было семь! — подчеркнуто повторил Епимахов.— Осталось же три,— только три,— так как больше нам троем зачем же, посудите сами. Что же касается стульев, то... мы с женой решили оставить только три, тоже по числу членов нашей семьи...

— Это... Это, знаете ли, черт знает что! — закричал Ваня, но Епимахов только развел на это руками и спустя несколько секунд добавил:

— Определяйте наши поступки, как вам будет угодно, вы — хозяин!

— Милиция! Милиция, а не я! Милиция определит, как это называется! — выкрикнул Ваня.

Но Епимахов был с виду спокоен, когда отозвался на этот крик.

— Милиция что же может сделать со мной? Ничего особенного, смею вас уверить... Составит, разумеется, протокол и, затрудняясь даже представить себе, что же еще скажет тут, эта самая милиция. Я ведь не к соседям хожу воровать, а в своей квартире лишние для меня вещи сбываю, и все. Какой же тут особенный состав преступления?

Ваня был так озадачен, что уже не поднимая голоса, сказал Епимахову:

— Сейчас пойду в участок!

Однако Епимахов отозвался, когда он уже поднимался по лестнице:

— Зря, Иван Алексеич! Зрящая потеря времени! Нечего тут милиции делать.

И как бы даже усмешка почудилась Ване в его словах.

Он тут же надел шляпу и плащ с блестящей застежкой в виде львиной головы, запер свою дверь и вышел на улицу.

До милицейского участка он не дошел, так как на улице встретилась ему смертельно бледная молодая женщина, красивое лицо которой показалось ему почему-то знакомым...

Когда Ваня подвезил к своему дому Наталью Львовну, он увидел дурачка Епимахова, стоявшего, точно на часах, перед своею входною дверью; как только извозчик остановился перед домом, дурачок юркнул в дверь. Ваня провел Наталью Львовну узким коридорчиком на крутую лестницу, а дверь на эту лестницу закрыл на задвижку. Теперь ему было не до жильцов: он вел к себе натурщицу для русалки. А так как его все-таки беспокоило, не толста ли эта натурщица, то первое, что он сказал ей, когда ввел ее к себе, было коротенькое:

— Раздевайтесь! — и помог ей снять шубку.

Живя два с половиной года в доме мужа, Наталья Львовна не успела располнеть, а два лишних платья, напяленные ею на себя при отъезде, она сняла сама, так как они очень ее стесняли. Ваня восхищенно пробасил:

— Вот повезло мне! Вот так повезло!.. Все равно, как Сурикову, когда он своего «Меншикова в Березове» писал!.. Меншиков-то задуман, как и надо, а где же для него натура? Ходит Суриков по терским улицам, во все глаза смотрит... И вдруг — вот он идет великан, на голову выше всех, кто по Невскому проспекту движется, и подбородок бритый, и с хороший кулак величиной, и усы подрезанные и с небольшим задором, как у Петра Великого, и в шляпе с короткими полями, одним словом, лучше желать нельзя — есть натура! Повезло!.. Идет Суриков за великаном этим следом, спешит, упыхался... Тот, наконец, подошел к одному дому и — на лестницу. Суриков — за ним! Тот на третий этаж — Суриков не отстает... Тот перед дверью остановился, ключ из кармана вытащил — Суриков ждет... Тот в дверь свою входит — Суриков за ним... Тут его натура и сказала: «Ах ты, мерзавец, такой-сякой! Давно я вижу, что ты за мной следишь? Да, думаю, не настолько же ты, ворище, нахален, чтобы ко мне залезть!» А Суриков, он росту невысокого, открылся, конечно: Я, говорит, совсем и не ворище, а известный художник Суриков! Картину «Казнь стрельцов» небось видели? Моя ведь картина! — Одним словом, спас себя от увечья, а Меншикова с этой самой натуры написал. Оказался великан этот всего-навсего учителем истории...

Наталья Львовна теперь не была уже такой бледной, как при встрече с Ваней, она порозовела, большие красивые глаза ее блестели по-девичьи, и Ваня с самым искренним увлечением подвел ее к занавесу, который писал, и сказал торжественно.

— Вот — видите? «Русалка на ветвях сидит»... Здесь именно вы и будете сидеть. Именно вы!.. А то, знаете ли, здешний художник написал для занавеса театрального такую русалку, что один из купцов очень метко сказал о ней: «Грузоподъемная милочка!» Я того занавеса не видел, правда, но что же это за русалка, ежели она «грузоподъемная»?

— Я очень рада, что могу быть вам полезна, — сказала Наталья Львовна.

— Что? Рады?.. Хочется плавать на ветвях? — обрадовался Ваня. — Но ведь вы куда-то все-таки шли...

— Нет, я никуда не шла, — твердо ответила она.

— Так что можно, значит, не вот теперь, с приходу, начать вас писать? — не скрывая этого, восхитился Ваня своей удачей.

— Разумеется, можно и завтра, — сказала Наталья Львовна.

Глядя на нее восторженно, Ваня положил обе руки на ее покатые хрупкие плечи, она же продолжала с виду спокойно:

— Завтра мне надо будет получить полторы тысячи здесь в бан-

ке — этого нам хватит пока, на первое время... А там подумаем, как нам устроиться в такое время.

— Что же это, позвольте? — ошеломленно забормотал Ваня.— Значит, мне повезло гораздо больше, чем Сурикову? А муж ваш? — вспомнил он вдруг.— Он что же — убит, как Дивеев?

— Да, он убит... для меня убит... Хотя для себя и жив... Он стал мне невыносимо ненавистен.

Говоря это, Наталья Львовна не выбирала слов: они появлялись сами.

— А если бы я не встретился вам на улице? — невольно вырвалось у Вани.

— Я нашла бы вас завтра сама,— объяснила ему она.— Это ничего не значит, что вы не думали обо мне... Зато я все последнее время думала о вас... Я чувствовала, что очень побледнела, когда вас увидела, но это я от радости, а не от испуга...

— От радости? — повторил Ваня.

— Да, от радости, что вы идете и таким широким шагом, а не то, чтобы вас возили на тележке,— вот почему!..

Ваня усадил ее на свой единственный диван и сел рядом...

Завечерело и стало быстро темнеть, как это обычно бывает ранней весной в Крыму.

Вечернему часу положено быть тихим, но снизу доносилось до Натальи Львовны пение, причем голос был простуженный, старческий и с большой хрипотой, но слова выговаривались отчетливо:

...Бра-ни-тся мут-тер, пла-чет шве-стер,
А фатер выдрать о-бе-ща-ал...

— Опять этот мерзавец распелся! — горестно сказал Ваня, поднимаясь, чтобы спуститься вниз, но Наталья Львовна удержала его, спросив:

— Кто же это?

— Жилец у меня тут завелся, черт бы его взял! Без меня, когда я был на фронте... Ничего мне не платит, да еще и мебель мою продает...

— Даже мебель продает?.. Значит, ему не на что жить... Он одинокий?

— Жену и даже сына имеет... идиота... Вы его видели, когда мы подъехали.

— Да, кто-то стоял около дверей, потом исчез... Всех, значит, трое... Это, конечно, хуже, чем если бы их было только двое: муж и жена,— рассудительно проговорила Наталья Львовна.

— А почему хуже? — не понял Ваня.

— Ведь они для себя готовили что-то,— в коридорчике кухней пахло, когда я вошла.

— Жена этого петуха, конечно, готовит что-то,— буркнул Ваня.

— Могли бы готовить и на нас двоих. Вы где обедаете?

— Я?.. Где придется... Когда у отца, когда в ресторане.

— Ну вот... А можно сделать так, что обед каждый день будет дома... Представьте, что мы наняли бы кухарку. Ей комнату дать надо. Вот ей комната в нижнем этаже, рядом с кухней. Муж кухарки — придаток нежелательный, конечно, да ведь время теперь какое! Он вроде как бы сторожем мог быть дома... А идиот — это, разумеется, совершенно уж ни к чему.

— Вот! Вот именно. Революция — это очень хорошо, а, скажите пожалуйста, как быть с идиотами? Их никакая революция не переделает, и умными они не станут!..

И Ваня поднялся, чтобы закрыть ставни и зажечь огарок свечи.

На другой день утром Наталья Львовна пошла вместе с Ваней Сыромолотовым в банк.

Этот день здесь, в большом все-таки городе, был куда более пронизан весной, чем день вчерашний. Он весь сиял до ощутимой боли в глазах: он был подымающе легок сам по себе и делал почти совершенно невесомым тело. Наталье Львовне казалось, что она и не шла, а хотя и тихо, что вполне согласно было с торжественностью этого дня, но как бы проплыла над тротуаром, не касаясь его. Так было с нею только в счастливом девичьем сне, когда она летела над сонной землей, стоя прямо и изумляя этой своей способностью всех кругом.

Счастливый девичий сон ее повторился теперь наяву, и она даже подносила иногда руку к глазам — не для того, чтобы защитить их от слишком яркого солнца, а для того, чтобы еще и еще раз убедить себя, что она не спит и что рядом с нею, слабой и такой легкой, что может сидеть на дубовых ветках, как пушкинская сказочная русалка, рядом с нею мощный молодой художник, хотя и укушенный войною, но вырвавшийся из ее зубов и оставшийся тем же, чем и был, — талантливым и сильным.

О Федоре Макухине, еще вчерашнем своем муже, она и не вспоминала теперь, как будто и не было его, — так все прошлое было прочно зачеркнуто вчерашним вечером и наступившей вслед за ним ночью.

Даже встречных людей вот теперь, когда шла, не видела Наталья Львовна: она глядела на них и в то же время не видела, не пыталась разглядеть ни одного лица — они проплывали мимо, как бесплотные видения во сне.

Перерожденной, ей все встречное представлялось тоже перерожденным — и не только люди, но и стены и окна домов, и бетонные тротуарные тумбы, и камни мостовых там, где они не были покрыты асфальтом, и колеса фаэтонов. И когда Ваня сказал ей весело:

— Ну вот и пришли: банк! — она не сразу поняла, что это значило и куда именно она пришла.

Даже оказалось нужным ей повести влево и вправо головою и пристально оглядеться, чтобы войти в себя, прежде чем она вошла в увесистое деловое серое здание банка.

Здесь оказалось очень тесно, что удивило Наталью Львовну, большинство людей было как-то непривычно для нее одето.

— Кто это? — шепнула она Ване.

— Беженцы из западных губерний, — шепнул ей, наклонясь, Ваня. — Их у нас тут довольно...

Очереди были только перед двумя окошечками, где предъяснялись чеки и где выдавались деньги, и люди медленно продвигались вперед. Прошло минут двадцать, пока Наталья Львовна подошла, наконец, к первому окошку. Усталого вида пожилой человек в очках, в форменной тужурке, но уже без петлиц и с пуговицами черными, гладкими вместо бронзовых с орлами, очень внимательно посмотрел на нее, принимая чек, и стал перелистывать толстую, лежащую перед ним книгу. А когда нашел, что было ему нужно и начал делать отметки в ней правою рукой, то левую поставил как бы экраном между собой и предъясненным ею чеком.

— Сколько еще денег осталось на счету Макухина? — спросила она. Он же, поглядев на нее недоуменно и даже как будто строго, проговорил:

— Таких справок предъясвителям по чекам банк не дает.

Этот взгляд бывшего чиновника и эти слова показались ей настолько обидными, что у нее чуть было не вырвалось: «Я — жена вкладчика!» — Но она сказала только: «Я...» и добавила: «этого не знала»...

Сделав на чеке отметку и протягивая его ей обратно, банковский сказал коротко:

— В кассу!

От только что испытанной неловкости она оправилась лишь тогда, когда кассир с серыми усами, висевшими подковкой, и плохо выбритым острым подбородком отсчитал и подал ей пачку кредиток. Она не пересчитывала их, так как следила за всеми движениями его тонких пальцев и за тем, какие появлялись одна за другой бумажки. Открыв свою сумочку, она поспешно сунула туда всю пачку и отошла, поглядев на Ваню ошарашенными глазами.

И первое, что она сказала, когда они спускались по лестнице вниз со второго этажа, было:

— Ну вот, Ваня, теперь у нас есть деньги на первое время!

Едва прошли они несколько домов от здания банка, как увидели на тротуаре толпу людей.

— Ну, закупорка! — буркнул Ваня. — Летучий митинг.

— Послушаем! — прижалась к нему просительно, как девочка, Наталья Львовна, но он, взяв ее под руку, повел решительно по улице, в обход толпы, говоря при этом:

— Тут только остановись с твоей сумочкой — живо выхватят. Где такой летучий митинг, там уж наверное человек пять жуликов, — это, пожалуйста, знай на будущее время.

— Да голос у этого оратора зычный, можно его слушать и издали, — отозвалась она.

Голос у говорившего действительно был очень громкий, и, остановясь шагах в десяти, они услышали:

— И коли товарищи взяли на себя власть над всем народом, понять они должны одно коротко! Народ исключительно надо кормить — вот! А без народного кормления дело товарищей этих станет о-гро-мад-нейший ноль!

Ему захлопали.

И в эти нестройные беспорядочные хлопки уже ворвался молодой и звонкий голос нового оратора. Да и сам оратор был очень молод, почти юноша, гимназист, хотя и говорил он с проникновенной убежденностью.

— Это разве та революция, товарищи, какая необходима нашей России? Это реформа, ни больше, ни меньше! Царя скинули, и только! Стала обыкновенная буржуазная республика. Правящий класс, как был правящим, так и остался! Война как шла, так и идет! Да, это реформа, товарищи, а совсем не революция! Как была рубашка дырявая, так и осталась! Как вели войну в интересах Франции и Англии, так и ведем! Кому же нужна война? Пролетариату не нужна война! Пролетариат, руками которого разрушено самодержавие, не стал у власти? Нет, власть в руках все тех же имущих классов, эксплуататоров. Настоящая революция впереди, и ее сделаем мы, партия большевиков! И для этой нашей пролетарской революции приехал в Россию из-за границы, где он был в эмиграции, наш вожьд товарищ Ленин!

В публике захлопали. Захлопала в ладоши и Наталья Львовна, пробираясь ближе к трибуне и увлекая за собой Ваню. А юный оратор продолжал уже стихами:

Станем грудью вокруг всего земного шара
И по знаку, в час урочный, все вперед!

Враг наш дрогнет, враг не выдержит удара,
Враг падет и возвеличится народ.
Мир восстанет из развалин и пожарищ,
Нашей кровью искупленный, новый мир,
Кто рабочий — к нам за стол, сюда, товарищ!
Кто хозяин, тот наш враг, оставь наш пир!

И снова ему аплодировали. А он продолжал говорить с нарастающим жаром:

— Ленин, товарищи, сделает то же, что он делал в девятьсот пятом году: рабочих поднимет!

— Как это — поднимет? — слышались реплики, они точно подстегивали оратора:

— Он знает! Ленин знает, как это сделать!.. Только царя сбросили, а власть оставили в чьих руках? В руках хозяев, товарищи! Кто такой Родзянко? Помещик из самых богатых во всей России. Что он, за рабочих будет стоять? Держи карман! Нам нужно, товарищи, чтобы в России была рабочая власть, вот тогда Россия пойдет вперед! А власти рабочим никакие Родзянки не уступят... Значит, что же надо делать? Надо эту власть взять нам силой! Силой! Кого больше? Помещиков, заводчиков, фабрикантов, банкиров или рабочих? Вот рабочие и должны получить полную власть. Хозяином на земле должен стать тот, кто на ней работает, а не биллиардные шары гоняет по зеленому столу, не в карты играет, не дома себе семиэтажные строит! Народу нужна не реформа, не буржуазная республика. России нужна пролетарская революция, которая создаст республику рабочих и крестьян! Долой войну! Долой правительство Керенских и Родзянок. За здравствует пролетарская революция!

И теперь аплодисменты прокатились гулкой и широкой волной. Аплодировали Наталья Львовна с Ваней Сыромолотовым, захваченные общим энтузиазмом публики. И этот шквал аплодисментов заставил Ваню осмотреться.

— А народу-то набралось,— с удивлением пророкотал он.— Как-то вдруг, а? Откуда столько?..

Как раз в это время мимо них пробирался сквозь толпу тот самый юный оратор, который только что сообщил о приезде Ленина. Он пытливо посмотрел на Ваню ясными сверкающими глазами, и глаза эти показались Сыромолотову до того знакомыми, что он не удержался, проговорил в сторону юноши:

— Поразительно, какое сходство! Вы не сын ли Ивана Васильевича?

— Сын... И вас я знаю... Вы чемпион по французской борьбе.

— Был когда-то...— заметил Ваня, но юноша не обратил внимания на его слова и сказал:

— Вы у нас были года три назад... Я помню...

— Да, Иван Васильевич снимал тогда этаж в моем доме. Где он сейчас?

— Погиб... на фронте.

И глаза юноши, так изумительно похожие на «святого доктора» Худолея, сразу замигали и потускнели. И тут Наталья Львовна, чтобы как-то перевести разговор, сказала, восторженно обратясь к юноше:

— Мы очень благодарны вам... Вы так хорошо говорили, так проникновенно... Вам нельзя не верить... Значит, это хорошо, что Ленин теперь в Россию приехал?

— Очень хорошо. Теперь у нас главная задача — вырвать власть из рук эсеров и меньшевиков, у которых с кадетами подлинный блок. Наталье Львовне, да и Ване хотелось еще поговорить с этим сим-

патичным юношей, но тут, проходя мимо, такой же юноша, очевидно товарищ его, сказал негромко:

— За тобой следят. Уходить надо.

Сын «святого доктора» сделал поклон и сказал, обратясь к Ване:

— Родителю вашему Алексею Фомичу кланяйтесь и еще раз благодарность мою передайте за пирожки.

— За какие такие? — не понял Ваня.

— Он знает. Пусть газету «Правду» вспомнит.

И Худолей-младший растаял в густой толпе.

— Пожалуй, что на сегодня с нас хватит, — сказал Ваня и предложил Наталье Львовне возвращаться домой.

Около дома их встретил дурачок, который теперь почему-то не прятался, а очень воинственно нацелился из своего оружия прямо в лицо Наталье Львовны и успел щелкнуть один раз, после чего проворно пустился бежать вдоль улицы.

— Знает, хоть и дурак, что бежать за ним я не буду! — сказал Ваня и добавил: — А в участок все-таки надо будет зайти сегодня...

Когда же они вошли в коридорчик, то увидели в дверях, ведущих на кухню, Епимахова. Улыбаясь сладенько, лукаво, театрально склонив голову набок, он выпалил:

— Поздравляю вас нижайше с незаконным браком! — и тут же подался назад и захлопнул за собою дверь.

Ваня не задержался тут, поднялся к себе и совсем без раздражения сказал Наталье Львовне:

— Вот, видела, какие у меня жильцы? А ты думала, что можно их к чему-то там приспособить по домашности!.. Не-ет, таких не приспособишь!

— Так что же, в самом деле, с ними сделать? — захотела узнать она.

— Это уж в милиции пускай придумают, куда их девать, а сейчас нам надо пойти — сделать так называемый визит отцу.

Наталья Львовна посмотрела на него пугливо, но так и не прочитала в его глазах, почему идти к Алексею Фомичу нужно было именно теперь.

5

Когда Наталья Львовна подошла к дому Сыромолотова-отца, то почувствовала такую робость, что тихо сказала Ване:

— Может быть, отложим это на завтра, а?

Ваня улыбнулся и ответил:

— Есть такое правило: «Что можешь сделать сегодня, никогда не откладывай на завтра»... Этому меня и отец учил.

Алексей Фомич увидел Наталью Львовну в окно, узнал ее, вышел в прихожую, и первое, что они от него услышали, было:

— Что? Вам еще удалось подпалить свечкою Семирадского?

И она не знала, как отнестись ей к его шутке, когда Ваня серьезным и даже торжественным тоном сказал отцу:

— Прошу любить и жаловать: моя жена!

Алексей Фомич отступил на шаг от изумления, поднял брови, пробормотал было: — Когда же это ты успел? — но тут же, наклонив голову и сделав широкий жест правой рукой, сказал громко и отчетливо:

— Честь и место! — и помог Наталье Львовне раздеться.

А когда повесил на вешалку шубку, то поцеловал ее в лоб и спросил:

— Значит, вы мне приходитеесь теперь снохою? Вот надо же, как

скоропалительно это случилось! Ведь совсем недавно, Ваня, видел я твою теперешнюю жену в одной церкви,— о чем она тебе, должно быть, уже сказала,— и она действительно спрашивала о тебе. Знакомы раньше? Тогда все для меня понятно.

Чтобы не вступать в длинные объяснения, Ваня сказал:

— Да, вот именно: мы были знакомы еще до войны, а теперь только нашли друг друга...

— Все понятно... Все понятно! — повторил Алексей Фомич и широко отворил перед женою сына дверь в комнаты.

И, введя Наталью Львовну к себе в дом, Алексей Фомич продолжал разглядывать ее глазами художника и вдруг сказал Ване:

— Русалка, а? Вот с кого писать тебе твою русалку!

— Уже написал,— улыбнулся Ваня.

— Ну еще бы нет, еще бы нет! Я бы и сам написал! — и Алексей Фомич, совершенно развеселясь, хлопнул по плечу сына.

Только после этого улыбнулась облегченно и обрадованно Наталья Львовна.

— Приятно, приятно видеть! — проговорил Алексей Фомич, и она поняла это так, как ей хотелось понять,— что улыбка красит ее лицо, а не портит. Это она о себе знала.

А Сыромолотов обратился к сыну:

— Ты что-то принес там такое — неси на кухню и зови сюда свою мачеху.

Ваня тут же вышел, и Наталья Львовна поняла, что Алексей Фомич вполне обдуманно удалил Ваню, потому что, очень внимательно глядя ей в глаза, он сказал, вдруг понизив голос:

— Позвольте разобратсья: ведь вы замужем там за кем-то, кто сейчас на фронте? Так мне говорил дьякон Никандр, да ведь как же и могло быть иначе?

— Нет, теперь больше не замужем,— с большим ударением сказала она.

— А-а! Вы получили известие, что он убит, и стали, значит, свободны!.. Все понятно!

Наталья Львовна почувствовала большую неловкость от этой догадки, но ничего не сказала, даже не повела головою, да и некогда уж было что-нибудь говорить в объяснение: в комнату входили Ваня и Надя, поспешно вытиравшая руки о фартук.

Должно быть, именно потому, что руки ее были еще влажны, молодая жена старого Сыромолотова, не подавая руки своей новой родне, просто обняла ее и поцеловала в губы, а следивший за нею Алексей Фомич весело подмигнул сыну и еще веселее проговорил:

— У Шопенгауэра в его «Афоризмах и максимах» есть такой афоризм: «Когда молодая женщина встретит на улице другую незнакомую ей молодую женщину, то они смотрят друг на друга, как враги». А посмотри ты, как встретились наши с тобою жены!

Это замечание Алексея Фомича совершенно успокоило Наталью Львовну, и она уже сама обняла Надю и с восхищением сказала ей:

— Какая же вы молоденькая! И какая хорошенькая! И совсем не врагами, а большими друзьями мы с вами будем!

И тут же, точно по какому-то наитию, добавила:

— Покажите же мне картину свою, Алексей Фомич! Я так много слышала об этой картине от Вани!

— Вот! Это называется — с места в карьер! — как бы еще более развеселившись, обратился к сыну Сыромолотов. — И, знаешь ли, мне показалось там, в церкви, около Семирадского, что она что-то понимает в живописи!

— Она понимает! — подтвердил Ваня, но лицо Сыромолотова посуровело вдруг и повернулось к окну, в которое он и проговорил как бы про себя:

— Что же смотреть картину, когда она запоздала появиться?.. Вчерашний день, вчерашний день!

Однако Надя, обняв Наталью Львовну за талию, как бы сама возбуждаясь ее любопытством, сказала радостно:

— Идемте, я покажу вам картину!

А Алексей Фомич вполголоса спросил сына:

— Как жена твоя, не двулична ли?

— Не замечал этого за нею, — подумал и вполне серьезно ответил Ваня.

— Ну, если так, пойдем, послушаем, что скажет. Первое впечатление — важно... Картина Семирадского ей нравилась, может быть, понравится и моя тоже...

Наталья Львовна вошла в мастерскую Сыромолотова благоговейно. Это слово наворачивалось ей и тогда, когда она подходила вместе с Ваней к дому Алексея Фомича, но вполне ясно представилось оно ей во всей своей глубине только теперь, когда, стоя в дверях, где поставила ее Надя, она бросила на картину первый взгляд. Оторваться от картины она уже не могла и не слышала, как подошли и стали сзади Ваня с отцом.

Она не просто смотрела, а как бы переселилась вся целиком туда, на площадь перед Зимним дворцом, где происходило нечто чрезвычайно огромное в жизни не этой вот только захваченной кистью художника толпы, а целого народа. Когда Ваня описывал ей картину отца, она из его слов представляла себе и часть дворца, и толпу в несколько десятков человек различных возрастов и обличья, и конный отряд полиции с величественным приставом во главе. Но Ваня не сказал ей того, что ярко вдруг блеснуло в ней самой: эти люди, пришедшие к дворцу, видели тут то, чего не могло быть изображено красками на холсте, но в то же время ярко ощущалось теперь ею.

Это ненаписанное и всё-таки явно воплощенное было — свобода! Свобода огромного народа, который занял за тысячелетие своей жизни огромнейшие пространства земли и в то же время совсем не имел права распорядиться своею судьбою, а должен был, хотя бы и в явный вред себе, исполнять беспрекословно чужую волю. Она поняла так картину потому, что только накануне вырвавшись на свободу, она увидела вечное — то, что совершилось с нею самой, то, что может совершиться со всяким и где и когда угодно, то, что может и должно совершиться с любым народом, так как самое ценное, что есть в жизни каждого и всех, это — свобода.

И когда ощущение великого, совершенно исключительного, что было вложено в картину художником, пронизало Наталью Львовну насквозь, она не в силах была вынести этого спокойно, она обняла Надю и заплакала, прижав голову к ее щеке.

— Что ты? Что ты, Наташа? — обеспокоился Ваня и хотел было отнять ее руки от Нади, но Наталья Львовна еще сильнее всем телом прижалась к ней.

— Голова, должно быть... Компресс надо... Поди воды принеси! — забормотал испуганно Алексей Фомич.

Тут же принесенная Ваней вода в стакане действительно помогла. А когда Надя усадила Наталью Львовну и, вытирая ее лицо платком, вздумала сделать ей выговор, как свекровь снохе:

— Разве можно быть такой нервной в наше время!

Сноха поглядела благодарно на свекровь и слабо улынулась ей.

А через минуту она встала и обратилась к свекру:

— Алексей Фомич! Вы мне разрешите поцеловать вас?

— Сделайте одолжение! — потянулся к ней Сыромолотов, и она поцеловала его в волосатую щеку по-детски и только после этого сказала восторженно:

— Это гениально, что вы сделали! Гениально, и это совсем не какая-то «демонстрация».

— Да, вы верно говорите, — согласился Алексей Фомич. — Это у меня не демонстрация — нет, а своеобразный штурм Зимнего дворца, вот что-с! И охраняет дворец все тот же Дерябин! Он не убит, нет, полиция осталась почти вся на месте, и мой Дерябин на своем месте... На посту! Дерябин на своем посту — вот что-с, а не то чтобы убит. Не опоздал я со своей картиной, а совершенно напротив — предупредил события, которые не-из-беж-ны, иначе не может быть. У всех исторических событий железная логика, и это не только потому, что на них тратится много железа. Посчитайте-ка, сколько железа истрачено на эту войну и сколько мозга, и увидите, что мозга не меньше железа. Вот в силу этой самой логики и я выставлю свою картину, а назову ее... Назову уж теперь не демонстрация, а... Тут нужно энергичное военное слово... Как бы? «Атака»? А? «Атака Зимнего дворца», или еще лучше «Штурм Зимнего дворца». А еще выразительнее «Штурм власти, которая не на месте». Да! Которая должна быть общенародной! Да! Так я и сделаю!

Ваня с восхищением смотрел на отца, а когда тот кончил говорить, вдруг сообщил:

— Удивительное совпадение: примерно эти же слова и говорил сейчас на митинге один юный большевик. Да ты его знаешь — сын Ивана Васильевича Худолея.

— А-а-а? Вот как? — обрадованно протянул Алексей Фомич. — Интересно, какую ж он речь говорил, этот славный юноша?

— Он говорил, что власть по-прежнему держат в руках имущие классы, а не народ, — ответил Ваня, пытаясь наиболее полно припомнить содержание речи Коли Худолея. — Но скоро все переменится, поскольку произойдет новая революция — пролетарская.

— И что сделает ее Ленин, — подсказала Наталья Львовна.

— Да, именно Ленин, — немедленно согласился Алексей Фомич, что несколько удивило Ваню. А отец повторил с убежденностью: — Именно Ленин... Но ведь он где? В эмиграции...

— Приехал! — поспешила первой сообщить Наталья Львовна.

— Уже?! Ленин приехал? В Россию?

— Да, в Петроград, — подтвердил Ваня.

— Ну вот... видите! — Алексей Фомич энергично заходил по комнате. — Видите!.. Он уже в Петрограде. Значит, там и начнется... новая революция. Теперь я знаю — моя картина нужна. Там, в Питере. Я ж говорил — не опоздал. Слышишь, Надя! В Петроград ехать! Немедленно. Там помещение для нее найдется. Там помогут. Вот они, путиловцы, помогут. — Он указал на фигуры рабочих, изображенных на картине. — Помнишь Ивана Семеновича, Катю? С Путиловского завода? Они, наверно, будут на баррикадах. Да уж непременно. А где ж им быть, как не на баррикадах с Лениным во главе?..

(Здесь рукопись обрывается)

Сарпинская быль

ПОВЕСТЬ

О ДОЛГЕ И ГЕРОИЗМЕ

Никто не помнил, когда Костюков был избран вторым секретарем райкома. Высокий, сухощавый шатен с красивыми, тонкими чертами лица, всегда спокойный, уравновешенный, с ясным доброжелательным взглядом больших зеленовато-серых глаз, он появился в райкоме незаметно и, однажды войдя в свой небольшой уютный кабинет, тотчас же словно растворился в нем, став его неотъемлемой частью. Он обладал редкой способностью одинаково непринужденно сходиться с людьми самых различных характеров. Его считали умным человеком, потому что говорил он мало, предпочитая вежливо присоединяться к мнению людей, знание и ум которых ни в ком не вызывали сомнения, и почти никогда не ошибался в решении тех или иных рабочих вопросов, ибо дела, ошибки в которых могли быть значительны и заметны, Владимир Алексеевич, с присущим ему тактом, умело перекладывал на плечи первого секретаря.

Больше всего Владимир Алексеевич не любил выезжать за пределы районного центра. Только в стенах своего уютного кабинета, под надежной тенью первого секретаря, он чувствовал себя уверенно и спокойно. Предложив на одном из заседаний бюро организовать поочередное дежурство партийных работников на отгонных пастбищах, он вовсе не думал, что решение, принятое бюро по этому вопросу, коснется его самого. Составляя график дежурств, он умышленно вписал в него и свою фамилию, не сомневаясь в том, что Кривцев при утверждении вычеркнет ее. Однако Кривцев не только не сделал этого, но рядом с его фамилией поставил свою. Просмотрев утвержденный список, Владимир Алексеевич позвонил Кривцеву и, вежливо улыбаясь в трубку, сказал:

— Не вычеркнуть ли вашу фамилию из списка дежурных, Александр Федорович?

— Это почему?

— М-м, по долгу службы секретарь райкома не может надолго уезжать из района.

— Ничего, если вменить в обязанность,— сможет.

Окончание. Начало — в № 11.

Наставать было уже опасно, и Владимир Алексеевич, извинившись, со вздохом положил трубку.

Единственное, на что он смог решиться — это переставить свою фамилию в самый конец списка. Если бы он знал, какая это была ошибка.

Приехав на центральную усадьбу отгонных пастбищ, Владимир Алексеевич внимательно обследовал гостиницу (так пышно назывался одноэтажный стандартный домик) и наконец, выбрав комнату по вкусу, приказал шоферу перетаскивать вещи, а заведующей — пожарче натопить печь.

— Вот что, Миша,— со своей обычной дружелюбной улыбкой сказал Владимир Алексеевич шоферу, когда многочисленные свертки с домашними пирожками и котлетами должным образом были уложены на столе, а кровать застлана чистеньким, тоже прихваченным из дома байковым одеялом (Владимир Алексеевич не выносил казенного белья).— Я тут пока с ужином что-нибудь соображу, а ты съезди-ка в магазин за сахаром.

Он вытащил из бумажника новую сторублевку, подумал и добавил еще пятьдесят.

— Килограммов десять прихвати.

С сахаром в районе было туговато, а черноземельский магазин снабжался продуктами в первую очередь, и Владимир Алексеевич не мог не воспользоваться случаем.

Когда шофер ушел, Владимир Алексеевич достал из чемодана банку со шпротами, аккуратно открыл ее и, не торопясь, закусил в одиночку.

Едва Владимир Алексеевич успел убрать в чемодан остатки шпрот и флягу с холодным кофе, как в дверь постучали.

— Да, да, пожалуйста.

В комнату вошел секретарь районной газеты Михаил Ильич Шамарулин, маленький щуплый человечек лет тридцати с бледно-желтым лицом и темными, быстрыми, как у хорька, глазами.

— Приветствую вас, Владимир Алексеевич! Как доехали?

— Ничего, спасибо.

Шамарулин, не спрашивая разрешения, подвинул к себе стул и, усевшись, покосился на разложенные на столе свертки с продуктами.

— С запасцем приехали?

— Да так, знаете, надавала жена по мелочам. Пригодится, я думаю. Угощайтесь.

Шамарулин отрицательно мотнул головой.

— Нет, я здесь вторую неделю бараниной с шулюном желудок закаляю. Жаль, рис в магазине вышел, мы бы вам такой плов организовали — пальчики оближешь.

«Везде как дома»,— с неприязнью подумал Владимир Алексеевич, всегда недолюбливавший Шамарулина за развязность и сварливый, въедливый характер. Однако фельетоны Шамарулина частенько появлялись в областной газете, и Владимир Алексеевич относился к нему с особенной любезностью, всегда появлявшейся у него по отношению к людям, которые чем-либо были неприятны ему, но ссориться с которыми было опасно.

— Угощайтесь,— еще раз предложил он, разворачивая сверток с пирожками и подвигая его к Шамарулину.

— Спасибо,— отмахнулся тот.— Ругаться я к вам пришел, Владимир Алексеевич.

— Я полагаю, делить нам нечего, Михаил Ильич, авось мирно обойдется.

— Не-ет, с вашим братом без драки нельзя разговаривать. Вы мне скажите: вы с Кривцевым людей-то хоть любите или плевать вам на них с высокой колокольни.

— Что за вопрос, Михаил Ильич? — вежливо улыбаясь, сказал Костюков, с раздражением думая о том, что этот неугомонный прыга непременно пришел с какой-то каверзой.

— Вопрос правильный, Владимир Алексеевич. — Шамарулин вынул из кармана и бросил на стол пухлую пачку пожелтевших от времени бумаг. — Вот, все восемнадцать заявлений, а человек на верном пути к самоубийству. Это как, по-вашему, забота о человеке, а?

— О ком вы, Михаил Ильич? — равнодушно скользнув взглядом по рассыпанному на столе бумагам, сказал Костюков.

— О радисте, о Киме Юрченко. Сколько можно парня в этой дыре держать! Шесть лет света белого не видит человек. За шесть лет два отпуска по четырнадцать дней каждый, а все остальное время — четыре стены и степь с баранами. Нет, как хочешь, Владимир Алексеич, а такого отношения к людям я не понимаю! Это черт знает что, преступление какое-то, честное слово!

— Не горячись, Михаил Ильич. Юрченко классный специалист, подыскать ему смену пока не удалось.

— Хорошенькое пока!

— Шесть лет — это, конечно, многовато, — не стирая с лица улыбки, продолжал Костюков. — Но посуди сам, Михаил Ильич, устраивает ли, например, меня работа в районном центре, намного ли райцентр лучше Черных земель? А ведь работаю и жалоб никуда не пишу. Мы не имеем права только по своему усмотрению выбирать свое рабочее место. Мы, коммунисты, такого права не имеем, потому что...

— Остается добавить, что этому учит нас партия, — усмехаясь перебил Шамарулин.

— Да, если хочешь.

— Нет, не хочу! Нет в нашем партийном уставе графы, которая разрешает ломать человеку жизнь только потому, что кому-то лень пальцем пошевелить, чтобы ему помочь. Э, да чего там, одевайся — я тебе сейчас наглядной агитацией все растолкую. Пойдем, пойдем, — требовательно сказал он, видя, что Костюков нерешительно забарабанил по столу пальцами.

Идти не хотелось, но привычка быть обходительным со всеми одержала верх над раздражением, которое Костюков едва сдерживал в себе.

— Ну, хорошо, — вздохнув, сказал он, всем своим видом давая понять, что Шамарулину не в чем и незачем убеждать его, потому что он, Костюков, уверен в своей правоте и неправоте Шамарулина и идет затем только, чтобы выполнить свой долг перед рядовым коммунистом.

В дверях они столкнулись с шофером, который держал в руках два огромных бумажных кулька. Один из кульков был приоткрыт, и в нем, точно издеваясь над самолюбием Костюкова, вызывающе белели аккуратные кубики пиленого сахара.

— Куда его, Владимир Алексеевич? — спросил шофер, кивая на кульки.

«Дубина!» — выругал его про себя Костюков, заметив ироническое выражение лица Шамарулина, и, улыбнувшись одной из своих самых очаровательных улыбок, сказал добродушно:

— На стол, Михаил Петрович. Я скоро вернусь.

Домик, где жил Юрченко, находился всего в нескольких десятках метров от гостиницы, и Костюков, немного отстав от Шамару-

лина, с интересом осматривал центральную усадьбу, где он не был уже несколько лет.

В последний его приезд вся усадьба состояла всего из двух камышитовых домиков и небольшого амбара, где стоял облезлый трофейный «виллис», на котором разъезжали по точкам зоотехник и ветеринарный врач. Сейчас домов было уже пять. Над дверью одного из них висел большой лист фанеры, на котором зеленой краской было выведено: «Черноземельская начальная школа». Фанера наверное висела уже не первый год, потому что буквы на ней сильно выцвели, и в глаза бросалась свежая надпись мелом, сделанная, как видно, кем-то из учеников, — «имини Алега Кашевова».

— Сюда, Владимир Алексеевич, — сказал Шамарулин, подойдя к небольшому домику и вынимая из цепочки камышинку, вставленную в нее вместо замка.

Комната, куда они вошли, имела запущенный, нежилой вид. На небольшом самодельном столе стояло несколько пустых консервных банок и лежала начатая буханка хлеба с воткнутым в нее перочинным ножом. Сквозь давно немые стекла единственного окна с трудом пробивался серый неласковый свет, освещаая грязный пол с раздавленными на нем годичной давности окурками. В комнате крепко пахло горьковатым кизячным дымом и табаком.

— Ну как? — спросил Шамарулин и, смахнув с табурета спавшего на нем огненно-рыжего кота, подвинул табурет Костюкову: — Садись, Владимир Алексеевич. Сроду небось в таком дворце не бывал.

Костюков брезгливо поморщился и промолчал.

— А Ким этот — хороший парень и чистюля, говорят, был отчаянный. А теперь — вот, — и Шамарулин сделал широкий жест рукой, приглашая Костюкова еще раз осмотреть комнату. — И пьет, как извозчик. За ночь пару бутылок, как языком слизывает.

— Пьяницам не в партии место, а в лечебнице, — негромко сказал Костюков, думая о том, как долго продержит его Шамарулин в этой грязной, как хлев, комнате.

— Верно, — воскликнул Шамарулин. — Только, Владимир, свет, Алексеевич, Юрченко не пьяницей в партию пришел, не-ет. Вот посмотрите-ка. — Он подошел к узенькой койке, небрежно застланной серым суконным одеялом, и достал из-под подушки объемистую в кожаном переплете тетрадь. — Послушайте, с каким сердцем парень пришел в степь.

И, отсекая каждую фразу резким взмахом руки, стал читать.

Степь родная, принес тебе сердце свое
Разбитной паренек из сибирского края,
Он пришел из Сибири, оставил ее,
Птицы тоже родное гнездо покидают.
Только птицы всегда улетают на юг,
Чтоб настигнуть в пути уходящее лето,
Я ж не солнце искал в этом скудном краю,
Я пришел, обожженный огнем партбилета.
Как же мог я сказать свое жалкое «нет»,
Если честь коммуниста идти приказала.
Здравствуй, степь... Я привез тебе братский привет
От сибирских лесов и седого Урала.

— Как? — спросил Шамарулин, кончив читать.

Костюков неопределенно пожал плечами.

— Не понимаю я стихов, Михаил Ильич. Грешен.

— Хорошие стихи, — убежденно сказал Шамарулин. — Честные.

А вот смотрите, что он на последних страницах пишет:

«Тоска. Из райкома опять вернули заявление с отказом. Ча-

баны все-таки счастливый народ: они хоть на месяц-другой уезжают в райцентр. А тут попробуй брось аппаратуру — сразу под суд. А уж партбилет отберут — это как пить дать. Хорошо хоть приехала новая учительница. Жаль только, что замужем, а так девушка интересная. Почти всего Блока знает наизусть. Эх, перевели хотя бы в райцентр. Там хоть какой-никакой населенный пункт. Недавно приезжал новый секретарь райкома. Пробовал говорить с ним. Он посмотрел на меня и говорит:

— И не стыдно вам, Юрченко, искать место полегче. Это, говорит, по-вашему, партийный разговор?

Лицо у него такое усталое, грустное. Нелегко, наверное, целым районом ворочать. Мне и на самом деле стало стыдно. Больше ни к кому обращаться не буду. Будь что будет. А все-таки тошно...»

Шамарулин закрыл тетрадь и сунул ее под подушку.

— Случайно увидел, как он ее здесь прячет. Узнает — обидится. Всю прочесть, конечно, нельзя, а интересная штука. Целая летопись о том, как хороший человек, с горячим сердцем настоящего коммуниста постепенно превращается в гнилушку, в пьяницу. И никому до этого дела нет, ни одной душе.

— Кривцев ему правильно ответил, — сказал Костюков. — Ну, мне пора, Михаил Ильич, извини, дела.

— Подождите, Владимир Алексеевич. Или ладно, пойдёмте. Я вам дорогой договорю.

«Не отвязнешься от него», — тоскливо подумал Костюков.

— Я о чем хотел сказать, Владимир Алексеевич, кто-то из писателей, кажется Островский, сказал, что быть героем — долг каждого советского человека. — Шамарулин закрыл дверь на цепочку и водворил камышинку на прежнее место. — Это, конечно, верно. Только разный бывает героизм и разные подвиги. Закрыть амбразуру собственным телом, для этого, конечно, огромную силу воли и страшную ненависть к врагу надо иметь... и храбрость, смелость настоящую. Но все-таки это секунда, мгновение, так сказать. И такое великое дело, когда нужно, всякий настоящий человек сделает. И вот Юрченко тоже бы сделал, точно говорю. А вот тебе другой подвиг. Загоним мы человека к черту на кулички, вот вроде как наша центральная усадьба, посадим его в нору вроде нашей рации. Сиди, говорим, это твой долг как коммуниста и советского человека. И он сидит. Знает, что нужно, и сидит. Год сидит, другой, третий. Рация работает отлично, и все забывают, что там третий год сидит один и тот же человек и работает он, именно он, а не сама рация. И прекрасно он понимает, что никакой он не незаменимый, что на его месте и кто-нибудь еще тоже мог бы годик-другой посидеть, но сидит. Сомневаться в том, что это его партийный долг, он не смеет. Верит: сказано так — значит правда. Что это, по-твоему, подвиг?

— Не знаю. По-моему, это просто работа.

— Ты думаешь? Нет — это подвиг. И плохо, если его стремятся превратить в подвижничество. А вот когда человек начинает понимать, что так в четырех стенах, в степи, в одиночку он может провести всю самую лучшую часть своей жизни, он пишет в райком, надеясь, что ему помогут, поймут. А заявление приходит с резолюцией, где его чуть ли не в дезертиры записывают.

— Ну и какова же мораль?

Они остановились у гостиницы. Костюков, взявшись за ручку двери, смотрел на Шамарулина спокойным выжидательным взглядом человека вполне уверенного в неправоте собеседника и не возражавшего ему только потому, что неправота эта была слишком очевидна.

— Мораль? — Шамарулин зачем-то потер ладонью лоб.— Черт ее знает, какая здесь мораль. Жалко мне Юрченко. И вся-то его вина в том только, что бессловесный он и честный до глупости, до идиотизма. Таким легко напоминать об обязанностях, о правах они думать забыли.

— С Юрченко я сам поговорю,— сказал Костюков.— А с тобой,— он помедлил, будто пытаюсь припомнить что-то.— С тобой нам тоже придется поговорить. Не на ходу, конечно. Ты извини, но мне кажется — обывательщина у тебя в мозгу завелась, мусорок.

— Вот оно что,— насмешливо блеснув глазами, протянул Шамарулин.

— Да,— серьезно сказал Костюков.— Мне кажется, что я не ошибаюсь. Ну ладно, ты здесь остановился?

— Нет, у Сашкова квартирую. Ну что ж, спасибо за беседу, Владимир Алексеевич. А насчет обывательщины это знаешь... Э-э, да ладно,— Шамарулин махнул рукой и, не прощаясь, пошел прочь.

«Н-да, с Сашковым-то вы два сапога пара,— подумал Костюков, глядя на удаляющуюся фигуру Шамарулина.— Вам бы только грому побольше».

После разговора с Шамарулиным на душе у него остался тяжелый мутноватый осадок. Он был уверен, что в случае с Юрченко, о котором, может быть, и в самом деле забыли, за ним лично не было никакой вины, но он чувствовал также, что в обвинениях Шамарулина было что-то гораздо большее, чем желание помочь Юрченко, и что этого главного Шамарулин не захотел высказать. Именно потому, что он не знал, в чем заключалось это главное, чего так и не сказал Шамарулин, Владимир Алексеевич твердо решил перевести Юрченко в район. Так будет спокойней.

Когда Шамарулин вернулся к себе, Сашков, взглянув на его хмурое лицо, спросил:

— Аль не уговорил?

— Нет.

— Ну, ну.

— Слушай, Николай Антоныч,— после долгого молчания заговорил Шамарулин,— ты когда-нибудь замечал, какие у Костюкова глаза?

— Черт их знает, глаза как глаза, серые вроде.

— Не о цвете речь. Неподвижные они у него какие-то, стеклянные. Будто настоящие, живые глаза вынули у него, а вставили протезы. Молчат они у него всегда. Язык говорит, а глаза молчат.

— Что он девка, глазами стрелять.

— Э-э, да не о том я опять же.

— Ну добре, добре, давай обедать, пока ты с голоду кулаками не заговорил.

Уже за обедом, отложив ложку и разминая в руках папиросу, Шамарулин сказал задумчиво:

— А все-таки таких людей, как Костюков, я бы к партийной работе не подпускал. Очень уж они спокойные и вежливые, а вежливость их — загородка, за которой они от людей спасаются.

— Умничаешь, Михаил Ильич,— заметил Сашков.

— Да? Очень может быть. А послушай, Николай Антоныч. Вот мы говорим о чуткости к людям, о человечности. Статьи об этом пишем, лекции читаем. А по-моему, не надо ничего этого. Просто чутких, хороших людей выдвигать надо, чтобы на виду они были. А мы вот Костюковых выдвигаем. Плохого они, конечно, ничего не сделают, и хорошего от них не жди. Не умеют они делать хорошее. Да, плохо мы еще разбираемся в людях, а пора бы, пора.

На другой день с утра Костюков собирался поехать по точкам, но замешкался, а с полудня началась метель.

— Как думаешь, Михаил Петрович, можно ли ехать? — спросил он у шофера, выйдя на крыльцо и глядя, как крайний домик усадьбы постепенно растворяется в белесоватой дымке.

— Ехать можно, а если не к спеху, так лучше бы подождать.

— Переждать, думаешь?

— Лучше бы переждать, — повторил шофер. — К вечеру уляжется.

Но к вечеру не улеглось, и, чтобы как-нибудь убить время, Костюков принялся составлять план беседы, которую нужно будет провести с чабанами. Планировать все до мелочей было его слабостью.

Он уже собирался укладываться спать, когда в дверь постучали.

— Да.

В комнату вошел зоотехник Крутов, исполнявший обязанности заведующего черноземельским участком.

— Извините, Владимир Алексеевич, срочное дело.

— Что такое? — с тревогой спросил Костюков, натягивая на ногу снятый было сапог.

Крутов, отряхнув шапку, бросил ее на стол и, усевшись на скамью, тыльной стороной ладони вытер мокрое от растаявшего снега лицо.

— Прогноз ни к дьяволу, Владимир Алексеевич. Четыре дня такой заварухи обещают. Делать что-то надо.

— Ну и что же вы предлагаете? — осторожно спросил Костюков, не понимая, к чему клонит Крутов и боясь показать свою неосведомленность.

— Кормов-то в отарах кот наплакал. Думали только слабых овец подкармливать. А тут если на четыре дня посадить все отары на подкормку — в трубу вылетим. Все корма потравим.

— Но после метели отары снова перейдут на подножный корм.

— Хорошо кабы так. Только за четыре дня сантиметров на шестьдесят снегу навалит. Никаким снегопахом до травы не достать. И тогда — падеж.

«Вот оно, — растерянно подумал Костюков. — И именно в мое дежурство, именно в мое».

Нарочито медленно, чтобы скрыть свою растерянность, он надел пиджак и тщательно причесался.

— Да, нужно что-то делать.

— Нужно немедленно телеграфировать в район, — сказал Крутов.

— Нужно подумать сначала, что мы сможем сделать сами, — строго сказал Костюков. Говоря это, он совершенно не представлял себе, что можно было сделать, но идти на поводу у Крутова не хотелось, и он не мог не сказать хоть какое-то, но свое мнение.

— Что мы можем? — пожал плечами Крутов. — А-а, черт, сколько говорили о кормах и вот дождались.

По его тону, в котором было безнадежное отчаяние и бессильная злость, и по расстроенному лицу Костюков отчетливо понял всю серьезность надвигавшейся опасности.

— Ты думаешь, катастрофа? — спросил он и впервые пожалел о том, что так плохо знал положение на Черных землях. Знай он это, непременно перед поездкой изложил бы все свои опасения первому секретарю, застраховал бы себя от всех случайностей.

— Не знаю, — ответил Крутов. — Теперь на бога надежда. Только бы снега поменьше. В районе-то тоже кормов нет. Ну что ж, пойдемте, Владимир Алексеич.

Костюков туго закрутил шарф и тщательно застегнул полушубок.
— Пойдемте.

Прямо с порога они шагнули в чернильную тьму. Ветер был настолько силен, что казалось, будто в грудь упирается сильная рука и не дает идти. Мелкие частые снежинки крохотными иглами впились в лицо.

— Идите за мной,— крикнул Крутов.— А то прямехонько в степь ушагаете.

В нескольких метрах от Костюкова закачался в воздухе тусклый глазок карманного фонаря. Глазок быстро удалялся, и Костюков, прикрыв лицо ладонью, торопливо пошел вперед, упираясь грудью в невидимую упрямую руку.

Потом из темноты выглянул второй огонек. Это было окно радиостанции. Глазок фонарика взметнулся вверх и заплясал в воздухе.

— Сюда, Владимир Алексеевич,— крикнул Крутов.

В небольшой чистенькой комнате уютно гудела чугунная времянка. Над огромным столом, уставленным радиоаппаратурой, ослепительно ярко горела крохотная лампочка. На стене в грубой самодельной раме висел портрет девушки со строго сжатыми губами. И хотя фотография была не цветной, глаза у девушки несомненно были светло-синие и глубокие, как майское небо.

«Красивая»,— подумал Костюков, задерживаясь взглядом на портрете.

Из-за стола навстречу им поднялся невысокий, плотный парень лет двадцати пяти с красивым южного типа лицом.

— Здоров, Ким,— сказал Крутов.— Как район?

— В порядке, Павел Иванович. Связь в норме.

Костюков видел Юрченко года четыре назад и почти не помнил его и потому удивился, когда тот, улыбаясь ласковой, чуть-чуть смущенной улыбкой, запросто, как хорошо знакомому, протянул ему руку.

— Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Журнальчики не привезли нам?

Вспомнив все, что за последние несколько часов он узнал о Юрченко, Костюков искренне пожалел, что позабыл захватить литературу, о которой за день до его отъезда ему напомнила заведующая библиотекой.

— Потом, потом, Ким,— сказал Крутов,— давай район.

Юрченко сел за стол и застучал ключом. Костюков, стоя за его спиной, разглядывал портрет девушки. Она смотрела на него строго осуждающе, будто говорила:

— Что, забыл журналы, забыл?

В трубе времянки, будто тоже напоминая ему о забытых журналах, сердито завывал ветер.

«САМОЕ ВРЕМЯ — КОМАНДОВАТЬ»

Последняя радиограмма была самой короткой. «Кормов нет. Угрожает падеж. Костюков».

Жупиков, принесший радиограмму, положил ее перед Кривцевым и, не дожидаясь приглашения, грузно плюхнулся на стул.

— Падеж,— глуховато проговорил он.

Кривцев медленно перечитал радиограмму, сам не зная зачем,

тщательно скатал ее в трубочку и положил в нагрудный карман. На столе длинно, настойчиво, зазвонил телефон.

— Да.

В кабинете было так тихо, что было слышно, как бился в трубке чей-то возбужденный, встревоженный голос.

— Кто звонил? — спросил Жупиков, когда Кривцев кончил говорить.

— Сам, — ответил Кривцев. — Утром из города вышла автоколонна с кормами.

Они оба повернулись к окну. На улице стремительно крутилась белая мгла. Тысячи снежинок, как белая мошकारа, упрямо бились о стекла, точно хотели укрыться в комнате от лютовавшей на дворе непогоды.

— Может, пару С-80 навстречу выслать, — неуверенно предложил Жупиков.

— С бульдозером они, — возразил Кривцев. — Дойдут.

— Дойдут, — повторил Жупиков, но в голосе его было сомнение. Он быстро поднялся со стула, инстинктивно положив руку на большой распиривший полшубок живот, будто боялся уронить его.

— Дойдут, — повторил он еще раз. — Только когда дойдут? От города по такой дороге суток трое тащить надо и до Черных столько же. До этого времени сколько овец уложить успеем, а? За одну отару Никитенко голову снять мало. Десять лет работы ухлопано.

Он говорил ровно, почти равнодушно, точно ему не было никакого дела до всего этого, но молчать было неловко.

Без стука, шумно похлопав у порога валенками, вошел Лашкин. Неуклюжий, казавшийся непомерно большим даже в легкой стеганке, туго подпоясанной широким солдатским ремнем, он на секунду остановился в дверях, отряхивая о колено шапку. В просторном кабинете сразу показалось тесновато от его огромной, наполненной здоровьем и силой фигуры.

— Нет, посмотреть только, что с народом делается, — возбужденно поблескивая глазами, заговорил Лашкин. — Того и гляди правление разнесут. — В голосе его было восхищение.

— Ты что, али радуешься чему? — не то осуждая, не то спрашивая, бормотнул Жупиков.

Лашкин шапкой вытер с покрасневшегося лица блестящие бисеринки растаявших снежинок, твердо сказал.

— Слезами делу не поможешь. — Шагнул вперед и, точно спеша куда-то, торопливо поправил выбившийся из-под стеганки грязновато-серый шарф. — Александр Федорович, трактор нужен. Сейчас хотя бы до Никитенко добраться. — Увидев, что Кривцев потянулся к телефону, пренебрежительно махнул рукой. — Дьяконову звонил уже. Мне, говорит, на воле гулять не надоело, чтобы людей на смерть посылать. Ты, говорит, мне райкомом не тыкай, потому что амнистии преступникам не Кривцев, а Верховный Совет подписывает.

— Ага, — удовлетворенно сказал Кривцев, будто обрадовавшись, что не нужно звонить Дьяконову, и отодвинул телефон. — Трактор будет, — он поднялся из-за стола и, подойдя к вешалке, неторопливо стал одеваться. — Трактор будет, а вот людей...

— Будут люди, — сказал Лашкин.

— ...Посылать в такую погоду не имеем права, — закончил Кривцев.

Они вышли на крыльцо райкома и на секунду остановились, не решаясь сразу окунуться в крутящуюся снежную мглу. Наверху

оглушительно хлопало полотнище флага, вывешенного еще к 7 ноября.

— Полвека прожил, а такой метели видеть не приходилось,— сказал Жупиков. Кривцев и Лашкин промолчали.

Когда они пришли к Дьяконову, тот, стоя посреди большой пустовой комнаты, тетешкал двухлетнюю дочурку, напевая незамысловатую, известную всем отцам песню без слов.

А лю-лю, а лю-лю,
А лю-лю, а лю-лю...

Девочка, подлетая высоко к потолку, беспомощно размахивала ручонками и звонко смеялась. Увидев входивших, Дьяконов поставил дочурку на пол и приветливо улыбнулся.

— Ага, по душу пришли.

Он был в натальной сорочке, сильно помятых брюках и в матерчатых женских тапочках.

— Жена в городе застряла, четвертый день один хозяйничаю. Спасибо соседка Ольгу к себе забирает. Да вы садитесь,— говорил он, смущенно поддерживая плохо державшиеся без пояса брюки.

— Мы не в гости пришли,— жестким тоном человека, привыкшего командовать, сказал Жупиков. Но Кривцев пододвинул стул и сел.

— Тракторы нужны, Сергей Петрович.

Дьяконов кинул на Лашкина укоризненный взгляд: «Твоя, мол, агитация».

— Тракторы без людей не ходят, Александр Федорович, а за людей я отвечаю.

— Добровольцы поедут,— боясь, что Дьяконов убедит Кривцева, быстро возразил Лашкин.

— За людей мы все отвечаем,— точно не слыша Лашкина, устало выговорил Кривцев.— Что же делать, по-твоему?

— Подождать надо,— твердо, будто только теперь приняв наконец бесповоротное решение, ответил Дьяконов.— На выход в степь тракторов согласия не дам.— Он помолчал немного, словно взвешивая только что сказанные слова, и, упрямо качнув головой, повторил: — Нет, не дам. Под суд идти не хочу, дело ваше.

— Да. Наше это дело,— с сердцем воскликнул Лашкин,— наше! Ты вспомни, в такую ли метель на фронте в разведку ходили! В степи тысячи овец гибнут, а ты... эх!

— То фронт,— Дьяконов нашел наконец ремень и, подпоясавшись, взял на руки жавшуюся к нему дочь.— На фронте за деревеньку в десять дворов десятками, а то и сотнями жизней расплачиваться приходилось. Ты фронт сюда не путай, Кирилл Никитич. Я сейчас не командир роты, а директор МТС, разница!

Жупиков не принимал в этом споре никакого участия. Он сидел молча, сосредоточенно разглядывая лежавшую на коленях кожаную с каракулем шапку.

Впервые за много лет работы в колхозе он почувствовал себя бессильным изменить то, что происходило вокруг него. И это чувство бессилия подействовало на него, как сильный реактив на позолоченную вещь. Он сразу будто вылинял весь. То внутреннее чувство убежденности в своей правоте, которое придавало уверенность каждому его слову, каждому движению, заражая окружающих его людей верой в его всемогущество,— это чувство исчезло.

Исчезло то главное, что чувствовал и видел в нем каждый, тот ореол, который заслонял от всех его смешную шарообразную фигурку с непомерно большим животом и пухлыми ручками, его жено-

подобное, жирное лицо, с розовой лишенной растительности кожей, его короткие, слегка искривленные ноги. Все это теперь стало заметно, выступило на первый план. И весь он казался смешным, растерянным и жалким. Эта перемена особенно почувствовалась всеми, когда Лашкин, обозленный упрямством Дьяконова, обернулся к Жупикову и резко сказал.

— Чего же ты молчишь, Филипп Митрофаныч. Самое время теперь командовать.

Резкость, с какой были сказаны эти слова, покорила даже спокойного Кривцева. Но Жупиков медленно поднялся со стула, неторопливо надел шапку и невесело усмехнулся.

— Ну и мастер ты, Кирилл, лежачего ногой пинать.

— Ишь, лежачий,— непримиримо сказал Лашкин, когда Жупиков вышел.— Все мы сейчас... лежачие.

К полудню метель стала стихать, и два трактора все-таки были отправлены на Черные земли. Во время загрузки тракторных саней к правлению «Зари» шли и шли люди. Некоторые несли на плечах мешки с концентратами. Все толпились возле саней, и каждый старался положить на них свою ношу. Тут же с довольным радостным лицом ходил Лашкин и, наклоняясь то к одному, то к другому, беспрерывно говорил что-то. Кривцев, стоявший на крыльце, видел, как люди, с которыми заговаривал Лашкин, тоже начинали улыбаться, будто заражались от него непонятым беспричинным весельем.

«Будто праздник справляет»,— подумал Кривцев, ловя себя на том, что счастливая возбужденная улыбка Лашкина непонятно отчего приятна ему, действует на него успокаивающе.

— Посмотрите, какой народ,— улыбаясь все той же счастливой улыбкой, сказал Лашкин, подходя.— Дай волю, своими кормами сани загрузят.

— Народ везде одинаков,— сказал Кривцев, хотя он тоже чувствовал оживление, которое владело всеми, и ему приятно было смотреть, как люди, каждый как умел, старались что-то делать, чем-то помочь друг другу.

Его самого охватила жажда деятельности, но он видел, что делать ему ничего не нужно было, потому что все хорошо делалось и без него, и он почувствовал зависть к Лашкину, который, отойдя от крыльца, помогал широкоплечему трактористу поднять тюк прессованного сена. Эта зависть к человеку, умевшему просто, без малейшего усилия оказываться необходимым там, где он был, оживленные или встревоженные лица колхозников, которых никто не принуждал, но которые сами пришли во двор правления, чтобы помочь в общей беде,— все это вызвало в Кривцеве чувство неразрывной связи с этими людьми, ту особенную, никогда не испытанную им прежде близость, существование которой он признавал до сих пор, но которую впервые ощутил так полно и ясно.

Он не понял, но смутно почувствовал, что это новое отношение к людям, которое пришло к нему так неожиданно, и было началом чего-то большого и необходимого для него. Мечты о личном успехе, всегдашнее желание показать себя способным и нужным в том деле, на которое его ставили, мешали ему быть тем, чем он был на самом деле, и теперь, вдруг освободившись от всего этого, он почувствовал себя необыкновенно хорошо и радостно.

Он уже не мог думать о том наказании, которое ждало его за катастрофу на Черных землях. Он испытывал только одно желание — что-то сделать, непрерывно расходовать ту энергию, которая вдруг пробудилась в нем.

Взглянув на подходившего к нему Жупикова, который был чем-то расстроен, Кривцев спросил:

— Что с вами, Филипп Митрофаныч?

— Только что прогноз передавали,— отвечал Жупиков.— В ночь тридцать градусов обещают.

Если такой мороз продержится несколько дней, то снег, уже сейчас слегка подтаявший, покроется ледяной коркой, и те сто с лишним тысяч овец, которые находятся на Черных землях, не смогут добывать подножный корм. А подкармливать их было нечем. Кривцев понимал это, и все-таки в нем не было теперь той томительной изнуряющей тревоги, которая не оставляла его все эти дни. И хотя сейчас он еще не знал, как можно избежать надвигающегося несчастья, оно уже не казалось ему таким неотвратимым. Жажда деятельности, которая кипела в нем самом и которую он чувствовал в окружающих, убеждала его в том, что сделать можно было многое. Он не удивился, увидев, как Лашкин влезает в кабину трактора, и еще раз позавидовал ему, что не мог поступить так же.

ДВОЕ В СТЕПИ

Костюков шел по степи. Дороги нигде не было, но он слышал, как за ближайшим холмом стучали моторы машин, которые везли корма, и шел навстречу. Стук моторов был едва слышен, но он знал, что машины были недалеко, и нужно было во что бы то ни стало показать им дорогу, пока они не ушли в открытую степь.

Дорога была где-то совсем близко, и ее нужно было найти. Он с трудом вынимал ноги из глубокой вязкой грязи. Было непонятно, откуда взялась грязь, потому что была зима.

«Почему грязь? — думал он.— Ведь зима же, зима и грязь. Почему грязь?»

Вдруг, точно из-под земли, вырос Лашкин, подошел к нему и взял за плечи.

— Достукались? — спросил он сердито.

Костюков попытался стряхнуть руку с плеча и не смог.

— Пусти,— попросил он.

— Достукались, достукались,— повторял Лашкин и тряс его за плечо. Потом вдруг засмеялся и сказал голосом Кима Юрченко.

— Да проснитесь же, Владимир Алексеич, проснитесь.

Костюков открыл глаза. Перед ним стоял Юрченко и тряс его за плечо.

— Проснитесь, Владимир Алексеевич, радиограмма.

Костюков бессознательно взял протянутый ему бланк и еще несколько секунд сидел неподвижно не в силах сразу сбросить с себя сонное оцепенение.

— Хорошо спали, Владимир Алексеевич,— сказал Юрченко.— Будить жалко было.

— Д-да, чепуха, знаете, разная снилась. Что там такое? — Костюков потер ладонью отяжелевшие веки и поднес радиограмму к глазам.

«Сделаем все возможное. Как проходимость в степи? Нельзя ли выслать по дороге трактор с двумя-тремя снегопахами. Как поголовье. Сообщить максимум кормов. Кривцев».

— Как прогноз? — спросил Костюков, сунув в карман скомканный бланк.

— Плохо, Владимир Алексеевич, опять метель обещают.

Костюков продиктовал ответ и поднялся уходить.

— Крутов заходил, — сказал Юрченко. — Я сказал, чтобы не будил вас.

Костюков посмотрел на покрасневшие от бессонницы глаза Юрченко и почувствовал себя неловко за свой недолгий сон, за то, что именно Юрченко, почти двое суток бессменно продежуривший у аппарата, охранял его отдых.

— Поспать тебе надо, Ким! — сказал он строго.

Тот хотел ответить что-то, но в это время раздался знакомый писк позывных райцентра.

— Нас.

Торопливо надев наушники и подвинув к себе карандаш и бланки, Юрченко застучал ключом.

В комнату бесшумно вошел Крутов.

— Район? — негромко спросил он, кивнув на Юрченко.

— Кажется.

— Что нового?

Костюков подал Крутову последнюю радиограмму. Тот, прочитав ее, вернул обратно.

— Как Лашкин? — спросил Костюков.

— С ногой, сдается, паршиво у него. Наша фельдшерица только руками разводит — настоящий врач нужен.

Юрченко, закончив прием, протянул Костюкову радиограмму.

«Только что из области прибыли пятнадцать машин с кормами. Отправим сегодня же. Обмороженных немедленно переправить в район. Кривцев.»

Костюков прочел радиограмму вслух.

— Пятнадцать машин — капля в море, — сказал Крутов.

— Лучше, чем ничего, — возразил Костюков.

— Это верно, да не дойдут, гляди.

— Дойдут. А вот больных действительно надо отправить, а как? На трактор больше одного не посадишь. Вот разве газик к трактору подцепить, а?

— Трактор пропавшего чабана в степи ищет. Сами же команду давали.

— Хорошо, как вернется трактор, решим. — Костюков потер лоб, стараясь стряхнуть одолевавшую его дремотную вялость.

— Сейчас будет очередной прогноз, — сказал Юрченко и, включив приемник, стал настраиваться на местную станцию. Комната наполнилась треском разрядов и музыкой. Потом раздался ровный шорох, и мужской голос равнодушно сказал:

— «...Ветер северный от пяти до девяти баллов. Временами осадки.»

— Девять баллов — это опять буран, — сказал Юрченко, выключая приемник.

— А может, не для нас это? — с надеждой в голосе сказал Крутов, хотя знал, что Юрченко с закрытыми глазами в течение одной-двух минут настраивался на нужную станцию.

Весь день прошел в разъездах по точкам. Хотя в каждой бригаде был приемник и чабаны знали о вновь надвигающемся буране, Костюков считал необходимым предупредить их об этом, может быть потому, что ничего другого сделать нельзя было.

Старенький, выдавший виды газик, простуженно чихая, едва тащился по глубокому снегу, останавливался. Тогда Костюков выходил

из машины и вместе с шофером расчищал преградивший дорогу занос.

— Может, повернем, Владимир Алексеевич,— сказал шофер, когда машина снова застряла километрах в двух от ближайшего зимовья.— Всех все равно не объедем, да и знают уже все.

Костюков молча взял лежавшую у ног лопату и полез из машины. Шофер, вздохнув, сделал то же самое.

Они объехали еще несколько точек и уже возвращались к центральной усадьбе, когда машина снова остановилась.

— Кардан к чертям собачьим,— обреченно сказал шофер и, вынув папиросы, неторопливо закурил.

— Давай, давай,— нетерпеливо сказал Костюков.— Исправляй свой кардан, поехали.

— Все, Владимир Алексеич, теперь эту коляску на себе волочить надо. Своего ходу у нее нет.

— Шутишь!— потерянно воскликнул Костюков. Ему сразу вспомнился пропавший чабан.

— Какие уж зараз шутки,— буркнул шофер. Он вылез из машины и долго копался в моторе.

Костюков тревожно прислушивался к шороху снежинок, бившихся о стекло кабины, и думал, что вот так ни за грош, из-за своей добросовестности и честности можно погибнуть в этой проклятой степи.

Теперь-то совершенно ясно, что незачем было целый день рыскать по степи, потому что на всех точках уже знали о надвигающемся буряне.

Чтобы спасти уцелевших овец, нужны были корма, много кормов, а их не было совсем. Он даже не говорил чабанам о тех пятнадцати машинах, которые обещал выслать Кривцев, потому что это было слишком мизерной помощью. Да и неизвестно, когда придут эти машины.

— Ну что там еще у тебя?— открыв дверцу, зло крикнул он на шофера, все еще копавшегося в моторе.

Ветер тугой струей ворвался в кабину, и в ней сразу стало холодно.

— Ничего не попишешь,— сказал шофер, подходя.— Придется до центральной трактором волочить.

— Ты что, смеешься?! Где мы на ночь глядя трактор возьмем?

— Надо взять, не замерзать же в степи.

Стемнело. Яркий свет фар выхватывал из темноты ослепительно белый круг, по которому уже начинали змеиться стремительные снежные струйки.

— Шевелиться надо,— сказал шофер и, взяв лежавший на сиденье полушубок, стал одеваться.— Часа через два самая заваруха начнется. Вы, Владимир Алексеич, в машине оставайтесь, я часика через полтора трактор пригоню. Отсюда до центральной километров десять, не больше.

— Нет уж,— решительно сказал Костюков, вылезая из машины.— Вместе пойдем. Все замерзать веселей.

— Зачем же замерзать? Дойдем.

Они разговаривали спокойным будничным тоном, будто опасность, угрожавшая им, была настолько пустячной, что принимать ее всерьез было неловко.

Ветер заметно усиливался, и белый круг от включенных фар быстро покрывался дымчатой пеленой снежной пыли.

— Фары не будем выключать,— сказал шофер.— Ну что ж, пошли.

Костюков шагал следом за шофером и, прикрывая рукавицей лицо

от ветра, старался ни на секунду не упустить из виду широкую, сутуловатую спину.

Так они шли минут двадцать. Потом шофер остановился.

— Закурить надо,— сказал он и начал шарить в карманах.

Костюков торопливо вынул папиросы и протянул ему.

— Берите.

— Не привык я к таким. Подешевше-то получше будут.

— Берите,— настойчиво повторил Костюков.— Хорошие папиросы.

Прежде никогда не приглядывавшийся к этому человеку, как и ко многим другим, с которыми сводила его занимаемая должность, он теперь даже в темноте отчетливо разглядел его широкое, полное лицо с ясными, чуть раскосыми глазами и широкими бровями. И удивился, что до сих пор не замечал этого человека, у которого было такое славное, доброе лицо.

Шофер, тоже удивленный необычной внимательностью Костюкова, взял папиросу и, закурив, похвалил.

— Хороши, слабоваты только. Ну что ж, пошли.

И опять перед глазами Костюкова мерно покачивалась туго обтянутая полушубком сутулая спина шофера.

Ветер дул уже с ураганной силой, часто меняя направление, и когда он начинал дуть в лицо, фигура шофера расплывалась от застилавших глаза слез. Тогда Костюков убыстрял шаг, и они шли рядом. Но когда ветер снова начинал дуть в спину, Костюков отставал, потому что дорога, которая едва угадывалась под снегом, была слишком узкой и идти по ней вдвоем было трудно.

Снег под ногами стал глубже, но Костюков не обратил на это никакого внимания. Потом мерно раскачивающаяся перед ним спина стала вдруг неподвижной. Это длилось всего несколько мгновений, затем шофер снова пошел вперед. Но Костюков тем необычным шестым чувством, которое появляется у каждого человека в минуты опасности, уловил еле заметное изменение в его походке.

Все так же ритмично раскачивалась перед ним спина шагавшего впереди человека, но теперь в этих, уже привычных для него движениях появилось что-то неуловимо новое. Будто в каждом суставе этой механически раскачивающейся фигуры кто-то подкрутил невидимые винты, ограничив ее движения на какую-то тысячную долю миллиметра,— и Костюков понял: они сбились с пути.

Он хотел окликнуть шофера, остановить его, но в ту же минуту земля точно провалилась под ним и, падая куда-то вниз, он успел подумать только, что так и не убрал в чемодан лежавшие под койкой кульки с сахаром и когда их найдут там, то наверное Шамарулин первым посмеется над его мелочной хозяйственностью, которая показала ему теперь оскорбительно ничтожной.

Потом все тело пронизала нестерпимая, острая боль, и он потерял сознание.

* * *

— А вот еще, братцы, какой случай с Николаенкой был,— рассказывая на доске шашки, весело говорил Иван Брага.— Можно, Петр Тарасыч? А то ведь зараз опять несерьезным человеком обзовешь.

Петр Тарасович, внимательно обследовавший порванный накануне валенок, досадливо отмахнулся: «Болтай, мол. Все равно тебя не остановишь».

Брагу осенью освободили от обязанностей секретаря комсомольской организации колхоза имени Пархоменко, и теперь, чабануя с бригадой Петра Тарасовича, он чувствовал себя вполне на месте.

Когда чабаны шутили над его понижением, Брага клятвенно уверял, что быть чабаном — его самая раззаветнейшая мечта.

— Так вот, значит, какая история вышла... Ты, Гурчик, получше мозгами крути, а то я через ход три шашки слопаю.

Гурчаков, круглолицый конопатый парень, смущенно шмыгнув носом, склонился над доской, а Брага продолжал:

— Был тогда наш Николаенко председателем сельсовета, и бабам от него как есть никакой жизни не было, даже замужним проходу не давал. И куда его только ни вызывали по этому самому женскому вопросу, никаких резонов не признавал...

Брага, мельком взглянув на доску, «слопал» обещанные три шашки и укоризненно посмотрел на Гурчакова.

— Нет, Гурчик, не для твоих мозгов умственные игры. Не зря тебя из футбольной команды выперли.

— Хвались, хвались,— буркнул Гурчаков и снова углубился в игру.

— Так вот, шастал он таким манером по чужим бабам, и никаких доказательств по этому делу выставить против него нельзя было,— большой опыт имел человек. Но нарвался, однако... Трофимыч, захлопни рот, а то зараз проглотишь кого ни на то.

Павел Трофимов, пожилой мужчина с темным морщинистым лицом, всегда слушавший занятные истории Браги с полураскрытым ртом, обиженно нахмурился.

— Но-но.

— Не запяг,— отрезал Брага.— Да-а, и так, значит, влопался, что если бы не доброта тогдашнего секретаря райкома, быть бы Николаенко в тюрьме за измену советской власти.

— Врешь небось,— засомневался Трофимов.— Кто бы его на колхоз председателем поставил, когда он в политике ненадежный.

Даже Петр Тарасович отставил в сторону валенок, заинтересовавшись, как умудрится Брага подвести Николаенко под политическую линию.

— Ничего не вру. Очень даже просто все получилось. Сидят они как-то в чайной со своим дружком, с Литваком Оскар Осипычем, он тогда райпотребсоюзом заправлял, и зашел у них разговор о бабах. Ну Николаенко и скажи, что ни одной из них ни в каком разе доверять нельзя. А Литвак ему: врешь, говорит, не все такие...

— А ну погоди, Брага,— оборвал рассказ Петр Тарасович.

Все притихли. Устало, будто жалуясь на что-то, гудел в трубе ветер, едва слышно потрескивал фитиль керосиновой лампы.

— Да ничего там,— сказал Брага.

— Погоди, говорят.

И вдруг, сквозь приглушенный шум бушевавшей снаружи метели, все отчетливо услышали далекий лай собак.

— Наши голос подают,— сказал Петр Тарасович и, сняв со стены ружье, стал одеваться.— Поглядеть надо.

— Я зараз сбегаю, Петр Тарасыч.

Брага быстро натянул шапку, накинул на плечи полушубок и, выхватив из рук Петра Тарасовича ружье, выскочил из землянки.

Ветер рванул с плеч полушубок, и Брага, одев его в рукава, замер, прислушиваясь. Лай собак доносился из-за кошары.

«Волки»,— подумал Брага и, взведя курки двухстволки, осторожно двинулся в сторону кошары.

Он сделал всего несколько шагов, когда прямо на него из темноты выскочил волк. Брага вскинул ружье и, не целясь, дрожащими пальцами нажал сразу на оба спусковых крючка. Мгновенная вспыш-

ка сдвоенного выстрела осветила бежавшего по снегу зверя, и Брага понял, что это был волкодав Матвей и что он убил его.

Выбежавшие на выстрел чабаны окружили Брагу, но тот, не отвечая на вопросы, отбросил в сторону разряженное ружье и медленно побрел к землянке.

— Братцы, да он Матвея ухлопал! — воскликнул Гурчаков, заметив чернеющий на снегу труп волкодава.

Петр Тарасович пнул ногой убитого Матвея и расстроено выругался:

— Ясное дело, за волка принял... герой!

За кошарой продолжали заливаться собаки. Петр Тарасович поднял брошенное Брагой ружье.

— Пойду погляжу, чего там.

В это время совсем рядом окруженная яростно лаявшими собаками показалась фигура человека, который шел, сильно согнувшись, закинув руки назад, поддерживая на плечах что-то тяжелое, мешавшее ему идти.

Чабаны бросились навстречу и сняли Костюкова с плеч шатавшегося от усталости шофера.

— Осторожно,— прохрипел шофер и, покачнувшись, оперся на плечо подскокившего Трофимова.— Ноги у него... колодец там... брошенный.

«СЛАВА — ДЕШЕВЛЕ СЕНА»

Только через три дня Ковалюк и Иван Провыч вернулись с отарой на зимовье. О потере большой части овец и о надвигающейся бескормице — о том, что во всякое другое время было бы самым большим несчастьем,— теперь никто не думал. Пропал Козбан. На розыски с центральной усадьбы были высланы два трактора, которые, пробороздив степь из края в край и израсходовав весь запас горючего, вернулись ни с чем. Вечером того же дня пархоменковский чабан, приехавший на центральную усадьбу за продуктами, рассказал, что на второй день бурана к их зимовью прибилась лошадь. Иван Провыч поехал сам и поздно ночью вернулся на точку с лошадей Козбана. Теперь не оставалось сомнения в гибели Козбана, и в бригаде сразу сделалась та особенная атмосфера, то отношение людей друг к другу, которое бывает в доме, где есть умерший. Тяжелее других переживали гибель Козбана Иван Провыч, который чувствовал себя виноватым перед ним за свое обещание выгнать его из бригады, и Варвара.

Сближение с Козбаном не было для нее случайностью. Несмотря на то, что Козбан казался ей меньше всего таким человеком, каким она представляла себе мужа, а может быть именно оттого, что он был менее самостоятельным, чем другие, она отличала его. И та материнская нежность, которую она испытывала к нему, видя его беспомощность и непрактичность, незаметно для нее самой перешла в сильную привязанность. Варвара была красивой здоровой женщиной, и несмотря на нелегкий труд, от которого она никогда не знала отдыха, жизнь в ней была ключом. Многочисленная семья брата и бесконечные заботы о ней, заполнявшие все ее существование, не могли заглушить в ней все усиливающейся тоски по обыкновенному бабьему счастью. Любовь Козбана к себе она почувствовала именно тогда, когда всего больше нуждалась в ней. Гибель Козбана, разру-

шившая это счастье, была так неожиданна и страшна, что она сразу как-то постарела, осунулась, подурнела.

Тело Козбана нашли в полдень четвертого дня и отвезли на центральную усадьбу, чтобы оттуда переправить в район к брату. К удивлению чабанов, Варвара не поехала прощаться с телом погибшего. Вернувшись поздно вечером, они застали ее совершенно больной.

На второй день утром она встала с постели и принялась за свои дела. Но на лице ее уже не было обычной, ласковой улыбки, а в глазах, всегда чистых и строгих, появилось какое-то старческое выражение безнадежности и равнодушия.

А положение на Черных землях с каждым днем становилось все тяжелей. Двое саней с кормами, которые привел из района Лашкин, и пятнадцать машин прессованного сена, присланных из области, были каплей в море. Степь, покрытая почти полуметровой толщиной снега, сначала подтаявшего, а затем обледеневшего на тридцатиградусном морозе, перестала быть кормилицей. Снегопахи не помогали. Отара Ивана Провыча, которая в первые дни была главной заботой районных руководителей, сейчас была почти забыта.

В области только теперь осознали истинные размеры разразившейся на Черных землях катастрофы. Но для того, чтобы доставить на отгонные пастбища корма и остановить массовый падеж, нужно было время, а времени не было. Каждый день уносил новые сотни голов овец.

Не было падежа только в отарах колхоза имени Пархоменко, где корма были заготовлены заранее.

Сашков, все это время спавший по два-три часа в сутки, только вернулся из очередной поездки, когда к нему приехал Иван Провыч. Сашков, звучно похрапывая, спал, уронив голову на стол, где стояла кружка с молоком и лежал зачерствелый ломоть хлеба.

Иван Провыч сильно потрянул его за плечо.

— Антоныч!

Сашков медленно поднял голову и, словно пытаясь вспомнить что-то, морщась смотрел на Ивана Провыча единственным глазом.

— А, Никитенко,— видимо окончательно проснувшись, проговорил он.— Шо там у тебя?

— Режем овец, Антоныч! Племенных маток режем.

Сашков взял стоявшую на столе кружку, сделал несколько глотков и, оставив ее в сторону, полез в карман за папиросами.

— Шо ж ты от меня хочешь,— спросил он, подвигая папиросы Ивану Провычу.

— Посмотрел бы, может и помог бы чем,— с отчаянием в голосе произнес чабан. И этот тихий просительный голос точно подхлестнул Сашкова. Он вскочил с места и забегал по комнате.

— Я смотрел, я уже неделю мотаюсь по бригадам и смотрю, как режут полудохлых овец. Жупикову скажи, нехай он теперь посмотрит. Кто с него спрашивать будет за падеж, а? Никто не спросит!

— Зря ты так, Антоныч,— нахмурившись, сказал Иван Провыч.— Народ спросит.

— А-а, народ! — Сашков остановился против Ивана Провыча.— Ты скажи лучше, кто Жупикова на должность районного бога назначил, а? Почему в наших отарах овцы не падают? Славой думали овец прокормить! Не-ет, слава она дешевле сена стоит.

Он говорил еще долго, бегая по комнате и возбужденно размахивая руками. Потом, утомившись, сел на скамью, спросил угрюмо.

— Много пало?

Иван Провыч махнул рукой, чего, мол, спрашивать. Сам увидишь.

Приехав на точку, они сразу прошли в кошару. Здесь было необычно просторно, темно и холодно. Те животные, которые еще могли стоять, сбились в плотную массу посредине кошары, остальные лежали. Сашков толкнул ногой одну из лежавших маток, она, не повернув головы, жалобно заблеяла.

— Шо делают, а? Шо делают! — бормотал Сашков. Нагнувшись, он взял из риштака горсть почерневшей, мелкой трухлявой соломы. — Это шо такое?

— Из кучи, что́ от прошлогоднего стога осталась. Подгнило, да мы муцицы подсыпаем.

— Здесь же земли наполовину!

— Есть трошки, да ведь по соломинке не выберешь.

Когда они шли к землянке, навстречу, вытирая окровавленные руки снегом, поднялся Ковалюк, обдиравший только что зарезанную овцу.

— Пятая сегодня, — сказал он, — четыре ночью пали. От него исходил острый запах сырого мяса и свежей крови.

— А ну, дай нож, — Сашков склонился над тушкой и, ловко орудуя ножом, вывалил на залитый кровью снег студенистые отсвечивающие металлической синевой внутренности. Повозившись в них, он поднялся и вытер руки о стеганку.

— Дрянью этой не корми больше, кишечник засорен.

— Привез было Лашкин кормов, для нас привез, Костюков велел разделить по бригадам, а чего там делить — двое саней, — говорил Иван Провыч, проходя за Сашковым в землянку.

Здесь против обыкновения было грязно. На полу валялись брошенные кем-то портянки, обрывки газеты, луковичная шелуха. На лежанке и на скамейках в беспорядке лежала одежда. Воздух в комнате был пропитан все тем же раздражающим запахом сырого мяса. Варвара, отодвинув на край стола грязную посуду, гладила белье.

— Вы вроде переезжать собрались, — сказал Сашков, отыскивая глазами место, где можно было бы присесть. Сесть негде было.

— Дмитрия Матвеевича вещи родным отсылаем, — равнодушно взглянув на Сашкова, сказала Варвара.

Сашков, часто бывавший в этой бригаде и знавший Варвару ласковой и приветливой, удивился происшедшей в ней перемене и вопросительно посмотрел на Ивана Провыча.

— Покойник у нас, — негромко, точно покойник этот лежал здесь же, в землянке, проговорил Иван Провыч. — Вот вещички его собираем.

Варвара, аккуратно сложив выглаженную рубашку, отставила утюг в сторону и, подняв глаза на мужчин, сказала со злой осуждающей горечью в голосе:

— Одни головы складывают за овец, а другие из овец овчины делают.

В землянке воцарилось тяжелое, неловкое молчание.

Сашков, вынув папиросы, закурил и, подойдя к окну, долго смотрел в него, покашливая от дыма. Потом, смяв в пальцах окурок, сказал.

— Ладно, поехали, Иван Провыч. Будут корма.

«ПОДДЕРЖАТЬ САШКОВА. КРИВЦЕВ»

Никто в районе не помнил такой зимы. Только три дня после метели стояла тихая морозная погода, а на четвертый день к вечеру пошел мелкий спорый снег, и, будто отдохнув за эти дни, снова подул сильный ветер. Второй секретарь райкома Костоюков слал с Черных земель одну радиограмму за другой, но дороги были занесены, и пятьдесят машин с кормами, присланные из города, застряли километрах в тридцати от райцентра. Навстречу им вышли три С-80. Пятнадцать машин, возвращавшиеся с Черных земель, тоже застряли в пути. Выручать их вышли два ДТ-54, к одному из которых прицепили исполкомовский газик. В нем поехал врач районной больницы: с Черных земель сообщили, что с колонной отправлено тело погибшего чабана и несколько человек обмороженных.

По селу поползли недобрые слухи. Говорили о гибели десятков людей, называли даже имена. У районной радиостанции и в райкоме с утра до вечера толклись люди.

Утром, едва Кривцев вошел в кабинет, как зазвонил телефон.

— Телефонограмму получили,— говорил далекий голос Иващенко,— при первой возможности вышлем на пастбища самолеты с продуктами; отправили третью автоколонну с кормами; свяжись со Сталинским и Ворошиловским районами, там есть излишек кормов. Как на пастбищах?

— Плохо,— ответил Кривцев.— Погиб чабан, трое обмороженных.

Иващенко молчал, и Кривцев, думая, что тот не слышит, еще раз повторил сказанное.

— Слышу,— ответил наконец Иващенко.— Позвоню через час.

Положив трубку, Кривцев долго сидел неподвижно, обхватив голову руками. За последние сутки он спал не больше четырех часов, и этот сон не освежил его. Он не мог освежить его, потому что постоянное нервное напряжение, в котором он теперь все время находился, не оставляло его даже во время сна.

Когда Кривцев сообщил жене о гибели чабана и она, всплеснув руками, сказала ему, что его теперь наверняка отдадут под суд, он сам удивился отсутствию в себе всегдашней боязни перед начальством, перед тем наказанием, которое (он был уверен в этом) ждало его.

Если бы теперь кто-нибудь сказал Кривцеву, что он переменялся, он бы не поверил этому. Он не чувствовал в себе никакой перемены, как не чувствует человек в связи с возрастом изменений своих наклонностей и привычек. Прежде он исполнял свои обязанности потому, что должен был их исполнять, и каждая ошибка была неприятна и расстраивала его постольку, поскольку она влекла за собой упрек или взыскание; но теперь, если он делал что-нибудь не так, как нужно было, это вызывало в нем раздражение против самого себя, стыд за свое неумение.

Когда он узнал о гибели чабана и о том, что три человека (среди которых был Лашкин) сильно обморожены и одному из них угрожает ампутация ноги, он был потрясен. Но сознание того, что жертвы эти могут быть не последними, если не принять меры, заставило его думать о том, что было теперь главным: о бульдозере, который вышел из строя и который необходимо было срочно отремонтировать в МТС, чтобы очистить дорогу на Черные земли. Когда жена стала убеждать его в необходимости что-либо предпринять, чтобы заранее

оградить себя от ответственности, а главное, избежать суда, он удивленно посмотрел на нее и досадливо поморщился:

— Да о чем ты?

— Господи, да ты понимаешь ли, что произошло? — раздраженно воскликнула Тамара Степановна. — Ведь это пятно, это позор, суд.

— Да разве в этом дело, — с презрением возразил Кривцев.

— А в чем же? — она смотрела на него, как на помешанного. Выслушав его объяснения, в которых главное место занимал вышедший из строя бульдозер, Тамара Степановна с тем равнодушно спокойным видом, который обыкновенно предшествовал очередной ссоре, приложила ладонь ему ко лбу.

— Ты болен.

— Я здоров, — сдерживая вспыхнувшее в нем раздражение, проговорил Кривцев.

— Тогда глуп!

— Пусть, но ты не имеешь права вмешиваться в мои дела.

— Буду! Это меня касается. Ты безвольная тряпка, а не мужчина, и если ты не можешь устроить своей жене терпимую жизнь, я сама буду заботиться о себе. Посмотри на Иващенко, год назад он был таким же инструктором, как и ты. Он уже секретарь обкома, а ты? Кем стал ты? Козлом отпущения! Кандидатом в арестанты! Кто ты такой, кто? Хочешь, я скажу тебе?

— Замолчи, — хрипло проговорил Кривцев.

— Нет, я не замолчу! Ты бездарный, ограниченный человек, ты не мужчина, последний деревенский мужик умнее и талантливее тебя! Ты знал, что ты такой, и ты не имел права жениться, мне нужен муж, а не тряпка...

— Замолчи! — крикнул он. — Замолчи же! — и шагнул к ней, не в силах сдержать душившую его злобу.

Она отшатнулась, испуганная этим криком. Кривцев уже не помнил себя, растопыренными пальцами хлестнул по мелькавшему перед ним белому пятну, которое должно было быть ее лицом, но которого он уже не видел.

Тамара Степановна удивленно ахнула, прижав руку к мгновенно покрасневшей щеке.

Кривцев, опомнившись, быстро подошел к окну и, рывком распахнув его, подставил горевшее лицо прокаленному морозом ветру. Он слышал, как она выдвигала из-под кровати чемодан, как одевалась, полупшепотом произнося оскорбления, и облегченно вздохнул, когда захлопнулась за ней дверь.

Сейчас, вспоминая обо всем этом, он на мгновение снова пережил непонятную, никогда не испытанную им прежде, угарную прелесть бешенства, охватившего его, когда он увидел прямо перед собой обезображенное злобой лицо жены со знакомым выражением животной жестокости в глазах, и теперь только вдруг понял, что семейная жизнь его кончена навсегда, что он не хочет и, главное, не может жить прежней жизнью. Он чувствовал себя необыкновенно легко, точно сбросил какую-то тяжелую, непосильную и ненужную для него кладь.

— Хватит, — сказал он вслух и удовлетворенно улыбнулся, точно только этого слова не хватало ему, чтобы стало совсем хорошо.

— Радиограмма, Александр Федорович, — войдя в кабинет и подавая ему листок, сказала машинистка, когда Кривцев, уже одевшись, собирался ехать в МТС.

Второй секретарь райкома Костюков сообщал, что ветврач Сашков самовольно забирает часть кормов из бригад колхоза имени Пархоменко и передает их для отар «Зари».

«Считаю, что это самовольство пора прекратить»,— заканчивал сообщение Костюков.

— Не прекращать, а помочь ему надо,— раздраженно вслух воскликнул Кривцев. Торопливо вырвал из блокнота листок, размашисто написал: «Поддержать Сашкова. Кривцев».

— Передайте для Костюкова,— сказал он машинистке.— Позвонят из области, переключите, пожалуйста, на МТС.

Метель только что начала понемногу стихать. Все вокруг сияло необыкновенной праздничной белизной. Легкие порывы ветра то там, то здесь поднимали в воздух прозрачные струйки снежной пыли. С обеих сторон улицы глубоко осевшие в снег дома смотрели на задыхавшийся от натуги газик равнодушными бельмами промерзлых окон.

На самом краю села, где нужно было сворачивать на усадьбу МТС, Кривцев приказал остановиться. Вдалеке, четко выделяясь на матовой белизне горизонта, чуть затуманенного прозрачной серо-голубоватой дымкой, медленно двигались игрушечные машины.

— Колонна возвращается,— сказал шофер, оборачиваясь,— первую, какись, трактором волокут.

— Подождем,— сказал Кривцев, отвечая на вопросительный взгляд шофера.

Они молча смотрели, как цепочка машин то исчезала в лощине, точно втягиваясь в белую бездну, то появлялась снова, увеличиваясь в размере.

— Мерзляков везут,— сказал шофер. Вынув из кармана непочатую пачку «Севера», он зачем-то тщательно и долго читал надпись. Потом сунул ее в карман и наклонился к Кривцеву, будто собирался сообщить ему важную и очень секретную новость.

— Народ-то как зашумел, Александр Федорыч. Говорят, дюже много людей на пастбищах загинуло. Чабанихи ревмя ревут. Сами знаете, бабы! Я вот своей говорю: богу, мол, погоду не закажешь. Думать же надо. А она — вот бы и думали, говорит. Вам, дуракам, головы для этого даны. Поговори с ней!

— Д-да, думать надо было,— сказал Кривцев, удивленный разговорчивостью обычно молчаливого шофера.

— Да вот же,— обрадованно подхватил шофер.— Оно, конечно, овцы овцами, да это другой разговор. Людей жалко.

И, увидев, как помрачнело вдруг лицо Кривцева, растерянно замолчал.

Из ближайшей лощины, волоча за собой передний грузовик колонны, чем-то удивительно напоминавший подстреленную птицу, выполз трактор.

Кривцев вышел из машины и, увязая в глубоком снегу, пошел навстречу. Трактор остановился. Выставив руку, будто прося Кривцева дать дорогу, из кабины улыбался похудевшим, густо поросшим черной щетиной лицом Лашкин.

— Как, живы? — крикнул он, открыл дверцу, приподнялся, пытаясь выпрыгнуть из кабины, и, сморщившись, снова опустился на сиденье.

— Что с тобой? — тревожно спросил Кривцев, подходя. Он впервые назвал Лашкина на «ты», но ни Лашкин, ни он сам не заметили этого.

— Ногу трошки отморозил,— виновато ответил Лашкин.

— Его сейчас же в больницу надо,— сказал подошедший врач, который возвращался с колонной.

— Так это у тебя...— проговорил Кривцев и осекся, оглянувшись на врача.

— Да, укоротить трошки собираются. Лашкин сказал это с равнодушной улыбкой, но в глазах его появилось выражение тревожной растерянности. Видно было, что, убежденный в неотвратимости ожидающего его несчастья, он все-таки не мог поверить в то, что оно совершится, весь его здоровый сильный организм заранее возмущался против нелепой мысли о будущем уродстве. С помощью шофера Кривцев пересадил Лашкина в газик. Когда они уже подъезжали к больнице, Лашкин, всю дорогу шутивший над своей огромной, укутанной в теплую стеганку ногой, которая беспомощно висела на прикрепленном к переднему сиденью кожаном поясе, тихо проговорил:

— А может, и не отрежут еще, а? Как ты думаешь, Федорыч?

ЖИВОТНОВОДСТВО — ЭТО ТА ЖЕ ЦЕЛИНА

Все произошло не так, как предполагал Кривцев. Разговор о сарпинских событиях начался в самом спокойном тоне, будто речь шла о каком-то вполне обычном деле, которое ничем не отличалось от десятков и сотен дел, каждый год обсуждавшихся в стенах обкома. Кривцеву показалось, что те цифры и факты, которые он привел, докладывая о событиях на отгонных пастбищах и которые потрясли его именно теперь, когда он докладывал о них людям, отвечавшим за все случившееся не меньше, чем он сам,— эти цифры и факты не произвели на членов бюро никакого сколько-нибудь заметного впечатления...

Когда он кончил говорить, секретарь обкома Грушин постучал пальцами по лежавшему перед ним блокноту и обвел присутствующих спокойным медлительным взглядом, будто желая увериться в том, что все сказанное Кривцевым произвело на присутствующих именно такое впечатление, какого он и ожидал.

— Есть вопросы?

— Ситуация до предела ясная,— буркнул сидевший рядом с Иващенко заведующий отделом пропаганды Чернов.

Грушин, мельком взглянув на Чернова, повторил вопрос.

— Разрешите мне?

— Пожалуйста.

Заместитель председателя облисполкома Высотин, полный, лысоватый человек, грузно поднялся с кресла, долго рылся в своем распухшем от долгого употребления блокноте и, очевидно не найдя в нем того, что ему нужно было, сунул блокнот в карман.

— Я бы хотел спросить у товарища Кривцева, почему, как говорится, среди картины всеобщего бедствия благополучным островком, оазисом в пустыне, так сказать, выделялся колхоз имени Пархоменко? Почему, образно выражаясь, разъяренные стихии не коснулись именно этого колхоза, а в остальных унесли, как говорится, добрую половину наличия поголовья? Товарищ Кривцев почти убедил нас в том, что в случившейся, если так можно выразиться, катастрофе целиком и полностью, так сказать, повинны объективные условия...

— Я не говорил этого,— глухо сказал Кривцев.

Иващенко укоризненно взглянул на него и покачал головой.

— Я не хочу, разумеется, сказать, что подобное утверждение имеется в отчете товарища Кривцева, так сказать, в чистом виде,— продолжал Высотин.— Но, как говорится, общий дух его выступле-

ния склонял нас именно к такому выводу, и я лично почти готов был согласиться с ним...

— Да с чем согласиться? Разве я оправдывал себя в чем? — воскликнул Кривцев.

Грушин, точно не слыша реплики Кривцева, посмотрел на часы и сказал негромко.

— Покороче, Василий Андреевич.

— Да, да,— смешался Высотин и торопливо кончил:

— Так вот, я хотел бы спросить у товарища Кривцева, почему в колхозе имени Пархоменко падеж составляет полтора процента, а в остальных — от сорока и более?

— В колхозе имени Пархоменко весь запас кормов еще летом был подвезен к точкам,— сказал Кривцев. Он хотел сказать многое, но по тем усмешкам, которыми было встречено многословие Высотина, понял, что говорить много не нужно, потому что причины черноземельской катастрофы хорошо известны членам бюро и от него ждали не объяснения событий, но прямых и точных ответов на те вопросы, которые еще оставались неясными.

И когда один за другим посыпались эти вопросы, он почувствовал также, что главным для всех этих людей, от решения которых зависела его дальнейшая судьба, был не сам факт падежа, потому что изменить теперь уже ничего нельзя было, но его отношение к этому факту. Это было теперь самым главным, и Кривцев не мог не почувствовать — что главное заключается для них не в том, что он будет говорить, но в чем-то более важном и значительном, что составляло сущность его как человека и как руководителя. Они хотели понять его всего, потому что доверие, до сих пор оказываемое ему, было слишком велико, и никто не решался сразу лишить его этого доверия, не убедившись до конца в том, что оно, это доверие, было ошибкой.

После того, как Кривцев ответил на все вопросы, слово попросил Иващенко.

— Товарищи, события, имевшие место на Черных землях,— это результат прежде всего нашего, именно нашего и ничего другого неумения подойти к руководству хозяйством области по-партийному, по-деловому, со строгим учетом особенностей каждого района. Я ни в коем случае не собираюсь снимать с Кривцева той ответственности, той вины, которая лежит на нем, но вина его состоит только в том, что, не зная хозяйства района, не имея достаточного опыта, а может быть, если хотите, достаточных организаторских способностей, он не сумел сделать больше того, что сделал. А то, что в такой ответственный момент во главе партийной организации района оказался именно Кривцев,— это, разумеется, не его вина... И еще, совсем недавно я бывал в трех районах области. С животноводством в большинстве колхозов неблагополучно. Пуды, гектары,— вот на что упирают сейчас секретари райкомов, а за ними и председатели колхозов. Эта погоня за пудами, стремление получить их любыми путями уже сейчас обходится нам недешево, а обойдется еще дороже. Хлеб — основа основ — ясно. Но животноводство — это та же целина. И чем больше мы запускаем это дело, тем горше нам придется потом. Так что Сарпинский район — не исключение, и авторами этой «пудогорячки» являемся мы сами, обком. А вот и факты...

Он говорил еще что-то, но Кривцев уже не слушал его, ошеломленный такой неожиданной, своеобразной защитой, главный аргумент которой опирался на его неспособность к ответственной партийной работе. И хотя он понимал, что, делая упор именно на это обстоятельство, Иващенко применил едва ли не последнее средство, что-

бы смягчить ожидавшее Кривцева партийное взыскание, это средство казалось ему самым оскорбительным и недостойным. Не в силах сдержатъ себя, он вскочил с места, чтобы крикнуть в лицо Иващенко самые обидные и резкие слова, которые неудержимо рвались из горла, но, встретив светлый, доброжелательный взгляд Грушина, в котором было и сочувствие его взволнованности, и осуждение мальчишеской несдержанности чувств, молча опустилсЯ на место и, точно окаменев, неподвижно просидел так до самого конца бюро, не проронив ни слова.

Он уже спускался по лестнице, когда его нагнал Иващенко и молча пошел рядом. Не разговаривая, они прошли вестибюль и вышли на улицу.

— Вот что,— сказал Иващенко, решительно остановившись, и тронул Кривцева за плечо.— Не такое у нас с тобой дело, чтобы на улице о нем говорить, пойдем-ка лучше ко мне.

Обкомовский лимузин бесшумно катился по вечерним улицам города.

Иващенко, разговорившись, оживленно рассказывал, как в начале сорок третьего года они с женой приехали в этот город и на первых порах жили в подвале разрушенного дома.

— Ну и времечко было,— радостно блестя глазами, говорил он.— Я тогда в Жилстрое работал. Днем потею над сметами и планами строительных объектов, а вечером лопаты в руки и айда расчищать место под эти самые объекты. Получаем, бывало, с женой письма, а на конверте шикарный адрес: улица Ленина, дом 21-а. И смешно и грустно: в городе ни одной улицы, ни одного дома ни «а», ни «б» — одни камни. Помню, идешь ночью среди этих развалин, мрачно, тихо. Ни души вокруг, ни огонька,— это ведь сейчас здесь полмиллиона населения, а тогда и десятка тысяч негде было разместить. Да-а-а...

Он искоса посмотрел на Кривцева и деловито спросил:

— Ведь ты, я думаю, в порошок бы меня сейчас стер, а?

Кривцев безразлично пожал плечами и промолчал.

— Отмолчаться хочешь? — усмехнулся Иващенко.— Ну-ну.

Полчаса спустя, показывая Кривцеву новую квартиру, в которой не было почти никакой мебели, кроме платяного шкафа, двух столов и полдюжины стульев, Иващенко, удовлетворенно потирая руки, хватался:

— Вершина мещанского благополучия! Сорок шесть квадратных метров. Красотища, а! Пойдем, я тебе, брат, свой кабинет покажу. Нет, стой, ты еще, голубчик, кухни не видел, шехерезада!

Он водил Кривцева по комнатам до тех пор, пока не пришла жена. Увидев Кривцева, она радостно всплеснула руками.

— Александр Федорыч! Вот сюрприз!

— Сюрприз в натуральную величину,— улыбаясь, подтвердил Иващенко. Взяв жену за руку и подведя ее к Кривцеву, с шутливой серьезностью отрекомендовал:

— Вот, Катя, рекомендую: Демон, презирающий земных червей, коих аз грешный представляю, Христос на Голгофе, а конкретнее — воплощенная обида и страдание за несовершенство мира сего.

— Да довольно тебе, балаболка,— смеясь, отмахнулась от него Екатерина Андреевна.— Небось и накормить гостя не догадался?

— Каюсь, ожидал тебя в надежде, что сегодня в честь Федорovichа ты закатаешь нам нечто вроде Лукуллова пира.

— Я вам такой пир закачу — тошно будет,— отшучивалась Екатерина Андреевна.

Ей давно уже перевалило за тридцать, но тонкая, почти девичья

фигура и чистое без единой морщины лицо делали ее значительно моложе.

— Вот что, молодцы,— сказала Екатерина Андреевна, раздевшись и пригладив ладонью слегка растрепавшиеся волосы.— Пока я здесь с обедом возиться буду, марш в кабинет.

Через минуту она уже гремела на кухне посудой.

— Вот так, брат, всегда командует,— сказал Иващенко, разводя руками.— Никакой женственности в человеке.

Когда они вошли в кабинет, Иващенко закрыл дверь на ключ и достал из ящика письменного стола коробку «Казбека».

— От жены прячу,— пояснил он.— Ни в какую не разрешает. Угощайся.

Кривцев покачал головой.

— Третий год как бросил.

— Да? — завистливо вздохнул Иващенко.— А у меня никак не получается. Он открыл форточку и закурил.

— Ну вот,— сказал он, разгоняя перед собой дым и вопросительно глядя на Кривцева.— Хочешь не хочешь, а неприятный разговор мне по должности первому начинать положено. Ты как, не возражаешь?

— По-моему, ты на бюро все сказал, о чем еще говорить.

— Да? Ты думаешь? А мне сдается, что обижаться тебе еще рановато — главная-то обида, она еще, может, впереди будет.

— О чем ты?

— А вот о чем,— Иващенко затянулся дымом и, поискав глазами пепельницу, выбросил папиросу в форточку.— Ты знаешь, что событиями на отгонных пастбищах заинтересовались в ЦК?

Кривцев почувствовал, что бледнеет. Иващенко быстро взглянул на него и сказал успокаивающе.

— Пугаешься зря. ЦК обком будет трясти, ну а обком...— он снова потянулся за папиросой и, закурив, долго молчал.— Обком обязан как следует тряхнуть непосредственных виновников.

— Это, значит, меня,— сказал Кривцев.

— Верно,— согласился Иващенко.— Тебя в первую голову. Он сказал это очень спокойно, но в следующую же секунду, судорожно скомкав в руке горящую папиросу, крикнул: — А ты как думал? Приветственную телеграмму тебе из обкома пришлют за головотяпство! А ты знаешь, что здесь творилось, когда вы там геройствовали? Знаешь ли ты, что тот же самый Высотин, на которого ты сегодня смотрел, как на пустое место, трое суток дежурил на аэродроме, чтобы вовремя отправить на Черные земли самолеты с продуктами, а у него в это время в больнице умирала жена? Э-э, да чего тебе говорить! Обидели, неспособным назвали! Да если ты способен был предупредить несчастье и не сделал этого, с тобой не в обкоме, а в суде разговаривать надо. Понятно?

— Афанасий Степанович!

— Эх, Александр, Александр! — Иващенко махнул рукой.— На бюро я немного формально говорил — это факт. От моих выступлений иногда лежалым сухариком отдает, но я говорил правду и не хочу, чтобы ты считал себя обиженным,— обиженному легче, только облегчению такому грош цена.

— Стало быть, снимаете меня с района,— тихо сказал Кривцев. Иващенко неопределенно пожал плечами.

— Не знаю. Мне кажется, что именно теперь, после такого пекла, ты был бы для района полезнее доброго десятка пусть способных, но неопытных руководителей, но убедить в этом бюро... Не знаю.

Зазвонил телефон. Иващенко поднял трубку.

— Да. Здравствуйте еще раз, Иван Тимофеевич. Да? Хорошо, сейчас еду.

Он положил трубку и, помолчав минуту, сказал, не глядя на Кривцева:

— Ты вот что, не вздумай сбежать, я через часок вернусь. Потом опять помолчал и добавил: — Ты думаешь, я не понимаю, что у тебя сейчас на душе?

— Не надо об этом, Афанасий Степанович.

— Добро. Только из всех членов бюро я один знаю тебя по-настоящему и в обиду не дам. Это ты знай.

Он ушел.

Кривцев, сам не зная зачем, взял из лежавшей на столе коробки папиросу и долго разминал ее в пальцах, наблюдая, как в открытую форточку, похожие на бабочек, влетали редкие крупные снежинки и, несколько секунд неподвижно повисев в спокойном комнатном воздухе, медленно опускались на подоконник, таяли.

ДОРОГАЯ НАУКА ДОЛЬШЕ ПОМНИТСЯ

Конец февраля. По утрам беззвучно стынет над степью прохваченный морозцем и насквозь пронизанный ослепительной предвесенней синью неподвижный воздух. Весна еще не наступила, но все вокруг уже встрепенулось и замерло в торжественном предчувствии. На невысоких степных курганах робко затемнели первые крохотные проталины, на которых, еще незаметные для невнимательного взгляда, редкой россыпью выступили бледно-зеленые травинки, первые, обреченные на неминуемую гибель, отчаянные разведчики степной весны.

В тишине далеко разносится гудение мотора стремительно мчащегося по неширокой грязно-серой дороге юркого райкомовского газика. Около Ялматы газик остановился. Вышел из машины шофер, зажмурился от яркого солнца, от режущей глаза пронзительной синевы и радостно засмеялся, просто так, потому что не мог не засмеяться, потому что просилась наружу простая и мудрая, как сама природа, беспричинная радость жизни.

— День-то какой, Александр Федорыч. Весна!

— Хороший денек,— согласился Кривцев, выйдя из машины и размахивая руками, чтобы размять занемевшие от долгой неподвижности мускулы.

— Последний раз проезжаем,— сказал шофер.— Недельки через полторы заиграет Ялмата. Как ножом от города отрежет. В прошлом году новенький «ДТ» угробили здесь. Из Ялматы прямо на капитальный поставили. Скажи хорошо, что тракторист не потонул.

— Ничего,— улыбнулся Кривцев.— Мы здесь в будущем году такой мостище соорудим, трамваю впору пройти.

— Не кажи гоп,— лукаво прищурился шофер.— А мост — это, конечно, край, как нужен.— Покосившись на Кривцева, осторожно спросил:

— Я думаю, крепко вам в обкоме досталось, раз всю дорогу молчали.

— Крепко,— согласился Кривцев,— выгнать грозятся.

— Зря,— убежденно сказал шофер.— Прогнать нехитрое дело. Я, конечно, в партии недавно, а скажу — неправильно. Дубиной быка

учить можно, а человеку только голову расшибешь. А уж если выгонять, так я бы в первую голову Жупикова выгнал, нехай в рядовых походит, жирок трошки порастрясет. Дюже на него народ в обиде.

— Это за что же? — поинтересовался Кривцев.

— Да как вам сказать, хозяин он, конечно, добрый. Большое доверие к нему народ имел, а только всем видно — без души стал работать человек. Лишь бы, значит, его заметили да отличили. А народ у нас сами знаете какой: любую оплошину простит, ну а когда человек душу потерял, забыл, зачем он на свое место поставлен, тогда уж не прогневайся — напомнят.

— Напомнят, думаешь?

— Попомните мое слово, в следующую зиму в председателях ему не быть.

Откуда-то издали донесся глуховатый звук выстрела.

— По сайгакам пуляют, — сказал шофер. — В это время голодно-вато им, чуть не к самым домам подходят.

Кривцев спустился в лощину и посмотрел наверх. Резко ударило в глаза ослепительно вспыхнувшее на фарах газика солнце. Он на мгновение зажмурился и, когда открыл глаза, увидел, как в невесомой светло-голубой бездне беззвучно тает прозрачно-белое, похожее на кусок кисеи легкое облачко. И, как когда-то в детстве, его на мгновение охватило жуткое ощущение собственной невесомости. Откуда-то из самого дальнего уголка памяти выплыли наивные и восторженные строчки:

Небо голубое-голубое
Руки протяну — и полечу.

Кривцев даже забыл, зачем именно остановил машину у Ялматы и, вспомнив, с трудом стряхнул с себя приятное оцепенение бездумной радости.

— Ну, так как, Петр Семеныч, сорвет, говоришь, деревянные быки, — сказал он спустившемуся к нему шоферу, продолжая начатый в машине разговор.

— Как пить дать, сорвет — дело проверенное. На моей памяти за десять лет три моста унесло. Без бетона не обойтись.

— Ага, ну ладно, — Кривцев еще раз окинул взглядом пологий склон лощины. — Здесь уж райисполкому придется руки приложить.

Перевалило уже далеко за полдень, когда они подъехали к райцентру.

— Куда везти, Александр Федорыч? — спросил шофер, притормозив у райкома.

День был воскресный, и Кривцев на мгновение задумался, не зная, куда девать себя.

— Давай к Лашкину.

Во дворе у Лашкиных несколько мужчин с возбужденными лицами толпились около открытого погреба. Жена Лашкина стояла тут же, беспрестанно вытирая концом серого клетчатого платка заплаканные глаза.

Мужчины, не обращая внимания на стоявшую рядом хозяйку, оживленно спорили.

— Чего ей мучиться, прирезать, и все дело, — говорил один. — Какая от нее теперь польза в хозяйстве.

— Козу и то с понятием режут, а тут корова, — возражали ему. — Такой скотиной враз не обзаведешься.

— Веревку надо, мы ее зараз вытянем.

Увидев Кривцева, все замолчали и, виновато переглянувшись,

точно собирались делать что-то недозволенное, нестройно поздоровались.

— Что здесь стряслось? — спросил Кривцев, подходя.

— Корову загубила, — всхлипнув, ответила Лашкина и снова приложила к глазам платок.

— Не закрыла, значит, погребницу, а корова туды и ввалилась, — пояснил один из мужчин.

Кривцев подошел ближе и заглянул в погреб. Животное лежало неподвижно, неловко отвернув голову в сторону. Было что-то обреченное, равнодушно покорное в этой неподвижности, в неестественном повороте головы, которая казалась маленькой и ненужной на огромном туловище с раздувшимися, судорожно вздрагивающими боками.

— Веревки найдутся у кого-нибудь? — спросил Кривцев.

— Как не быть, найдутся веревки, — разом заговорило несколько человек, не трогаясь с места.

— Так давайте же веревки!

Провозившись больше часа, но вызволив-таки корову из погреба, Кривцев вошел в дом.

Лашкин, отложив на стоявшую рядом скамью толстую в темном переплете книгу, приподнялся в постели, протягивая Кривцеву руку.

— Вот спасибо, Александр Федорыч. Я тут от скуки скоро умом тронусь. Жюль Верном вот занялся. Для детишек, конечно, написана, а есть над чем мозгами раскинуть.

— Тебе сейчас самое время политически подковываться, — пошутил Кривцев.

— Об одном копыте и с подковой далеко не уедешь, — невесело усмехнулся Лашкин. — Ну, как там на белом свете? Жупиков заходил как-то, да все некогда ему, торопится.

Он опустил руку и, пошарив, вытащил из-под койки бутылку шампанского.

— Вот, подарок принес. А я и открыть-то эту штуковину не умею. Ни разу в жизни не пробовал. Христя, — обратился он к жене, которая, все еще всхлипывая, вошла в комнату. — Дай-ка нам кружки.

— Чего с коровой-то делать, — не обращая внимания на просьбу мужа, сказала Христина. — Ведь не становится на ноги.

— Да чего с ней делать, — поморщился Лашкин. — Позови соседей, пусть прирежут. Другую купим.

— Да вот же, видно грошив у тебя дюже много. Богатей какой!

— И до чего же вы, женщины, друг на друга похожи, — улыбаясь, воскликнул Кривцев.

— Не-е, она добрая баба, — возразил Лашкин. — Шумливая трощки, да я привык. Ладим.

Он смотрел на жену добрым, понимающим взглядом, каким смотрят на провинившихся ребяташек, и она точно молодела под этим взглядом, улыбаясь радостно и смущенно.

— Ну, добре, дай-ка нам кружки, мы зараз с Александром Федорычем эту штуковину до дела определим. Мне как инвалиду в самый раз попьанствовать.

Он протянул бутылку Кривцеву.

— Открой, Александр Федорыч.

Выпили, помолчали. Кривцев, последнее время часто навещавший Лашкиных, всегда удивлялся и радовался тому ощущению умиротворения и покоя, которое охватывало его всякий раз, когда он бывал в этой крохотной, неказисто обставленной комнатке. Сами Лашкины принадлежали к тому редкому типу людей, которые никогда

не думают о том, как бы занять гостей, предоставляя им полную свободу молчать или разговаривать, с искренней готовностью поддерживать и то и другое, и потому общество их всегда было приятным.

— Ну, так как там в области? — оборвал молчание Лашкин.

— Идут дела,— усмехнулся Кривцев.— В повестку пленума нас особым вопросом поставили.

— Да, полетят зараз головы. За каждую овечку по словечку, и то всем по выговору наскребут. А тут не одними выговорами пахнет.

— Думаю, снимут,— сказал Кривцев.

— Да-а, орденов нам за наши подвиги не полагается. Ну да ладно, с какой стороны за нас приняться, об этом без нас подумают. Я о чем все время думаю, Александр Федорыч,— вот загубили мы овец, много загубили, а чего нам делать, плакать или радоваться — это еще бабка надвое сказала.

— Не пойму что-то,— сказал Кривцев.

— Зараз объясню. Я ведь не так давно в секретарях хожу, а то в бригадирах в Ворошиловском районе работал. Колхоз у нас был не то чтобы из передовых, так себе колхоз. А «Заря» и тогда на всю область гремела. И не так колхоз, как председатель. Чуть не в каждой газете портреты Жупикова печатали. Кошар пяток построят в «Заре»,— статья о Жупикове, птичник поставят,— опять статья о Жупикове. Учитесь, мол, перенимайте опыт. Приехали мы со своим председателем в «Зарю» опыт перенимать, и не столько хозяйством интересуемся, сколько на председателя глаза пялим, как на чудо какое. Едем мы с председателем домой и о чем ни заговорим, все на Жупикова сворачиваем. Председатель у нас, на что самолюбивый мужик был, а тут, как заговорим о Жупикове, лицо у него такое делается — того и гляди крестное знамение сотворит, как перед иконой. Вот какое дело. А когда сюда секретарем попал, так сам на него года два молился. Вы вот смеетесь, а я точно говорю — было такое. Ты мне лучше вот что скажи: зачем, по-твоему, бога выдумали? Не по науке, а как сам думаешь.

— Ну, это история длинная,— улыбнулся Кривцев.

— Никак нет, зараз в двух словах объясню. А потому выдумали, что у Христа за пазухой куда легче жить, чем самому мозгами вращаться. Знай молись, а бог за тебя обо всем подумает, на то он и бог. Эту музыку людям зараз не объяснишь, а падеж, он многим мозги на место поставит. Заставит подумать, для какой нужды каждому человеку своя голова отпущена. Это уж как дважды два. А чем дороже такая наука дается, тем дольше помнится.

Они поговорили еще немного, но главное все уже было сказано, и Кривцев собрался уходить.

— Да-а,— сказал Лашкин,— наделала эта заваруха дел.— И, усмехнувшись, спросил: — Ну, а как там Костюков себя чувствует? В героях небось ходит: пострадал при исполнении долга!

— Ничего,— пожал плечами Кривцев.— Прихрамывает немного, а в общем здоров.

— Крепко его трянуло, я думаю. Всю жизнь от неприятностей бегал человек, и на тебе — влип. Будь моя воля, я бы его куда-нибудь бухгалтером определил. Первокласный бы из него бухгалтер вышел. Главное, при своем деле был бы человек.

Кривцев вышел от Лашкиных, когда уже совсем стемнело. На улице было тихо. Под ногами то и дело жалобно похрупывал тоненький ледок, едва затянувший ранние февральские лужи. Воздух был по-весеннему свежават и пронизывающе холоден. Около клуба, весело перекидываясь шутками, толпилась молодежь. Лампочка, горевшая на столбе, ярко освещала улицу. Воздух ослепительно искрил.

ся от снежной изморози, плавно опускавшейся на землю. Кривцев уже оставил клуб далеко позади, когда вслед ему, точно приглашая вернуться и принять участие в веселье, раздалась игривая мелодия аккордеона. Звонкий девичий голос насмешливо и вызывающе, точно поддразнивая кого-то, весело, слегка опережая аккомпанемент, выводил задорные частушки:

Я миленочка люблю,
Что же тут смеяться.
Ведь закон не запрещает
Никому влюбляться.

Кривцев замедлил шаг, испытывая жгучее желание вернуться назад, потолкаться, пошуметь среди гудящей весельем толпы.

Меня милый не заметил,
Что же тут такого.
Не один живет на свете,
Полюблю другого.

Звонкий девичий смех заглушил песню. Она словно запуталась в говоре и смехе, затерялась и долго блуждала где-то, не находя выхода. Но вот она вырвалась и зазвучала с новой силой, захлестывая всякие другие звуки:

Я любила без печали
По миленку каждый год.
То они мне изменяли,
А теперь — наоборот.

Песня опять оборвалась. И сразу наступила покойная, ровная тишина. Слышно было, как где-то на соседней улице скрипел колодезный журавль и жалобно звякало бившееся о стенки колодца ведро.

Кривцев медленно шел по ночным улицам села, вполголоса напевая только что услышанную частушку. Но он не знал, что поет вслух, не слышал своего голоса. Он думал. Думал о том, что наверное через несколько месяцев он уедет отсюда. И впервые всем своим существом он воспротивился будущей перемене судьбы. Он не хотел никуда ехать. «Если дойду до того угла и никого не встречу, значит останусь», — подумал он.

— Спичек нет у вас, товарищ, — раздался совсем рядом знакомый с хрипотцой голос.

Вспыхнувшая спичка осветила усталое, небритое лицо Сашкова.

— Николай Антоныч, откуда?

Сашков, слегка оторопевший от этой неожиданной встречи, невольно отстранился, но в следующую же секунду наклонился и, не торопясь, прикурил.

— С Черных, зимний окот там начался, а тут бабу в больницу положили. Домой на денек надо заглянуть.

— А здесь чего стоишь?

— Шофер дальше не повез, попутной жду.

Кривцев положил руку на плечо Сашкову.

— Идем.

Через полчаса они ехали в Тундутово на райкомовской машине.

— Осторожней, Петр Семеныч, — тихо говорил Кривцев, поглядывая на изможденное от бессонницы лицо спящего Сашкова.

Шофер шепотом материл проклятую богом дорогу.

За стеклами кабины, отделенная от них плотной стеной непроглядного мрака, спала усталая степь.



Хазрет Ашинов

Харием

РАССКАЗ

Мабачное поле спускается к синеглазой реке Пшиш. На поле белеют платки девушек: нагнувшись, они ломают жесткие листья табака и складывают в борозды. Вы думаете, легко ломать табак? Ошибаетесь. Начинает ныть поясница и, разгибаясь, поневоле охаешь от боли.

Листья крупнее, чем в первой ломке. Они широкие, толстые и обещают стать первосортным табаком. Ладони девушек почернели от липкого сока; сожмешь кулак — не разожмешь: пальцы склеились.

Золотая голова солнца торчит над лесом, будто хочет напоследок еще раз взглянуть, что делается на поле. Возможно, солнце догадывается, что девушки работают без своего непосредственного руководителя: звеньевая Харием, дочь Измаила Ламова, уехала с делегацией в Кабарду. Вот уже неделя, как ее нет.

Впереди всех движется красавица Кутас. Ее туго сплетенные косы спускаются ниже талии. Их вполне можно послать на выставку и не волноваться: первое место ее косам будет обеспечено. В движениях Кутас видна сила, во взгляде — нежность пополам с грустью. Ох, не зря шлют ей письма из других аулов навязчивые парни, не зря устраивают прогулки по вечерам у ворот ее дома.

Чуть позади Кутас работает Фатима, о которой, — поверьте автору, — рано или поздно обязательно сложат красивую песню. Фатима очень любит в шелковом платье и легких туфельках танцевать на свадьбах. Впрочем, кто не любит веселиться на адыгейских свадьбах? Я не встречал таких людей! В отличие от типичной адыгейки, Фатима не может похвастаться смолью волос: она — рыжая. Притом еще надо добавить, что правый глаз Фатимы немного больше левого, но, честно говоря, это не очень заметно, да и выглядит она от этого еще привлекательнее. Но главная ее особенность — смех. Стоит ей только улыбнуться — как вы уже невольно ловите себя на желании сделать то же самое. А уж если она захохочет, то находящийся поблизости адыг обязательно скажет: «Смеется так, будто ее ящерица щекочет!» На свадьбах она всех парней сводит с ума.

Третья девушка — Шамсет — моложе своих подруг. Слово ко-

зочка за матерью, идет она за Кутас или Фатимой, боится забежать вперед. Фатима смеется над ней: «Слушай, ты что — без мамы не можешь?»

С реки веет прохладой, и редкий туман садится на поле. Людей на полях уже не видно, стадо погнало в аул. Девушки смотрят в сторону аула и удивляются: «Почему нет подводы?»

Наконец она подъезжает. Вместо ездового лошадыми правит бригадир табачной бригады — Мишауст Каров. На нем большая, величиной с корзину, соломенная шляпа, и из-под шляпы торчит внушительный, наподобие серпа, нос. На фронте Мишаусту осколком снаряда перебило переносицу, и теперь кажется, что нос приставлен к лицу Мишауста каким-то насмешником, зло подшутившим над мужской красотой бригадира. В ауле говорят: «Мишауста еще не видно, а из-за угла уже появился нос». Но — истины ради! — надо сказать, что неудача с носом нисколько не мешает бригадиру быть строгим и требовательным. Ради дисциплины он любому шею свернет.

...Мишауст, останавливая подводу возле девушек, говорит:

— Красавицы, грузите быстрее табак, и я вас обрадую! — В глазах бригадира появляется таинственно-лукавое выражение.

— А чем? — не терпится Фатима. — Вы хотите отвезти нас на свадьбу? Я слышала, что в Понежукае будет свадьба... Как жаль — портниха не успела сшить мне новое платье...

Маленькая Шамсет ничего не говорит. Она, как всегда, задумчиво улыбается, слушая болтовню подруги, и подает охапки табака Кутас. Кутас стоит на подводе и аккуратно укладывает листья. Уложив ряд, Кутас дергает вожжи, и подвода приближается к другой куче. Наконец воз нагружен, и, чтобы табак не свалился по дороге, подруги становятся по бокам, руками придерживая ароматный груз...

Подвода трогается. Мишауст сдерживает лошадей — ехать надо медленно. Воз ползет по дороге вдоль реки. На другом берегу кто-то машет рукой, вызывая перевозчика.

— Где же запропастился перевозчик? — говорит Мишауст. — Человек надрыгается от крика, а его все нет... Кто это так кричит?

— Так это же Пуш! — улыбается Фатима. — Как же можно его не узнать? Клянусь, девушки, если он так спешит, что даже не хочет идти к мосту, значит приехала наша звеньевая.

«Бедняга Пуш, — думает Шамсет. — Харriet сводит его с ума... И чего он в ней нашел особенного...»

Да, на другом берегу кричит и машет руками, вызывая перевозчика, Пуш Коцежев — учетчик обеих табачных бригад колхоза. Он ходил на поле второй бригады, задержался там и теперь спешит в аул. Поле второй бригады расположено за рекой, а почему Пуш торопится... Сейчас узнаете! Уже больше года Пуш ухаживает за Харriet. Парни относятся к этому факту без обычной ревности. «Что его трогать? Он так робок, что все равно ничего не добьется у гордой Харriet!» — рассуждают они.

— Откуда ты взялась, такая приткая на язык, Фатима, — качает головой Мишауст. — Я ведь и хотел сказать, что приехала Харriet, и обрадовать вас.

— А чему тут радоваться, подумаешь! — ворчливо замечает Кутас, и бригадир искоса бросает на нее недовольный взгляд. Однако он ничего больше не говорит.

А парень на том берегу, безрезультатно кричавший полчаса, понимает, что перевозчика ему не дожидаться. Он снимает пиджак и брюки и, оставшись в одних трусах, подняв над головой одежду, осторожно входит в воду.

— Вот это я понимаю, джигит! — одобрительно говорит Ми-

шауст.— Настоящий жених! Ради любимой девушки реку переплывает. Значит, если понадобится, сумеет переплыть и море, — это уж точно! — тоном бывалого человека заканчивает он.

— Ну-ну,— отвернувшись и прикрыв рукой глаза, иронически смеется Фатима.— Невелико геройство! Вся наша речка в эмалированном тазу уместится...

Мишаусту не нравится настроение девушек. Совсем не нравится. Обычно, возвращаясь с поля, они затягивают песню, сегодня же молчат. «А ведь помнится, что когда Хариет ранней весной выступала на собрании членов бригады и призывала всех бороться за звание звена коммунистического труда, Шамсет, Фатима и Кутас поддерживали ее, тогда, казалось, их водой не разольешь. Звено было таким дружным, что просто глаза радовались. Откуда сейчас это равнодушие... Что-то непонятно».

Табачные сараи возвышаются над окружающими домами. Они расположены в восточной части аула. В ненастные дни, когда солнце спит за свинцовыми тучами, над их крышами курчавится дымок.

Девушки едут молча. Им не хочется разговаривать.

«Почему Хариет нравится мне меньше, чем Фатима или Шамсет? — думает Кутас.— Ведь мы вместе учились, вместе работаем... И если уж по совести — Хариет работает лучше нас, всегда больше делает. Так почему? Может потому, что она не захотела вступить в комсомол?»

«Гордячка! Издевается над парнем. Как будто он хуже ее... А он один из лучших парней нашего аула. Скромный. Умный. И... конечно — красивый... Неужели он сам не видит, что Хариет смеется над ним?» — размышляет Шамсет, держась за плечи Кутас...

У сарая девушки выгружают табак. Затем Кутас и Шамсет собираются уходить.

— Разве вы не хотите зайти к Хариет? — спрашивает бригадир.

Девушки ссылаются на неотложные дела. И Мишауст привозит к Ламовым одну Фатиму.

Двор Измаила Ламова обнесен дощатым забором, за которым видны ветки акаций. К Измаилу Ламову можно попасть только через калитку,— разве одолеешь высокий забор и колючие акации за ним? Недаром в ауле говорят: «Ламов сажает колючки потому, что боится колдунов. Все знают, что колдуны не выносят колючек!» Так ли это на самом деле — проверить трудно, но двор Ламова плотно укрыт темно-зеленым покрывалом от чужих взглядов.

Оставив подводу на улице, Мишауст и Фатима входят во двор. Дом Ламова — старой постройки, с желто-черными ставнями, крыт железом. Мишауст спохватывается, что он впервые за много лет идет в гости к Измаилу, но объяснить себе, как так получилось,— не может.

В комнате Хариет за столом сидит Пуш. От робости он старается упрятать шею в воротник пиджака — высоко поднимает плечи и глядит в пол. Напротив Пуша — Хариет, черноволосая, сероглазая девушка. Она холодно-изучающе глядит на парня. Увидев Мишауста и Фатиму, Хариет радостно поднимается им навстречу.

— Ну, Хариет, рассказывай, что нового увидела в Кабарде... — весело спрашивает Фатима. Но Мишаусту почему-то кажется, что веселье ее неискреннее.

— Мы были в нескольких колхозах, там тоже возделывают табак,— официально, словно с трибуны, начинает Хариет.— Но выше наших достижений... то есть, я хотела сказать, что пока они не обогнули нас... — И Хариет украдкой глядит на грамоту, висящую в рамке на стене над кроватью. Внизу, под грамотой, на пышной по-

душке лежат трое разных дамских часов и отрез темно-синей шерсти...

— Слушай, кто купил тебе столько часов? — добродушно удивляется Мишауст.

— Э... э... это... — мнется Хариет, — подарили мне там, в Кабардино-Балкарии.

Она не в силах скрыть своей радости. Хариет давно поняла: если работать, так уж в полную силу, не жалея себя. Ведь соответственно приходит и большой заработок. И она стала поступать согласно адыгейской пословице: «Надо только подняться с земли, а там и воздух лететь поможет!»

— Как тебе везет! — вздыхает Фатима, глядя на свою левую руку, — у нее еще никогда не было часов. И вообще — Фатима дальше Майкопа пока не ездила. А ей тоже хочется побывать в Краснодаре, в Ростове, и в других далеких и интересных городах...

Пуш молчит. Он стесняется Мишауста. Мишауст старше его, а Пуш пренебрег обычаям. Когда к девушке приходит старший, младший обязан встать и выйти. Пуш сам не знает, почему сидит и не уходит. Хариет не обращает на него внимания, она занята разговором с подругой. Другой парень на его месте давно бы встал и ушел, а он сидит за столом и нервно мнет кепку.

— Слушай, кепка еще пригодится твоей голове, — говорит Фатима парню, и Пуш краснеет. Словно обжегшись, он бросает кепку на стол.

— Почему не пришли Кутас и Шамсет? — спрашивает Хариет.

— У них дела... — отвечает Фатима.

— Что это за особые дела? — Ответ подруги явно не нравится звеньевой. Ей начинает казаться, что Кутас и Шамсет загордились. В таком случае она попросит руководство колхоза заменить их. В ее прославленное звено любая девушка аула пойдет с превеликим удовольствием.

— Пожалуй, пора идти домой, — говорит Фатима поднимаясь.

— Пуш, как боевого товарища, прошу тебя — проводи девушку, — говорит парню Мишауст.

— Пусть лучше Пуш прикинет, как обратно переплыть речку. Час поздний, да и воду пустили из шлюзов... — хитро улыбается Фатима.

В глубине души она довольна, что ее будут провожать. И только Пушу совсем не улыбается эта просьба, он хочет остаться у Хариет, но разве можно ослушаться старшего?

Когда за Пушем и Фатимой закрывается дверь, Мишауст говорит:

— Значит, теперь в твоём звене все девушки будут иметь часы, а ты — новый костюм? — Он говорит осторожно — вспльчивый нрав Хариет Мишауст знает хорошо. Хариет хочет что-то возразить, но сдерживается... И Мишауст продолжает: — Наверняка в Кабарде проведали, сколько девушек у тебя в звене?

— Не знаю! Дарили мне и говорили так: «Это тебе!»

Хариет спокойна, но можно догадаться, что сейчас последует вслышка. И действительно, кто не знает — если тучи сползаются одна к другой, должна полыхнуть молния, а за ней — гром. Вот и брови Хариет хмурятся и сходятся над переносицей. Она привыкла к тому, что окружающие всегда старались сделать ей приятное. Отелилась корова — телка для Хариет, говорил отец. Окотилась овца — тоже ее добро, зерно продали — для нее. В ее комнате стоит радиоприемник, швейная машина, новый шкаф. И все это трудами и заботами отца и матери приобретено для Хариет.

Мишауст знает скудость Измаила Ламова. Он до сих пор помнит,

с каким трудом поборол себя Исмаил и вступил в колхоз. Очень долго Мишауст убеждал его, много часов потратил в спорах, правда, потом, при встречах, Ламов частенько благодарил Мишауста: «Спасибо тебе, помог одуматься!» Однако кто знает, сколько в этом было чистосердечия? Очень уж скуп Исмаил Ламов. Даже десять лет спустя после коллективизации он, как помнит Мишауст, втайне хранил свой проржавевший плуг в сарае.

Теперь Ламов в колхозе не работает — стар. Конечно, он не какой-нибудь дряхлый старец — ему всего-навсего стукнуло шестьдесят, и на своем огороде он возится с утра до вечера, но на колхозное поле Ламов больше не выходит...

Ламов, Ламов... Что же, его Мишауст знает давно, а вот о Харriet он был другого мнения. Ведь она училась в школе, кончила десятилетку, командует передовым звеном.. Это не пустые слова, у нее же должны быть новые взгляды...

— Ты подумай, Харriet, — спокойно продолжает Мишауст. — Ты подумай, Харriet, пожалуйста... И Кутас, и Шамсет, и Фатима в состоянии купить себе часы... Разве в этом дело? Но ты зачеркиваешь их работу, их труд... А что ты без своего звена?.. Ты слышала, что сказала Фатима, но сделала вид, что ничего не поняла...

— Что хочешь говори — часы мои... — запальчиво восклицает Харriet и заслоняет собой кровать, на которой разложены подарки. Кинув на Мишауста уничтожающий взгляд, Харriet повторяет: — Часы мои! И отрез мой! Понимаешь, — только мой! Мне дарили. Почему я должна кому-то отдавать?

Исмаил Ламов, услышав возбужденный голос дочери, распахивает двери и входит в комнату. В высокой папаше, с гнутой палкой в руках, с насупленными черными бровями, он кажется старше своих лет.

— Что случилось? — спрашивает Исмаил и, не дожидаясь ответа, подходит к дочери. Мишауст может не отвечать — Ламов и так понял, что здесь происходит. Он мягко отстраняет дочь, берет с подушки часы и отрез, затем взглядывает на Мишауста. Теперь эти подарки не отберет и сам Магомет.

«Сорок лет советской власти, — думает Мишауст, — но в этом доме власть не менялась: тут властвует Исмаил Ламов. Многого мы еще не умеем разглядеть до конца».

Бригадир резко поднимается. Отец и дочь глядят на него, зло прищурились глаза. Пусть успокоятся — Мишауст не отберет подарки. Правление колхоза найдет средства, чтобы премировать девушек. А вот найдет ли средства Харriet, чтобы вылечить свою совесть, — еще неизвестно. И Мишауст шагает за порог.

Исмаил долго смотрит на дочь и медленно произносит:

— Хотела похвастаться дарами, доченька? Никогда не стоит этого делать. Запомни: люди завистливы. Закон жизни: рука сгибается к себе.

Рука — к себе!

Сколько помнит Харriet — отец живет по этому закону. Его философия проста: «Только твое останется твоим. Источник счастья — богатство. Пусть люди говорят другое — не верь им. Мы умрем, но тебе-то жить!..» Хотя, честно говоря, Ламов не собирается умирать. Да и отчего бы ему умереть: аллаху он молится исправно, уразу¹ блюдет аккуратно; нет, смерть пока должна обходить его стороной... Он будет жить долго.

¹ У р а з а — пост у мусульман, когда в течение месяца едят только после захода солнца.

...Харriet мрачно взбивает подушки. Пуш — жених, безответный парень, и тот почему-то не вернулся. А почему бы ей не выйти замуж за Пуша? Это ничего, что простой учетчик, лучшего защитника ей не найти.

Сегодня больше, чем когда-либо, Харriet думает о Пуше, о его молчаливой преданности, и ей становится легче. Она даже находит, что Пуш ей нравится. С ним, наверно, будет легко жить.

Мысли Харriet возвращаются к неприятному разговору с Мишаустом. Будь прокляты эти подарки! Завтра всему аулу станет известно, что дочь Измаила Ламова нехорошо поступила со своим звеном. Постель почему-то становится тесной. Харriet ворочается с боку на бок. «Ах, если бы завтра ей вручили телеграмму с вызовом на какое-нибудь совещание». Несбыточно! Летом совещания не часты. А может, лучше заболеть? Разумеется, не сильно, а так, слегка, с небольшой температурой. Можно будет лежать, ни с кем не разговаривать, не видеть своих подруг по звену...

Харriet вспоминает: на последнем собрании Кутас подошла к ней и предложила вступить в комсомол... «Понимаешь, мы будем тогда настоящим комсомольским звеном... Ведь только ты одна не комсомолка». Харriet промолчала. Что ж, она, в общем, не прочь, если без этого нельзя обойтись. О предложении Кутас она сказала отцу. Густые брови Ламова опустились и прикрыли острый блеск глаз.

— Вступить в комсомол? — мягко переспросил Измаил. — Я не против, что ты... Но кто тебя будет провожать домой, дочка? Ведь у комсомольцев собрания каждый вечер... Да еще допоздна.

Харriet так и не вступила в комсомол. И звено по-прежнему называют комсомольско-молодежным.

Все-таки нечего ей отчаиваться. Пока ей еще ничего не угрожает. Звено с честью перевыполняет план. Урожай выращен хороший. Да, Мишауст хвалил ее табак на собрании бригады. Девушки звена учатся: Кутас и Фатима — в институте, Шамсет — в агрономическом техникуме. Она сама в этом году, наверно, решится подать заявление в институт. Значит, высокое звание обеспечено. Так за что же лучшую звеньевую лишать места? Не за что! К ней не подкопаешься! Она не в комсомоле? Это же просто: она подаст заявление — и все.

Эти мысли ненадолго успокаивают Харriet, но потом тревога снова овладевает ею. Проклятые подарки!

...Не спится! В окно заглядывает луна, и у кровати стелется белая дорожка. Затем она меркнет — тучи скрывают луну. Харriet думает: «Выйду замуж, и всему конец! — Она приподнимается на постели. — Тогда они не станут разговаривать со мной, как с девчонкой...» Пожалуй, это выход! Завтра явится Пуш. Неважно, что он задержался у Фатимы. Харriet знает: она позовет, и Пуш придет.

«А может быть, Пуш слоняется под окном? Ведь он всегда караулит ее до «последних известий».

Харriet одевается в темноте и потом зажигает свет. На всех трех часах, которые отец оставил на столе, без пяти минут десять. Харriet распахивает окно.

— Пуш! — тихо говорит она в темноту.

— Я! — тут же отзывается темнота.

— Что же ты там скучаешь? Зайди...

То, что Харriet вдруг зовет его, волнует Пуша. Но он еще долго топчется у порога. «Сейчас же скажу ей, чтоб выходила за меня, и конец!»

Войдя в знакомую комнату, он опять теряется.

Однако Харriet смотрит на него сейчас не так, как всегда. И Пуш, словно его кто толкает в спину, с порога выстреливает заготовленное:

— Выходи за меня!

Он ждет, что Хариет засмеется, прогонит его. Как же он удивляется, когда Хариет, потупив глаза, снимает с шеи легкий шарфик и подает ему. Залог! Да, да, тот самый залог согласия, получить который мечтает каждый жених-адыг.

Отойдя от дома Ламовых, Пуш бережно вынимает из кармана шелковый шарф и прижимает к губам. Ему кажется, что шарф пахнет так же, как губы Хариет...

* * *

Девушки, окруженные со всех сторон ворохами табачных листьев, сидят на низких, расписанных яркими красками стульях. Они нанизывают на иглу пачку листьев и резким движением протергивают шнурок. Ловко работают девушки! И как им не научиться, если искусство нанизывания табака передается в ауле Пшишхабль из поколения в поколение. В этом сарае в свое время трудились их матери.

Девушки работают и поют. Да еще как поют! Послушайте хотя бы Фатиму. К каждой песне она обязательно присочинит от себя еще один куплет. Вот она затягивает песню о девушке из аула Пшишхабль, сохнувшей от любви к Никову Нуху, парню красивому, но ленивому. Девушка несчастлива. Она упрекает любимого:

Нух, мой Нух, ты мне так мил,
Только мало смелости.
Или ты не получил
Аттестата зрелости?

Как видите, в основе песни заложена драма, но Фатима так бодро и жизнерадостно ведет мелодию, что вызывает скорее смех, чем слезы.

Нух от всех почета ждет:
— Ставьте в председатели! —
До собрания целый год
Пьянствует с приятелем...

Остальные улыбаются: нет же этих слов в песне! Фатима их наверно сейчас сочинила.

— Ну и бойка эта Фатима, — перешептываются пожилые женщины в углу сарая. В их времена девушки громко распевать не смели. Но, очевидно, сейчас и девушки переменились. А Фатима заливается:

Двор в крапиве, в доме грязь,
Паутин сплетенье.
Пусть он ходит словно князь,
Нет к нему почтенья!

В это время в сарай входит Пуш. Услышав пение Фатимы, он краснеет и отступает в сторону. Уж не про него ли поет Фатима? Кто ее знает, слишком бойкий у нее язычок. Ему очень хочется сесть рядом с Хариет, но в то же время он боится, что об их уговоре уже все знают. Нет, к ней подходить нельзя. Лучше стоять в сторонке, и из угла сарая слушать, как в хоре выделяется высокий звучный голос Хариет... Его Хариет!

Перед концом работы девушки подсчитывают дневную выработку. Больше всех успела Хариет.

— Придется вам поднажать, девушки! — говорит она.

«Бессовестная! — думает Фатима. — Она очень редко нанизывала, и три ее шнурометра сойдут за два обычных... Сказать ей об этом или нет?»

— Слушай, Хариет, ты ведь низала очень редко, — решается нако-

нец Фатима, и девушки из другого звена смеются: им нравится этот разговор начистоту.

— Редко? Ты ослепла, Фатима! Где редко? — кричит Харriet.— Может, ты делаешь лучше? Гляди, разве это редко?

Она подносит шнур с табаком к самому лицу Фатимы, но Фатима даже не смотрит. Она только холодно говорит:

— Ты нижешь недобросовестно! А еще настаивала, чтобы мы боролись за звание коммунистического звена! С тобой мы это звание никогда не завоеваем!

Щеки Харriet плачут, от них даже можно прикурить папиросу!

Девушки с недоумением глядят на Харriet: откуда в ней столько злости?

— Что случилось? — Пуш подходит к спорящим. Выслушав Фатиму, он вздыхает и разглядывает шнур: — Да-а... Напрасно сердиться, Харriet... Это правда! Погляди сама...

«Хочет больше заработать... Потому и работает так...» Пушу не нравится поведение Харriet, но как в открытую, при всех, сказать об этом своей невесте?

Харriet чутко улавливает настроение окружающих:

— Может быть, я погорячилась напрасно. Действительно, редко нанизано. Что это со мной? Неужели я разучилась низать за время поездки в Кабарду? Придется учиться!

Девушки расходятся. Ссора кончилась. Но у всех на душе нехороший осадок.

Харriet решила объясниться с Фатимой. Им, кстати, по дороге.

— Я знаю, почему ты злишься на меня,— начинает Харriet,— оттого, что Пуш перестал ходить к тебе... Так при чем тут я?

— Что ты такое говоришь? — Фатима останавливается.— Что ты выдумываешь? Пуш всего-то провожал меня один раз...

— Значит, обиделась, что тебе не достались подарки...

— Как тебе не стыдно?..

Пуш догоняет девушек. Очевидно, Харriet рассердилась на него. Но что ж, он сказал правду. Не мог же он утверждать, что шнуры Харriet плотно забиты листьями, когда это не так. Так и есть! Харriet злится. Пуш идет рядом, а она не замечает его присутствия. И чем оскорбила она Фатиму? Почему Фатима резко поворачивается и бежит в свой переулок? Пуш ничего не понимает! Но Харriet снова догоняет подругу.

— Фатима, Фатима, перестань дуться! — просит она.— Ты знаешь, у меня радость: я выхожу замуж. Я всех вас приглашаю на свадьбу! Поторопи портниху со своим новым платьем!

— Не буду я танцевать на твоей свадьбе! — не останавливаясь, роняет Фатима.— И другие тоже не будут. В гости ходят к добрым людям, а ты... — и, не договорив, скрывается за калиткой.

— Учти, звеньевой остаюсь все-таки я! Ты у меня еще заплачешься! — Харriet чувствует, что говорит не то, что говорить этого не следовало. Она оглядывается на Пуша. Неужели он, будущий муж, не поймет ее? Какая же у них тогда будет жизнь? Пуш молчит, насунив брови. По улице летит ветер, качая верхушки тополей. Ветви яблонь касаются плеч Харriet, словно жалеют ее...

В субботу прохладно от прошедшего утром дождя. Харriet у окна ожидает жениха с друзьями. Она надела любимое платье и туфли на модных гвоздиках-каблуках. Пуш задерживается...

Сомнение — спутник многих девушек. И Харriet, глядя на пустынную дорогу, начинает сомневаться: а придет ли он вообще? Не

случилось ли с ним несчастья, не попал ли он под трактор? На поле все может случиться, Пуш ведь такой мечтательный... «А может, я ошибаюсь в Пуше? Может, он не такой уж покорный, как кажется?»

Нетерпеливо ходит по комнате Хариет. Ей очень хочется знать, что думают в ауле о свадьбе, как к этому относятся подруги по звену? Хариет выйдет замуж, соблюдая все адыгейские обычаи, кроме одного. Многие девушки выходят замуж, убегая тайком от родителей. Хариет не обидит своих, она скажет им, за кого выходит. Отец и мать о чем-то разговаривают в соседней комнате. Почему же не едет Пуш?

Наконец, у окна, стрельнув отработанным газом, останавливается машина. Пуш! Вслед за машиной грохочет мотоцикл. Кровь стучит в висках и ладонях Хариет. Она быстро отскакивает от окна: трое парней идут к крыльцу.

Хлопает дверь. Первым входит Хамар Баров — стройный, подвижной парень в военной гимнастерке. Хамар никогда не служил в армии, но ему нравится строгость и простота армейской формы. Хамар большой любитель женить друзей. По его лицу разлито удовольствие от предвкушения праздника; за Хамаром входит счетовод пшишхабльского колхоза Аслан Кубов, родственник Пуша — высокий и сильный. Все удивляются — уж больно не по силам профессию выбрал он. А вот и Пуш в отутюженном костюме, с его шеи спускается пестрый галстук. Голова Пуша на этот раз гордо вылезла из ворота пиджака.

Парни, поздоровавшись с Хариет, присаживаются к столу.

— Тот, кто назначает срок, должен помнить о конце срока... — начинает Хамар разговор любимой присказкой. — Красавица Хариет, мы явились помочь вам устроить свое счастье.

— Я знаю, — тихо говорит Хариет, и глаза ее опускаются. — Но поговорите с родителями, если они не будут против — я согласна...

Парни переглядываются: вот этого как раз им не хочется — говорить с родителями. Но что поделаешь? Хамар встает и, твердо ступая, направляется к двери. Через несколько минут он возвращается. Нельзя сказать, что настроение у него веселое.

— Извини нас, Хариет, мне надо переговорить с ребятами, — говорит он девушке и подмигивает парням. Они выходят в коридор и о чем-то шепотом говорят, потом голоса усиливаются — очевидно, они начали спорить.

— Не хочу, — слышит Хариет слова Пуша, — не хочу! Я не могу так поступить...

— Не волнуйся, — возражает ему Хамар, — у меня в кармане тысяча рублей, пошлем Аслана домой — пусть принесет еще. Надо дать старикам полторы — и хватит!

— Не хочу! — упрямится Пуш. — Я должен поговорить с Хариет. Дело ведь не в деньгах.

Парни возвращаются в комнату. Пуш садится напротив девушки и быстро, захлебываясь, говорит:

— Хариет, разве мы с тобой договаривались, что нужен калым?

— Жених должен сам догадаться... — неуверенно отвечает Хариет. Она не готова к этому разговору. По совести, ей бы, конечно, очень хотелось, чтобы завтра в ауле судачили, во сколько она обошлась жениху. Но если Пуш жалеет какие-то несчастные полторы тысячи!..

— Не всегда старики правы. Не всегда надо следовать их советам, — по-прежнему уговаривает ее Пуш. — Нас завтра подымут на смех. Я же люблю тебя, зачем нам устраивать куплю-продажу?

— Иначе нельзя...

«Говорят, она оставила себе все трое часов... Вот она какая! Она из тех, кто всю жизнь стремится жить для сундука... И калым-то ей нужен поэтому! — нижутся мысли Пуша, как табачные листья на шнур.— Может, лучше опомниться сейчас, чем всю жизнь потом каяться?..»

— Ладно! — говорит Хамар и расстегивает карман гимнастерки, он не может вернуться без невесты: авторитет хорошего свата будет утерян навеки. Кто потом пригласит его ехать за невестой? Хамар не пожалеет даже своего мотоцикла, чтобы уладить дело. Надо пока оставить Ламову тысячу.

— Что ж, если иначе нельзя, твоя воля,— встает Пуш. Он медленно вытаскивает из кармана сверток. Ох, как дрожат его руки! — Не можешь сдержатъ слово,— возьми!

На столе лежит шарф Хариет, ее залог.

— Пошли, ребята!

— Подожди, Пуш,— загораживает ему дорогу Хамар,— может, найдем выход?

Как можно вернуться без невесты, если в доме Пуша с утра зарезали барана и выкатили бочонок крепчайшей браги?

Но Пуш отстраняет Хамара и выходит за дверь. Вслед за ним, сокрушенно покачав головой, плетется Хамар. Аслан сухо кивает Хариет. Ворчливо заговорили моторы.

Все! Во дворе Измаил Ламов смотрит на пыль, поднятую машинами.

«Он спокоен, как будто ничего не случилось! — с ожесточением глядит Хариет на равнодушную фигуру отца.— А все деньги, деньги... Как я буду теперь жить? Завтра весь аул узнает, что от меня отказался даже робкий Пуш!»

Словно кто-то грубой рукой сжимает сердце Хариет. Холодное оконное стекло остужает ее пылающие щеки. По стеклу ползут редкие капли. Думаете, начался дождь? Нет, нет... Это не дождевые капли...

*Авторизованный перевод
с адыгейского Вячеслава Стерина.*



Гости

РАССКАЗ

Через неделю после свадьбы, в ясный воскресный день, молодые собрались в гости. Они ехали к Диминой маме, в Люблино.

— Не забудь, что я тебе говорил,— напомнил Дима, выходя из вагона,— она со странностями...

Люся засмеялась.

— Чудак ты у меня,— сказала она.— Сколько лет прошло с тех пор, как ты из дома сбежал? Десять, правда? А взгляды на жизнь у тебя прежние, мальчишеские... Или скрываешь свое раскаяние? А? Дима промолчал.

— Ну, признавайся, мама твоя немножко ворчлива, тебе надоели ее наставления и захотелось жить по-своему; вот и решил бросить школу и удрать в ремесленное, да? А теперь, конечно, жалеешь об этом.

— Ты у меня тоже ворчунья,— засмеялся он, прижимая к себе ее локоть.

— И от меня убежишь?

— Посмотрю, посмотрю,— он быстро поцеловал ее в щеку и, подумав, добавил: — А мать ты еще не знаешь...

— Ну, не обижайся. Я ведь понимаю. Каждому мальчишке в тринадцать лет хочется самому на хлеб зарабатывать. Тем более если он видит, как тяжело достаются матери деньги.

— Я не рассказывал, как уговаривал ее на свадьбу приехать? — спросил Дима.

— Нет. А что?

— Не стала бы со мной спорить.

— Интересно. Расскажи, может, не стану...

— А не обидишься?

— Вот еще глупости!

— Не собираюсь, говорит, женить тебя — и все тут! — с усмешкой начал Дима.— И благословения моего не будет.

Я ей говорю, что решения своего не изменю и, если не поедет, то и я к ней не буду ездить. А она свое твердит: не собираюсь, не хочу! И знаешь, когда согласилась? После того, как я сказал, что у тебя

восемнадцатиметровая комната со всеми удобствами... Как услышала, так и разговор другой пошел. «В Москве? — спрашивает. — А родных много?». Никого, говорю, нет. «А может, где под Москвой или еще дальше найдутся?» — допытывается. Да нет же, говорю, была одна тетка и та умерла в прошлом году. После нее и комната осталась... Только это и подействовало. Вот... А то бы и на свадьбу не приехала... А ты говоришь...

Люсе было неприятно это слышать и потому не хотелось верить мужу. Он просто преувеличивает. И, чтобы заставить его быть объективнее, Люся возразила:

— Ну и что ж такого? Просто она за тебя беспокоилась. У нее же болит сердце: как сын устроится, как жизнь его наладится? Может, пришлось бы нам уголок снимать? Разве ей все равно? А узнала, что есть своя площадь, и успокоилась...

— Успокоилась потому, что мы в дом ее не приедем...

— Ну, какой ты! — не соглашалась Люся.

— Вот она, встречает нас, — пробормотал Дима, увидев мать, и ускорила шаг.

— Ну вот видишь, — укоризненно прошептала Люся и взяла мужа под руку.

Навстречу им шла совсем еще не старая женщина. Люся видела ее всего второй раз: на свадьбе и вот теперь. На свекрови было пестрое платье из шифона и лакированные туфли. Невестка даже смутилась: в своем простеньком штапельном платице и в парусиновых босоножках она выглядела невзрачно. Но Мария Андреевна не заметила этого. Она поцеловала Люсю и ласково заговорила:

— А я уж заждалась. Целый час тут хожу. Пошли быстрее, а то обед остынет.

В доме было очень уютно, чисто до блеска и пахло жареной колбасой и духами.

— Переночуете у меня, конечно? — спросила свекровь, снимая газету с расставленных тарелок и рюмок.

— Нет, мама, у меня сегодня дополнительные занятия по физике, — отозвался Дима, усаживаясь за стол. — В восемь часов учитель будет ждать.

— Вот муженек! — коротко засмеялась она, подмигнув Люсе. — Женой обзавелся, а сам еще в школу ходит...

— Ну и что ж? Мы оба учимся, — насупился Дима. — И работаем вместе...

— Вот радость-то! Работаем вместе, — передразнила Мария Андреевна, подвигая Люсе стул. — Муж должен обеспечить жену всем. Не так, как твой отец! Ложки оловянной в дом не принес... А требовать стала — не понравилось. И тебя шестилетним бросил...

— Знаю, слышал! — прервал ее Дима, невольно морщась. — Зачем вспоминать?

— А затем, чтобы не забывал: одна я тебя растила, — продолжала мать, ловко открывая бутылку вина. — И чтобы сам жил полюдски. Жена тебе попалась хорошая. И должен ты об ней беспокоиться... Обо мне вот никто не заботился. — Заметив, как нахмурился сын, она обернулась к Люсе. — Приехала из деревни — одни эти половики и были. На них спала, ими укрывалась... А сейчас у меня есть все. — Мать обвела взглядом комнату и кивнула на диван. Там, словно напоказ, лежало свернутое вдвое пуховое одеяло. Углы вышитого пододеяльника были украшены ленточками. Увидев растерянную улыбку невестки, она продолжала внушительно:

— А все деньги. И какие деньги! Я вот с утра до ночи работаю,

а не хватает. Угол еще сдаю. Тоже деньги, хоть и сто пятьдесят рублей...

— Мам, ну давайте выпьем,— остановил ее Дима. Он боялся, что она при Люсе начнет расхваливать доброту своего постояльца — майора интендантской службы.

— Давайте,— согласилась мать и выпила.— А Дима вот не любит, когда я рассказываю, как оно все достается,— пожаловалась она Люсе, подвигая ей закуску.— Отец его бросил, копейки ни разу не прислал. А он у меня раздетым не ходил. И костюмчик всегда, и рубашечка беленькая, и самого каждый день до школьного возраста купала. Вон грамоту за него получила...— указала она на стенку.

И Люся увидела грамоту, вставленную в рамку под стекло. А рядом висела фотография. Она словно объясняла, каким путем зарабатывала мать на содержание сына, брошенного отцом: за прилавком в белом халате стояла Мария Андреевна и наливала водку в стаканчик.

— Была простой буфетчицей, а дошла до заведующей магазином,— с гордостью объявила она.

— Мы это знаем,— нетерпеливо заметил сын.

— Ничего ты не знаешь! — возразила мать.— Вот вы приехали, а я не могу принять плохо. Винца две бутылочки — тридцать один рубль двадцать копеек, сосиски — семнадцать рублей, колбаса — восемь пятьдесят, варенье — одиннадцать... Вот уж шестьдесят семь рублей семьдесят копеек. Это не считая масла и печенья...

— И хлеб еще,— усмехнулся Дима.— В общем, всего сто рублей, да?

— Сотни-то не наберется, но около того...

— А может, больше? — вдруг вскипел Дима. Резким движением он отодвинул от себя тарелку с жареной колбасой и встал.— Спасибо, мам, за угощение,— сказал он, насмешливо скривив губы, и взялся за кепку.

— Вот видишь? — спросила свекровь невестку.

Люся испуганно смотрела то на нее, то на мужа. Сейчас они опять поругаются. При ней... Как это Дима не мог сдержаться? И у матери даже слезы...

— Идем, Люся,— тихо произнес Дима, отвернувшись от стола. Но Люся не могла так уехать.

— Дима! — настойчиво сказала она.— Она — мать.

Он упрямо шагнул к двери, но, обернувшись, заметил напряженное лицо жены и остановился.

— Ладно, мам, прости,— подошел он к Марии Андреевне, поцеловал ее в мокрую щеку и поспешно вышел.

— Я ему как родному все рассказываю,— всхлипнула она, обращаясь к Люсе.— С кем же мне еще поделиться-то! Каждый день до школьного возраста купала...— и неожиданно спокойным голосом сказала:

— Люся, подушку я вам обещала. Они по тридцать пять рублей...

— Мы заплатим. В магазине их никак не застанешь, редко бывают...

— Мне здесь по пятьдесят рублей дают... Вы-то свои люди,— коротко засмеялась свекровь,— с вас дороже не возьмешь. А я на буфет собираю... Знаешь небось: немножко не хватит, вещь не купишь — деньги и разойдутся... Уж как-нибудь в магазине поймаете. По государственной цене...

Люся огорчилась. У них была одна подушка. Вместо другой — стеганка в наволочке. Дима до женитьбы в общежитии жил.

— Ладно,— уныло согласилась она и стала прощаться.— Вы уж не сердитесь на Диму. Он очень горячий...

— Жизни-то хлебнет — поостынет,— заметила свекровь и протянула Люсе губы для поцелуя.— Хорошо, хоть ты меня понимаешь. Постой-ка. Я тебе одну вещицу дам...— она достала из комода свернутый листок и подала его невестке...— Береги. Пригодится.

Увидев загадочную улыбку свекрови, Люся растерялась. Мария Андреевна заметила это и сама положила листок в ее сумочку.

— Диме не показывай... Пригодится...— значительно повторила она.

— Спасибо,— поблагодарила Люся и побежала догонять мужа. Дима ждал ее на платформе.

— Долго же ты извинялась за мою выходку,— сказал он с усмешкой.

— Ты не понимаешь! Она одна. Ей трудно жилось...

— Могла же она хоть при тебе скрыть свою жадность...

— А ты мог бы хоть при мне проявить уважение к матери...

— Вот заладила, огурец с малиной! — сердито выговорил Дима и замолчал.

«Огурец с малиной» и «клюква в масле» — были его ругательствами. Он перенял их у отца. Как и у отца, они выражали самое злое состояние.

Дима не зашел домой даже за тетрадью. Отправился прямо на занятия.

Не думала Люся, что так кончится их поездка к свекрови. Из-за чего поссорились с мужем? Правда, свекровь очень бестактна. Но ведь она почти неграмотная женщина. И она — мать. Если бы Люсяна мама была жива...

Люся вошла в квартиру. В комнате стоял полумрак. Уже смеркалось. А Дима вернется не раньше одиннадцати... Она включила свет, положила сумочку на диван и вспомнила о загадочном листочке. Но не успела и развернуть его, как в квартиру позвонили. Может, Дима вернулся? Люся бросила бумажку на этажерку и побежала открывать.

На площадке стоял мужчина лет пятидесяти. На нем был костюм из темно-серого сукна в полоску. Совсем новый, видимо только из магазина — слежавшиеся складки не разглажены. Под пиджаком — спортивная рубашка в коричневую клетку и неумело завязанный галстук. А на голове старая кепка. Человек стянул ее, открыв черные с густой проседью волосы, и спрятал за спину.

— Хозяюшка,— несмело заговорил он,— мне бы Дмитрия Николаича повидать...

— А его дома нет...

Люся внимательно посмотрела в сухое с темными морщинами лицо, пытаясь припомнить, не встречала ли его раньше, но пристальный взгляд незнакомца заставил ее отвести глаза.

— Издалека я,— поспешно продолжал он, словно боясь, что дверь захлопнется и его не станут слушать.— Шестнадцать лет не видались... Позвольте переждать...

Люся насторожилась. Человек так странно разглядывал ее и говорил как-то очень неуверенно... Как его пустить? Одна в квартире.

— Да вы не пугайтесь,— увидев ее растерянность, сказал гость.— Я смирный...

— Проходите, проходите,— пробормотала она, пропуская его в комнату.

Мужчина прошел, повесил кепку на спинку стула, подвинул его к столу и сел.

— Для ясности скажем, зовут меня дядя Вася,— представился он и неожиданно смешно поклонился.— А вас как?

Люся неприязненно взглянула на него.

— Зина,— выдумала она.

Незнакомец заметил ее неприязнь и миролюбиво посоветовал:

— А вы делайте свое дело. Небось муж скоро вернется. Надо кормить его..

— Да, жду. Сейчас должен быть. Может, в магазин забежал,— опять сочинила Люся.

Дяде Васе почему-то не понравилось это сообщение. Он испытующе посмотрел на Люсю. Потом, словно догадавшись, что его обманывают, укоризненно покачал головой и загадочно улыбнулся. Люсе жутко стало от этой улыбки. Казалось, она означала: «Нет, меня не проведешь! Я и пришел потому, что знаю,— муж твой на занятиях и сейчас вернуться не может».

Люся начинала нервничать. Надо готовить ужин, а в кухню уходить рискованно.

Между тем дядя Вася совсем освоился. Он увидел на этажерке альбом с фотографиями, поднялся, без спроса взял его и стал рассматривать. Люся возмутилась, но вовремя сообразила: «Это даже лучше. Пусть разглядывает, пока я приготовлю ужин».

Оставив дверь открытой, чтобы не терять гостя из вида, она вышла в кухню. Картошку отбирала не глядя, боялась отвести глаза от дяди Васи. Нащупала нож на кухонном столе и торопливо вернулась в комнату.

— А что ж, физкультуру он свою бросил? — неожиданно спросил гость, вглядываясь в одну из фотографий.

Люся догадалась, что спрашивает он о муже. В альбоме много карточек, где Дима в трусиках и купальной шапочке. Но откуда дядя Вася знает, что вот уже неделю, с самой свадьбы, Дима совсем не ходит на тренировки?

— Почему вы так решили?

— Да кто же от такой жены на стадион пойдет?

Люся невольно покраснела. Конечно, Диме просто некогда: начались занятия (а десятый класс самый трудный), в цехе он комсорг, часто приходится задерживаться, и все-таки иногда можно бы забежать в бассейн. А он словно забыл про это. Неужели, правда, из-за нее?..

Она отвернулась, чтобы скрыть смущение и, пристроившись на двух стульях, начала чистить картошку.

Некоторое время незнакомец продолжал молча рассматривать фотографии. Люся успокоилась и не заметила, как дядя Вася подошел к ней вплотную.

— О! О! Какая спешка! — вдруг услышала она голос над самым ухом и от неожиданности выронила нож.

— Картошку надо сначала вдоль резать, потом поперек. И красиво, и сварится быстрее,— посоветовал он, не обращая внимания на Люсин испуг. Взяв нож, дядя Вася присел над кастрюлькой и показал, как резать картошку. Люся заметила, что пальцы у него длинные, тонкие, но заскорузлые, неотмывающиеся. Ей стало неприятно от мысли, что суп может сохранить запах его рук. И она решила забрать нож.

— Я поняла. Теперь сама...

— А то давай помогу. Я ведь пять лет поваром работал...

— Нет, спасибо, я сама.

— Пять лет поваром работал,— словно для себя повторил дядя Вася.

— А теперь кем же?

— Водопроводчиком.

— А почему же не поваром?

— Э-э! Скучная это история...

Люся больше не спрашивала. Ей не нравился развязно-шутливый тон гостя. Казалось, он нарочно так разговаривает, чтобы скрыть истинную цель своего прихода. А дядя Вася ждал вопроса. И, не дождавшись, неуверенно попросил:

— Вот что, Зиночка... Дай-ка мне стаканчик и, если найдется, луковицу. А?

Она удивленно подняла голову.

— Дай, дочка,— повторил он, не глядя на нее.

Люся подала ему лук, сбежала за стаканом. Дядя Вася достал из кармана четвертинку и ударом под доньшко распечатал ее. Люся отступила в испуге и, упрямо сжав губы, спрятала стакан за спину.

— Дай,— еще раз повторил незнакомец и протянул руку.

Она попятилась к двери, твердо решив не давать стакана. Но тут заметила, как мелко задрожали неотмывающиеся пальцы, как лихорадочно заблестели глаза. И ей снова стало страшно.

«Ладно,— подумала она, протянув гостю стакан.— Пока пьет, сбегаю к соседям, за Гришей».

Дядя Вася подошел к столу, взял луковицу и стоя налил полный стакан водки.

Люся уже повернулась к двери, чтобы бежать за Гришей, но гость остановил ее.

— Тебя, Зиночка, не угощаю. Не взыщи. Потому — последнее дело эта водка... Тебе и без нее не скучно. Так?

Дядя Вася говорил, не глядя на Люсю. Усаживаясь за стол, он не торопясь очистил луковицу и, понюхав ее, залпом опорожнил стакан.

— Небось тоже учишься, а? — поинтересовался он, закусывая луком.

— Откуда вы знаете? — жестко спросила она.

— Время нынче такое. Неученому куда ж? В водопроводчики? — Он горько усмехнулся.

Люсе стало жалко его. Может, потому и пьет человек, что жизнь у него не удалась? Но, вспомнив слова дяди Васи, спросила недоверчиво:

— Почему же вы поваром не работаете?

— Надоело, Зиночка... Пока поваром был, меня любили — я накормить мог, я зарплату целиком домой приносил... А теперь не любят... Почему бы это, а? Я же прежний остался, должность только сменил. Отчего ж меня любить перестали? Выходит, не меня — должность любили... А я человеком хочу быть, а не приманкой. Из-за того и не пойду больше на кормовую должность! Ты не смотри, дочка, что я старый да седой,— повернулся он к Люсе.— Я и молодой был. Д-да... — добавил он с тяжелым вздохом и умолк ненадолго. После водки он как-то загрустил, перестал шутить.

— Чего уж там,— снова заговорил дядя Вася.— Тогда еще у меня и жена была. Красавица! Клюква в масле!..

Люсю словно толкнул кто. Как он сказал? «Клюква в масле?» Димино ругательство? Он у отца перенял...

Неужели это Николай Иванович? Но зачем он пришел? Бросил семью, шестилетнего ребенка, теперь на старости приюта ищет? А раньше что думал?

Николай Иванович, не замечая недоброжелательного взгляда хозяйки, продолжал говорить:

— Из поваров ушел, ничего у меня нету... И сына потерял. Не считает он меня за отца...

«Правильно делает! — мысленно ответила ему Люся.— Поздно вспомнил, что сын у тебя есть... И как явился?! Заранее, наверно, узнал, что Дима в школе... Притворяешься чужим... Ну и что ж... Как явился, так и уйдешь чужим...»

Люся вышла в кухню и нарочно долго возилась там. Она теперь не боится непрошеного гостя, а разговаривать с ним у нее нет желания. Но он не спешит уходить. Рассаживает по комнате, осматривает гардероб, заглядывает в зеркало, пробует рукой диван... Наверное, прикидывает, каково будет спать на нем...

Бесцеремонность гостя вызывала раздражение. И, чтобы прекратить этот осмотр, Люся вернулась в комнату, села на диван.

— А вы хорошо живете, — не то спросил, не то сообщил Николай Иванович.— Душа радуется, когда мир да лад в доме... И что же, вас только двое с мужем, Зиночка? Матери, скажем, или тетки какой нету с вами?

— Нету.

— Это я к тому спросил, что некому присмотреть за квартирой. Чистоту, скажем, навести, обед сварить...

Он не подозревал, что Люся узнала его. А ей хотелось дать ему понять, что уж конечно, не его позовут они с Димой, хоть он и обед сумеет сварить и за квартирой посмотрит.

— Скоро Димина мама переедет к нам, — сказала она.

— Ни за какие деньги! — воскликнул Николай Иванович.

«Ага! Чует, чем пахнет!»

— Почему?

— Свекровь... — несколько замямшись, ответил он и сел у стола.— Все они одним лыком шиты... Дима твой, видать, мужик хороший. Не жулик...

— Конечно, нет! — нахмурилась Люся.

— Да-да, я знаю... Вот и мой сын, слава богу, не в мать пошел... Нрав-то у него точно, как у матери, крутой, а повадки не те... Не те повадки, огурец с малиной! — с удовольствием повторил Николай Иванович.— Я ведь слежу за ним. Весь он у меня на виду... Только вот разговор у нас с ним не получается... — он помолчал, пожевал губами и продолжал: — А насчет свекрови подумай, дочка. Это я к тому, что, может, она такая, ну, скажем, вроде моей жены... Всю жизнь покалечит...

— Почему покалечит? Нам же лучше будет, — возразила Люся.

Прежде она и правда думала свекровь к себе взять, но после сегодняшней поездки поняла, что никогда этого не сделает.

И все-таки убежденно повторила:

— Нам же лучше будет. Мы вот с Димой работаем и учимся. Хорошо, сегодня у меня занятий нет. А то приходим вместе домой часов в одиннадцать, а поесть нечего. И утром на работу бежать. У нас так часто получается. А с матерью мы голодные не оставались бы... Она бы не работала...

Люся вздохнула. Так она и хотела когда-то, а теперь говорит это только для того, чтобы Николай Иванович понял — нет ему места около сына.

— Ну нет. Скажем, с такой, как у меня жена была... ничего не получится! — не догадываясь о ее желании, упорствовал Николай Иванович.

— Чем же она нехороша?

— А тем, что из-за нее я сына лишился. Из-за нее и с работы ушел... Для чего? А в тюрьму не хотел садиться. Поработал бы еще года два в столовой и прямо за решетку бы угодил.

«Интересно, что он еще сочинит?» — подумала Люся и, уже не скрывая недоверчивой улыбки, приготовилась слушать.

— Скажешь, почему другие не попадают? А очень просто. Жены у них не такие, как моя. Из-за чего я ушел от жены? Все от того же. Обеды носил, деньги носил, а ей все мало. Что ты, говорит, не можешь ложек из столовой принести или скатерть?

У Люси от неожиданности рот открылся. Что это? Ложки?! Свекровь говорила: ложки оловянной в дом не принес... Неужели так и было? Неужели в буквальном смысле?

— Да, да! — словно отвечая на ее мысли, подтвердил Николай Иванович. Недавней его развязности как не бывало. Глаза его стали жесткими. — Так и говорила: ложек хоть принеси. Всего не накупишься. Гляди, говорит, люди как живут — и ковры у них, и кровати с пружинным матрасом, — думаешь, на зарплату куплено?.. Вот она, клюква с маслом, чего хотела! Я сдуру-то принес ей скатерть. Стащил. А в столовой хватились. Собрание устроили, да и свалили на ни в чем неповинную девчонку-судомойку. И уволили с работы. А у меня духу не хватило признаться. Я и ушел из поваров, чтобы соблазну не было... Я-то ушел, а девка из-за меня пострадала. На работу ее нигде не берут. А у меня знакомство с директором хорошее. Упросил я его принять девчонку, пожалеть, мол, больше не будет. Приняли ее, а до получки-то ей жить нечем. Я ей деньги давал... А жене сказал, что перевели меня за провинность. Ей, конечно, не по вкусу — обедов не стал носить. Она и взбеленилась. Побегала к директору просить, чтоб обратно поставили. А он ей и говорит: сам, мол, ушел, по своей воле... с охотой обратно возьмем, да он не идет... А тут еще сказали ей, что я девчонке деньги давал. И пошла скандалить. Никакой ревности, конечно, быть не могло. Девчонке пятнадцатый год шел. А вот доходу от меня стало маловато... Ну, я не выдержал... Ушел. Сам ушел, это точно. Сына было жалко. Думал, погубит она его, приучит к воровству... Хотел взять к себе. Уж с ней договорился. Ей-то он все равно лишний. Расходы одни, а ей это хуже перцу... Да вот война помешала. Пошел на фронт. Потом в Австрии пять лет служил... Приехал сына повидать, а он и знать меня не хочет. Ты, говорит, мать обманул и бросил. Значит, и мне не нужен... Ну, думаю, вбила она ему в голову — колом не вышибешь. Сколько лет долбила, своего добилась... Теперь-то он уже большой. Помощи моей ему не надо. Это я знаю. И мне от него ничего не надо. Все у меня есть. Полдома я себе купил. Мечтал, сын женится, сноху приведет... Ничего мне от него не надо. И не пошел бы я к нему. Только вот узнал, что он женился, и душа заболела. Нарвется, огурец с малиной, на такую, как мамаша его... Ну, пошел я на его жену взглянуть... — тут Николай Иванович замаялся, посмотрел на Люсю и, решив, что не догадывается она, о ком он говорит, досказал: — Ходил к ним на той неделе... хорошая жена попалась...

Люся растерялась. Она не могла решить: верить или не верить? Неужели все эти ложки и скатерти — правда? А если правда, то почему он раньше не сказал об этом сыну? Может, выдумывает Николай Иванович? Но ведь ему от сына ничего не надо.

— Вы бы поговорили с ним, объяснили, — неуверенно посоветовала она.

— А зачем? Неужели у него у самого ума не хватает? Что же я

должен у него прощения просить? Прости, мол, что воевал, что в Австрии служил... не мог сам посылки вручать...

— Посылки? — удивилась Люся. По рассказам Димы, отец никогда ничем не помогал ему.

— Ну да, посылки... Он-то о них и знать не знает. Кормили нас после войны отлично, солдатские деньги чистоганом оставались. Вот я и собирал ему раза два в год... и посылал все, что парню надо,—одежду, обувь... А он всего этого и в глаза не видал. В ремесленной шинели ходил и уж на свои деньги жил... А посылки превратились в черномбулку да в пуховое одеяло.

— Но ведь вы сами говорите, что не знал он об этом,— заметила Люся, вспомнив пуховое одеяло, лежащее на диване у свекрови.

— Зато мать свою знает! — возразил Николай Иванович.

— Все-таки, вам надо с ним поговорить...

— Пробовал. Да разве поймет, если, скажем, с детских лет она его обрабатывала. Не только он, а во всем Люблине-то говорят: «Обманул, бросил»... Приезжал я туда. Он аккуратно у матери гостил. Подстерег, когда из дома вышел, иду навстречу, а он только посмотрел и «здравствуй» не сказал... С того дня и выпивать я стал... Сын от меня отказался...

— Глупый какой! Разве так можно? — вырвалось у Люси.

Поняв, что она уже сочувствует ему, Николай Иванович спохватился. Не сочувствия он хотел... Чтобы успокоиться, гость прошелся по комнате и вернулся к разговору о свекрови.

— Вот, Зиночка. Это я все к тому рассказал, что, не дай бог, твоя свекровь такой обернется. Ты, дочка, видела ее хоть раз?

— А как же! Мария Андреевна у нас на свадьбе была... Подушки обещала...— вспомнилось ей.

— Мягко стелет, жестко спать,— перебил Николай Иванович.— Да и не пойдет она к вам. Здесь-то квартиранта непустишь. А вот когда на постой никого не заманит, тогда и найдет вас. Сама придет...— Он остановился перед этажеркой, увидел свернутый листок, заглянул в него. Узнав почерк бывшей жены, решил, что это ее письмо. С любопытством повертел его в руках и протянул Люсе. Понимая, что она, вероятно, уж читала, он все-таки сказал:

— От нее письмо? А ну-ка, посмотри, что она пишет? Небось раздумала подушку дать?

Люся усмехнулась.

— Видать, угадал я,— заметил Николай Иванович,— Ведь передумала?

С трудом разбирая каракули, Люся читала:

«Есть Черное море, в нем лежит доска, по ней тоска. Возьму эту доску, переброшу в море-океан. Пусть раб божий (имя) тоскует по рабе божьей (имя) божий день и ночь. Вином не запивает, хлебом не заедает, табаком не закуривает, сном не засыпает, а идет к рабе (имя) и несет все домой. За упокой новопреставленного (имя). 12 таких записок жечь в 12 часов ночи. Когда будешь жечь, скажи три раза: приходи к (имя)».

— Ну? — нетерпеливо спросил Николай Иванович.

— Я не знаю, что это такое,— пробормотала она и вернула ему листок.

Он отставил записку подальше от глаз и, когда прочитал, неожиданно зло рассмеялся.

— Значит, по вкусу ты ей, коли такое средство прислала. Это же заклинание, не видишь, что ли? Живого человека за упокой поминаешь?! Ох же и стерва!

Люся невольно ахнула. Заклинание!? Как это случилось? Сама

дала повод. Диму извиняться заставила, Марью Андреевну защищала... И она уж решила, что нашла единомышленника...

— Чтобы нес все домой. Это она и от меня требовала...— бормотал Николай Иванович, не замечая состояния Люси.— Только счастье-то не в этом... Так-то, Зиночка...— печально закончил он и взялся за кепку.

Люся поняла: должно быть, отец подумал, что она воспользуется этим заклинанием... Значит, и она, Люся, не отличается от Марьи Андреевны.

От этой догадки слезы навернулись у нее на глазах. Она потянула из его рук кепку и сказала:

— Я — Люся, а не Зина... Люся. Сначала я испугалась вас...

Николай Иванович молча посмотрел в ее блестящие глаза и с признательностью улыбнулся.

— Ну что же,— сдерживая облегченный вздох, с усмешкой произнес он.— Пойду... Не взыщи, Люсечка... Мне еще до Сходни добираться...

— Нет! Дима сейчас придет...

Но Николай Иванович взял из ее рук кепку и с неожиданной обидой проговорил:

— Я милости не прошу... Ни в чем я перед ним не виноват...— Он хотел еще что-то сказать и не смог — губы задрожали.

И только сейчас поняла Люся — страшно это, когда сын проходит мимо отца...

Николай Иванович надел кепку, но почему-то сейчас же снял ее и пошел к двери. Люся хотела остановить его, но так и не решилась... Пожалуй, и теперь Дима не захочет с ним разговаривать. Он же не знает правды. А у отца в жизни остался только сын.

Хлопнула дверь, и на лестнице раздались медленные, затем быстрые шаги... Отец спускался бегом.

Люся выбежала на площадку, окликнула его:

— Постойте!

Шаги на мгновение замерли, потом послышались снова.

— Мы приедем! — изо всех сил крикнула она и услышала в ответ, как заскрипела, медленно открываясь, дверь парадного.



ИЛЬЯ ШВЕЦ

ВАШИ РУКИ

Дорофеевна, дайте мне руки,
ваши руки в прожилках витых,—
после долгой-долгой разлуки
я пожму с благодарностью их!

Эти руки детей пеленали,
чистоту наводили в доме
и без усталости пряли и ткали
под лучину в угарном дыму.

Эти руки косили и жали,
молотили и рожь и ячмень,
эти руки покоя не знали
даже в самый распрядничный
день.

Эти руки платочком на тракте
привечали однажды весной
самый первый, разведочный
трактор,
в спор вступающий со стариной.

Эти руки с тоской обнимали
на войну уходивших сынов,
эти руки колхоз поднимали
на пожарищах после боев.

Да найдется ли что по округе —
в огороде, в полях, у реки,—
до чего б не дошли эти руки,
эти две работающих руки?

Час пришел — и с советской
ракеты
от Луны докатилась к вам весть.
Что ж, и в той рукотворной
планете
ваших рук напряжение есть!

Дорофеевна, дайте мне руки,
ваши руки в прожилках витых,—
после долгой-долгой разлуки
я пожму с благодарностью их!

У КОСТРА

Смолоком прогремела
повозка —
и сомкнулись опять камыши,
и закуталась в сумрак березка,
и одна сторожит шалаши.

Наш костер по-вечернему ярок,
искры пляшут и жгут небосвод,—
не взаимны ли у нас, у доярок,
он огонь и веселье берет?



ОСИП КОЛЫЧЕВ

НА КУЗЬМИНСКОМ ШЛЮЗЕ

И. А. и М. П. Сокольниковым

На Кузьминском шлюзе —
августовский вечер.
Призрачен, прозрачен,
предзакатный час.
Как он ни расцветен,
августовский вечер,
Он недолговечен:
вот уже погас...
Словно несказанный
первый день творенья,
Этот волжский вечер,
запах окских трав.
До листа бумаги,
до стихотворенья
Как мне донести,
не растеряв?

АСТАХОВ МОСТ

Мост называется — Астахов,
Над Яузой.
— Да кто же он,
Отдавший жизнь свою без страха?
— С завода бывшего Гужон.
Мост называется — Астахов.
Октябрьский освятив пролог,
И вправду
со всего размаха
Мостом
в грядущее
пролег.

В.Л. ФИРСОВ

НЕБОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Забыл, как, подпоясан лыком,
В краю, в котором с детства рос,
Искал по взгорьям землянику
Среди осин, среди берез.
Забыл, как полные рубахи
Грибов
Носил к себе домой,
Забыл, как летний полдень пахнет
Сухой ромашкой луговой;
Как в полдень сладко спать на
сене,
Лицо фуражкой заслоня...

Ты с грустью слушаешь меня,
Держа дочурку на коленях.
Ты веришь и не веришь мне,
Что жизнь в деревне стала лучше,
И говоришь:
— Ну, что ты — скучно:
Все те же кринки на окне,
Все та же печь, горшки, ухваты,
Стекляшкой выскобленный стол,
Все те же люди, те же хаты —
Я не жалею, что ушел.

Ты помолчал:
— А все ж ты прав,
Что мною многое забыто:
И дом, ничем не знаменитый,
И дым костра, и запах трав,
И ветер, что, туман развевя,

Врывается в весенний сад...
Жалею,
Как еще жалею,
Что не могу уйти назад!
В тот край моих отцов и дедов,
Откуда я на фронт ушел,
В тот край, куда пришел с победой
И лишь пожарища нашел.
Я говорил тогда: «Не струшу!»
И я, действительно, не сдал:
Срубил избу своей старушке,
В колхозе бригадиром стал.
Капель в окошко постучится,
Уж мы готовы к посевной:
Не спится, дома не сидится...
Потом — в Москву.
Решил учиться.
И... не вернулся в дом родной —
Стал горожанином.
Женился.
А годы незаметно шли.
Глядишь — ребята подросли.
Вот так с Москвой и породнился...

— А в отпуск съездить надо,
надо —
К своим делеким и родным...

И мы молчим, потупя взгляды,
И друг на друга не глядим.

ФЕДОР ФОЛОМИН

НАЧАЛО

Днепр и Волга —
два звонких просторных начала!
Не замолкла
та песня, что властно звучала.
Две волны-колыбели
сдружились в разбеге,
Никогда не слабели
могучие реки.
Не у брода,—
в глубинах сверкают плотины.
Две реки,
два народа,
а думы едины!
Ой вы, клены, дубы!
Ой вы, горы крутые!
Две реки,
две судьбы,
а начало — Россия!

* * *

Дунет ли ветер с верхов,
Волны сдвигая,
Вздвогнет ли соком веков
Роцца нагая,
Дождь ли пойдет поутру,
Частый, суровый,—
Все на земле подобра,
Все поздорову!

Значит, весной проливной
Нет мне покоя!
Стану упрямой волной,
Роццей нагою,
Берег одену дождем,—
В зелени-гуще
Сад одолеет подъем,
Встанет на круче.

ИВАН ЕРОШИН

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

К ПУШКИНУ

Пушкин раскрыл нам русское сердце.

Достоевский.

В трудах, в минуты
размышлений
Иль в горе тягостно-глухом
Иду к тебе, мой светлый гений,
Склоняюсь над твоим стихом.

Мгновение... и все забыто.
И предо мною мой народ,
Бессмертной славою повитый,
Мечтает, плачет и поет.

В ЦАРСТВЕ БЕРЕНДЕЯ

Овраг. Ручей-скороговорка.
Избушка. Над оврагом горка
В цветах, как русской сказки сон.
На соснах золотая смолка

Так смотрит весело и зорко
И соснам шепчет: — Это он...
И стих его в меня влюблен.

ВОДОПАД

Скрутизны скалы высокой
Мчится шумный водопад.
Воздух свежий, пресный, чистый,
Искрится... сверкая, льются

Серебром зернистым струи.
Гул и грохот. Синь. Мерцанье.
Кисть — нема... Привет молчанью.

* * *

Пословиц жемчуг нам рождает море
Суровой жизни. Раковина их —
Всегда есть опыт иль глухое горе.
Пословицей хотел бы видеть стих.



МАРК ШЕХТЕР

СОЛНЦЕ

Мне драгоценна каждая
минута,
А для тебя тысячелетье — миг.
Ты светишь всем — от негра до
якута,
Я эту мудрость лишь теперь постиг.
Ты пригоршнями сыплешь
золотыми
Свое благословенное тепло,
А я живу улыбками твоими,
И мне вокруг просторно и светло.
Не потому ли я, мечтой терзаясь,
Трудами раскаленный добела,
Всегда к тебе испытываю
зависть —
Хочу я людям больше дать тепла!

МЕЧТА МОЯ

Волосы мои словно дым —
Ты велишь мне быть молодым.
За моей спиной — три войны, —
Ты мне даришь добрые сны,
Непрестанно передо мной
Возникаешь травкой степной,
Вещей птицей, ветром полей,
Немудрящей песней моей.
Ты моих не видишь морщин,
Ты других не ищешь мужчин,
Смотришь откровенно в глаза;
Ты — и радуга и гроза,
Солнечный восход и закат,
Все, чем я сегодня богат!

БОЛЕЗНЬ НА ДАЧЕ

Запрещена мне быстрота —
Автомобиль, курьерский поезд,
И стала жизнь почти пуста,
Как неталантливая повесть.
Живите без меня, бахчи
И ласковое Приднепровье, —
Ученых степеней врачи
На страже моего здоровья!
Прощай, Молдавии вино,
Эльбруса шапка снеговая!
Печалюсь, что не суждено
Увидеть пастбища Алтая;

Но сладко мне, что довелось
Лесов российских славить имя,
Что и сегодня гордый лось
Прошел под окнами моими;
Что расписался самолет
На голубой тетради неба,
Как будто киевский пилот
Мне говорит: — Болеть не треба!..
В почтовом ящике моем
Опять письмо из Кишинева...
Мы снова, жизнь, с тобой вдвоем,
И в этом доме нет больного!

Подмосковье

СТИХИ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Сегодня мы представляем читателю американских поэтов разных поколений и творческих направлений. Одни из них знамениты, другие только недавно стали завоевывать внимание публики.

Роберт Фрост и Карл Сэндберг — старейшие поэты Америки, вошедшие в литературу еще на рубеже двадцатого века.

Лоуренс Ферлингетти и Джек Спайсер принадлежат к поколению, сформировавшемуся после второй мировой войны.

Лоуренс Ферлингетти

ПЕС

По улице несется пес
и смотрит на реальный мир,
и все, что видит он вокруг,
гораздо больше, чем он сам,
и все, что видит он вокруг,
его реальный мир:
пропойцы у дверей,
светила на деревьях.
По улице несется пес
и все, что видит он вокруг,
гораздо меньше, чем он сам:
газетные обрывки,
муравьи в щелях,
цыплята за окошками
китайского квартала.
По улице несется пес,
и запахи вокруг него
напоминают чем-то
его собачий запах.
По улице несется пес,
несется мимо грязных луж,
несется мимо кошек,
окурков и притонов,
а также полисменов,
он не питает ненависти
к этим полисменам,
но дела с ними все же
не хочет он иметь.
И пес несется мимо них

и мимо туш коровьих,
которые висят
на рынке Сан-Франциско,
и пес охотно съел бы
кусочек нежной туши,
которая вкуснее,
чем жесткий полисмен.
И пес несется мимо
завода Равиоли,
и мимо Башни Койта,
и конгрессмена Дойла,
одно его пугает,
другое не страшит;
хотя все то, что слышит он,
печально и прискорбно,
абсурдно,
непонятно
для молодого, грустного
и вдумчивого пса.
Есть у него свой собственный
свободный мир, в котором
он может жить, и собственные
блохи есть для ловли,
и псу совсем не нужен
намордник; и у пса
своя собачья жизнь,
которую ему
прожить необходимо
и над которой надо

серьезно поразмыслить,
и надо все потрогать, понюхать и
попробовать,
и надо все исследовать,
он истый реалист,
и рассказать он может

правдивую историю.
Да! рассказать он может
правдивую историю:
он настоящий,
лающий,
демократичный пес.

Джек Спайсер

БЕРКЛИ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Чума схватила нас и землю из-под нас
Похитила. Чума вокруг кипела,
И корчились над нами небеса,
Став черными от смерти.

Чума схватила нас и стулья из-под нас
Вдруг вышибла. К нам в комнату вошла,
Ступая осторожно; и, помедлив,

Со смежом нас убила.
Чума схватила нас, перекроила нас,
Раздула до размеров необычных.
Мы умерли, и был у нас в глазах
Покой холодный — след ее величья.

ПСИХОАНАЛИЗ

ЭЛЕГИЯ

О

чем вы думаете?
Думаю о лете,
И о холмах, что мокнут под дождем,
И о дождях, которые пролились
На опустевшие пространства, где остались
Одни дубы; пролились на кустарник,
Чьи ветви перепутались под солнцем.
Я думаю о жарком ветре,
Спускающемся с Санта-Анна,
О крепком ветре, что несет нам пыль
И сладость придает плодам грядущим.
А в городке, где персики растут,
Деревья кажутся конями молодыми;
Бумажный змей за провод зацепился,
Повис над фонарем; и все канавы
Забиты мертвыми, засохшими ветвями.

О чем вы думаете?
Думаю о том,

Что я хотел бы написать поэму
 Медлительную, словно наше лето,
 Медлительно плывущее вперед.
 Когда стихает небывалый дождь,
 То Калифорния мне кажется огромной,
 И я хотел бы написать поэму,
 Похожую на Калифорнию,— поэму,
 Медлительную, словно наше лето.
 Скажите, доктор, это вам понятно?
 Она должна медлительно быть,
 Как парус лета, медленно плывущий.
 И в жаркий день хочу на берегу
 Пить пиво или, стоя на дороге,
 Которая ведет на Бэкерсфилд,
 Рождественского деда дожидаться.

.
 О чем вы думаете?

Думаю о том,
 Как долго будут люди повторять
 Поэму эту. Сколько раз еще
 На землю будет возвращаться лето,
 Чтоб мучить Калифорнию, покуда
 Проклятые не загорятся карты,
 Покуда обезумевший картограф
 Не упадет на землю и не схватит
 Ту почву тучную, с которой он поднялся.

О чем вы думаете?

Думаю о том,
 Что без конца поэма может длиться.

Роберт Фрост

ПОЧИНКА СТЕНЫ

Есть нечто, что совсем не любит
 стен,
 Что насыпает холмики под ними,
 И сбрасывает верхний ряд камней,
 И делает в самой стене проломы.
 С охотниками тоже бед не мало:
 Все камни раскидать они готовы,
 Чтоб кролик не укрылся и
 собакам
 Попался в лапы. Но никто не
 видит,
 Как делают пролом у нас в стене;
 И все же с наступлением весны,
 Когда приходится ремонтом
 заниматься,
 Опять в стене мы замечаем дыры.

Соседу я спешу о них сказать.
 И вот мы с ним встречаемся, чтоб
 вместе
 Идти вдоль этой линии раздела
 И стену между нами поправлять.
 Шагаем каждый по своей земле
 И, выпавшие камни подбирая,
 На место их кладем — одни
 похожи
 На булки, а другие — на мячи:
 Не так легко их прочно уложить,
 «Не падайте на землю, ради
 бога!»
 У нас от них царапины на
 пальцах.

О! Нам другим бы делом
 заниматься,
 И право же, нам не нужна стена:
 Ведь на его земле растет сосна,
 А у меня — фруктовые деревья,
 И яблони мои через забор
 Не перелезут... и упавших шишек
 Не станут есть! Так я сказал
 соседу.

Но от него услышал я в ответ:
 «Забор хорош — хорошее
 соседство».

Весною я бываю несговорчив
 И потому пытаюсь в спор вступить:
 «Ну разве справедлива поговорка,
 Которую припомнил мой сосед?
 Хотя бы мы коровами владели!
 А здесь ведь нет коров. Так
 почему же
 Я должен эту стену возводить?
 Не лучше ли сперва себя спросить,

Что́ мы стеной обносим и кого
 Хотим обидеть недоверьем нашим?
 Есть нечто, что совсем не любит
 стен

И хочет их разрушить. Или нам
 На домовых и леших все свалить?»
 Нет, мой сосед не верит в домовых.
 Я вижу, как, ступая тяжело,
 Он тащит камень, крепко
 прижимая

Его к груди. Он издали похож
 На дикаря из каменного века.
 Мне кажется, идет он в темноте,
 И этот мрак — не только тень
 деревьев.

Нет! Мой сосед не просто повторяет
 Ту присказку, что слышал от отца,
 Он хорошо усвоил эту мысль:
 «Забор хорош — хорошее
 соседство».

Карл Сэндберг

ЧИКАГО

Мясник, поставляющий миру туши свиные,
 Инструментальщик,
 Заготовитель пшеницы,
 Игрок, тасующий карты железных дорог,
 Фрахтовщик страны,
 Буйный, задорный, крикливый город широких плечей!
 Мне сказали, что ты порочен, и я поверил, потому что под фонарями
 я видел твоих размалеванных женщин, увлекавших парней
 деревенских.
 И мне сказали, что ты обесчещен, и я ответил: Да, это верно. Я видел,
 как убивает бандит и спокойно уходит, чтоб снова убить.
 И мне сказали, что ты жесток, и таким был ответ мой: На лицах
 детей и женщин я видел следы голодных желаний.
 И так отвечая, обернулся я к тем, у кого мой город вызвал насмешку,
 и я насмеялся над ними и говорил им:
 Покажите мне город другой, что так гордо поет, потому что он полон
 жизни, грубости, ловкости, силы,
 И который проклятьями сыплет среди громоздящихся тяжких трудов;
 И вот он стоит, работяга огромный и дерзкий, поднявшийся против
 изнеженных и небольших городов;
 Свирепый, как пес, готовый в горло вцепиться;
 Увертливый, словно дикарь, что сражается с пустошью дикой;
 С головой непокрытой;
 Копающий землю;
 В беде и невзгодах;
 Строящий планы;
 Созидающий и разрушающий и созидающий вновь;

Окутанный дымом, испачканный пылью, сверкая улыбкой;
Под бременем тяжким судьбы смеющийся, как молодой паренек;
Смеющийся, словно невежда-боец, что не знал поражения;
Хвастливый и звонко смеющийся в силу того, что в запястьях его
колотится пульс и под ребрами бьется сердце народа.
Смеющийся!

Смеющийся буйным, задорным, крикливым смехом юнца;
Полураздетый и потный, гордящийся тем, что Мясник он,
Инструментальщик, Заготовитель пшеницы, Игрок,
гасящий карты железных дорог, и Фрактовщик страны.

*Перевел с английского
М. Кудинов*



М. Раузен

„ТАЙНЫ“ нашего просвещения

Недавно в газете «Вашингтон пост энд Таймс геральд» американская журналистка Мальвина Линдсей опубликовала любопытное признание:

«Многие американцы,— пишет она,— ломают себе голову над тем, что вызывает неудержимое стремление к культуре, наблюдающееся в социалистических странах. Американцы не понимают, почему советская молодежь столь охотно изучает такие науки, как математика и физика, в то время как многие способные американские студенты избегают их? Почему они так охотно посещают вечера поэзии и художественного чтения? Почему они считают своим высшим идеалом поведения — быть культурным? Почему в Советском Союзе не наблюдается никаких антиинтеллигентских настроений?»

Автор статьи, сам того не замечая, сравнивает советский и американский образ жизни, отношение к культуре в СССР и в Америке и делает вывод не в пользу последней.

А ведь еще не так давно зарубежные недоброжелатели полностью отрицали советскую литературу и искусство, обливали грязью нашу молодежь.

Пришли иные времена. Советские спутники пробили дорогу правде. Семилетка поразила воображение американцев, и сенаторы США с заговорщическим видом предлагают срочно изготовить свою ответную «семилетку». С лупой в руках педагоги Чикаго и Детройта изучают программы советской школы, надеясь разгадать «тайны» нашего просвещения.

В очередях за билетами на гастроли советских театральных коллективов юноши и девушки Нью-Йорка ожесточенно спорят о преимуществах и достоинствах нашего искусства.

Стоит задуматься над тем, какого невиданного доселе подъема достигла наша народная культура, если она заставляет американцев ломать голову над вопросами, почему именно при социализме высший идеал человека — быть высококультурным и почему в условиях этого строя такое стремление безусловно осуществимо.

1959 год отмечен замечательным творческим взлетом инициативы, энергии, смелого новаторства советских людей. Но даже на этом необычно богатом фоне выделяются важные изменения, происхо-

дящие в культурной жизни сел и городов. Развернулось новое движение, родившееся под влиянием решений XXI съезда партии,— движение, которое со временем войдет в историю, может быть, под названием культурного похода семилетки.

Это большое движение представлено тремя могучими потоками — самостоятельными и в то же время органически связанными друг с другом.

Это — поход за культуру труда, за воспитание любви и уважения к труду, за высокую степень механизации и автоматизации, за самую высокую в мире производительность труда.

Это поход за то, чтобы музыка, литература, живопись, театральное искусство прочно вошли в духовный арсенал каждого советского человека.

Это поход за культуру быта, за красоту и удобство его, за самый высокий жизненный уровень.

Приметы этого нового всенародного движения видны все более отчетливо и ярко. Появились рабочие, колхозные, молодежные, солдатские университеты культуры — в городах, селах, колхозах, в районных центрах, на шахтах, при заводах, в портах, при горкомах комсомола и горкомах партии.

В приемочные комиссии пришли тысячи желающих заниматься. На каждое место подавалось несколько заявлений, и организаторы были подчас в большом затруднении, не могли решить, кому отказать. Во многих городах не хватает помещений для того, чтобы разместить одновременно всех слушателей университетов.

В чем причина такой популярности нового культурного начинания, почему оно так пришлось по душе людям, почему его в равной мере поддерживают и рабочая молодежь, и заводские инженеры, и партийные работники, и студенты?

Дело не в «модном» увлечении, не только в интересной форме эстетической пропаганды и образова-

ния, не только в участвовавших встречах с деятелями искусства.

Смысл нового движения значительно глубже. Оно отражает те изменения, которые произошли за последние годы в материальных условиях жизни советских людей, является прямым следствием роста благосостояния народа, сокращения продолжительности рабочего дня, непрерывного повышения культурного уровня широких масс. Партия призвала деятелей литературы и искусства стать ближе к жизни, к народу. И вот сама жизнь, сам народ идут сейчас навстречу искусству и литературе.

Университеты культуры не рассматриваются у нас как чисто культурническое дело. Задача состоит в том, чтобы человек, научившись понимать, например музыку, еще сильнее полюбил труд, красоту труда, его гармонию и творческий дух. Чтобы глубокое понимание живописи, литературы, театра поднимали человека, очищали, облагораживали его душу, вдохновляли коммунистическими идеалами и вели к прекрасным делам на благо родины.

И кому, как не деятелям искусства, возглавить это движение, помочь ему найти правильное направление, взяться по-настоящему за воспитание эстетических взглядов и вкусов!

Многие так и поняли эту задачу. Народная артистка СССР Валерия Владимировна Барсова стала во главе Московского университета искусств для участников художественной самодеятельности. Ректором Киевского университета культуры избран старейший украинский писатель Петро Панч. Тысячи деятелей искусства и литературы вошли в советы университетов, выступают с лекциями, концертами, спектаклями.

Но это только небольшая доля того, что еще предстоит сделать.

* * *

Это было на Всесоюзном совещании руководителей университетов культуры. На трибуну поднял-

ся загорелый, энергичный мужчина лет сорока, с умным, немного лукавым взглядом. Он был в темном, выгоревшем от солнца костюме и, казалось, явился в этот зал прямо с поля.

Оратор сразу же привлек всеобщее внимание.

— Я директор народного университета Кировоградского колхоза имени Чапаева,— сказал он,— учитель средней школы. Свой университет мы создали не потому, что это модно. Наши колхозники, обсуждая семилетку, обязались выполнить ее в пять лет. И решили: надо учиться, жизнь этого требует!

Директор университета говорил о том, что село их расположено в двадцати пяти километрах от районного центра, что в колхозе, разумеется, нет ни ученых, ни народных артистов или художников. Ну и что ж! С лекциями выступают директор опытной станции, инженер испытательной станции, секретарь райкома партии, учителя... Программа университета включает в себя такие разделы: общественно-политический, сельскохозяйственный, новейшие достижения науки и техники, культура, педагогика, медицина.

На первом занятии было четверста человек. В следующую пятницу их было шестьсот. Потом число слушателей возросло до восьмисот.

Кинофильмы, спектакли, поставленные силами художественной самодеятельности, хор, оркестр — все используется для иллюстрации лекций.

— Но этого недостаточно,— продолжал оратор.— Наш университет культуры нуждается в деловой помощи. Нужны четко разработанная программа, учебные пособия и прежде всего люди — квалифицированные лекторы-музыканты, лекторы-режиссеры, лекторы-писатели.

Директор университета остановился, выпил глоток воды и, обращаясь к присутствующим, сказал:

— До сих пор вы здесь не раз-

работали положения об университете. Сколько же еще ждать? Мы решили помочь вам. Разработали это положение сами. Посмотрите, может быть, пригодится и для других.

Он подошел к столу президиума и широким жестом протянул несколько листков.

В президиуме сидел народный артист СССР Михаил Жаров. Он внимательно слушал речь учителя, а когда тот окончил, взволнованно заговорил с соседом:

— Какая умница, какая уверенность! А жест-то какой! Запомнить надо, пригодится!..

Хочется подробнее остановиться на вопросах, которые затрагивались на совещании. В Центральном доме работников искусств в Москве, где оно происходило, встретились москвичи и ташкентцы, посланцы шахтеров Донбасса и железнодорожников Белоруссии, партийные работники из Армении и Татарии, учителя с Украины, работники филармонии из Краснодара, комсомольские вожаки из Азербайджана, директора крупнейших дворцов культуры Ленинграда. Рядом сидели деятели профсоюзов и Общества по распространению политических и научных знаний, актеры и музыканты, художники и режиссеры...

Уже один этот перечень профессий руководителей университетов красноречиво говорит о широте нового движения. Оно стало поистине всенародным.

В зале не было равнодушных. Все с волнением ловили каждый новый факт, новую мысль, новую идею.

А фактов и идей было много. Ведь университеты родились как самодеятельные организации, без подробных инструкций сверху. В каждом городе и селе проявлялась своя искорка инициативы, свой огонек творчества. Все это вместе создало яркое разнообразие форм.

К университетам потянулись тысячи людей, желающих в сво-

бодное от работы время изучать искусство, живопись, музыку, гуманитарные науки. Им пришлось по душе своеобразные формы учебного процесса, в котором сочетаются образование и отдых. Лекции сопровождаются концертами, демонстрацией кинофильмов; диспуты и дискуссии перемежаются встречами с писателями, художниками, артистами и композиторами, просмотры спектаклей сменяются экскурсиями в художественные галереи и на выставки.

Характерно, что в университеты идут не только рабочие и колхозники, но и инженеры с высшим образованием, учителя, врачи и даже студенты. Они увидели, что могут здесь пополнить свои знания, развить свой вкус, расширить кругозор. Вот одна справка. В городе Семилуки Воронежской области в университет культуры записались 200 рабочих, 50 служащих и инженерно-технических работников, 30 учителей, 20 врачей и медсестер, 100 учащихся, 30 домохозяйек, 60 участников художественной самодеятельности.

Новое движение выдвинуло много насущных проблем. Большое государственное значение приобрели, например, проблемы массового издания репродукций классических и современных картин, широкого выпуска кинофильмов и диафильмов, посвященных изобразительному искусству, театру, музыке.

Далеко не в каждом городе и тем более селе имеется картинная галерея или художественный музей, где слушатели университета могут знакомиться с изобразительным искусством. Но хорошо изданные открытки, репродукции картин, гравюр, скульптуры, показанные через эпидиоскоп, дают широкие возможности познакомиться с искусством людей, живущих в самых далеких уголках страны, формировать их художественный вкус. Один из участников совещания рассказал: местные книготорговые работники открыли при университете киоск по

продаже репродукций. После лекции по искусству все они были раскуплены в течение получаса.

А с каким интересом смотрят в университетах культуры такие кинофильмы, как «Евгений Онегин», «Хованщина» и другие. Так скорее же и побольше давайте таких картин, товарищи киноработники!

В нашей стране множество публичных библиотек, книжный фонд их достигает астрономических цифр. Не пришло ли время создать сеть фонотек, откуда каждый университет культуры, каждый слушатель, да и просто всякий любящий музыку гражданин мог бы получить граммпластинку или магнитофонную запись концерта, оперы, симфонии, песни... Такая публичная фонотека уже создается в Воронеже. Этот начин достойн того, чтобы его подхватили в других городах.

Можно ли представить себе лучшую аудиторию для пропаганды литературы, чем университет культуры? Не целесообразно ли поэтому направить деятельность бюро пропаганды творческих союзов на самое широкое обслуживание городских и сельских университетов культуры?

Во второй половине года, особенно после июньского Пленума ЦК партии, народная инициатива внесла в движение университетов культуры новые устремления.

В Харькове начал работу университет научно-технических знаний, на сталинградских заводах появились школы инженерных знаний. С интересным начинанием выступил Ново-Усманский райком партии. В один из осенних дней в Доме культуры Новой Усмани собрались агрономы и зоотехники, комбайнеры и ветработники, трактористы и колхозные бухгалтера, бригадиры и звеньевые, председатели колхозов, партийные и советские работники. Здесь начал работать университет сельскохозяйственных знаний.

Из Воронежа приехали члены-корреспонденты ВАСХНИЛ, док-

тора и кандидаты наук, профессора сельскохозяйственных вузов.

В народном университете в Новой Усмани — четыре факультета. Три раза в месяц люди колхозной деревни встречаются с учеными для серьезного разговора о науке, о культуре колхозного производства.

Любопытный факт. Слушатель факультета механизации бригадир Н. Ф. Мануковский выступает в этом университете и как лектор, обучающий товарищей искусству комплексной механизации возделывания кукурузы.

Конец года ознаменовался открытием самого большого в стране народного университета, в котором будет заниматься около пяти тысяч человек. Он работает в столице, в Центральной лектории Политехнического музея. Более 130 ученых изъявили желание бесплатно читать лекции для его слушателей. Ученый совет университета возглавляет академик А. И. Опарин.

Так растет, ширится приобретает новые формы культурный поход семилетки.

* * *

Весной 1959 года на улицах Бутурлиновки, районного центра Воронежской области, появилась печатная афиша, извещающая жителей о предстоящем открытии народного любительского театра.

В репертуаре театра были «Разлом» Б. Лавренева, «В поисках радости» В. Розова, оперетта «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, а среди актеров — пропагандист райкома партии В. Москалев, медсестра А. Кащенко, слесарь промкомбината А. Соловьев, заведующий отделом местной газеты Колениченко, работник райкома комсомола В. Попков и другие.

Такие же афиши и примерно в то же время можно было увидеть в Красном Яру под Астраханью, в Онеге Архангельской области, в городе Сланцы Ленинградской области, в Пошехонье Ярославской области и других городах и районных центрах.

Сто новых театров появилось в течение одного года на большой театральной карте РСФСР, десятки — на картах других братских республик. Рождение новых любительских театров повсюду отмечалось как большой и радостный праздник культуры. Билеты берутся с боя, актерам устраивались горячие овации.

Что же это за театры и почему они появились именно сейчас?

Все мы давно привыкли к тому, что художественная самодеятельность вошла в нашу жизнь. Трудно, наверное, найти у нас сейчас человека, который в юные или зрелые годы не прошел школы приобщения к искусству в театральной или хоровом кружке. Кто не сохранил в своей памяти воспоминания об этой поре! Сколько талантов и дарований воспитано в кружках художественной самодеятельности!

Сколько людей занимается сейчас в таких кружках и коллективах? Сведущие люди называют цифру в семь миллионов. Целое государство певцов, танцоров, музыкантов, художников, актеров!

В настоящее время в художественной самодеятельности происходят новые процессы. С ростом культурного уровня народа, с сокращением рабочего дня в кружки и коллективы все больше приходит людей с заводов, фабрик, колхозов и учреждений со средним и высшим образованием, людей с развитым вкусом и большими запросами. Новые, более подготовленные руководители, часто со специальным образованием, становятся во главе кружков.

Наша страна идет далеко впереди других по числу профессиональных театров и организации концертного дела. Высокий уровень нашего искусства известен всему миру. Однако, если бы можно было произвести точный учет, оказалось бы, что зрителей у художественной самодеятельности во много крат больше, чем у профессиональных коллективов. Только в течение одного года коллективы

художественной самодеятельности РСФСР дали полтора миллиона концертов. На них побывало сто миллионов зрителей!

Самодеятельность, конечно, нельзя противопоставлять профессиональному искусству. Но она играет огромную роль в пропаганде искусства, в воспитании вкусов, удовлетворении художественных запросов миллионов людей. Самодеятельность дополняет, обогащает профессиональное искусство, приближает его к самым отдаленным уголкам нашей Родины, заменяет профессиональные коллективы там, куда они еще не могут пойти. И с этой точки зрения очень показательно движение за создание любительских театров.

— Возьмите нашу Бутурлиновку, — говорит режиссер народного театра С. Деев. — Здесь насчитывается более двадцати тысяч жителей. Воронежский областной драматический театр добирается к нам раз в несколько лет. Борисоглебский районный театр приезжает в лучшем случае раз в год на одну-две недели. В эти дни Дом культуры переполнен до отказа. А каково жителям сел района? К ним-то театры приезжают еще реже. Но разве среди колхозников, механизаторов, сельской интеллигенции мало людей, мечтающих о том, чтобы регулярно смотреть спектакли? И они охотно посещают спектакли нашего народного театра.

Любительские театры создаются на базе лучших самодеятельных коллективов, имеющих прочные традиции, накопивших опыт работы со зрителем, располагающих необходимым помещением и оборудованием, а самое главное, способных стать постоянно действующей театральной труппой.

Конечно, спектакли в таких театрах бывают не ежедневно. Актеры Бутурлиновского театра, например, выступают на сцене Дома культуры три раза в месяц. Два спектакля у них выездные. И вряд ли целесообразно требовать

от новых театров более частых выступлений.

Создание любительских театров — это новая, более высокая ступень художественной самодеятельности, более совершенные формы ее. Уже возникают и любительские симфонические оркестры, большие народные хоры и т. п. Творческие любительские коллективы требуют к себе внимания общественности. Рождение одного театра — праздник. Создание ста новых театров — государственное событие. Об этом событии должны подумать наши драматурги, режиссеры, театральные художники, руководители театральных вузов и студий.

Новым театрам нужна творческая помощь — и в недалеком будущем, а сейчас, сегодня, когда они находятся в самом становлении. Нужны новые хорошие пьесы и товарищеский совет — что выбрать из уже имеющегося репертуара, дружеская поддержка профессионального театра, деловое шефство над молодыми коллективами, предусматривающее выезд режиссеров для консультации и участия в репетициях, выезд художников для помощи в разработке эскизов оформления, изготовление бутафории, костюмов.

А как обогатились бы спектакли любительских театров, если бы иногда отдельные роли в них исполняли видные артисты театра-шефа! Такой опыт уже есть в Астрахани и некоторых других городах. Его следовало бы поддерживать.

Но прежде всего надо, чтобы во главе любительских театров встали квалифицированные профессиональные режиссеры, понимающие и любящие художественную самодеятельность, могущие увлечь за собой людей и научить их высокому искусству.

В городе Рамони был создан любительский театр. Он поставил пьесу А. Салынского «Барабанщица». По просьбе областных организаций сюда приехал режиссер Острогжского государст-

венного театра Р. Нимцыг. Его восхитила играющая на сцене молодежь. Когда режиссер поделился своими впечатлениями в Воронежском областном управлении культуры, ему задали вопрос: «А не взяли бы вы на себя руководство этим театром?» Нимцыг без колебания согласился и уехал в Рамонь на постоянную работу.

Говоря о любительских театрах, рожденных в 1959 году, хотелось бы попутно высказать несколько критических замечаний об отношении печати к художественной самодеятельности. Удивительно однообразно, по раз навсегда установленному шаблону, освещаются в наших газетах дела и жизнь сотен тысяч кружков и коллективов самодеятельности. Часто ли можно прочесть в местных газетах серьезные рецензии на клубные спектакли, на новую программу хора, на интересный концерт? Даже в дни больших республиканских смотров самодеятельности в газетах обычно находится для них лишь несколько общих поощрительных слов.

Ни разу не появилось серьезной статьи с разбором творческого пути и методов работы людей, посвятивших себя самодеятельности. А на пленумах Союза писателей при обсуждении вопросов драматургии — делаются ли обзоры, анализ репертуара самодеятельных коллективов — самое большое, о чем возникает разговор, — это об одноактной пьесе. А кто из писателей сделал героями своих произведений участников самодеятельности?

Недавно группе руководителей художественной самодеятельности были присвоены звания заслуженных артистов республики. Это лишний раз подчеркивает, как высоко оценивает правительство благородный труд энтузиастов этого важного дела.

* * *

Мне довелось побывать в Рязани на сессии областного Совета депутатов трудящихся. В фойе театра

имени Есенина я обратил внимание на выставленную здесь большую карту области. В границах каждого района были нанесены по две цифры: одна синей, другая — красной краской. Что они означают? — задумался я.

Может быть, это обязательства по сдаче мяса — ведь рязанцы борются за резкое увеличение производства продуктов животноводства; может быть, речь идет о школьных бригадах и фермах, которыми так прославились рязанские школы; может быть, наконец, это цифры вновь сооруженных культурно-бытовых учреждений в селах области? Оказалось, карта рассказывала о создании в районах области... оркестров народных инструментов.

Знаменательная примета наших дней!

Рост благосостояния народа, повышение его жизненного уровня можно доказать цифрами, подсчетами, сравнениями, фактами. Но есть явления, которые не поддаются учету, а тем не менее показывают, как живет народ. Одно из таких явлений — стремление широчайших слоев населения к музыке, к музыкальному образованию. Работники отделов культуры многих городов и районных центров могли бы рассказать, какое сильное давление испытывают они со стороны родителей, желающих обучать своих детей в музыкальных школах. Сколько ни открывается таких школ — все мало! Не хватает преподавателей музыки, трудно достать пианино....

Все начинания в области пропаганды музыки люди встречают с огромным энтузиазмом. Все более широкое распространение получают клубы любителей музыки, музыкальные лектории, музыкальные вечера, «пятницы», «субботы», «недели».

Рязанцы решили создать в каждом колхозе, в каждом селе свой, на первых порах, может быть, не большой оркестр народных инструментов. По их замыслу это будет зачаток своеобразного му-

зыкального сельского центра, вокруг которого должны собираться любители музыки. Число оркестров уже перевалило за четыреста. На протяжении двух лет из месяца в месяц группа за группой приезжают из сел в районные центры и в Рязань будущие руководители оркестров. Получив соответствующую музыкальную подготовку, они возвращаются затем домой и организуют у себя в колхозах оркестры.

Но это не все. Рязанцы решили открыть в каждом районе области музыкальную школу, и можно позавидовать упорству и настойчивости, с которым они добиваются поставленной цели.

* * *

Летом на заседании коллегии Министерства культуры РСФСР, слушавшей доклад о работе университета культуры в Урени Горьковской области, выступил К. М. Ильинич — первый секретарь Уренского райкома партии. С большим знанием дела и глубокой заинтересованностью говорил он об университете культуры, его делах, нуждах, перспективах. К. М. Ильинич, несмотря на большую занятость партийной работой, является председателем совета университета, сам читает там лекции и слушает лекции других.

Добрая слава идет в Рязанской области о секретаре Шацкого райкома КПСС Г. Г. Тарасове. Шацкие колхозы и совхозы под руководством райкома партии с честью выполнили свои социалистические обязательства. Они дали Родине мяса в три раза больше, чем в прошлом году. Казалось бы, такой трудовой подвиг должен был по-

глотить целиком все внимание секретаря. Но Тарасов заглядывает далеко вперед. Он умело сочетает руководство хозяйственно-политическими делами с неустанной заботой о культурных нуждах жителей села. Его сердцу близка каждая стройка нового клуба, новой библиотеки, новой школы...

Когда в городе Сланце создавался любительский театр, вместе со всеми, а может быть и больше других волновался и тревожился секретарь горкома партии В. В. Прусов. Он сам когда-то активно участвовал в самодеятельности и не только понимал важность начатого дела, но и всей душой сочувствовал ему. Горком помог в формировании труппы, побеспокоился о жилье для приехавшего в город художественного руководителя театра, договорился с руководителями предприятий о переводе всех участников театрального коллектива на первую смену, хорошо понимая, что значит создание театра в городе, в котором вместе с рабочим поселком насчитывается около пятидесяти тысяч жителей.

Я назвал только двух товарищей, но их множество, таких секретарей райкомов, которые проявляют душевную партийную заботу о культурной жизни тружеников своего района, горячо поддерживают новое, пробивают ему дорогу.

От великих планов семилетки до создания маленького музыкального кружка в селе проходит одна линия — забота о Человеке страны Советов, о его культуре, о его духовном мире, о его благе и счастье.

Анатолий Семирено

Молодые Козяева

Из записок инспектора школ

1

На холмах раскинулось село Радино. Избы в садах уставились окнами на Десну, которая прячется под крутояром. На отшибе — каменная школа с деревянными пристройками, обнесенная живой изгородью. Между топольками маячит тусклая железная крыша с ярко-бурыми заплатами.

Однорукий сторож Костович распахнул воротца, пропустил во двор пролетку.

— Здорово! Давненько у нас не были, товарищ инспектор!

— Не все же к вам. Нужно и в других школах побывать, — сказал я. — Ну, как живете? По старинке?

Сторож прищурил узкие глаза и ухмыльнулся в рыжеватую бородку.

— Ну нет, у нас теперь тут коммуна: сеем, жнем, свиней годуем, кролей разводим. Даже породу свою вывели — Радинскую, — Костович поглядел испытующе, словно прощупывал меня хитроватыми глазами.

Смотрю на Костовича — поставил, а задор по-прежнему играет в его рыжеватых глазах. Он приземист, ширококул, по уши зарос

волосами. Левый рукав холщовой рубашки заправлен под старенький комсоставский ремень со звездой. Давно-давно работает сторожем Костович. Сколько прошло мимо него мальчишек и девочек, — сам сбился со счета.

Когда-то у сторожа было громоздкое длинное имя — Варсанофий Константинович. Школьники кривили рожицы — хихикали: «Варсанофий!» Нашелся смельчак, окрестил его покороче — Костовичем. С тех пор пошло — Костович. Свыкся сторож, стал откликаться. Уже стал он стареть, когда началась война... Ушел в партизаны, а возвратился в школу без левой руки и вместо трофея принес поговорку: «Зарежь тебя волк». Где он ее подцепил — сам не знает.

Костович отобрал у меня вожжи, чмокнул губами и скрылся за стенкой акации.

Аллея вела к обновленному крыльцу. Молодые топольки, посаженные после войны, уже разрослись и бросали на дорогу густую тень. От старых тополей не осталось и корня: оккупанты вырубали — партизан боялись. Ободрали и школу. Сад измяли машинами, а землю изрыли траншеями. Много

труда вложили ребята, пока вырастили новый сад, тополевую аллею, оживили цветники...

2

За деревьями стучали молотки. Выглянув из-за тополя, я увидел, что дверь в мастерской настезь распахнута.

На пороге появился Оськин — коротенький, живой, черный, как цыган, человек. Округлое брюшко его свисает через пояс. Он озирает двор. Пусто. Торопливо закуривает.

— Балда ты, вот! — говорит Оськин кому-то сердитым тенорком. — Думаешь, мастером сделаюсь мне леньность помогла. Ни шиша!

Он затыкнулся, выпустил дым через нос.

— Я — печник, я — столяр, я — кузнец, я — сапожник, я — плотник... А что ты умеешь? Только и знаешь: аш два о плюс пшено — получается каша... Малышев Ванятка вот сбежал — и пусть. Я ему, дуралею, зачту! Я не такой, как другие, на вашего брата жаловаться не побегу. У меня — ни-ни! Дураков земля не родит, они сами рождаются, вот! — Оськин обернулся и бросил в мастерскую: — Беги и ты, Гришуха, неволить не стану. И заруби себе на носу: ржа железо точит, а лень человека портит!

Делая вид, что не слышал разговора, я выхожу из-за деревца. В мастерской, словно в лесу, пахнет смоляной стружкой. Школьники в майках, а иные в одних трусах, бойко стучат молотками, шаркают рубанками. Оськин разглаживает на животе фартук.

— Вот они, наши работнички. Видали? — восклицает он. — Любо поглядеть. Огонь ребята! Умельцы! Такие только в нашей школе водятся, вот! — Он повел глазами, задержал взгляд на невысоком, сразу оробевшем пареньке; тот, поджав тоненькие розовые губы, водил по доске рубанком.

— Верно говорю, Гришуха?

Гриша поднял голову, придерживал на доске рубанок и доверчиво улынулся. Подмигнув черным глазом, Оськин сказал:

— Смотрите, ремонтируемся, обходимся без наемной силы. До конца этого месяца починим три сотни парт, не меньше. Работенки, как видите, хватает...

Длинным рядом стояли отремонтированные парты, одна на другую, в три этажа. Заплатами желтели новые крышки, спинки, подножки...

— Красить не наше дело, — поясняет Оськин. — У нас маляры есть. Третья бригада. Наше дело — шип, гвоздь, древесина.

— А ребята интересуются вашим предметом? — спросил я.

— С превеликим удовольствием относятся, — заулыбался он. — Она ведь, столярка, узаконенно вошла в научный процесс. В ряду с арифметикой и письмом пристроилась. Пусть попробуют не слушаться. Я влеплю кол — и носи себе на здоровице. В аттестат пойдет, — Оськин повысил голос, чтобы слышали ребята. Они снова пилили, строгали, заколачивали гвозди.

Оськина посылали в областной институт усовершенствования учителей. «Это не плотник, а ювелир по дереву», — отозвались о нем в институте. Его работы выставляли там на всеобщее обозрение. Но учиться он не смог и через неделю сбежал.

— Иные учителя по труду, — заметил я осторожно, чтобы не обидеть самолюбия мастера, — стараются не «колы лепить», — это последнее дело, — а влиять на сознание. Человека изучают, психологию его, подбирают ключик к нему. И уж, конечно, ни «чертей», ни «дьяволов» школьники от них не услышат. Коль уж столярка вошла в учебный процесс, — продолжал я тихо, — надо бы и вам войти в учебный процесс.

Оськин вздыхает.

— Грамотешки маловато. Сам замечаю, куда жизнь направляется. За качество не страшусь, руча-

юсь, вот! А насчет чертыханий, ви-
нось, такое, правда, со мной слу-
чается. Стараюсь, креплюсь. А вой-
ду в азарт и забываю.— Оськин
оглянулся и замахал рукой.— Не
время, милые, отдыхать, не время,
товарищи учащиеся. Поднажми,
ребятки, поднажми, ребятё! — И,
успокоившись, опять вздохнул, по-
качал головой.— Эх, ключики... Я
дом срублю одним топором, а вот
ключики подобрать, скажем, к Гри-
шутке — прав мало дадено. Больно
уж мелковаты наши педагогичес-
кие возможности. Строгости ма-
ло,— пояснил он.— Проказничают,
чертенята... виноват, ошибся... уча-
щиеся, а вы говорите, ключики...

Когда Оськин провожал меня
до двери, я заметил, как он подмиг-
нул ребятам: «Главное — сами ре-
монтируемся!»

У Оськина — золотые руки. Но
он, как, впрочем, и многие препо-
даватели по труду, не понимал,
что не так уж трудно научить уче-
ника грамоте, ремеслу. А чтобы
сделать его человеком, требуется
особое умение.

3

Окна в школе распахнуты. В
тамбуре стоит терпкий запах крас-
ки. По коридору разносится роко-
чущий голос директора.

— Предупреждал: не спешите,
не спешите... Разве это работа? Бра-
коделы — вот вы кто! Что это за
мазок? А это? А это?..

— Да все разойдется,— уверя-
ет юношеский голос,— только нач-
нет сохнуть — и сразу же срав-
няется. Честное комсомольское,
Александр Гаврилович! А не ве-
рите — посмотрите в девятом «Б»,
там подсохло.

— Я здесь хочу смотреть! —
перебил директор.— Можете стены
и называете это учебной практи-
кой! Вот уж право — делали на-
спех, а сделали на смех!

Юркий маленький Александр
Гаврилович безжалостно чертит
линейкой по свежескрашенным
голубеньким панелям. Ложатся за-
мысловатые узоры, росчерки. Бо-

роздки бледнеют, но краска не рас-
ходится. Маляры опустили кисти,
следят за линейкой. Звеньевой Ко-
ня Бидченков нервно мотает голо-
вой, откидывает со лба пряди во-
лос. Ребята знают: Коня упрямят и
резок, но сейчас он тише воды, ни-
же травы. Только что Коня подби-
вал хлопцев: «Живо, братцы. Тяп-
ляп, и на речку!» А теперь прячет
глаза, боится встретиться со взгля-
дом директора.

— Вот за колер спасибо, молод-
цы! — снова басит Александр Гав-
рилович, и маляры облегченно
вздыхают.

Их восемь ребят. Разного роста
они и, как видно, разного склада
характера. Стоят врассыпную, у
каждого застыла в руках кисть, у
ног ведро с краской. Добрые сло-
ва директора отзываются в сердце
каждого: — Колер, да! Нежная
сирень. Любо глазу.— Хоть за
это-то похвалил!

А директор вдруг заключил:

— Переделать! Для себя рабо-
таете. Нужно, чтобы хорошо, кра-
сиво было!

— А для других как же? —
спросил я от порога.

Все оглянулись. Не заметили,
как я вошел.

— Для других тем более,— за-
верил директор,— еще лучше сра-
ботаем. Портить на своем научим-
ся.

Мы идем в кабинет. Здесь про-
хладно, краской не пахнет. В вер-
хнем переплете окна бьется о сте-
кло зеленоватый шмель. Жужжит,
толкается рыльцем и опять отлета-
ет.

Александр Гаврилович устало
усаживается в плетеное кресло.

— Понимаешь,— вдруг сооб-
щает он,— с кукурузой беда. Го-
рит! Срочно требуется аммиачная
селитра, чтобы задержать влагу.
Был в колхозе, говорят — нет! Со-
бираюсь махнуть к соседям. Все
самому, самому приходится. По-
слать некого. Завхоза отправил в
Брянск за белилами, ремонт сры-
вается, а значит, и практика. И что
только у нас за порядки? — Он
двигает узенькими плечами и во-

просительно таращит на меня кругловатые, навывкате, светлые глаза.— Ходи за потребсоюзовцами с протянутой рукой, христарадничай, а они глядеть на тебя не желают.

— Есть пословица: «Готовь сани летом, а телегу зимой»,— пошутил я.

— Ай, не говори,— перебил меня Александр Гаврилович и горячо заговорил: — Мы не спали, готовились. Скупали, приноживались, где что достать. Да не всегда нападешь на добротное, нужное.— Он порывисто налег грудью на стол и стиснул до боли мою руку.— До каких пор мы, директора-горемыки, будем рыскать по белу свету в поисках килограмма ржавых гвоздей? У нас крыша обветшала, менять нужно, а нам советуют накладывать матерчатые пластыри и замазывать их суриком. Может, заметил, когда подъезжал, как выглядит наша зебра полосатая! Четвертый год так лаetaем. Залезешь на чердак, она, как решето, насквозь светится. Нужно железо, железо! У нас и деньги есть, свой счет в банке. Еще тысяч сорок надеемся получить в этом году от урожая и животноводства. Мы и от сметных средств на ремонт школьных зданий отказались.— Он протянул ко мне короткие жилистые руки.— Сами управимся. Но включите же нас в потребительский план!.. Александр Гаврилович откидывается на спинку кресла.— Школы прикрепили к базисному магазину и думают — точка! — снова повысил он голос.— Сегодня это нас коренным образом не устраивает. Теперь у нас нужда не только в картах и в других учебных пособиях. Где брать химикаты, посевные семена, запчасти? Эх, до чего одряхла наша снабженческая система! — Он с шумом выдвигает ящик стола и вываливает на стол кучу накладных, заявок, ворошит поблекшие листки: — Вот что требовали. А что прислали? Полотна ножовочные без станков! А что с ними делать в селе? Или вот: отправили нам из Брянска

посылки пятого числа, а уведомление получили мы тринадцатого. Уплатили железной дороге сто двадцать восемь рублей за хранение груза. Такая небрежность в работе, такая безответственность! Как-то поехал я в Брянск, отобрал в магазине рубанки и лезвия к ним же, а получили рубаночные колодки и... всего одно лезвие — для образца, что ли? Разозлился, снова махнул в город. Ну, думаю, сейчас разнесу... Сюю под нос девице накладную, а это курносое существо спокойно щечки раздувает, локоны тербит и так лениво отвечает: «Ошибка, товарищ, с другой школой спутали при отправке. Напишите им, чтобы вернули посылку».

Александр Гаврилович сокрушенно махнул рукой.

— Или другой вопрос. Летом в школьном хозяйстве по горло работы, а биолог требует двухмесячный отпуск. Предлагал ему отгул — не соглашается. Как быть? На кого возложить руководство хозяйством? На учителей иностранного языка?

На столе развернут план школьного земельного участка. Ватман непослушно сворачивается в трубочку. Александр Гаврилович расправил лист, придавил его чернильницей.

— Вот здесь между школьным садом и Глухим логом кукуруза. Шесть гектаров. Он обвел пальцем зеленый прямоугольник.— Рядом картофель — девять га, а дальше, вот тут, озимая пшеничка — шестнадцать гектаров засеяли.

Директор поднял редкие брови и искоса взглянул на меня.

— Две третьих пшенички сдадим государству, кукурузой поделимся с колхозом. Пудов сто для своего скота надо засиловать. А зерно, что оставим, смелем,— будут интернатовцы на собственных харчах жить.

Александр Гаврилович распластал на плане ширококую пятерню, подвигал толстыми пальцами.

— На этом не собираемся оста-

навливаясь. Будем расширять земельную площадь, собирать машинный парк. Прав Никита Сергеевич, — неудобно вертеться тракторам на маленьком клочке земли. А для школьников механизация — новинка. Бросились, как рыба в свежую воду. Охотно работают. Рвут, конечно, свою одежку. Время ввести определенную плату...

— Так на то договоренность есть, — вставил я, — сдадите урожай колхозу, а ученики получат на трудодни натурой...

— Это так только говорят на совещаниях, — перебил меня директор. — Договоренность! А вы знаете, что не всякий председатель станет выполнять наш договор. Принесите ему два мешка ржицы и скажите: «Это стоит сто трудодней». Что он скажет? Вот, например, у нас... Колхоз пока что не айти какой богатый, урожай незавидный, а мы рекордный соберем. Тут уж нам несподручно соглашаться на уравниловку в оценке трудодня.

— Что же вы предлагаете?

— Я провожу автономию. И считаю, что пока это единственный для нашей школы путь. Дайте нам возможность работать как самостоятельной организации, включите нас в потребительский план, выделите нам машины, запчасти, комбикорм. А через два-три года, ручаюсь, увидите не простую деревенскую школу, а учебный комбинат с сельскохозяйственным уклоном. За свой труд ребята будут получать оплату, бесплатные горячие завтраки, а придет время, накопится капитал, пошлем всем школьникам форму. Учти, — понизил директор голос, — и другое: старшеклассники потеряли стимул к учебе. Раньше мы трубили: учитесь — станете инженерами. А теперь, чтобы юноше вернуть утерянную любовь к земле, надо с самой ранней поры толково организовать его труд. Годы не пройдут даром. По выходе из такой школы ребята станут хозяевами, скажут старшим: «Можете смело на нас надеяться, не подведем». Не буду

хвастать, но у нас в школе уже наметился перелом...

Под окном кто-то завозился. Мы притихли. Из-за подоконника показались светлые кудряшки, низкий лобик, мелькнули живые глаза.

— Варя, ты что?

Кудряшки исчезли, послышались торопливые шлепки босых ног.

Вскоре в дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, Варя втокнула в комнату круглолицего крепыша, который зажимал рукой расквашенный нос.

— Привела, Александр Гаврилович, — сказала она взволнованно, — надоело гоняться за ним, все убегает. На спуске с горки догнала. Ведь проинструктировала его, как человека, как нужно свиной кормить, а он что сделал: спорадически вывернул всю еду в корыта.

— Как, как? — не понял директор.

— Спорадически, — заморгала ресничками Варя, — неправильно, все сразу. — Она глянула на меня, потом на директора и заявила: — Не нужен мне Борька. Не выйдет из него трудового элемента, прямо говорю! Нечего тебе в моем звене трутнем засиживаться, слышишь? — обратилась она к юноше.

— Ну и уйду, — буркнул он, — нужда была со свиньями возиться.

4

Время шло к вечеру, когда я отправился на фермы. Дорога проходила возле сторожки Костовича. В избе кто-то пел. В палисадничке, огороженном свежим плетнем, ярко цвели настурции, анютины глазки, желтые ноготки. Голос певуны выплескивался в открытое оконце и плыл по двору. В дровяном сарае, переоборудованном под животноводческую ферму, я увидел Бориса.

Он застыл у станка, на котором сек крапиву, и, склонив попетушиному набор голову, слушал душевную песню.

Борис покосился на меня, шмыгнул распухшим носом и, напялив брезентовую рукавичку, подвинул под острие секача пучок крапивы.

Свинарник был тщательно выметен. Я подошел к станкам. В крайнем на боку лежала огромная Гашка со своим многочисленным выводком. Беленькие поросятки, уткнувшись в розовое обвислое брюхо матери, дремали. В остальных трех станках поднимали ко мне рыльца-пяточки породистые подсвинки. Дощатый настил был чисто выскоблен, только возле корыт белели мучные пятна.

— Где же твоя начальница? — спросил я Бориса.

— «Зарежь тебя волк» позвал, — неохотно ответил он. — Рыбу ему принесли, он уху заставил варить.

— Это она и поет?

— А то кто же! — Борис покраснел.

— Нежный голосок!

Борис еще больше смутился. Его уши стали совсем пунцовыми, а румянец разлился по щекам и шее.

— Тоже нашли пенью, — проворчал он.

— Сходи за нею.

— За Варькой? Мы не разговариваем. К лещему ее. Все равно уйду. Дома свиньи, в школе свиньи...

— А куда ты хотел бы?

— В механизаторы.

— Почему же сразу туда не пошел?

— У нас комплексная практика, — ответил Борис невесело. — Сначала на ферме, а после в поле, у машин.

В это время на двор въехала телега с травой. На самом верху сидели трое ребят. Босоногий возница остановил пегого мерина, лихо сполз на спине с воза. Ему подали косы. Начали сметывать вилами сочную траву. Распоряжался черноволосый юноша в голубой футболке.

Борис засуетился — спрятал в

угол метлу, корзину, убрал с прохода станок.

— Что это ты так прибираешься? — удивился я.

— А как же? — уставился он на меня. — Санька Горюн приехал, задаст чертей.

Он выбежал за дверь, залебезил:

— Ну как, Саня, в лугах-то небось хорошо?

Юноша в голубой футболке, ловко работавший вилами, промолчал. Борис подхватил охапку травы, полез в крольчатник. Здесь стоял опьяняющий запах луговых трав...

— Теперь можно домой, — командовал Санька. — Завтра ровно в восемь ноль-ноль жду. Будем взвешивать молодняк.

Ребята бросились врассыпную.

— Ишь подались как! — У Саньки заблестели карие глаза. — Небось на рыбалку. Там на переправе их поджидает Ванька Малышев, заядлый рыболов. В прошлом году щуку вытащил килограмма на четыре. Рыбные места и я знаю...

— А что ж не пошел с ними?

— Сегодня некогда. Домой поеду.

Между нами завязался разговор.

Свое школьное хозяйство Саня знал хорошо. Говорил о доходах, загибая пальцы. Его расчеты совпадали с директорскими.

Горюнов показал мне новую породу кроликов.

— Вывели ее сами школьники, скрещивая шеншиллу с серым великаном. У шиншиллы дорогая шкурка, а у серяка — крепкий организм. Он не болеет, приплодист. У кроликов этой породы длинное тельце, темно-серебристый мех.

Санька — черноволосый, смуглолицый, застенчивый. Отец его — партизан — погиб в боях за соседнее село, а отчим оказался мелким человечком, попался на шахты за длинным рублем. Звал и жену, но без пасынка. Мать не поехала. Осталась с сыном, чтобы вывести

его в люди. Теперь о будущем Горюнова можно не беспокоиться.

— Учимся, как надо жить,— солидно говорит он.— Выйдет ли из меня ученый, нет — дело будущего, но учусь пока быть хозяином земли.

Санька живо достал с полки бухгалтерскую книгу.

— Вы думаете, мы тут лишь бы день провести до вечера? Вот учет нашей фермы, все записано: сколько и каких кормов необходимо для каждого животного, рацион суточный, а вот тут,— он перелистал десяток страничек,— будут помещены результаты наших трудов: какой получим приплод, качество мяса, шкурок, сколько затрачено человекоднев и прибыль в рублях.

— Куда ж вы доходы девать собираетесь?

— Ветродвижитель купим, форму ребятам справим.

5

Рабочий день окончен, школа опустела. Уже заходит ночь, а директор все еще не возвращается. Мы сидим с Костовичем на бревне возле палисадника. Сторож дымит своей трубкой и, глядя куда-то в тополя, ворчливо рассказывает про деревенское житье-бытье.

— Говорю вот своему Гаврилычу, давай купим водяной ветрогон. Ветры у нас дуют без передыху. Живем на бугру, как же нам не приручить дармовую силищу? Будут гонять колесо денно и ночью, водичку из земли подымать. Сейчас-то с реки таскают, на коромысле. Попробуй-ка в сяк-коть сходить два-три раза. Кожа сойдет на плечах. А директор отбрыкивается: «Дорогое удовольствие придумал, дедок».

Подошла Варя и встала, спрятав руки под фартук, как это делают пожилые хозяйки. Покосилась на деда:

— Шли бы в избу, уха поспела.

Костович спокойно смерил внучку взглядом. Любил он ее,

весь заработок и пенсию на нее тратил. Но старался казаться строгим.

В избе было светло и уютно. Сторож снял шляпу, пригладил ладонью редкие волосики.

— На-ка, повесь на гвоздь.

На столике дымилась уха. Костович взял огромную кружку, мелко покрошил туда чеснок, бросил стручок перца.

— Ушица, зарежь тебя волк,— не борщ. Ее по-особому надо есть.

— Навели бурды! — сердито перебила Варька.— Будет с вами когда-нибудь удар. Или сердце — возьмет и остановится. Что тогда?

— Эх, понимаешь ты много,— засмеялся дед, показывая крепкие белые зубы,— пуда два уже перца съел, пудик еще осилю. Он кроушку разгоняет, вроде аж молодеешь от перца.

Варя осуждающе покачала головой и, бросив на жердочку фартук, вышла во двор. Я не сводил глаз с Костовича, ждал, когда его прошибет слеза. Но старик, к моему удивлению, аппетитно отхлебывал из кружки горчайшую уху и, как бы между прочим, вел разговор:

— Ну, видал нашу коммуны? Скажу прямо, нехотно впрягаются в наше дело учителя. Стоят над душою школьника,— ручки в брючки. Какая уж тут работа? Ты сам покажи, на что способен. Но Гаврилыч, зарежь тебя волк, спуску им не дает.

— А как родители отнеслись к перемене в ученье? — спросил я.

— По-разному. Одни голосуют за, стало быть, двумя руками, другие — одну руку поднимают, а иные молчат, присматриваются. Проводили как-то собрание... Ну, начали чин-чином: президиум выбрали, докладец заслушали, а как прения начались, Фенька Малышева кричит из угла: «Наших детей отрывают от ученья. Все на поля, на поля гонят...» А Наталья Горюнова ей тоже с места: «А кто же за них будет работать?» — «Я за свое, а ты за свое!» — не сдается Фенька. «А когда мы умрем, кто

тогда кормить деток станет?» — «Тетка из города!» — шумнул кто-то из задних рядов. Поднялся смех, посыпались шуточки-прибауточки... Костович набил трубочку, затянулся: — Осадили Феньку. Прикусила язык. Так до конца и сидела надувшись, как бычий пузырь. Ну, таких, как Малышева, мало осталось. Жалко вот сына испортила — по садам больше хозяйничает. Мальчонка смысленый, а лежебока...

Сумерки за окном стали совсем фиолетовыми. Всколыхнуло шторку, запахло цветами. Закачались макушки стройных топольков, зашумела листва.

Вернулась Варя. Она зажгла лампу и стала возиться с постелью.

— Ну, мне пора подошла уходить,— поднялся со стула Костович.— Устраивайся на боковую.

6

Нежарким утром особенно красивы резные листья тополей. Плашмя лежат они на неподвижном воздухе, словно кто-то бросил их с высоты и они застыли на лету, успев приклеиться тонкими хвостиками к веточкам.

Преподаватель биологии Рыклин, войдя под тень деревьев, остановился, поднял голову, улыбнулся тополям.

Ровно в восемь тишина раскололась: где-то стрельнул трактор, захохотали девушки,— все перемешалось, и беспокойные разноголосые звуки стали волнами наплывать на биолога. Стройный, красивый, в отглаженных брюках, белой косоворотке, в легких туфлях и шляпе — в таком наряде пришел он в школу после месячного отпуска.

— Физика отпустил,— сказал Рыклин директору и недружелюбно на него покосился.— Прошу, Мартин Елисеевич, возглавить руководство. Дел много: механизаторам нужно культивировать карто-

фель, полеводам — произвести подкормку кукурузы. Гибнет королева! Говорил вам: почва — дрянь. А вы уверяли — пройдет. Не прошло! Вот вам мешок селитры, спасайте, врачуйте, товарищ отдохнувший.

В тоне директора звучало раздражение.

«Что они, не ладят?» — подумалось мне.

Александр Гаврилович протянул биологу мешок:

— Ох, знали бы вы, с каким трудом он мне достался! Ночь вез на велосипеде. И это мне-то, в мои пятьдесят два года да еще с раненым позвоночником!..

Мартин Елисеевич, держа мешок на отлете, толкнул ногою дверь, вышел.

— Белоручка! — обидчиво бросил директор.

Мне приходилось бывать у Рыклина дома, я видел его этюды, картины. Я знал его как умного и тонкого человека. Но директор, как мне показалось, нарочно не хотел этого замечать.

Я заступился за Рыклина:

— Дело вы начали, Александр Гаврилович, большое. Одному вам, действительно, не справиться. И зря вы отталкиваете от себя Рыклина,— он вам может помочь. У него есть и знания, и психологию ребят он понимает. Вот вам не понравилось сегодня, что он любовался тополями. Что в этом плохого? Он ведь художник!

— Вот уморил! — захохотал Александр Гаврилович.— Умру, но не поверю. Художник! Белоручка он, чистюля!

Желтоватое лицо директора pokrылось румянцем. Он оборвал смех, вскочил с кресла, нахлобучил шляпу и спросил меня резко:

— Ну, ты куда? К механизаторам? К полеводам?

— К полеводам,— выбрал я, не колеблясь.

— Ну, а я к механизаторам.

Директор легко, как мальчишка, слетел с крыльца и сразу же исчез среди школьников. Сколько энергии у этого человека! Одни лю-

били Александра Гавриловича за эту подвижность, другие относились к нему неприязненно: вездеход он попевал, у каждого подмечал огрехи, спуску не давал никому.

Поле начиналось за садом: озимые, бобовые, картофель. Кукурузный клин шел левофланговым по бугру до Глухого оврага, затканного кустарником.

Во время войны здесь тянулись сплошные окопы с пулеметными гнездами. Фашисты и полицаи оборонялись от партизан, которые засели в лесу за рекой. После войны земля заросла бурьяном, на буграх бродил скот, обваливая окопы... И надоумился же Александр Гаврилович, неспокойная голова, — с ребятишками решил расчистить и засеять пустырь.

Почва здесь твердая, малоподатливая. Трудно рыхлить ее легонькими тяпками. Металл, ударяясь о землю, звенит. Согнувшись, медленно продвигаются девушки по междурядьям. Впереди развернутым веером идут сеяльщицы, кто с лукошком, кто с сумочкой. Взмах руки — и на почве остается серебристый след рассыпанной селитры.

Кукуруза на равнинках высокая, сочная, выметала метелки. А на бугорках хилая, жалкая.

— Что делать с одним мешочком? Ну, перемешали селитру с песком, сделали компост, чтобы селитра ровнее ложилась на почву... Да намного ли хватит?

Рыклин поглядывает на дорогу, ведущую в село, щурит глаза.

Вот, наконец, показалась тройка. Запыхавшись, подошла бригадир-полевод Зина Крюкова. За нею спешат десятиклассницы с двумя ведрами на длинной толстой палке. В ведрах светится сбитая в комки зернистая селитра.

Я в недоумении гляжу на полные ведра. Откуда же взяли селитру?

Рыклин неохотно ответил:

— В своем колхозе. Послал девчат с запиской, — как видите, не отказали. Колхозную стенга-

зету редактирую, немножко уважают, стало быть.

На бугорке появился узкогрудый юноша в матросской тельняшке.

— Э-ге-ге, редактор, — окликнула его певуче Катя Минова, — здорово, борзописец!

Редактор школьной стенгазеты оглянулся, шутливо погрозил ей кулаком.

— Девчата! — крикнул он, прикладывая ладошку ко рту. — У механизаторов дело швах! Предсказываю вам первое место. Столярка сегодня на осле катается, а фермы я не трогал — они занимаются научной работой; так что поднажмите, красавицы, а я, честное комсомольское, не пожалую красок и чернил на гвардейскую, полеводческую...

Рядом послышался рокот приближающегося старенького трактора. Не доходя до места, где работали девушки, «Беларусь», стреляя кольцами дыма, неожиданно заглох. Огорченные механизаторы с кислыми рожцами облепили машину. С трактора сошел смущенный Александр Гаврилович, оглядел его. «Придется посылать за колхозным механиком; — сказал он, скребя задумчиво подбородок. — И надо ж было пустить в отпуск физика!»

Борис, видно все же сбежавший со свинофермы, мазнул пальцем в выхлопной трубе.

— Густая смесь, — выкрикнул он и, нагнувшись, заглянул в черную дыру.

«Бригадмех», так звали Женю Соседова, впился в Бориса зеленоватыми злыми глазами.

— В свинарнике научился? — съязвил он сердито. — Стой и помалкивай. Удишь тут на сухом берегу. Павлик, вывинчивай свечи!

Черномазый шустрый Павлик нагнул вперед стриженую голову и покраснел от натуги. Свечи прихватило, а силенки еще маловато. Женя легонько отстранил его плечом, рывком на себя сдвинул свечу одну, вторую...

— Продолжай! — сказал он,

победно вскинув курчавую голову.

У механизаторов явно не ладилось. Девочки высывались из кукурузы и дразнили:

— Эх, мазутники!

— Зина-ида! — воскликнул Женька, подделывая голос под женский.— Пошто парней задеваешь? Ходь в избу, дела ждут!

Хлопцы дружно захохотали.

Подошел Рыклин. Встретили его недружелюбным молчанием,— механизаторы считали себя в подчинении физика.

— Крутните,— попросил он.

Надувая щеки, Павлик повернул несколько раз ручку. Трактор устало чихнул и опять заглох. У Павлика расползлись губы в ехидной улыбке.

— Так! — пробормотал в раздумье Мартин Елисеевич.— Ну-ка, дайте ключи.

Все с напряжением следили за биологом. Стало тихо. Слышно было, как дышит Мартин Елисеевич, отворачивая гаечным ключом предохранительный колпак. Склонив набок голову, он ощупал форсунки, повернул регулировочный винт, взмахнул рукой: заводи! Мотор звонко стрельнул голубыми колечками и заработал. Рыклин повернул винт от себя,— рокот мотора начал стихать, выравниваться. Выхлопы пропали. Внутри машины четко застучали цилиндры. Рыклин прислушался, вздохнул, зажал контргайку, поставил на прежнее место предохранительный колпак.

— Можно ехать,— сказал он, вытирая руки.

Женька, взобрался на сиденье. Трактор рванулся вперед и пополз на заросшее сорняком картофельное поле.

Александр Гаврилович почесал в затылке. Покосился на Рыклина. Я ждал, что он похвалит Мартина Елисеевича или по крайней мере пошутит. Но он промолчал.

Мартин Елисеевич проводил трактор взглядом и направился к

белым косынкам, мелькавшим в кукурузе.

— Ты погляди, погляди! А как вышагивает! Как это тебе нравится? — не утерпел директор.

Он прыгнул на подножку подошедшего трактора. Я пошел за культиватором. Отполированные зубья ворошили почву, подгребая ее к кустам картофеля.

На меже я завернул к девушкам. Становилось жарко. Воздух был сухой, неподвижный. Бух, бух — стучали тяпки. Вспотевшие лица пропольщиц отливали бронзой. Нет-нет да и разогнет кто-нибудь спину и бросит взгляд на реку. А Десна петляет по лугу, играет блестящей заводью...

На лугу дымится костер. Поднимается вверх прозрачный, почти незаметный дымок. Сверху, как на ладони, видны черные котлы под деревянными белыми крышками. Проворная повариха заглядывает под крышки. Рядом, расстелив на траве бумаги, лежат худощавый редактор и горнист.

Девушки рвутся к прохладной Десне, щурят глазенки.

Звено Кати Миновой первым вышло к Глухову оврагу. Девушки бросились было россыпью за ягодами, но властный голос звеньевой настиг их.

— Уговор забыли! Заходи на встречу, поможем девчатам...

И опять разворачивается в цепочку звено, сыпятся удары тяпок: бух, бух, бух!

Вскоре в кукурузе звенья сошлись. Разом раздался гик и визг. Побежали вниз по крутой тропе...

Зина вдруг задержалась на круче, оглянулась.

Наверху стоит Мартин Елисеевич, манит рукой:

— Не торопись, Зинок, кое-что еще недоделано.

Зина утирает концом платочка рот, возвращается.

Биолог молча протягивает ей рулетку. Они примечают хилые ростки. Зина измеряет их. Мартин Елисеевич, проверив ее обмеры, вписывает цифры в узенький полеводческий дневничок. Записи эти

потом определяют влияние подкормки на развитие растений, и биологу не придется вдавливать школьникам, какова роль химических удобрений.

7

Горнист заиграл сбор: всем сюда, всем сюда, всем сюда! Эхо покатилося по реке, отозвалось в школьном саду.

«Бери ложку, бери бак! Бери ложку, бери бак!»

— Щи, уха и каша. Выбирай по вкусу! — объявил меню дежурный Коня Бидченков.

Длинная очередь выстроилась у котла с ухой и совсем куценькая, как заячий хвост, — у котла со щами. Низенькая флегматичная повариха заморгала испуганными глазами:

— На всех не хватит ухи.— Она сдвинула крышку.— Накажите Малышонку, нехай поболе рыбы наудит.

Малышевская рыба! Очередь заворошилась.

— Пусть сам и ест,— махнул рукой Санька и встал в очередь за щами.

За ним потянулись его друзья-животноводы. Механизаторы ватагой окружили повариху. Ели уху и посмеивались над животноводами.

Из-под откоса вылез Малышев.

— Вот бессовестная рожа! — сердито сказал Горюнов. Ребята оглянулись, перевели взгляд на бригадира.— Ешьте, товарищи. Мы его заставим нас рыбой кормить.

За обедом никто не обратил внимания на редактора. С помощью горниста он пристраивал к кольям фанерный щит со свежим «боевым» листком: «Наши дела».

Редактор — хитрец! Не стал кое-кому портить аппетита, а после обеда — полюбуйтесь! Возле щита сразу образовалась толпа. Выразительные карикатуры привлекли всеобщее внимание.

— Смотрите, да это Женька Соседов! — раздалась возгласы.

Рисунок изображал Женьку,

стоящим на коленях перед трактором: он умоляюще, со слезами на глазах спрашивал: «Где болит?»

А рядом — другая карикатура: чахлый стебелек кукурузы потянул к звеньевой Кате Миновой узенькие листики, как бы умолая: «Не проходи мимо, умираю!»

Соседов взъерошился.

— Не все тут правда!

Девушки захихикали. Женька еще больше озлился.

— Зубоскалки, на себя поглядите.

— И глядим! — отозвалась Катя Минова.— Мы признаем свой огрех, нас вернул Мартин Елисевиич... А ты в пухляк полез.

Молодчина редактор! Точно подметил «огрехи»!

8

После жаркого дня в сумерках душно: пахнет земля чем-то сладковатым, хмельным, словно свежим хлебом, только что вынутым из печки. Деревья, постройки, — все растворяется в синей пелене надвигающейся летней ночи.

На школьной усадьбе пусто. Молодые хозяева разошлись по домам, и стало без них скучно.

Мы сидим на крыльце школы. В чуткой тиши далеко разносятся звуки: где-то просигналил автомобиль, на реке кто-то крикнул: «Держи, уплывет!» Временами из села долетает знакомый басок колхозного диктора. Растягивая слова, он объявляет по радио наряд на следующий день.

— Жизнь-то теперь вон куда шагнула — и электричество и радио... Водицу бы родниковую достать, — снова завел свой разговор Костович.

— Не все сразу, — заметил ворчливо Александр Гаврилович. Он был озабочен.— Не пойму, почему же мне не дали селитры? — спросил он меня.— Неужто он им ближе, чем я?

«Зацепило!» — подумал я.

А Александр Гаврилович вдруг признал:

— Чувствую, неправ я в

чем-то. Но ведь и он — хорош гусь! Первым шагу не сделает на- встречу...

Директор встал, потянулся.

— Пойдем-ка спать.

Я отказался. Александр Гаврилович нашарил в темноте мою руку и молча стиснул на прощанье пальцы.

— Иди, Гаврилыч,— крикнул Костович.— Небось наvertелся за день.

Директор ушел. За акациями стукнула дверь, мигнул огонек во флигеле.

— Сердитый сегодня,— проворчал Костович.— Вишь, заело. Не любит он Рыклина. Но, кажется, начал сдаваться.

...Ранним утром я собрался в дорогу. В воротах появилась Варя. Она уже успела выкупаться в Десне и собрать букет луговых цветов. Влажное платице, из кото-

рого девушка выросла, обтягивало ее гибкую талию, остренькие плечи. Варя подбежала к пролетке, втиснула мне в руку цветы. При этом она по-озорному тряхнула букетом, и на руку мою, словно капли ртути, посыпались градом холодные бусинки росы.

— Спасибо, Варя.

Пролетка тронулась.

— Счастливо! — донесся Варин голос.

Крутая дорога скатилась к переправе. На бревенчатом настиле дробно застучали колеса.

На берегу сердито гоготали гуси. А по заречью струились к Десне золотистые волны света. Туман на реке порозовел, отодвинулся под рыжую кручу. И побежала по земле световая полоса **нового дня.**

Село Радино
Врянской области

Владимир Канторович

САСОВО — ГОРОДОК ПОД РЯЗАНЬЮ

В небольших городах и рабочих поселках с числом жителей менее двадцати тысяч проживает более 25 миллионов человек, или четвертая часть всего городского населения СССР. Но небольшими можно считать также города с 25 — 30 тысячами жителей. Если присоединить и их, то окажется, что чуть ли не каждый третий горожанин проживает в небольшом городе. Притом значительная часть нынешних городских поселений появилась на карте страны в советское время. По данным переписи, только за двадцать последних лет возникло 503 города и 1354 рабочих поселка городского типа.

Когда-то малые города были глухой провинцией, захолустьем, цитаделью мешанства. В наши дни упразднено само понятие «провинция», малые города все больше сближаются с крупными центрами. Печать, радио, кино, телевидение, единая система народного образования, разветвленная сеть медицинских учреждений — все это помогает жителю малого города жить одной жизнью со всей страной.

Но чуть ли не каждый маленький город имеет свое лицо. Его настоящее во многом определяется исторически сложившейся судьбой, его прошлым, перспективами дальнейшего развития, и в планах, рассчитанных на ближайшие годы, не может быть единых решений для всех таких городов. Даже обязательный комплекс коммунального и культурного благоустройства городов, который следовало бы выработать Госплану, будет варьироваться в зависимости от типа городского поселения.

Сасово под Рязанью — небольшой городок, не так давно преобразованный из села, но быстро набирающий силу. Заглянем в этот городок, присмотримся к тому, как живет в нем людям, как развивается городское хозяйство. Задаемся на примере Сасово о некоторых проблемах малых городов.

ГДЕ ВЫ, САСОВСКИЕ КРАЕВЕДЫ?

На железнодорожной магистрали, ведущей в Сибирь, есть, с точки зрения пассажира, ничем не примечательная станция Сасово, мимо которой скорые поезда проходят не останавливаясь. Она названа так по старинному селу, которое, в свою очередь, лет тридцать назад переименовано в город. Энциклопедии уделяют новому городу всего несколько строк. Книг, из которых можно почерпнуть сведения о современном Сасово, нет. В брошюре кандидата географических наук В. С. Шустова «Рязанская область» городу Сасово посвящена одна-единственная строка: «Из других городов (помимо названных ранее Касимова

и Скопина.— В. К.) выделяются Сасово и Ряжск». Чем же они выделяются? Об этом ни слова.

Летопись культурной жизни города никем не ведется. Краеведческого музея здесь нет.

Сто тридцать лет назад Пушкин обмолвился крылатой фразой: «Мы ленивы и нелюбопытны». Неужели советские люди унаследовали в какой-то мере эти черты? Все протестует против такого обвинения. В нашей стране образование стало всеобщим и обязательным; в любом маленьком городе (Сасово, как увидим, отнюдь не составляет исключения) есть своя заметная прослойка специалистов,

интеллигенции; широко распространены социально-экономические знания; разведанные богатства недр выросли за годы советской власти в десятки и сотни раз; наконец, чуть ли не с детства, мы привыкли к докладам и статьям, насыщенным цифрами... Так неужто мы не проявим любознательности как раз в отношении той части родины, где живем и работаем?

Но вот город Сасово, молодой перспективный город с населением (включая пригороды) в 25 тысяч жителей. Много ли известно об этом городе жителям, две трети которых обосновались в Сасово за последнюю четверть века?

Начнем с элементарного вопроса: сколько жителей в Сасово? В местной газете нет ответа на этот вопрос. В райисполкоме, в райкоме партии и в горсовете мне назвали три отличающиеся друг от друга цифры, а к справке местного ЦСУ, приведенной выше и данной еще до проведения переписи, отнеслись недоверчиво. Но зачем с по р и т ь о цифрах? Их надо знать! Ведь вопрос о численности населения города — отправной пункт для любой практической деятельности городских организаций. И знать следовало бы не только численность, но и состав населения — по возрастам, образованию, роду занятий. Между прочим, уже два года назад эти цифры стали общим достоянием, а по более крупным городам, с населением свыше 100 000 человек, опубликованы в сборнике «Народное хозяйство СССР». В материалах Всесоюзной переписи 1959 года, опубликованных газетами, перечислены все города с населением более 100 000 человек. Малых городов просто чересчур много, чтобы печатать их списки в центральных газетах.

Вот, например, какой значительный и эффективный вывод можно сделать при сравнении данных о смертности в городе Сасово в двадцатых и пятидесятых годах нашего столетия. В 1926 и 1927 годах смертность составляла 21—23 человека на тысячу жителей, а в 1957 году — всего 7 человек! Это ли не ярчайший показатель забот нашего государства о народном здравоохранении!

Но чтобы сделать такое сопоставление, надо было разыскивать повсюду материалы о прошлом города. Одна из таких летописей, составленная бывшим священником Чугуновым, затерялась. Зато другая очень интересная рукопись в конце концов нашлась в шкафу... у заведующего коммунальным отделом. Она называется «К проекту переустройства г. Сасово. Обзор экономических и физических условий существования и развития города» и составлена приезжим московским инженером Мосстройконсультации Н. И. Веркубовым в 1929 году. Рукопись эта в городе не была известна, хотя представляет серьезное исследование со множеством интереснейших данных о Сасово. Как хотелось бы сопоста-

вить современные данные с показателями 1913 и 1926 годов, приведенными в рукописи Веркубова! Но поди ж ты! Большинство таких показателей по городу (отдельно от района) не разрабатывается или сводится только в масштабе области и республики.

Взять, скажем, вопрос о специалистах. В Сасово, с его обширной школьной и медицинской сетью, тремя техникумами, железнодорожным узлом и несколькими, правда мелкими, промышленными предприятиями, проживает множество дипломированных специалистов. Называют цифру в пятьсот — шестьсот человек и, вероятно, не ошибаются. Вот примеры: в строительном техникуме все без исключения преподаватели получили высшее образование, в районной библиотеке «все работники имеют диплом техникума; в небольшом предприятии «Птицепрома» техноруком работает молодая женщина, закончившая московский институт; о железнодорожниках и говорить не приходится — каждый третий со специальным образованием. Наконец, даже в прядильном цехе местной канатной артели за допотопными ручными станками вместе с девушками, окончившими полную среднюю школу, работают почему-то дипломированные педагоги, строители и плановики. Нельзя ли их использовать по специальности? Тем не менее исчерпывающих подробных данных о специалистах в Сасово не найти. Местные организации шлют сведения о своих кадрах непосредственно в область. Каждый день сасовцы ездят в Рязань, а выписать сведения о сасовских специалистах из сводки областного статистического управления некому. Действительно, порой нас как бы покидает природная любознательность!

Другой вопрос — о занятости населения. Он жизненно интересует местные организации. Здесь знают, что не все трудоспособные горожане — вторые члены семьи — заняты полезным трудом в общественном секторе. Об этом можно судить хотя бы по тому, что и «Птицепром», и «Заготскот», и райпотребсоюз в летнее время легко находят на месте сезонных рабочих, а директор местной швейной фабрики, приступая к строительству нового корпуса, нисколько не озабочен подбором кадров. Он знает, стоит только кликнуть клич, и на фабрику придут новые работницы — женщины, которые теперь ограничиваются домашним хозяйством и получают доходы от приусадебных участков, от торговли молоком и овощами на местном базаре.

Сколько таких людей в Сасово? Председатель райисполкома Н. Н. Поляков (ему и книги в руки, он сасовский уроженец, воспитанник местной школы) говорит, что в городе их наберется немало и на них смогут опереться новые промышленные предприятия.

Плохо, что город с промышленной продукцией, измеряемой несколькими сотнями миллионов рублей в год (вклю-

чая продукцию сахароваренного завода в пригороде), не объединил местных педагогов, экономистов, специалистов для изучения прошлого и настоящего Сасово. Председатель горсовета Павел Иванович Селезнев жалуется, что на организацию краеведческого музея не отпускают денег. Но ведь бюджетные средства, хотя бы очень скромные, могут быть отпущены только тогда, когда будет проделана значительная работа по собиранию экспонатов музея, когда любители и знатоки краеведческой работы активно себя проявят.

У Рязанской области хорошие традиции по изучению края. В дореволюционные годы здесь работала архивная ученая комиссия, напечатавшая несколько сот брошюр и книг, в том числе обстоятельные исследования по истории, быту, экономике небольших рязанских городов: Пронска, Спасска-Рязанского, Сапожка, Скопина. Почти в каждом уездном городе были члены этой ученой комиссии — добровольцы. В 20-х и 30-х годах «Общество исследования Рязанского края», имевшее свои отделения во многих уездах, тоже вело исследовательскую и издательскую деятельность. Местные краеведы делали свое дело, важное и нужное для страны, вполне квалифицированно. Велики заслуги советских исследователей рязанского края, таких, как Проходцев и Ерохин в Рязани, Федотов в Спасске-Рязанском, Бакулин в Михайлове, доктор Стахнов в Сапожке.

Ликвидация этого общества привела к упадку работы по изучению родного края, которую вели многочисленные ревнители природы, добровольные исследователи архивов, коллекционеры.

Это сказалось и на таких городах, как Сасово. А где больше нуждаются в краеведах, как ни в молодых поселениях, жители которых съехались со всех концов страны? В новых горожанах надо пробудить интерес к той части родины, где они живут, трудятся, создают семьи, воспитывают детей. Надо заново создавать и укреплять культурные традиции.

ГОРОД ИЛИ ТОЛЬКО РАЙЦЕНТР?

Однажды мне случилось быть свидетелем горячего спора между двумя сасовцами: районным работником и учителем местной школы. Спор шел о том: что ж такое Сасово — город или только районный центр? Чтобы рассудить спорящих, придется, пожалуй, предпринять короткий экскурс в экономику сельского хозяйства Сасовского района.

После известных решений ЦК КПСС, принятых в сентябре 1953 года, по всей стране начался подъем сельского хозяйства. За последние четыре года Рязанская область вышла из числа самых отсталых сельскохозяйственных районов

страны в передовые. В редакционной статье «Приокской правды» за 31 декабря 1957 г. можно было прочесть такую характеристику состояния сельского хозяйства области в годы перед подъемом:

«Большинство сел и деревень Рязанской области находилось в запущенном состоянии. Во многих селах области в результате массового ухода колхозников в город (вспомним о росте населения Сасово в эти годы! — В. К.) резко сократилось количество колхозных дворов и сельского населения. Многие дома колхозников были ветхими, не имели надворных построек. Строительство колхозниками новых домов почти не проводилось. На трудодни они получали очень мало, доходов, главным образом, получали за счет приусадебных участков. Молодежь уходила из села».

В последующие четыре года доходы рязанских колхозников возросли в шесть раз. Рязань заняла первое место в стране по надоям молока. Село стало интенсивно строиться, численность населения понемногу расти. Правительство наградило Рязанскую область орденом Ленина. 13 февраля 1959 года на торжественном заседании обкома КПСС и облисполкома в Рязани Н. С. Хрущев сказал: «Рязанская область на протяжении многих лет была одной из наиболее отстающих в развитии сельского хозяйства. Теперь она вышла на широкую дорогу, прочно вошла в число передовых областей, а по надоям молока от коровы заняла первое место в Советском Союзе».

Сасовский район, в свою очередь, занимает в области первое место по показателям сельского хозяйства. Из брошюры секретаря Сасовского райкома КПСС Н. Кабанова «В борьбе за подъем экономики и культуры района», изданной в Рязани в 1957 году, мы узнаем, что урожай зерновых поднялся за последние годы вдвое, свеклы — вчетверо. Надой молока приближаются к 4 000 литров в год от коровы. Кривая доходов колхозов и колхозников вознеслась кверху. В селах строятся жилые дома, коровники, телятники. Ставятся практические задачи: электрифицировать все села Сасовского района (что будет выполнено с пуском строящейся межколхозной Березовской электростанции) и... заменить солому на кровлях крестьянских домов; на окраинах рязанских городов все еще можно увидеть домики, крытые соломой. Надо сказать, что и последние полтора года отмечены отличными показателями по сасовскому району. Он прославился, в частности, перевыполнением плана по сдаче мяса государству, выращиванием десятков тысяч голов водоплавающей птицы на колхозных фермах. В то же время район занял в области первое место по культурному строительству на селе.

В споре, свидетелем которого я был, учитель доказывал, что теперь, когда сельское хозяйство района встало на ноги, Сасово-городу надобно уделять

больше внимания. Пора ему изменить свой нынешний облик разросшегося села, последовать примеру других городов страны и, применяя методы народной стройки, начать мостить центральные и боковые улицы (было замощено только «кольцо» по городу, используемое для автобусов), оборудовать на реке Цне водную станцию, заложить, наконец, городской парк.

Райисполкомовец отвечал учителю с горячностью, которая показывала, что спор совсем не академический, за ним стоят разногласия по практическим вопросам. Конечно, он не возражал ни против благоустройства, ни против культуры в городе. Но упорно твердил: «Сасово — райцентр сельскохозяйственного района — этим все сказано! За что взыщут с районного руководителя в первую очередь? За посевную, уборочную, удои, заготовки мяса... Вот в чем самая главная, повседневная забота сасовцев!»

Спор этот происходил полтора года назад. Теперь, побывав снова в Сасово, я увидел, что замощены еще две улицы, что на месте оврага и болота устроена асфальтированная площадь с цветниками; на ней возвышается памятник Ленину. Силами молодежи также заложен новый городской парк. И все же, спор, о котором я рассказываю, имеет не только исторический интерес. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт: председатель городского совета П. И. Селезнев хотел показать мне новый район города и реку Цну; происходило это в сентябре 1959 года после двух дождливых дней. «Победа» не смогла одолеть грязь на многих улицах, нам пришлось ограничиться поездкой по городскому кольцу.

А тогда, прислушиваясь к этому спору, я задумался: каково же, в сущности, производственное лицо современного Сасово? В конце концов спор решают факты. Ведь райцентр может быть размещен и в рядовом селе, и в маленьком городке с 6-7 тысячами жителей, и в поселке промышленного типа.

У Сасово трудовое производственное лицо. Вместе с знатоком местной экономики, работником райплана К. Д. Владимировым, мы прикинули: в городе более 8 000 работающих и 1 800 студентов. На предприятиях и в механизированных артелях заняты 2400 человек, в строительстве и на транспорте — еще 2 800 человек. Следовательно, около двух третей трудящегося населения города занято непосредственно в материальном производстве. На долю служащих в учреждениях, в торговой сети, в больницах, школах и т. п. остается менее одной трети общего числа работников.

Конечно, и больницы, и школы, и торговые и административные учреждения обслуживают не только город, но и село. И все же ясно, что город Сасово нельзя уже рассматривать только как довесок к сельскому хозяйству, сколь бы велика ни была его роль в организации производства и культуры на селе, в под-

готовке кадров для района и в переработке сельскохозяйственной продукции.

К тому же Сасово — город с экономическим будущим. В облизполкоме и в совнархозе мне посоветовали для знакомства с небольшими рязанскими городами поехать не в Спасск, не в Сапожок, не в Пронск (и не в Скопин, который уже приобрел черты второго индустриального центра области), а в первую очередь в Сасово, город перспективный.

В отличие от многих других областей, в Рязанском совнархозе создано большое управление пищевой промышленности. Укрепление колхозов, рост животноводства застали врасплох молочную, мясную и пищевую промышленность. Министерства, ведавшие раньше этими производствами, увлеклись строительством гигантов, а периферийную сеть молокозаводов, убойных пунктов, пищекомбинатов, крахмальных заводов в буквальном смысле «довели до ручки». Отстальные полукустарные молокозаводы Рязанской области не справляются с переработкой молочных рек, текущих теперь с колхозных ферм. Из-за нарушения кондиций, попросту говоря, из-за порчи продуктов, эти заводы понесли в 1957 году большие убытки. Поэтому в области решили построить за два года 75 современных молокозаводов. Одно из таких предприятий на двадцать тонн продукции в смену достроено в 1958 году в Сасово.

На очереди — строительство мясокомбината. Сасовский забойный пункт не способен переработать весь поступающий скот. Производительность забойного пункта совершенно не соответствует потребностям этого крупнейшего в области района животноводства.

Не забудем: Рязанская область обязалась уже в 1959 году увеличить сдачу скота на мясо в колхозах и совхозах в 3,8 раза, а в целом по области в два раза по сравнению с 1958 годом. Н. С. Хрущев приветствовал смелый почин рязанцев и призвал организовать работу так, чтобы показать хороший пример выполнения этого обязательства. Но раз умножится поток скота на забойные пункты, надо поспешить и со строительством перерабатывающих предприятий!

Будущее Сасово связано не только со строительством мясокомбината, расширением пищекомбината, новыми корпусами на швейной и канатной фабриках, реконструкцией соседнего сахароваренного завода, вероятным превращением паровозного депо в завод метизов, а также значительным развитием железнодорожных путей. Контрольные цифры семилетнего плана предусматривают сплошную электрификацию железной дороги Москва — Дальний Восток. К 1 января 1960 года на электротягу будет переведен и Сасовский железнодорожный узел, стоящий на этой магистрали. К городу подведут линию высоковольтной переда-

чи, он получит дешевую энергию Куйбышевской ГЭС.

Сасово станет примером наиболее удачной комбинации так называемых градообразующих факторов. В самом деле, город этот расположен на железнодорожной магистрали и на Большом Рязанском кольце шоссе дорог, обладает ресурсами пресной воды, получит неисчерпаемый источник электроэнергии. В городе есть резервы рабочей силы, обеспеченной, в основном, жильем и в какой-то мере коммунальными услугами, а также кадры местной интеллигенции. Наконец, он расположен в районе, изобилующем продовольствием, сельскохозяйственным сырьем и сырьем для предприятий промышленности строительных материалов (цементной, кирпичной).

К сожалению, вопросы комплексного развития отдельных микрорайонов страны еще не привлекли достаточного внимания Госплана. Инициатива Рязанского совнархоза, предложившего начать в Сасово строительство двух предприятий промышленности строительных материалов, пока не поддержана. Зато в пригороде, в поселке Сотницыно, до которого езды на электричке всего 10 минут, уже начаты крупные работы по реконструкции сахарного завода и строительству современного пищевого предприятия, да и в самом Сасово строят мебельную фабрику, расширяют другие предприятия. Наконец, совнархоз перебазировал в Сасово одно из своих строительных управлений, а этот факт уже сам по себе служит залогом, что в народнохозяйственных планах ближайших лет наш город будет фигурировать как пункт широкого промышленного строительства. И, конечно, городу самому надо быть зачинателем в этих вопросах (ведь планы подсказываются «снизу»), настойчиво ставить их в областных организациях, предъявляя обстоятельные и убедительные расчеты,— вот когда придутся исследования местных краеведов!

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Так или иначе, а производственная база Сасово будет и дальше развиваться. Следовательно, надо бы подумать и о городском хозяйстве.

Я упоминал уже о забытой рукописи инженера Веркубова. В 1929 году в Сасово всерьез готовились к составлению генерального плана развития города. Прошло с того времени тридцать лет, население увеличилось в два с половиной раза, территория города расширилась, а генерального плана развития все еще нет, к разработке его не приступали. Город распозаезается во все стороны. Если так пойдет и дальше, то окажется, что стоимость булыжной отсыпки, водопровода, уличного освещения и тем более

канализации ляжет непомерной тяжестью на городской бюджет.

Современное Сасово еще не благоустроено. К концу 1959 года из 55 километров улиц замощено только 15. Водопроводная линия имеет протяженность 17 километров (не считая 7 километров железнодорожного водопровода). Канализации вообще нет. Уличных фонарей в городе всего 200. Электростанции удовлетворяют потребность в энергии не более чем на 75 процентов. Баня обветшала.

Всеми достижениями в области городского хозяйства (мостовые, асфальт на тротуарах, удлинение водопровода) жители обязаны усилиям городского совета за последние два-три года. Но ведь это только робкое начало, и трудно придать нужный размах работам по благоустройству, когда, например, из годового плана исключают трубы для продления водопроводной линии, а смету на реконструкцию бани не утверждают.

Иначе говоря, как ни оптимистично расценивают в области перспективы развития города, но его бюджет не выходит из рамок рядового районного центра, хотя, как видим, Сасово в них уже не уместяется.

Однако далеко не все решает размер бюджетных ассигнований. Очень важную роль играют разумно направленные усилия самих жителей, внимание и интерес к проблемам города со стороны местных организаций.

У купцов, членов городской управы, было насмешливое прозвище — «отцы города». Но ведь председатель горсовета — это, действительно, в лучшем смысле слова отец города, глава двадцатипяти тысячного коллектива жителей. А хорошо ли живется семье, если главы дома бесконечной чередой сменяют друг друга? Нынешний председатель городского Совета — Павел Иванович Селезнев — десятый по счету за последние двадцать лет.

Председатель Совета должен знать, как говорится, на ощупь каждый дом, каждый фонарный столб в городе. Колдобина на мостовой, плохой забор, прохудившаяся кровля выводит хорошего председателя из душевного равновесия (равнодушным нет места на этом посту!). Он держит в памяти все, что относится к прошлому и будущему города, знает подноготную всех предприятий и учреждений. Каждый житель, способный принести пользу в культурном строительстве, у него на учете. Голова его полна проектами и планами благоустройства города... Вот каким должен быть председатель городского Совета трудящихся! Но согласитесь, что человеку надо побыть на таком посту не год и не два, чтобы обладать этими достоинствами!

Пожелаем же Павлу Ивановичу Селезневу (ему сейчас 43 года) еще многие годы председательствовать в Сасовском городском Совете.

ПРИМЕР СОСЕДА

Просматривая литературу о Рязанской области, я наткнулся на интересные строки в воспоминаниях старого земца Л. Н. Левашева. Сопоставляя начало нынешнего века с 60-ми годами прошлого столетия, он сетовал:

«Тогда Рязань состояла из жителей коренных, давно в ней живущих, тесно связанных с Рязанью, сжившихся друг с другом, любящих свою родину, тоскующих вдали от нее. Теперешняя Рязань — это этапная станция, пассажирский вокзал. Человек, в нее попадающий, с первых же дней своего пребывания уже думает, как бы повиситься и выбраться из Рязани. При таком условии город тошен людям и люди тошны друг другу».

Оказывается, эти строки сохраняют в какой-то мере злободневный характер. Ведь мы тоже боремся с «летунами», осуждаем «чуждые настроения», признаем крупным злом «текучесть кадров». Недаром ежегодно страна выплачивает миллиарды рублей за выслугу лет. Но в то же время мы подчас тасуем работников в учреждениях, как колоду карт. Очевидно, не получила еще подлинного признания мысль, что для роста культуры люди «оседлые», местные, подолгу работающие в одной отрасли, как правило, полезнее, ценнее «кочевников», специалистов на все руки.

У Сасово есть сосед — районный центр Шацк, по численности населения втрое меньший. Он стоит в двадцати километрах от железной дороги, всей промышленности здесь — ликерно-водочный заводик и швейная фабричка. Но за плечами у Шацка четырехсотлетняя история. Жители здесь сравнительно просторно размещаются на унаследованной жилой площади, а школы и учреждения — в солидных каменных зданиях. Бывший уездный городок хорошо распланирован; в центре его — парк с летним театром.

В культурном отношении маленький Шацк может дать фору своему соседу: книжные фонды районной библиотеки богаче, читателей литературных журналов там больше и т. д. И есть более существенный, так сказать синтетический, показатель культурных традиций в Шацке: устойчивость кадров, пополняемых преимущественно за счет коренных жителей. Вот пример: Григорий Георгиевич Тарасов, первый секретарь, работает в шацком райкоме КПСС тринадцатый год, тогда как за это же время в Сасово сменилось много работников. Состав работников шацких учреждений и даже председателей колхозов после 1954 года почти не изменился. Нескольким раз приходилось слышать с гордостью произносимые слова: «Мы — шацкие!» (С удовольствием отмечаю, что за последнее время и в Сасово прекратилась смена руководителей; спустя полтора года я

застал всех моих знакомых на прежних местах).

Нетрудно объяснить, как сложились эти черты маленького города. Еще в до-революционные времена в уездном Шацке были реальное училище, женская гимназия, духовная семинария (и ее не стоит сбрасывать со счетов, кое-кто из преподавателей семинарии пошел затем работать в советскую школу). Располагая кадрами учителей и хорошими школьными помещениями, уездная советская власть в первые же годы революции открыла в городе трудовые школы, педагогическое и сельскохозяйственное училища.

Сегодня в Шацке — сельскохозяйственный техникум, училище механизации, областная культпросветшкола (техникум), не говоря уже о средних школах и школе-интернате. Только недавно ушли на пенсию, но продолжают активно участвовать в культурной жизни города ветераны, воспитавшие поколение нынешних руководящих работников Шацка, например: Фрол Иванович Потапов — первый заведующий наробразом, Елена Васильевна Горская, Леонид Васильевич Лень... Шацк гордится своими земляками-учеными: П. А. Костылевым, И. Г. Сербряковым (преподает в Московском университете). Между прочим, и нынешний энергичный секретарь Сасовского райкома КПСС Н. С. Кабанов — из Шацка.

Сасово же — молодой город. Он еще только создает свои культурные традиции и до сих пор получал кадры преимущественно со стороны. Тем более важно, чтобы молодой специалист, которому только что вручили диплом, равно как и перебравшийся в Сасово пожилой работник с длинным послужным списком сразу почувствовали себя в Сасово дома и навсегда связали бы с ним свою судьбу.

Но для этого мало замостить улицы, зажечь фонари, удлинить линию водопровода, построить, как намечено по семилетнему плану, уже в 1960 году газораздаточную станцию (хотя все это очень важно!). Надо еще чтобы жизнь в городе забила ключом, чтобы, не выезжая из Сасово, горожанин любого возраста — и юноша и пожилой человек — мог удовлетворить свои культурные запросы.

ВЕЧЕРНИЙ ДОСУГ

Весь уклад жизни в Сасово таков, что сразу же после того, как заканчивается работа на фабриках и в учреждениях, горожанину приходится решать нелегкую задачу: как распорядиться ближайшими пятью-шестью часами?

Кинофильмы в Сасово демонстрируются в обоих клубах. Слух об интересной картине немедленно распространяется по городу. Кино по самой своей

природе демократично: новые фильмы идут в Сасово чуть ли не в один день с Рязанью. Кинопрокат получает много картин и уже не «крутит», как в недавние годы, по двадцатому разу все те же, виденные-перевиденные фильмы. За месяц можно посмотреть восемь-девять картин, и если среди них еще много неинтересных, то это — общая беда кинематографа. Есть, правда, одна претензия к кинопрокату: на экраны Сасово не попадают фильмы-спектакли. А где же и демонстрировать их, как ни в небольших городах, переноса зрителей в залы прославленных столичных театров!

Все же несколько свободных часов в неделю сасовец проводит в кино. По пути он старается заглянуть в библиотеку. В читальне железнодорожников, обставленной уютной мебелью, приятно посидеть часок, да и книжные фонды здесь богаче — сказались усилия профсоюзов и хорошая инициатива библиотекаря — Любови Николаевны Прохоровой. Ей удалось объединить актив читателей; члены «литературной комиссии» при библиотеке не только дежурят в читальне, но и пропагандируют книгу в общежитиях, в красных уголках и околотках железнодорожного узла. О читальне Дома культуры не скажешь доброго слова: несколько раз в день она заполняется случайными посетителями, ожидающими начала сеанса в кино.

Подлинное биение пульса культурной жизни города ощущаешь у прилавков библиотечного абонемента. Сюда приходят не только обменять книгу, но и высказать суждение о прочитанном, встретиться с другими книголюбями.

А в Сасово их немало. В каждой из библиотек числится до тысячи абонентов, среди них — несколько сот активных читателей, прочитывающих в год по двадцать — сорок книг. Многие из них не удовлетворяются библиотечными фондами и подбирают в книжной лавке райпотребсоюза личные библиотеки.

Естественно, материальные ресурсы районных библиотек ограничены: — обычно 10-12 тысяч рублей в год на приобретение книг и периодической литературы. Значит, надо наилучшим образом комплектовать библиотеки. Но как этого добиться, когда 60 процентов ассигнований забирает коллектор? Он снабжает сотни «бibtочек» и, конечно, не может знать, какие книги уже стоят на полках каждой из них. К тому же посылки из коллектора приходят редко, книжные новинки поступают в библиотеку района с большим запозданием.

Даже самому квалифицированному читателю в Сасово трудно следить за новинками советской литературы. К сожалению, здесь немногие читают литературные журналы. Индивидуальных подписчиков совсем мало, а библиотеки выписывают толстые журналы лишь в одном экземпляре, да и то 3-4 названия: они не поступают на абонемент, хранят-

ся в читальном зале в особом шкафу. Следовательно, лишь немногие сасовцы следят за публицистикой и литературной критикой, занимающими важное место в «литературно-художественных и общественно-политических» изданиях.

Может быть, поэтому на литературной жизни Сасово, если понимать под этим выбор литературы для чтения и формирование вкуса, лежит печать некоторого «провинциализма». Обидно было видеть, что на полках некоторых личных библиотек сомкнутым строем стоят всевозможные луи буссенары, королевы марго, моль фландерсы и среди них ютятся лишь немногие произведения советской литературы. Досадно, что библиотеки не информируют читателей о новинках, а предпочитают посвящать читательские конференции произведениям, которые давным-давно приобрели устойчивую репутацию в нашем обществе.

Преуменьшать значение подобных вопросов не следует. XXI съезд партии поставил большую цель — дальнейший рост культуры и всестороннее развитие каждого советского человека. Значит, надо повсеместно (в том числе и в Сасово) изо дня в день воспитывать художественный вкус массового читателя, сделать книгу популярной, научиться торговать ею. Не забудем, что контрольные цифры семилетнего плана предусматривают значительное увеличение выпуска книг.

«ЧТО ТАКОЕ КЛУБ?»

Но вот исчерпаны возможности, предоставляемые кино и библиотекой. Дальше пути молодежи и людей зрелого возраста решительно расходятся. Взрослому человеку в клубах г. Сасово делать нечего. У него одна перспектива на вечер — поскучать дома.

В нашей печати не раз поднимался вопрос о том, что в большинстве клубов семейному человеку негде отдохнуть, негде интересно провести свой досуг. В Сасово, где нет Дома учителя, Дома инженера и т. п., эти недостатки клубной работы особенно ошутимы. В Сасово не принято, например, чтобы люди семейные танцевали в общественных местах. Да, кстати, и обстановка для них не подходящая. В Дом культуры вообще неприятно зайти. В фойе часто толкаются шумливые и грубоватые подростки и юноши. Они бранятся, балуются — то сорвут у соседа шапку с головы и играют ею, как футбольным мячом, то шутиво преграждают путь девушке, а иной, бывает, пустит вслед бранное словцо. Разговор у ребят, завсегдатаев клубного фойе, вертится почему-то всегда вокруг «поллитра». Словоцо это слышишь отовсюду, словно лопается хлопущка то в одном, то в другом углу: «...ввалился — в руках пол-литра...», «...хватанули вчера по поллитра на брата...», «...взяли по полтора-

ста с прицепом...», «...пол-литром по голове — хорошо, шапка уберегла». И дальше все в том же духе...

Когда-то Глеб Успенский писал: «Мальчонка... и горя-то он настоящего не видел, а все норовит, тем же следом, в кабак. И пьет он «на спор», «кто больше...» Давно уж мы перестали объяснять пьянство горем, знаем, что истоки его в баловстве, в распушенности, в бескультуре. Что касается сасовских парней, то и денег у них столько не найдется, чтобы часто бражничать. Но в том-то и беда: если в городе живется скучно, досуг не организован, то даже в трезвом виде толкуют о выпивке — «пол-литровое» веселее становится эталоном интересной, разудалой жизни.

В Сасово не жалеют на недостаток клубных помещений. Железнодорожный клуб имеет, помимо главного зала на 1 200 зрителей, еще особый кинозал и большое число комнат. Дом культуры, как и везде, занят пять дней в неделю кинопрокатом, но и он мог бы интереснее организовать клубную работу. Однако оба клуба плохо еще справляются с обслуживанием молодежи, а взрослого человека туда и силой не затащишь.

Правда, работники железнодорожного клуба проявляют инициативу, стараются развлекать молодежь. Они провели свой местный «второй молодежный фестиваль», поговаривают о встрече с журналистами, печатающимися в районной газете, затеяли серию бесед «о вкусе» — в быту, в одежде.

А о вкусе, в особенности художественном, следует поговорить.

Мне пришлось слышать один из концертов художественной самодеятельности. В зале находилось человек триста зрителей. Разговоры и шум ни на минуту не прекращались. Сколько ни взывал к публике ведущий программу, она оставалась равнодушной к исполнителям. И, пожалуй, была по-своему права. Ведь в Сасово, как и повсюду, слушают радио, смотрят кино. Почему же клубный зритель должен довольствоваться безвкусным, развязным, совершенно неквалифицированным исполнением сценок, популярных песенок и танцев? Если исключить хор железнодорожников, то концерт шел на очень невысоком художественном уровне.

Не верится, чтобы Сасово было бедно талантами. Попросту клубу еще не удалось их выявить, привлечь... Снова мы столкнулись с проявлением досадного «провинциализма». В области культуры молодой город щеголяет в одеждах, из которых, в сущности, давно вырос.

Как водится, при сасовских клубах организованы кружки самодеятельности. Однако ежегодно драмкружки готовят лишь по одной пьесе, и каждая из них выдерживает всего 1-2 представления.

Руководители сасовских драмкружков С. А. Ласко и М. С. Киржнерман объясняют длительную работу над каждой пьесой (восемь-десять месяцев) тем,

что она ведется «почти на студийном уровне». Как же случилось, что «студийные спектакли» так плохо приняты сасовскими зрителями? Не правильнее ли предположить, что 246 часов репетиций, падающих на одну пьесу (статистика Дома культуры), существуют только в отчетности?

Я заглянул в известную уже читателю рукопись Веркзубова. Оказывается, в конце двадцатых годов в г. Сасово с его тогдашним населением в десять тысяч человек функционировал любительский «Совтеатр» на 250 мест, дававший в месяц десять спектаклей. Вспомнилось, что в Порхове, в Белебее, в Острогжске и во многих других небольших городках до войны существовали театры, в которых играли почти исключительно любители, не порывавшие связи с производством (но стимулируемые дополнительной оплатой «по маркам» за счет кассового сбора). Эти театры привлекали квалифицированных режиссеров с образованием, с немалым театральным опытом. Любительские театры играли большую роль в культурной жизни города и в то же время способствовали росту широкой театральной самодеятельности.

Рассуждая о проблемах культуры небольшого города, не отмахнешься от организационных форм «самодеятельного» театра. Одно ясно: такой город, как Сасово, должен, наконец, получить практическую возможность пригласить авторитетного режиссера для драмкружков и квалифицированного музыканта для струнного оркестра — до сих пор город имеет только духовую музыку. Недавнее решение о создании в стране первых ста театров народного творчества, опирающихся на самодеятельность, но располагающих квалифицированными кадрами художественных руководителей, открывает перспективы и перед такими небольшими рабочими центрами, как Сасово.

Кстати, о музыке. В Сасово проживает несколько музыкантов — скрипачей, пианистов, певцов, а также преподавателей недавно открытой детской музыкальной школы. Но никто из них не делает попытки пропагандировать серьезную музыку. А почему бы не проигрывать в клубе или в читальне пластинки с записью симфонической музыки и вокальных произведений, сопровождая их короткими пояснениями?

Вот еще несколько недоуменных вопросов.

Почему так узок круг тем читаемых в городе лекций? Обширный отряд сасовских техников, инженеров, студентов, очевидно, с удовольствием прослушал бы квалифицированную беседу о кибернетике или о новостях современной химии. Вероятно, после цикла таких лекций молодые специалисты перестали бы жаловаться, что в маленьком городе они не в состоянии следить за развитием науки.

Почему бы газете «Колхозник», во круг которой группируются одаренные фельетонисты и поэты, — например, Петр

Киселев, Ник. Кузин и другие, — не выпустить в свет собственную, пусть не большую, книжку произведений своих авторов?

Почему бы не объявить городской конкурс на лучшую личную библиотеку?

Наконец, почему бы не открыть (на базе одного из клубов) Дом специалиста, — он не потребует особых затрат, если его организаторы сумеют опереться на общественную инициативу различных отрядов сасовской интеллигенции (педагогов, врачей, инженеров, краеведов, журналистов, музыкантов и т. д.)?

На все многочисленные «почему?», рассеянные в тексте, приходится ответить так. К сожалению, в небольших городах, подобных Сасово, не в обычае выходить из привычных рамок трафаретных клубных «мероприятий». Планы клубов составляются в расчете на какого-то, давно уже исчезнувшего «массового» слушателя, стоящего на уровне знаний и вкуса человека, только что окончившего ликбез. Но разве такой слушатель или зритель типичен для современного Сасово, где насчитывается 500 дипломированных специалистов, 1 800 студентов, 2 000 читателей библиотек?

Задумаемся над одним, как мне кажется, неоправданным противоречием. Бюджеты народного образования и здравоохранения глубоко демократичны в том смысле, что на жителя малого и большого города падают примерно равные затраты. Напротив, в ведомстве культуры (библиотеки, клубы, самодеятельность, музеи, выставки и т. д.) объем работы зависит, главным образом, от средств крупных промышленных предприятий, расположенных в городе.

Да, в малых городах не дымят трубы заводов-гигантов, нет своих институтов, масштабы во всем мельче, чем в областных центрах, и материальная база — беднее. Но и эти города населены добрыми советскими гражданами. Они желают — и имеют на то право! — жить так же культурно, как и население промышленных городов.

Тут и следует брать пример с организации школьного дела в нашей стране. Программы средних школ повсюду одинаковы; орфографическая ошибка или нечеткое доказательство теоремы механически снижают балл выпускнику школы в Рязани, как и в Сасово или в селе Забродино. Практически это стало возможным благодаря тому, что в малых и крупных городах состав педагогов примерно одинаков — по образованию, по практическому опыту, и о п л а ч и в а ю т с я они равно. По такому же пути мы должны пойти и во всех областях «внешкольной» культуры. Руководить ею должны не недоучки и всяческие неудачники на иных жизненных поприщах (как это нередко наблюдается), а образованные, инициативные работники, специалисты и, главное, подлинно культурные, интеллигентные люди с хорошо развитым художественным вкусом. Да и кому же еще, кроме таких работников, под силу организовать досуг (не забудем о предстоящем переходе на 7-часовой рабочий день!), повести за собой современных жителей советских городов в мир искусства и науки! Почти у каждого горожанина за плечами теперь средняя школа, а то и техникум, богатый жизненный опыт, каждый сумеет сравнить то, что предлагает местный клуб, ну хотя бы с тем, что он ежедневно слушает по радио, видит в кино и по телевизору.

Семилетний план предоставляет материальные возможности подтянуть «бюджет культуры», тем более что создаваемые повсеместно народные театры обеспечат приток хозрасчетных средств.

* * *

Все сказанное, конечно, имеет прямое отношение и к нашему городку под Рязанью.

Все здесь станет на место, когда окончательно укрепится мысль, что Сасово не только административный центр сельскохозяйственного района, но к тому же город с развивающейся промышленностью и своими значительными кадрами специалистов, интеллигенции.

Анна Караваяева

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О АЛЕКСАНДРЕ ФАДЕЕВЕ

...Много лет назад, когда ни о каких воспоминаниях я не думала, доводилось слышать мнение, будто мемуары — это коллекция «интимных» подробностей из жизни знаменитого человека. Приходилось нам и читать такого рода «интимные» воспоминания и публикации, например, о выдающихся советских поэтах. Не имея возможности в пределах данной темы останавливаться на такого рода мемуарной литературе, скажу только: очень горестно и обидно было читать эти «одомашненные» воспоминания о дорогих советской литературе талантах! Как на дне перевернутого бинокля, видятся нам в них крошечные фигурки, окруженные столь же мелкой бытовой суетой. Родные, домашние, друзья дома живописуют бытие ушедшего как некое духовное творение, принадлежащее прежде всего им, родным, друзьям, знакомым, которые якобы лучше и тоньше, чем кто бы то ни было в целом свете, знают и понимают его. И главную ценность ушедшего эти домашние «воспоминатели» видят, пожалуй, в том, что он жил среди них и принадлежал им.

Жизнь, как известно, опровергает все эти произвольные суждения. Тот, чье творчество внесло свой большой вклад в духовное бытие родного народа, принадлежит не только его семье и близким, но и всему обществу. Все созданное им уже обладает своей самостоятельной жизнью, которая может продолжаться века, перешагнув все временные рубежи, поставленные перед человеком природой. В этом вторичном бытии в духовной сокровищнице родной культуры и заключается непреходящая ценность ушедшей жизни человека.

* * *

Впервые я встретила А. А. Фадеева летом 1927 года в Москве в Доме Герцена.

Во всем его облике, в манере держаться чувствовалась привычная подтянутость военного человека — в те первые годы после гражданской войны эта черта отличала многих недавних командиров и бойцов Красной Армии. Черная «кавказская» рубашка с высоким воротником (несмотря на летнюю жару!), узкий кожаный пояс с серебряными насечками, отлично подогнанные военные сапоги будто подчеркивали: да, пусть другие носят красивые галстуки и модные костюмы, а вот мне приятна эта строгая полувоенная одежда.

Лицо его, почти юное, было так худощаво, что на запавших ямками щеках тончайшим дымком темнела тень, когда он поворачивал голову. Русые волосы лежали неровно и даже слегка торчали, как мягкие иглы; он частенько прочесывал их худой, стройной рукой. Это впечатление свойственной ему юношеской стройности не нарушали, а как бы подчеркивали забавно, по-мальчишески торчащие уши и большой рот, который казался слишком тонкогубым и будто врезался в его впалые щеки.

Вот что-то рассмешило его, и быстро, совсем юношеская улыбка, обнажив белую подковку зубов, осветила лицо; голубоватые глаза весело заискрились. Смеялся он почти по-детски, слегка захлебываясь и чуть откидываясь назад; было в этом негромком смехе что-то задумчивое, приятно-заразительное, и наверно потому так, содружно с ним смеялись его собеседники. О чем шел у них

разговор в тени раскидистых старых деревьев, мне было не слышно. Зато совершенно очевидным казалось мне, что все здесь знали его, что многие нуждались в нем, искали случая поговорить с ним — и вот, конечно, очень довольны, что застали его здесь.

Мы познакомились. Фадеев расспрашивал, над чем я теперь работаю (в то время я заканчивала роман «Лесозавод»), поинтересовался моей семьей, а о детях моих (которые уже начали ходить в школу), сказал убежденным тоном, что не только для сердца матери, но и для творческого настроения писателя «ребятишки, конечно, значат бесконечно много». Потом, выслушав в ответ на его вопросы мои впечатления об Алтае и других знакомых мне местах Сибири, Александр Александрович заметил: да, Сибирь громадна и чрезвычайна разнообразна. Его юность прошла на Дальнем Востоке. Тут я вслух вспомнила о многих картинах природы, об очень характерных чертах жизни и даже мелких подробностях в его романе «Разгром», которые показывают: жизнь и природа Дальневосточного края не только хорошо знакомы, но глубоко, органично пережиты автором. Я стала расспрашивать его о Дальнем Востоке, который знала прежде всего по книгам В. К. Арсеньева. Теперь, много лет спустя, уже невозможно точно восстановить в памяти тот сказый, но красочный рассказ Фадеева о Дальнем Востоке. Но до сих пор помнится общий его колорит и настроение какой-то романтической озаренности, которые возбуждал в сознании этот живой рассказ молодого писателя о пережитом.

Потом я рассказала, как горячо обсуждают роман «Разгром» в знакомой мне комсомольской среде, как характерно совпадение впечатлений и мыслей разных людей о героях романа — Левинсоне, Метелице, Морозке, Вакланове... Слушая высказывания нашей совпартшкольной молодежи о романе, заключила я, очень ясно и конкретно представляешь себе, как помогает это произведение формированию мировоззрения.

Фадеев, слушавший до этой минуты с молчаливым вниманием, вдруг переспросил:

— Мировоззрение?

Я повторила уже сказанное, а он, заметив мое удивление, с доброй улыбкой, чуть лукаво помаргивая, пояснил:

— Мне тем более приятно слышать это слово, что в нашей литературной среде есть люди, отвергающие это понятие.

— Как же можно отвергать проблемы мировоззрения, — снова удивилась я, — когда сама жизнь толкает миллионы самых обыкновенных людей размышлять о ней — и, следовательно, вырабатывать в себе новое мировоззрение, о котором, кстати вспомнить, они до нашей советской эпохи даже и не знали, что это такое.

— Значит, от жизни это идет, а не только от нас!.. — сказал Фадеев, посмеи-

ваясь, уже с нотками торжествующей иронии. К кому-то было обращено это торжество, но Фадеев никого не назвал — возможно потому, что я не знала тогда людей, вызвавших его ироническое замечание.

Помню, потом мы шагали по Тверской последних лет нэпа. Двухэтажные, реже трехэтажные дома, большей частью старые, показывали свои обветшалые фасады со следами былых архитектурных красот — рококо, ампира или чухлого модерна, который только начал было преуспевать в частновладельческой архитектуре да тут и кончился. Фасады, голубые, желтые, зеленые, розовые, пестрели вразнобой вывесками магазинов, магазинчиков, кафе, ларьков. Среди мелкой и крикливой суеты нэпа солидно выделялись государственные магазины с большими вывесками «Моссельпром» и «Мосторг». Зазывания разносчиков сливались с частыми звонками трамвая, который тогда еще ходил по Тверской. По сравнению с Невским в Ленинграде, наша тогдашняя Тверская была низкорослой, довольно неряшливой улицей. Только кое-где радовали глаз, например, прекрасное своими благородными пропорциями, тогда еще двухэтажное здание Моссовета, более века назад выстроенное великим русским зодчим Матвеем Казаковым, площадь напротив Моссовета с высоким обелиском на месте нынешнего памятника Юрию Долгорукому, памятник Пушкину...

Как давно привычна и мила нашим глазам прекрасная кремлевская площадь, которая еще издали открывается нашему взору в проходе между Музеем В. И. Ленина и Историческим музеем. А в те годы этого прохода не было, он был забит неуклюжей, закопченной свечами Иверской часовней. Осененная ее синим, заляпанным звездами конусообразным куполом, вокруг стен, икон, дымных огоньков свеч и лампад гомонила толпа богомолков, хрилоголосых певчих, нищих.

Мы на минутку приостановились, наблюдая уличное зрелище, оставшееся от старой Москвы. Фадеев посмотрел на Иверскую беглым, холодно-сощуренным взглядом.

— Хватит им тут кадить, — усмехнулся он, — скоро начнется реконструкция Москвы и одним из первых рухнет это капище... И этому закоулку тоже придет конец, — сказал он тем же насмешливо-решительным тоном, когда мы подошли к потемневшему и облезлому зданию Лоскутной гостиницы, которая находилась тогда на нынешней просторной Манежной площади.

Тогда же я поделилась с Фадеевым одной своей заботой. Дело было вот в чем.

В начале весны 1925 года я получила письмо из Москвы, от редактора журнала «Красная новь» А. К. Воронского. Я до сих пор отлично помню содержание письма и дружескую теплоту его тона, что было очень важно и приятно для ме-

ня, тогда молодого автора. Очень растрогали молодого литератора также и вопросы: над чем автор сейчас работает и что может предложить журналу в ближайшее время. Письмо закончилось приглашением обязательно побывать в редакции журнала, когда буду в Москве.

Легко себе представить, с каким восторгом отвечал молодой литератор на это доброжелательное письмо редактора одного из самых популярных в те годы журналов. Немного времени спустя я побывала в редакции журнала «Красная новь».

В редакции мне все понравилось: просто, скромно и как-то приятно-деловито. Очень приветливо принял меня Василий Васильевич Казин, а вскоре появился сам Воронский. Он встретил меня крепким рукопожатием, много расспрашивал о Сибири, о Поволжье, о «славном городе Ульяновске», где я в ту пору жила. Мне были чрезвычайно приятны его отзывы о журнале «Сибирские огни» и о писателях-сибиряках. Живо и непринужденно шла наша беседа. Правда, были в его словах какие-то непонятные мне тогда выпады, но они настолько не соответствовали моему настроению, что мне казалось: до этого мне, право, никакого дела нет. Запомнилось только, что он, называя каких-то людей, одних уменьшительными именами, а других — прозвищами, с сердитой иронией обвинял их в разных грехах. Он, Воронский, хотел бы объединить писателей вокруг журнала, пусть бы каждый чувствовал себя свободно, легко, во всей непосредственности творческого бытия и с той детской полнотой восприятия мира, какой он обладает, и т. д. А вот есть люди, которые критикуют эти принципы объединения и стремятся, напротив, разъединять писателей и осложнить обстановку своими декларациями и пристрастной критикой...

Я не знала, о ком идет речь, и потому не могла понять, почему лицо Воронского стало сумрачным, а в голосе его зазвучали ирония и недовольство. Мое приподнятое настроение в тот прекрасный весенний день отвлекало меня от всяких иных поворотов в беседе. Разговор вскоре перешел на прежние рельсы, чтобы закончиться столь же приятным образом, как и начался.

В цепь приятных впечатлений, связанных с журналом «Красная новь», без труда попало письмо, полученное мною в конце 1925 года. Написал его писатель, кого я знала по произведениям, но лично не была с ним знакома. Он писал, что при журнале «Красная новь» организовано творческое объединение писателей, горячо преданных реализму, живописности, сюжетности и отражающих в своих произведениях жизнь рабочих и крестьян, бытие широких трудовых масс. Писатели-«красноновцы», заключал он свое обращение, будут единодушно приветствовать мое вступление в это творческое содружество.

Я подумала: а почему бы, в самом деле, не вступить мне в это содружество? Да, меня больше всего влечет к себе жизнь трудового народа и реализм, современный, действенный, с неустанными поисками ясной целеустремленности, живописности, широты и сюжетности. Пожалуй, можно вступить в это содружество.

Одно вызвало у меня недоумение — странное название новой организации: «Перевал». Что это означает? А когда в 1926 году на страницах журнала «Красная новь» появилась «программа» новой творческой организации, я уже ясно поняла, что ошибочно вступила в литературную организацию, чуждую моим убеждениям.

Мне вспоминались отдельные высказывания и их тональность в устах Воронского в тот весенний день, когда я слушала их так невнимательно. Теперь мне стало совершенно ясно, что эта, как я ее прозвала, «внешне рабоче-крестьянская» декларация направлена по сути дела против пролетарских писателей: А. С. Серафимовича, А. А. Фадеева, Демьяна Бедного и других, чье творчество я глубоко ценила. И моя фамилия в числе прочих стояла под документом, подлинная сущность которого открылась мне только после того, как он появился в печати.

Осуждающие эту декларацию высказывания марксистской критики не только горячо поддерживались мной, но и пробуждали во мне мысли и вопросы, которых не было раньше. Оказывалось, я почти ничего не знала о том, что бытие молодой советской литературы включает в себя и теоретические споры, борьбу за партийность, за отражение в художественных образах новой, революционной действительности.

Пока шел рассказ о моих переживаниях менее чем двухлетней давности, выражение лица Фадеева все время менялось. Как ни была я взволнована, эта смена выражений лица моего слушателя не могла оставаться незамеченной уже и потому, что по-своему ободряюще действовала на меня.

Фадеевское умение слушать, как я убедилась с той первой, такой памятной встречи, шло не от обстоятельств, а от самой его личности. В светлых глазах его то мелькала ироническая усмешка, то явная досада, то большой рот мальчишеского склада вдруг забавно сжимался, что-то смешало его. Его внимание, способность вслушиваться и вдумываться в сущность дел и забот другого проявлялись и в особой сосредоточенности взгляда.

Я приступила с расспросами: куда надо обратиться и как надо написать, что я выхожу из литгруппы при журнале «Красная новь» и вступаю в РАПП.

Фадеев сказал, что мое заявление по этому поводу может быть напечатано в журнале «На литературном посту».

— Но учти...— и предостерегающе кивнул мне,— учти, что это заявление тебе так просто не пройдет. Почему? Видишь ли, здесь будут действовать свои причины и особенности, которые встречаются только среди людей искусства. Ведь более редимых людей, чем они, пожалуй, не найдешь. Представь себе, что ты почувствовала бы, если бы твоих детишек стали называть уродами... Верно ведь, обидно? А в искусстве еще глубже: тут уже не только рожденное, а созданное, сотворенное... и, может быть, даже «на века», ого!.. И вот при журнале «Красная новь» объединилась группа таких творцов «на века», а ты своим выходом из этой группы, конечно, нанесешь ей известный моральный урон. Твоя связь с журналом, так успешно начавшаяся, наверняка порвется, печатать там тебя не захотят. Те, кто обидят и даже возненавидят тебя, потом всегда найдут повод тебе «припомнить»... Известно, что в литературе умеют «припоминать» зло тонко и остроумно, а следовательно — и особенно больно: где ударят, а где и кольнут мимоходом — все доведется испытать,— и Фадеев снова серьезно и, как мне показалось, предостерегающе усмехнулся.

Я полушутя спросила, уж не собирается ли он отговаривать меня от якобы «рискованного» шага.

— Нет, дело не в этом,— сказал Фадеев с медлительной серьезностью, как бы подчеркивая нечто новое и важное, что мне следовало узнать.— Мне хочется дать тебе дружеский совет на будущее. Ты так решительно настроена в защиту партийности в литературе, что хочешь немедленно разминуться с инакомыслящими,— это хорошо, полезно для дела. Но вот ты сначала так легко поверила, будто бы у них то же самое мировоззрение, что у тебя,— это уже идет от прекрасодушия!.. Этому чувству, как известно, очень свойственно видеть людей и обстоятельства в несколько улучшенном виде и, значит, как бы снимать трудности и противоречия...

Далее, в качестве примера внешней «правильности», он привел «рабоче-крестьянскую» часть программы «Перевала» и клятву творить во имя реализма. Но как показывать этих новых героев жизни, выдвинутых историей? Какие новые задачи поставила наша история перед каждым писателем-реалистом? Какие стороны духовного бытия героев из гущи народной жизни и какие их дела, поступки и стремления отбирает и обобщает художник как самые решающие, характерные своей неповторимостью, которую открыла наша революционная эпоха? Об этом ничего в программе не сказано. А ведь самые глубокие идейные истоки нового художественного выражения рождаются мировоззрением художника, его принципиальным отношением к действительности. О нашей эпохе невозможно писать правдиво, надеясь только на свою

натренированную руку или на старые запасы наблюдений.

Он заговорил о том, что прекрасодушие часто — следствие незнания, в данном случае незнания литературной обстановки. И начал рассказывать...

Мы шли вдоль набережной Москвы-реки. От кремлевских стен и башен уже веяло предвечерней прохладой. В те годы Москва-река еще не была обрамлена новыми набережными, к которым мы привыкли теперь. Не было тогда еще в обычае сажать в городе взрослые деревья, не было ныне столь привычных нашему глазу белых речных трамваев... Но и тогда, без многих зримых дополнений, внесенных градостроительством первых пятилеток, здесь все казалось прекрасным.

Мощные кремлевские башни с высокими черепичными кровлями, прочнейшей кладки стены с каменным кружевом зубцов, сквозь которые гляделось розовеющее небо,— вся эта исконно-русская, в веках сохраненная краса так торжественно-свободно устремлялась ввысь, что казалось, сама бессмертная душа великого города открывается здесь каждому, любящему его.

Несомненно, Фадееву тоже были близки и милы эти места. Мы шагали по набережной из конца в конец. Временами он приостанавливался у парапета. Ветерок поднимал его русые волосы, чистый лоб его казался выше и шире; в голубых глазах, устремленных куда-то вдаль, к серебристому мареву над рекой, появлялось выражение глубокой и деятельной задумчивости.

Все, что он говорил, было бы трудно записать даже по свежим следам. Это было размышление вслух, с отступлениями в сторону, с остановками и подчеркиваниями, с неожиданными сравнениями и оттенками. С другой стороны, эти рассуждения ничем не напоминали какой-либо экспромт с произвольной игрой настроения под влиянием минуты и преходящих обстоятельств. Напротив, все его высказывания поражали своей четкой определенностью и ясной силой убеждения. В авторе «Разгрома» мне вдруг открылся критик, очень вдумчивый, серьезный, с философским строем мышления и глубокой любовью к советской литературе. Мне думалось: если бы все критики так чувствовали и знали нашу литературу, как Александр Фадеев!

В высказываниях Фадеева я как бы увидела картину бытия советской литературы, ее поколений, жизненно и философски разноликих, с неизбежными противоречиями и сложностями, с идейной борьбой и группировками.

Так как в то время у меня еще не было непосредственных впечатлений от литературно-общественной жизни, я спросила, не скрывая иронии, о странной платформе, например, группы «Серапионовы братья» (деятельность ее к опи-сываемому времени уже сошла на нет).

Статьи Льва Лунца, которые мне довелось прочесть, возмущали беспросветной бравадой буржуазного индивидуалиста. Едва перешагнув двадцатилетний рубеж своей жизни и закончив университет, этот зеленый юноша, еще не обладающий опытом жизни, вдруг выскочил, как куколка-пауч из игрушечного ящика,— и вот «теоретик» готов. И как задешево обратился он в «идеолога»! На земле, где пронеслась буря величайшей в истории революции, где отовсюду бьют родники народного жизнетворчества и идет борьба за эти новые начала,— вдруг зеленый юнец выкрикнул свой лозунг: уйдем в пустыню, назовемся Серапионовыми братьями — какая дикая несообразность! И как же мне было досадно в свое время узнать, что люди, во сто крат больше, чем он, богатые опытом жизни, талантливые писатели, оказались словно завороченными этим приглашением попятиться на сто лет назад. И они, замечательные художники слова, согласились признать «идеологом» группы человека, который только для того и старался, чтобы при помощи мертвой гофманиады оторвать их творчество от живой современности, от народа?.. Как же, как могло это произойти? Как мог в нашу, советскую эпоху — хотя бы и недолго! — влясть на умы этот отпрыск буржуазного декадентства?

Фадеев, терпеливо слушавший мои филиппики, в этом месте спокойно прервал меня. В духовном бытии нашего советского общества, конечно, нет почвы для развития декадентства, говорил он. Однако не следует думать, что вместе с появлением новой, советской литературы, как лужа на солнце, испарятся отголоски декадентско-мистических, эстетско-формалистических и прочих реакционных течений предреволюционной русской литературы. Ведь подличая перед самодержавием и капитализмом, ненавидя революцию, декаденты изображали из себя неподкупных ревнителей «заветного мира искусства», творческой специфики. Пусть, мол, что угодно происходит за пределами этого заповедного мира, уж он-то останется неизменным, в нем-то, дескать, и заключается некая наивысшая свобода духа, в которой — главный смысл бытия. Интеллигенты, не разобравшиеся до конца в смысле и направленности общественных событий, легко попадались в декадентские сети.

Известно, что декадентство со всеми своими личинами, маскарадами, подбоями, школками и течениями успело все-таки набросать немало мусора в память особо нервных сынов нашего века!.. Его реакционная сущность не всеми и не сразу была разгадана, зато довольно легко воспринимались утверждения, что внутренний мир каждого художника — единственный в своем роде; неповторимость же со всеми ее красками и возможностями может развиваться, мол, лишь на зыбкой основе полной отрешен-

ности писателя от жизни, общества, что называлось на их языке «свободой художника».

— Вот кое-кто и задумывался, не поступиться бы, не потерять бы, мол, эту неповторимую свободу! — усмехнулся Фадеев. — Какое, дескать, мне дело до исторических перемен и закономерностей? Напротив, чем меньше меня это будет касаться, тем, мол, я буду сильнее... хо, хо!

В коротком смехе его прозвучали презрительные нотки.

— Вот, например, пребывает в советской литературе Андрей Белый — один из последних символистских «бонз», мистик и философ идеализма. Всю жизнь он только и делал, что повторял в своих книгах черные измышления русской реакции и следовал ее «курсу» клеветы на рабочий класс, на революцию... и поди ж ты, все время, окруженный целыми заграждениями мракобесия, ощущал себя... «свободным»!.. Человек этот — продолжал Фадеев, — еще не так стар, ему что-то около пятидесяти, а он уже кажется физически и духовно таким немощным, будто он неоправимо изжил себя и притоков жизненных ему взять абсолютно негде. А недавно один товарищ так передал свое впечатление от беседы с Андреем Белым: «Знаешь, он живет словно во сне...» Это в наше-то время — «во сне»! — и Фадеев расхохотался, по-мальчишески увлеченно встряхивая головой. Насмешливое выражение лица, однако, тут же сменилось серьезностью, а во взгляде читалось глубокое и зоркое раздумье. Не следует, конечно, впечатления, внушенные Андреем Белым, обобщать. Сроки познания новых явлений действительности бесконечно разнообразны. Есть мелкодонные талантики, которые, усвоив для себя некий, скажем, мистико-формалистский угол зрения, уже не в силах выйти из своего закутка на широкую дорогу. Случается, и большой, сильный талант по пути своего развития попадает в зыбкие болота, иссушающие пески, или в скверную непогодь разных модных и преходящих течений в искусстве. Но самой природе сильного и богатого таланта свойственно стремление дышать свежим воздухом и настойчиво искать широкую дорогу. Вот наш современник увидел эту широкую, прямую дорогу... — и Фадеев, словно примериваясь к раскинувшемуся простору, приостановился и по-хозяйски задумчиво прищурился. — «Да, да, здорово! — говорит сильный и прекрасный талант. Но разрешите, пожалуйста, взглядеться, вдуматься...» Пожалуйста, вдумывайся! Мы — коммунисты, и твои собраты по перу — всегда готовы помочь тебе! — Каждая черточка худого, угловатого лица Фадеева засияла такой доброй и щедрой улыбкой, что почувдилось: это выражение и всей души его, богатой, открытой людям. — Писатель ведь не только чисто логически, но и разносторонне-образно

стремится себе представить огромные вопросы современности,— продолжал Фадеев. Сколько жгучих и глубоких проблем он должен пропустить сквозь себя, чтобы понять и полюбить! Когда в сознании писателя происходит этот глубинный и животворный процесс, каждый собрат его долгом своей совести считает всячески помогать товарищу в этом задушевном деле. Уж кто-кто, а писатели должны помнить сердечные слова В. И. Ленина, что талант — редкость, что его надо поддерживать. А это значит: понимать характер и своеобразие таланта, истоки его вдохновения, ценить сильные его черты и проявлять терпимость к неизбежным слабостям, противоречиям, трудностям в поисках верного, социалистического пути. Перед писателями и поэтами, творчество которых мы так единодушно ценим и любим, все шире открываются новые дали роста и побед. Вот в чем главное. И до чего радостно бывает отмечать, как решительно они сбрасывают с себя все случайные и преходящие влияния отжившей «моды»!..

Несмотря на молодость Фадеева, чувствовалась в нем давний и страстный пропагандист, привыкший помогать людям, подталкивать их мысль. На литературные темы он, видно было по всему, особенно любил говорить. И сколько теплоты и даже нежности звучало в его молодом голосе, когда он произносил имена писателей, особенно дорогих ему!

Прошли годы. Много раз потом вспоминался этот первый разговор с Александром Александровичем: как ясно предвидел он прекрасное будущее тех писателей, донныне здравствующих и обогативших советскую литературу выдающимися, эпохальными произведениями.

Знают ли они о том, как тонко он понимает и ценит их, тем более что они ведь не члены РАППа? Первую часть моего вопроса Фадеев как бы опустил, а насчет нечленства в РАППе кратко ответил: приверженность к определенному творческому коллективу еще не полностью объясняет писателя. Не вечно же будут существовать группировки в советской литературе.

Говоря кратко, но метко о творчестве разных писателей, Фадеев обязательно подчеркивал сильные и прекрасные стороны их таланта, отличительные свойства языка, его красок, тональности, смыслового звучания, удачно и верно схваченные черты нашей советской эпохи в их произведениях — и, удивительно, как точно и увлеченно он говорил об этом, как много знал, помнил. И что еще было необычайно привлекательным в этих экскурсах — горячий интерес и забота о действительности работы всей советской литературы.

За плечами Александра Фадеева не было и тридцати лет, все в нем искрилось недавней боевой юностью, здоровьем, жизнелюбивой уверенностью в буду-

щем, широтой духовных интересов и какой-то, так и хотелось сказать, просторной и неиссякаемой жаждой познания. Мысли и настроения, выражаемые им вслух, казались мне гораздо старше его возраста. Его духовная личность, раскрывавшаяся так щедро и просто, была больше и значительнее его внешнего облика.

Наверное, мои попутные размышления как-то отразились на лице, потому что Фадеев вдруг спросил:

— Ты о чем-то задумалась? Устала?

Да разве можно «устать» от такой беседы, горячо возражала я. С двадцать второго года участвуя в литературном движении в Сибири и потом в Поволжье, я, как и другие молодые начинающие авторы, знала еще мало конкретного о жизни большой литературы. Нашим литературным беседам и спорам, так сказать, в глубине России, сильно недоставало не только знаний, но и глубокого, даже философского понимания сложностей и противоречий в развитии советской литературы,— и это, конечно, не давало простора нашим мыслям.

И вот мне посчастливилось познакомиться с Фадеевым именно теперь, когда столько творческих запросов, мечтаний и планов теснится в голове..

«Какой хороший, какой богатый день был сегодня!» — думалось мне, пока я поднималась по лестнице доживающей свой век Лоскутки. Потом мне подумалось, что в состоянии счастливой душевной наполненности обязательно присутствует радость познания людей: ведь я сегодня познакомилась с человеком большого таланта, сильного, светлого нравственного облика.

На следующий день у меня еще оставалось достаточно времени, чтобы до поезда заехать в Дом Гетцена. В небольшой комнате журнала «На литературном посту» находился один из молодых критиков (донныне здравствующий), который и принял от меня письмо в редакцию о моем выходе из группы «Перевал» и вступлении в РАПП.

* * *

Летом 1928 года как член правления РАППа я была вызвана в Москву: началась новая полоса моей жизни. Мне представлялось, что моя творческая работа теперь будет постоянно обогащаться новыми мыслями и литературно-общественным опытом. Но чем дальше, тем сильнее укреплялось во мне убеждение, что множество заседаний и совещаний, в которых мне довелось участвовать, сводились к нескончаемым рассуждениям по организационным вопросам. Часто с досадой думалось, что многие наши рапповские собрания похожи на какую-то комиссию, разбирающую нескончаемые столкновения и споры между разными литературными группировками. Некоторые товарищи и сами признавали, что

организационные вопросы поглощают слишком много времени и внимания, но все оставалось по-прежнему. Неужели осмысление развития советской литературы обязательно должно быть связано с этой непрестанной организационной проверкой: кто, с кем и против кого?

Так, иронически стилизуя свои многодневные впечатления, однажды осенним днем 1929 года я поделилась с Александром Александровичем своими сомнениями. В мои сибирские времена, вспоминала я, когда мы, молодые литераторы, собирались в нашем скромном барнаульском Лито, работа у нас шла гораздо интереснее. Нас главным образом занимали проблемы творческой работы и пропаганда лучших произведений советской прозы и поэзии. Теперь круг этих новых талантливых произведений становится все шире, в литературе происходят глубокие идейные и художественные сдвиги и поиски... Но серьезного стремления к изучению этих явлений в нашей рапповской практике не видно. Массовая организация пролетарских писателей обязательно должна разъяснять и разоблачать враждебную сущность, например такой кулацкой поэзии, как цветистый «фольклор» Клычкова и Клюева,— чего эти двое стоят? Заботы общелитературные так и подступают к нам, а мы уже слишком самоулубляемся в свою историю и свои традиции.

— Пройдет каких-нибудь десять лет... и наша литературная жизнь так значительно изменится, что о многом волнуящем нас сегодня мы тогда, возможно, и вспоминать не будем,— сказал мне Фадеев. Потом, согласившись с рядом моих замечаний, он перебрал разные недостатки рапповской работы, уже не помню теперь, кое-что даже резко высмеял.

Все главное — партийность нашей литературы, проблемы художественного мастерства, поиски стиля, массовость литературного движения, его связи с жизнью нашего общества — все это мне дорого, все это я горячо поддерживаю, продолжала я наш разговор. Но некоторые лозунги РАППа (я сказала какие) кажутся мне случайными, скороспелыми и даже рискованными по отношению ко многим талантливым, хорошим писателям, которые не состоят в РАППе. Когда я попыталась говорить на эту тему с некоторыми членами правления (я назвала фамилии), они мне ответили, что я просто не понимаю теоретического обоснования этих лозунгов. Мое мнение, что обращение с марксистской теорией у них легкое, даже произвольное. Да и обращение их с людьми, с членами своей же творческой организации легко переходит в нетерпимость и властную непререкаемость, смысл которой: не тебе, мол, это постигнуть и тем более решать.

Я, насколько помню, так вспылала, что даже кое-какие моменты беседы изобразила в лицах, например, знакомый всем литераторам тех лет «тигриный»

взгляд одного из моих собеседников. Этот «тигриный» взгляд (уже не помню, кто его так окрестил), не сулил ничего хорошего тому, кто вызывал его гневные искры. Изобразив и другого собеседника с его характерными приметам, я вдруг спохватилась — не слишком ли... и тут же услышала, как Фадеев смеется. Закинув голову с забавно качающимися хохолками русых волос, он заливался негромким теноровым смехом, с легкой приятной хрипотцой, как бывает у детей в минуты увлечения. Отсмеявшись и пригладив ладонью волосы, он обратил ко мне уже серьезное лицо и заговорил мягко, но с оттенком некоторой строгости.

Да, какие-то лозунги по отношению к хорошим писателям, не входящим в РАПП, кажутся спорными, непродуманными и случайными,— возможно, есть и такие, но едва ли долго они удержатся в литературе. И нельзя огорчаться тем, что среди членов «ведущей литературной организации» существуют отдельные разногласия. Ведь наряду с особой душевной ранимостью, может быть, нигде не найдешь таких споров и такого упрямого отстаивания порой даже мнимых духовных «ценностей», как в искусстве. И, пожалуй, только в искусстве завязываются иногда самые противоречивые связи и возникают отталкивания по самому неожиданному поводу. Что же, выходит, решить бы все разом, избавиться бы от всех сложностей и противоречий? А они ведь не только в окружающей нас обстановке, но и в разнообразии творческих натур...

Мы прошлись несколько раз от ворот Дома Герцена до угла Растроганная, я спросила Александра Александровича: наверно, и другие вот так же приходят к нему «исповедоваться» и просить совета? — Бывает,— ответил он, мягко усмехнувшись.

А бывало это бесчисленное множество раз. С годами все усугублялась эта особая фадеевская открытость души, щедрая отдача всего его духовного существа большому сложному делу советской литературы.

И, конечно, учителем и примером для Фадеева был в этом великий Горький. Помню, летом 1928 года миг торжественно-взволнованного молчания, когда высокая фигура Горького, только что приехавшего в СССР, появилась в глубине эстрады нашего зала заседаний в особняке, который, по преданию, Лев Толстой описал в своей эпопее «Война и мир».

Едва Горький приблизился к столу, накрытому красной бархатной скатертью, за которым стоя встретили его члены президиума собрания, переполненный зал словно содрогнулся от грома рукоплесканий. Горький поклонился всем и сделал рукой знак, как бы показывая, что благодарит, тронут встречей, но, давай-те, мол, товарищи, приступим к делу. Аплодисменты разразились с новой

силой. Фадеев стоял у правой кулисы, как раз на одной линии с трибуной, где стоял Горький, и аплодировал ему с яростной и веселой страстью. Из-под сильных молодых его ладоней взрывались звонкие и четкие хлопки, похожие на легкие удары веселого вешнего грома.

Пока Горький говорил, Фадеев смотрел на него неотрывно, словно впитывая в себя каждое слово и всецело отдаваясь новым, не испытанным ранее впечатлениям — видеть, слышать великого писателя, живого классика. Казалось, радость видеть и слышать Горького еще сильнее оживляла напряженную работу его мысли. Она читалась в блеске его глаз и в той сдержанно-строгой смене выражения лица, когда человек беспредельно занят осознанием чего-то бесконечно важного, многогранно значимого. Оно и к нему имело самое близкое отношение и было ему так же необходимо и дорого, как, например, сияние прекрасного летнего дня за окнами нашего зала.

Глубокою душевную отдачу Фадеева впечатлениям встречи с Горьким я особенно ощущала еще и через сравнение его облика в те часы с обликом одного из членов президиума. Этого человека, правду сказать, я не любила, боялась и старалась не иметь с ним никаких дел. Его самонадеянная привычка мнить себя непогрешимым «политиком» от литературы, а отсюда и его манера властно и непрерываемо судить о творчестве разных писателей; его явная неспособность к подлинному анализу художественного произведения, как правило, прикрытая конъюнктурными формулировками, — все это заставляло многих писателей (в том числе и рапповцев) опасаться его. Верный своей расчетливой энергии, он выбрал себе место за столом ближе к трибуне. При повороте влево Горький неминуемо встречал лысую, рано оголившуюся голову и устремленный на него «тигриный» взгляд больших темно-карих глаз, блестящих, как полированные стекло, — их-то Горький, конечно, должен запомнить...

Когда собрание уже начало расходиться, я спросила Фадеева: «Ну, как?»

Он ответил тихо, что сегодняшней вечер, конечно, никто не забудет!

Некоторое время спустя мне довелось в совершенно, казалось бы, неожиданной обстановке вспомнить свои наблюдения на горьковском вечере.

Теперь никто не замечает архитектурных деталей и стилизованной отделки нашего старого московского клуба. А в начале 30-х годов наши остряки довольно долго в шутках и экспромтах обыгрывали бывшую масонскую ложу, готические дубовые панели, украшенную резьбой неудобную лестницу.

Придя на совещание в середине дня, я неторопливо поднималась по лестнице. Вдруг наверху с грохотом хлопнула дверь, кто-то почти выбежал на верхнюю площадку и, тяжело топя, стал спускаться

по лестнице. Дойдя до поворота, я увидела, что навстречу мне спускается Фадеев. Багровый румянец пламенел на его щеках, нахмуренные брови нервно дергались, а губы, сведенные резкой дрожью, казалось, все еще ощущали жар и остроту каких-то слов, только что им произнесенных.

Спросить, что случилось, было невозможно: подлинно буря чувств и мыслей бушевали сейчас в груди этого дисциплинированного и открытого людям человека. Еще далеко не остав после только что пережитого, он ступал тязько, неловко, будто в полусне. Я негромко поздоровалась с ним, но он, не расслышав, не заметив, прошел вниз. А ведь обычно он был зорко внимателен к людям; еще до начала собрания, здороваясь и успевая накоротке и не без пользы поговорить со многими, Фадеев, казалось, видел и запоминал всех. Сейчас внизу собирались молодые активисты заводской печати. Некоторые, узнав Фадеева, посмотрели ему вслед. Но он, не останавливаясь, прошел в коридор и уехал.

Один из прозаиков-рапповцев, подсев ко мне, спросил, заметила ли я, что Фадеев сегодня очень странный, словно не в себе. С кем-то был у него, конечно, крупный конфликтный разговор, размышляла вслух мой собеседник, может быть с самим «папой», как он называл человека, которого я сравнивала с тигром. Я тоже была убеждена, что именно с ним был тот крупный разговор, который и довел Фадеева до бурного накала чувств. Может быть, предположил было мой сосед, подняться наверх и проверить: здесь ли тот человек? Но тут же прозаик отмахнулся: да что, этого «тигра», конечно, уже не найдешь на месте. Это вот Фадеев, потрясенный, бурлящий гневом, прошел «сквозь людей»; тот же постарается выйти незаметно, по боковой лестнице. А то еще, кепкой лысину накрыв, вот и здесь мимо нас пробегит, — трудно ли? «Росточком маленький, бойкий», продолжал иронизировать прозаик.

Тут-то и вспомнился мне Фадеев на вечере встречи с Горьким — радостно-притихший, сосредоточенный в счастливой полноте дум и чувств. До этого дня его характер представлялся мне в тех красках и чертах, которые определяли мое первое впечатление о нем: командирское боевое начало, ясность и четкость мышления, идущие от живой практики, такая же ясно осмысленная открытость и определенность в общении с людьми, — и все как бы сходило одно к другому. Ранимость и противоречивость из моих представлений о характере Фадеева как бы исключались, да о них просто не думалось. Неожиданная безмолвная встреча с Фадеевым на лестнице как бы в мгновенной вспышке света, резко ударившего в глаза, вдруг представила Фадеева как характер сложный, с неожиданными и резкими переходами. Что вызвало их?

Я тоже была убеждена, что неизвестное мне конфликтное столкновение произошло на почве все усиливающихся противоречий внутри РАППа.

Теперь, много лет спустя, когда уже далеко позади противоречия, споры и столкновения тех давних лет, в памяти всплывают порой отдельные черточки общего движения, которое находило свое частное отражение в суждениях и поведении разных людей. Участвуя в общественной работе и общаясь друг с другом, люди, порой даже не замечая, обменивались мыслями, имевшими самое непосредственное отношение к назревающим в советской литературе переменам.

Кто не помнит, как Владимир Маяковский на одном из наших собраний читал вступление к новой поэме, которую прервала его трагическая, безвременная смерть. В памяти многих писателей старшего поколения до сих пор, конечно, сохранился образ Маяковского в тот день, выражение его лица и особенно голос — звучный, глубокий, с подлинно артистическими модуляциями.

Фадеев слушал, полный внимания и творческого удовлетворения, чудилось даже, что он повторяет про себя те незабываемые, эпохальные строки вступления в поэму «Во весь голос».

Когда Маяковский ушел, «руководящий тигр», довольно посверкивая коричневыми, будто из полированного стекла глазами и явно «вещаая на массы», громко сказал:

— Ну!.. Теперь к нам в РАПП идут все! Я не удивлюсь, если, например, даже все фотокорреспонденты попросятся к нам... ха-ха!.. Вот и Маяковский оставил Лэф и Реф и принял нашу рапповскую веру... Вот чем мы можем гордиться!

Как бы перекрывая этот торжествующий смех, Фадеев произнес тогда медленно и твердо:

— Уж чем нам прежде всего надо гордиться, так это тем, что к нам пришел великодушный, могучий поэт!

Едва ли у слышавших эти слова могли возникнуть сомнения: кто смотрел вперед, а кто — в «напостовский», вчерашний день.

Все обострялось внутреннее ощущение несообразностей и противоречий в РАППе, которые уже стали превращаться в помеху творческой работе.

В конце лета тридцатого года меня вызвал «весьма срочно» один из руководящих товарищей РАППа. Это был талантливый молодой писатель с крепким чувством современности. Его очерки о становлении колхозов, их первых борцах и практиках, его фронтовые очерки о грозных днях Великой Отечественной войны до сих пор читаются с интересом. Его имя в числе многих других павших смертью храбрых за нашу советскую Родину выбито золотом на белом мраморе при входе в Центральный Дом литераторов. В тридцатом году это был полный энергии и задора молодой литера-

тор. Участник гражданской войны, он, как мне казалось, ревностно берег в себе черты военной, несколько лихой романтики и даже часто приговаривал, что любит действовать «по-военному» — быстро и решительно. Он, конечно, знал жизнь, немало повидал людей, а вместе с тем механистически-наивно отождествлял тогда каждый литературный лозунг с партийными директивами. «Призыв ударников в литературу» определял как «половину дела». По поводу второй «половины», то есть «проведения лозунга в жизнь», я и была вызвана к нему. В качестве оргздания по «призыву ударников в литературу» он предложил мне уже не помню какой московский завод.

Я категорически отказалась, заявив, что просто не знаю, как это надо «призывать» в литературу; я убеждена, что каждый автор приходит к творчеству естественно, от мыслей, вызванных в нем жизнью. Деловой разговор быстро перешел в спор. Оба спорщика по вспыльчивости наговорили друг другу достаточно неприятных слов.

Уж не помню, почему не довелось мне посоветоваться с Александром Александровичем в то время. Увлеченная новой работой, я уже успела забыть о спорном разговоре по поводу «призыва», но тот же неутомимый адепт этого лозунга снова предложил мне заняться его осуществлением — на этот раз в Кузбассе. Пропагандировать «призыв» мне совсем не хотелось, но перспектива увидеть одну из строк первой пятилетки заставила меня согласиться на командировку.

Вернувшись в Москву, я могла выступить только против выдуманного лозунга. Своим негодованием я, конечно, решила поделиться с Фадеевым.

Фадеев сидел за письменным столом, временами бегло посматривая в мою сторону и задумчиво вертя в руках бронзовую статуэтку. Похоже было, Александр Александрович не испытывал ни удивления, ни чувства неожиданности, а слушал он так спокойно и внимательно, что мое многодневное раздражение словно вот именно сейчас наконец и схлынуло. Закончила я свои рассуждения откровенным признанием: противоречия не легко даются человеку. Три года назад, вступая в РАПП, я считала ее самой передовой творческой организацией. Теперь, чем дальше, тем все глубже я чувствую, что временами вступаю в противоречие с ее практикой, не соглашаюсь, возмущаюсь. До вступления в РАПП я не сталкивалась, например, с такими понятиями, как группировка, группировщина, групповой подход и еще многое. Живой творческой работе все это не помогает, но даже мешает, а писателей разъединяет, — так нужно ли это отстаивать?

— Не в том вопрос, нужно или не нужно отстаивать, — заговорил он и твердым точным движением поставил бронзовую фигурку на место.

— Да, не в том вопрос,— повторил он,— а в изменившейся обстановке. В начале двадцатых годов группа писателей-коммунистов, участников гражданской войны, чувствовала себя в литературе, как на поле битвы. Каждый шаг, каждое слово, помогавшие прорубаться к новому, казались тогда бесспорными и неповторимыми. Началась мирная социалистическая стройка, культурная революция, идейное перевоспитание широких слоев технической и художественной интеллигенции, их сплочение вокруг партии. Все эти исторические и благородные процессы не могла не отразить наша литература. Партия, как известно, никогда не заявляла, что поддерживает предпочтительно кого-то одного... скажем, РАПП. Однако некоторые товарищи забывают об этом... и, случается, чувствуют себя, как в начале пути. А оно уже далеко в прошлом... далеко-о — протянул он и высоко взмахнул рукой назад, будто навсегда прощаясь с чем-то давно отжитым.

Потом он заговорил о множестве новых творческих успехов советской прозы и поэзии, которые теперь уже надо рассматривать как общую картину движения вперед. С глубоко радостным удовлетворением он назвал произведения не только известных всей стране писателей, но и совсем молодых авторов, которые, по его мнению, славно сделали свой первый запов. И не только радость щедрой и богатой души слышалась в его словах, но и обстоятельные знания решительно о каждом, кем восхищался.

С дружеской иронией он посоветовал мне: право, не надо так бурно переделывать недостатки общей работы и отдельных человеческих характеров. Народная мудрость говорит, что «мирское тягло на все плечи легло», а тем не менее «всяк молодец на свой образец».

В тон ему я тоже вспомнила кое-какие пословицы насчет того, что «норов на норов не приходится»,— и оба мы рассмеялись.

— Ну вот... то-то и есть,— уже серьезно одобрил Фадеев.

Вдруг зазвонил телефон. Отвечая кому-то, Фадеев сказал, что в ближайшее время никуда не поедет.

— Нет, до постели не дошло еще. Просто, знаешь, приустал я что-то за этот месяц. Уж очень людный он выдался!..

«Людный месяц!» — вспоминалось мне потом не раз. В самом деле, сколько же людей приходило к Фадееву со своими заботами, просьбами, нервами, и какой затраты всех сил требовала эта работа!..

Позже я поняла: именно благодаря тому, что Фадеев так широко и многолико знал литературную жизнь, он больше многих других был подготовлен к последующим событиям. Это умение Фадеева нащупывать и вскрывать в гуще привычных явлений черты нового, формирующе-

гося, умение притягивать к нему всеобщее внимание были известны всем. Такого рода «вскрывающий» характер познания обязательно связан с конкретной и часто острой критикой, а также твердостью и смелостью. В литературской среде такие качества руководителя производят всегда сильное впечатление. Сообщение «сегодня выступает Фадеев» неизменно вызвало всеобщий интерес и оживление. От самых разных людей доводилось мне слышать буквально совпадающие отзывы о выступлениях Фадеева, главный смысл которых сводился к моему: любое дело, любой вопрос работы Союза писателей становится «головой выше», когда за него берется Фадеев. Кроме того, в его выступлениях никогда не чувствовалось ни назидательного менторства, ни «руководящего» нажима и самонемия.

Отсутствие правдивой, суровой критики и критической самопроверки, самоудовольство, лень, дутые авторитеты — вот что, как болотная глина и гнилой воздух, пагубно влияет на развитие таланта, отдаляет его от жизни. Учиться у жизни, без конца изучать нашу современную действительность — вот он верный и животворный путь, ведущий талант к расцвету и полноте его бытия!

Глубоко сам убежденный в этом, Фадеев стремился убедить и других, ведя их за собой в широкий круг мыслей, фактов, явлений, органично близких по смыслу и значимости и тем самым открывающих новые пути познания, новые решения. Призывая взглянуться в эти постоянно возникающие в искусстве явления и пути подхода к ним, Фадеев, конечно, всегда учитывал своеобразие писательской аудитории, где наряду с принципиальным разговором о важных вещах вполне уживается юмор и вообще всякая остроумная «разрядка». Да и в характере самого Фадеева сохранилось немало задора от его партизанских и комсомольских времен: он ценил умную шутку и умел шутить,— еще и поэтому слушать его было легко и нескучно, не говоря уже обо всем большом и всеобщем значимом, что содержали его выступления.

Немало выросло у нас в Союзе писателей талантливых деятелей советской литературы, но дни, когда выступал Фадеев, всегда были отмечены особым и многолюдным оживлением. Кроме творческой симпатии и уважения к нему как к одному из крупнейших советских художников слова, здесь сказывалось еще и доверие к нему. Самые душевные отзывы о нем касались чаще всего этой черты. К нему можно было прийти в дни горя, неудачи, сомнения в своих силах и недовольства собой, получить совет, как разумнее поступить в сложившихся обстоятельствах. Особенно западала в душу те беседы с Фадеевым, которые касались непосредственно творческих вопросов. Здесь он проявлял самую живую заинтересованность художника. И если за-

мысел товарища к тому же оказывался чем-то близким ему по духу, Фадеев тем вернее поддерживал, советовал и даже вмешивался в дальнейшую судьбу произведения. И «принципиально злыми», непримиримыми, беспощадными были его отзывы о пережитках декадентства, формалистско-эстетских школах и теориях.

* *
*

В мае 1939 года, в дни празднования 125-летия со дня рождения Тараса Шевченко мы плыли по Днепру в Канев, вблизи которого находится могила великого украинского поэта. На сверкающей полноводной глади Днепра все кипело движением: пароходы, баржи, рыбацкие лодки, белокрылые ялики, всюду звучали песни, музыка. Невдалеке проплыли на лодке школьники, которые с забавной старательностью пели хором. Фадеев приветливо замахал им и даже подтянул слегка. Потом, провожая ребят ласковым взглядом, вдруг сказал, ни к кому особенно не обращаясь:

— Когда я был мальчишкой, вот как эти, я ужасно любил петь разные оперные арии. А самой любимой у меня была... ария Антонины: «Не о том скорблю, подруженьки»...

Все растроганно засмеялись, наверно, представив себе маленького Сашу Фадеева, который звонким детским дискантом выводил горестные слова арии...

В Каневе после митинга, среди нежной майской зелени и бело-розовой пены цветущих яблонь, десятитысячная толпа вдохновенно пела «Заповіт» великого Тараса:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Україні милій,

Щоб лани широкополі,
Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий...

Неподалеку, на пригорке, на фоне празднично одетых седоусых стариков, степенных женщин, ребятишек, девчат, одна другой лучше, в пестрых веночках, в лентах, бусах, в красных сапожках, и бравых парней в вышитых рубашках — я вдруг увидела Сашу Фадеева... Он стоял, держа на скрещенных руках пальто, и пел, увлеченно, всей грудью. Его тенор вливался в песенные волны тысячеголового народного хора. Слегка закинув седоусую голову, он пел, то глядя в майское нежное небо, то озирая поющую толпу. Молодой румянец горел на лице его...

Такими они надолго запомнились мне — Фадеев и чудесный, солнечный майский день над Днепром...

Все, связанное с именем Пушкина, всегда будет волновать его потомков. О Пушкине, его времени, его друзьях и недругах в литературе собран богатейший материал. Документы и свидетельства современников, переплетаясь с легендами, домыслами и научными догадками, помогают воссоздать эпоху, обстоятельства жизни и смерти великого поэта. Но и до сих пор не прекращаются поиски, до сих пор каждая деталь привлекает к себе внимание литературоведов, историков литературы и писателей, вызывая к жизни новые поиски и исследования.

«Рассказ об одной догадке» писателя Ивана Рахилло посвящен дуэли Пушкина. Поиски, начатые крупнейшим нашим пушкинистом В. В. Вересаевым, остались незаконченными. Ив. Рахилло, продолжив их, не брал на себя задачу научного исследования. Он просто рассказал об истории одной догадки, проливающей свет на низкие уловки подлых чужеземных убийц, отнявших у России любимого поэта.

Догадка остается догадкой. По-видимому, специальные исследования могут довести ее до научно-доказанного факта. Но редакция все-таки сочла возможным и интересным для широкого читателя опубликовать рассказ Ив. Рахилло. Бароны Геккерены, представлявшие самые темные силы николаевской России, поднявшие руку на ее национального гения, способны были на любую низость. И поэтому версия Вересаева представляется нам вполне достоверной и заслуживающей внимания.

Иван Рахилло

РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ ДОГАДКЕ

Однажды осенью в начале тридцатых годов к нам, в творческую коммуны писателей — Малеевку приехал старейший русский писатель и пушкинист Викентий Викентьевич Вересаев.

Стояла ненастная дождливая погода. Выйти из дому из-за невылазной грязи было невозможно. Дороги и даже деревянного мостика через речку тогда еще не было, и вздувшаяся от проливных осенних дождей Вертушинка отрезала от всего мира наше обиталище.

Ни телефона, ни радио, ни газет, — лишь в соснах разбойный повист осеннего ветра, — проснешься, бывало, ночью, вслушиваясь в этот беспокойный, первобытный, пугающий гул леса, то затихающий, то снова усиливающийся, и так на душе станет тоскливо и одиноко, будто забросили тебя куда-то на самый край света да и забыли.

Но, несмотря на все лишения и неудобства, в доме шла глубокая напряженная работа над новыми произведениями. Вечерами собирались обычно в столовой, и здесь, после ужина, часто очень скудного, при свете керосиновой лампы, читали друг другу только что написанное или вспоминали какие-либо интересные истории.

Викентий Викентьевич Вересаев, работавший в то время над книгой о Пуш-

кине, рассказывал нам много любопытного о жизни поэта, о его друзьях и недругах, о вновь найденных документах. Ему задавали самые неожиданные вопросы, например: мог ли царь предупредить дуэль? Верно ли, что лейб-медик Арендт по указанию Николая неправильно лечил раненого поэта?.. Изменяла ли Пушкину его жена?

— Вопрос не простой, — заметил Вересаев своим глуховатым баском, — о жизни Натальи Николаевны существуют самые противоречивые мнения...

Общеизвестно, что красота Натальи Николаевны привлекала к себе внимание самых высших кругов. Императрица выразила желание, чтобы она бывала при дворе. Император за ужином садился с ней рядом. Жизнь ее проходила в непрерывных увеселениях, празднествах и балах. Пушкин обязан был повсюду сопровождать свою жену, и друзья с горечью наблюдали, в каких ужасных для творчества условиях жил поэт.

Натальей Николаевной увлекся Дантес. Недруги Пушкина стали распространять различные слухи, порочащие имя поэта и его жены. Пушкин имел все основания заподозрить в одном из самых злостных клеветников голландского посланника барона Геккерена, развратника и негодяя, но, считая неудобным вызы-

вать на дуэль дипломатическое лицо, вызвал на поединок его приемного сына, Жоржа Дантеса.

Старый барон испугался за жизнь и карьеру сына и лично поехал к Пушкину, чтобы упростить его отсрочить поединок на две недели...

— Викентий Викентьевич, а зачем понадобились Геккерену эти две недели? — поинтересовался Малышкин, сверкая своими маленькими, но удивительно живыми, похожими на угольки глазами.

Вересаев задумчиво поглядел на лампу.

— Этот вопрос, пожалуй, остается самым неясным до наших дней. По-видимому, надо было сразу замять скандал. Чтобы предотвратить дуэль, Геккерены сочинили версию о том, что Дантес ухаживал не за женою Пушкина, а за ее старшей сестрой Екатериной Николаевной Гончаровой, которая жила у Пушкиных. Дантес в тот же день сделал ей предложение. Всему Петербургу была понятна эта трусливая и позорная уловка блестящего красавца и кавалергарда, испугавшегося дуэли и решившего спастись от нее любой ценой, даже этой нелепой женитьбой. Пушкин взял свой вызов обратно...

Но вот странно, прошло всего две недели, и тот же самый, напуганный до смерти старик вдруг становится неузнаваемым. Он начинает пускать в ход самые низкие средства, идет на сводничество своего приемного сына с женой поэта, распускает о Пушкине сплетни, действуя нагло и открыто, всеми своими поступками давая понять, что дуэли он теперь не боится... И Пушкин вынужден снова послать вызов.

...Тут в нашем рассказе придется сделать небольшое отступление, чтобы сообщить читателю об одном любопытном событии, происшедшем в тот осенний дождливый вечер в малеевской столовой. Дело в том, что у нас гостил тогда некий литератор из города Архангельска. Это был человек молчаливый и нелюдимый. Во время ужина все сядились обыкновенно за длинный стол, а наш архангельский гость устроивался за отдельным столиком ко всем спиной, лицом в угол. Он ни с кем не разговаривал, но Вересаева слушал всегда с редкостным вниманием. И вот этот молчаливый и угрюмый наш отшельник задал Вересаеву странный вопрос: почему в период между первым и вторым вызовом на дуэль в Архангельске очутился человек, посланный туда от Геккерена? Дело в том, что архангельский литератор случайно наткнулся на запись — не то в домово́й книге, не то в книге для приезжающих на имя некоего человека, приехавшего от Геккерена и поселившегося на улице, где жили оружейники.

Негромкий голос нашего молчаливого постояльца, неожиданно раздавшийся из темного, неосвященного угла, привел Вересаева в неопишное волнение.

Встречаясь с Викентием Викентьевичем много лет кряду, я ни разу не видел его в таком возбуждении. Он начал допрашивать архангельского гостя с необычным пристрастием. Ему хотелось знать все: откуда известно, что посланный был именно от Геккерена? Почему запись связана с улицей, где проживали оружейники? Точно ли это было накануне дуэли?

Нам тогда, конечно, было совсем невдомек — какое отношение имел этот по виду незначительный факт к дуэли Пушкина. На Оружейной улице, сообщил гость, в прошлом жили знаменитые архангельские оружейники, большие умельцы и мастера различного вида оружия — пистолетов, ружей, кольчуг и кольчужных сеток. И добавил, что он сам, своими глазами прочел в книге эту фамилию — Геккерен — и отлично ее запомнил.

Трудно передать словами ту не свойственную возрасту и характеру Вересаева взволнованность, с какой он стал шагать по столовой, нервно теребя седую бородку и то снимая, то надевая на нос свое старинное пенсне.

Наконец, остановившись посреди столовой, Викентий Викентьевич торжественно поднял руку и взял с нас клятву, что никогда и нигде, ни при каких обстоятельствах никто из нас до его решения не скажет ни слова о том, что слышали здесь сегодня, так как, возможно, мы являемся свидетелями раскрытия одной загадки, касающейся убийства Пушкина.

После этого Вересаев вынес из своей комнаты объемистую папку с бумагами.

— Вот здесь кое-что собрано на интересующую нас тему...

Разбирая бумаги и внимательно всматриваясь в написанное, он продолжал отвечать на наши вопросы.

— Тут кто-то спрашивал о царе, о его роли во всей этой истории. Не все поступки Николая объяснимы. Царь наверняка знал о дуэли и опасности, грозившей Пушкину. И жандармы неспроста были посланы Бенкендорфом в другом направлении. Однако научными данными опровергается легенда о том, будто Николай дал указание своему лейб-медику Арендту лечить Пушкина неправильно. Как врач я пристально занимался этим вопросом. Попробуем восстановить картину дуэли. Вот как описывает ее секундانت Дантеса д'Аршиак в своем письме к князю Вяземскому, — и Викентий Викентьевич поднес бумагу поближе к лампе.

«Была половина пятого, когда мы прибыли на назначенное место. Сильный ветер, дувший в это время, заставил нас искать убежища в небольшой еловой роще. Так как глубокий снег мог мешать противникам, то надобно было очистить место на двадцать шагов расстояния, по

обоим концам которого они были поставлены. Барьер означили двумя шинелями; каждый из противников взял по пистолету. Полковник Данзас дал сигнал, подняв шляпу. Пушкин в ту же минуту был у барьера, барон Геккерен сделал к нему четыре или пять шагов. Оба противника начали целиться, спустя несколько секунд раздался выстрел. Пушкин был ранен. Сказав об этом, он упал на шинель, означавшую барьер, лицом к земле и остался недвижим. Секунданты подошли, он приподнялся и сидя сказал: «Постойте!» Пистолет, который он держал в руке, был весь в снегу, он спросил другой. Я хотел воспротивиться тому, но барон Геккерен остановил меня знаком. Пушкин, опираясь левой рукой на землю, начал целиться; рука его не дрожала. Раздался выстрел. Барон Геккерен, стоявший недвижно после своего выстрела, упал в свою очередь раненный.

Рана Пушкина была слишком опасна для продолжения дела — оно окончилось. Сделав выстрел, он упал и два раза терял сознание; после нескольких минут забытья он наконец пришел в себя и уже более не лихался чувств. Положенный в тряские сани, он, на расстоянии полуверсты самой скверной дороги, сильно страдал, но не жаловался. Барон Геккерен, поддерживаемый мною, дошел до своих саней, где дождался, пока не тронулись сани его противника, и я мог сопутствовать ему до Петербурга. В продолжение всего дела, — заключает свое письмо д'Аршиак, — обе стороны были спокойны, хладнокровны, исполнены достоинства.

Вересаев вложил письмо в папку и достал другую бумажку.

— Нам известно, что Пушкин был ранен в правую сторону живота, пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась. Прошу, друзья, обратить ваше внимание на одну любопытную деталь: в письме Жуковского к отцу Пушкина о дуэли написано так: «Геккерен упал, но его сбила с ног только сильная контузия. Пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталон держались на подтяжке против лодыжки. Эта пуговица спасла Геккерена».

А в оставленных записках А. Щербинина мы читаем следующее: «На коленях, полулежа, Пушкин целился в Дантеса в продолжение 2-х минут и выстрелил так метко, что если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит; пуля пробила руку и ударила в одну из металлических пуговиц мундира, причем все же продавала Дантесу 2 ребра».

Версия о том, что жизнь Дантеса была спасена благодаря пуговице, не вызвала в течение почти столетия ни у кого никаких сомнений. Однако в двух документах мы находим серьезное разно-

чение: в одном утверждается, что пуля будто бы попала в пуговицу мундира, а в другом — в пуговицу от брюк. Разница существенная!..

Тот осенний вечер в старом малеевском доме врезался мне в память на всю жизнь. Перед глазами возникает Вересаев в синей толстовке, он возбужденно кружится по комнате и — то достает из папки новый документ, то вновь с величайшей аккуратностью укладывает его обратно.

Он подробно рассказал нам о ране Пушкина, докторе Аренде и состоянии медицины той эпохи.

— Как известно из протокола дуэли, Дантес выстрелил в Пушкина с расстояния одиннадцати шагов. Тяжело раненый поэт упал лицом вниз на шинель своего секунданта. «Кажется, у меня раздроблено бедро», — падая, крикнул Пушкин.

По свидетельству принимавшего участие во вскрытии врача В. И. Дая «...рана была тяжелая и сильно кровоточила. Пушкина везли домой сначала в санях, потом в экипаже — по очень тряской дороге семь с лишним километров. Дома раненый поэт сам разделся и надел чистое белье. Врача нашли не сразу. Сначала приехал второпях захваченный акушер и только позже прибыл хирург».

— Собравшись у постели мучительно страдавшего поэта, хирурги нерешительно прощупывали зондами рану, увеличивая и без того невыносимые страдания раненого. На хирургическое вмешательство по своим знаниям Арендт не мог решиться.

Новиков-Прибой задал Вересаеву вопрос: «А могли бы врачи спасти Пушкина в наши дни?»

— Безусловно, — убежденно ответил Викентий Викентьевич, — при нынешнем состоянии и оснащении медицины его мог бы спасти наш рядовой хирург. Арендт и все другие врачи предприняли все, что от них зависело, но их знаний было недостаточно.

Однако мы отвлеклись от нашей основной темы, от пуговицы, спасшей Дантеса...

Сняв пенсне, Викентий Викентьевич с загадочным выражением сощуренных глаз оглядел наше притихшее общество.

— Что же это за пуговица такая?.. Дело в том, что один инженер, по-видимому специалист по оружию, прислал мне недавно с Урала письмо. Он выражает свое недоумение по поводу пули, будто бы отлетевшей от пуговицы Дантеса и спасшей ему жизнь. «Пуговица привлекла мое внимание, — пишет автор письма. — И я стал задумываться над этим вопросом. Что-то странное и непонятное было в этой пуговице. Потом, — сообщает он, — я сходил в музей и достал там пистолет пушкинских времен. Устроив манекен и надев на него старый френч с металлической пуговицей, я зарядил пистолет круглой пулей и с десяти

шагов, как это было на дуэли у Пушкина, выстрелил в пуговицу. Дорогой товарищ Вересаев,— восклицает инженер,— пуля не только не отлетела от пуговицы, а вместе с этой самой пуговицей насквозь прошла через манекен. Вот какая пробойная сила была в той пуле!»

Автор задает законный вопрос: как же в течение почти ста лет этот факт не привлек внимания ученых-пушкинистов? — и выдвигает смелое предположение: а не был ли надет у Дантеса под мундир панцирь или кольчуга?

Викентий Викентьевич молча развеял руками.

— Эта гипотеза инженера не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Мог ли дворянин,— думал я,— пойти на такой низкий поступок? Пожалуй, нет. Но вот сегодня меня осенила неожиданная догадка: не послал ли Геккерен в Архангельск человека со специальным заданием — заказать там для Дантеса кольчугу или панцирь? И не поэтому ли он был прописан на какой-то там Оружейной улице? Ведь это, по-видимому, неспроста — на Оружейной.

И Вересаев, нервно поглаживая ладонью лысеющую голову, снова стал шагать по комнате: его огромная черная тень тревожно металась по потолку и стенам, невольно вызывая в сознании картину злодейского убийства Пушкина.

Мы дали Викентию Викентьевичу слово — нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах, впредь до опубликования им этой версии, ничего не рассказывать...

Утром он уехал в Москву.

* * *

Характер человека иной раз открывается в одном поступке, фразе, движении души.

Так неожиданно засверкал, заискрился перед изумленными взорами друзей и Викентий Викентьевич Вересаев в тот вечер воспоминаний о Пушкине и знакомства с архангельским гостем. Оказывается, за спокойной и не очень выразительной внешностью старого врача скрывался человек устремленный, порывистый, натура, полная взволнованной одержимости и молодой влюбленности в профессию литератора, ученого, исследователя.

Конечно, факты, приведенные Вересаевым, были не новы, они хорошо известны по воспоминаниям современников и друзей Пушкина, но всем нам был преподан великолепный урок — как, с какой строгой выскательностью и настойчивостью ученый, художник должен вести поиск, изучать события истории.

Собирая буквально по слову, по крупинке, все, даже самые малозначительные сведения, рисующие Пушкина в жизни, рассказывающие о его привычках, встречах, переживаниях и настроениях, о радостях и невзгодах, сопровождавших поэта, Вересаев говорил:

— Многие сведения, приводимые в воспоминаниях современников, конечно, не всегда достоверны и носят признаки слухов и легенд. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни,— он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются.

Одержимость Вересаева как раз и заключалась в той невиданной и беззаветной преданности, с какой он многие годы собирал факты о жизни любимого поэта.

И это постоянное творческое беспокойство, юношеский жар сердца как-то не вязались с его внешним образом, гловатым его баском, размеренной и гетеропливой походкой, старинным пенсне.

Вересаева часто можно было встретить на улице, в трамвае, в магазине, в кино, он любил ходить пешком, и ни одному человеку не могло прийти в голову, что этот скромный старик с небольшой бородкой и внимательным взглядом серых близоруких глаз — писатель, книги которого переведены во многих странах мира, печатавшийся в сборниках рядом с Толстым, Горьким, Буниным, Куприным...

Он был неутомим в труде.

Подождала зима. Снег густой, мохнатый валил с неба сплошной стеной. Я встретил Вересаева на Арбате. Викентий Викентьевич стоял у витрины книжного магазина, прикрываясь рукой от снега. И мне сразу вспомнился тот вечер в Малеевке, когда он рассказывал нам о дуэли Пушкина с Дантесом. Захотелось узнать о дальнейшей судьбе его поисков.

В этот раз Вересаев казался почему-то значительно старше своих лет.

— Работал ночью. А работать надо только с утра.

Да, за прошедшие полгода он собрал и систематизировал многие факты и свидетельские показания людей, причастных к дуэли Пушкина.

— Получились очень любопытные выводы.

Я проводил Викентия Викентьевича домой. Он показал мне документы, которые привлекли его особое внимание. Прежде всего — воспоминания очевидца, секунданта Пушкина и его лицейского товарища Константина Данзаса, записанные с его слов Аммосовым. Вот как он описывает выстрел Пушкина: «Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Дантес упал. На вопрос Пушкина, куда он ранен, Дантес отвечал:

— Je crois, que j'ai la balle dans la poitrine¹.

«Браво!» — воскликнул Пушкин и бросил пистолет в сторону.

Но Дантес ошибся: он стоял боком, и пуля, только контузив ему грудь, попала в руку».

— Пуля попала сначала в грудь, а потом уже в руку,— многозначительно

¹ Мне кажется, что пуля у меня в груди.

подчеркнул Вересаев слово «сначала»,— обстоятельство немаловажное! Об этом говорит очевидец, секундант, опытный военный человек, видевший событие воочию!

Викентий Викентьевич разложил на столе несколько папок.

— Кроме показаний Данзаса, сохранился еще один важный документ — это рапорт лейб-гвардии артиллерии штаб-лекаря Стефановича от 5 февраля 1837 года, который, согласно предписанию старшего доктора кавалерийского корпуса Брохина, освидетельствовал рану и состояние здоровья Дантеса вскоре после дуэли. Хотите познакомиться с этим документом?

И Вересаев прочитал:

«Поручик барон Геккерен имеет пулевую проникающую рану на правой руке ниже локтевого сустава на четыре поперечных перста; вход и выход пули в небольшом один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающихся персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Рана простая, чистая, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов. Больной может ходить по комнате, разговаривать свободно, ясно и удовлетворительно, руку носит на повязке и, кроме боли в раненом месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию, каковая боль обнаруживается при глубоком вдыхании, хотя наружных знаков не заметно...»

Викентий Викентьевич дал мне еще раз внимательно перечитать рапорт Стефановича.

— Этот официальный медицинский документ бесспорен и наиболее достоверен. С точной беспристрастностью врач Стефанович научно описывает рану, ее характер и место: на четыре поперечных перста ниже локтевого сустава, вход и выход на небольшом расстоянии друг от друга, раны несложные, чистые, без повреждения кости и больших кровеносных сосудов.

— Но, позвольте,— спросили мы,— а где же те «два продавленных ребра», упоминаемых в записках Щербинина?... Уж такая контузия наверняка была бы замечена врачом?

— Нет, «наружных знаков не заметно»,— констатирует Стефанович.

И вот тут-то мы, как говорится, вплотную подходим к версии о чудесной пуговице — сначала на мундире, а потом на брюках,— будто бы спасшей жизнь Дантеса.

Откуда возникла эта версия? Кому она была выгодна?

Безошибочно можно утверждать, что первым пустил ее в ход сам Дантес. Необходимо было как-то оправдаться перед обществом, объяснить свое спасение, замести следы бессовестного и подлого поступка. Отсюда и появилась эта злосчастная пуговица в письме Жуковского,

адресованном отцу убитого поэта. Жуковский постоянно встречался с Геккеренами, и, по свидетельству Данзаса, именно он, желая примирения сторон, отправился после первого вызова от Геккерена к Пушкину — успокоить его и разъяснить, что Дантес встречался с Натальей Николаевной будто бы с благородными целями, имея намерение жениться на ее сестре.

Таким образом, первые подробности дуэли Жуковский несомненно мог получить лично от самого Дантеса, который и ему и врачу Стефановичу показал, что пуля, пробив сначала руку (от чего, конечно, удар ее должен был бы ослабеть), стукнулась затем о пуговицу и нанесла ему контузию, сбив с ног.

Однако странное противоречие: если удар пули был ослаблен, то она вряд ли смогла сбить с ног молодого 25-летнего гиганта-кавалергарда. А если ее удар был действительно таким, что свалил атлетически сложного и вполне здорового человека, каким и был Дантес (и даже смял ему два ребра!), то врач Стефанович наверное обнаружил бы какие-либо следы подобной травмы.

Стефанович утверждает обратное: никаких следов на теле не заметно. Однако устную жалобу больного он фиксирует. Сделать это как врач он был обязан.

Одной из серьезных улик в том, что поединок был задуман и подготовлен заранее, является подлинное военно-судебное дело 1837 года о дуэли Пушкина с Дантесом-Геккереном.

Раскроем папки и познакомимся с ним.

Вересаев включил настольную лампу.

— Больше всего нас, конечно, интересует та непонятная и необъяснимая на первый взгляд двухнедельная отсрочка, для чего-то понадобившаяся барону Геккерену.

Вызов Пушкиным Дантеса на дуэль перепугал посланника, и он — персона, представляющая коронованную особу, — унижается до того, что едет к какому-то камер-юнкеру, стихотворцу, с поклоном и просьбой об отсрочке дуэли. Дипломат, он сумел вырвать эту отсрочку. Она понадобилась ему, чтобы любыми средствами задержать дело с вызовом Дантеса на дуэль и как следует подготовиться к мести за свое унижение перед Пушкиным и обществом. Для этого он тайно посылает своего человека за панцирем. До Архангельска не близко, время надо тянуть, можно пока и притвориться.

На свадебном обеде, данном графом Строгановым в честь новобрачных Георга Дантеса и Екатерины Гончаровой, старик Геккерен, подойдя к Пушкину, сказал ему, что теперь, когда поведение его сына совершенно объяснилось, он просит забыть все прошлое и изменить отношения свои к нему на более родственные. Пушкин сухо ответил, что, невзирая на

родство, он не желает иметь с Дантесом никаких отношений.

Так вел себя Геккерен после первого вызова. Но представим себе, что посланный им человек уже доставил из Архангельска панцирь для Дантеса — и все моментально меняется! Непонятные поступки и действия трусливого барона сразу получают свое объяснение и становятся на место.

Теперь, когда в руках имеется надежная, непробиваемая пулей броня, Геккеренам бояться нечего! Отсрочка им больше ни к чему. Оба негодяя торопятся поскорее выполнить свое черное дело.

Вот отрывок из показаний Данзаса, данных 11 февраля 1837 года в присутствии Комиссии Военного суда:

«...но когда г-н Геккерен предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он однако ж непременным условием требовал от г-на Геккерена, чтоб не было никаких сношений между двумя семействами. Невзирая на сие, гг. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которою встречались только в свете, давать повод к усилению мнения, поносительного как для его чести, так и для чести его жены».

Пушкина третируют, против него ополчается вся великосветская шваль, не без причастности самого царя, глубоко ненавидевшего поэта-вольнодумца.

И цель достигнута — Пушкин бросает посланнику новый вызов. Он принужден к этому обстоятельствами.

Старик Геккерен не медлит больше ни одной минуты. «Мне остается только сказать, — надменно пишет он Пушкину, — что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Георгом Геккереном, прибавляя при этом, что эта встреча должна состояться без всякой отсрочки».

Секундант Дантеса д'Аршиак тоже торопит поэта:

— Барон Георг Геккерен, готовый со своей стороны явиться в назначенное место, просит вас не медлить. Всякая отсрочка будет принята им как отказ...

Убийцы торопятся. Они нагло угрожают поэту.

Наконец, дуэль назначена.

Преждевременный выстрел безродного бандита валит Пушкина на снег, и он падает лицом вниз, заливая своей кровью шинель Данзаса...

Подойдя к окну, Викентий Викентьевич горестно умолк.

Мне показалось, что я и так слишком много отнял у него времени и зря разбередел сердце старика.

На дворе уже совсем стемнело. Я распрощался с добрым и гостеприимным хозяином, сославшись на то, что опаздываю на поезд.

* * *

Вересаева удалось повидать потом лишь несколько лет спустя. Я ушел добровольцем в Военно-воздушный флот.

И вот однажды, прилетев со своей эскадрильей на первомайский парад в Москву, я встретил Викентия Викентьевича на Смоленской площади в парикмахерской. Он очень обрадовался и после приветствия сразу же спросил, не помню ли я случайно фамилию того молчаливого архангельца, что жил в Малеевке, не встречал ли его, не знаю ли адреса.

Нет, фамилии его я не запомнил, да откровенно говоря, и не знал ее. Адреса тоже.

— Такое несчастье, — посетовал Викентий Викентьевич, — уехал тогда из Малеевки, а координаты его и не засек. А он так необходим, так необходим мне...

Увы, помочь ему ничем не удалось. А хотелось...

После воздушного парада я улетел обратно на Дон, где базировалась наша авиабригада.

Напрасно следил я за газетами и журналами с надеждой встретить статью или очерк на волнующую меня тему о дуэли Пушкина: нигде об этом не было ни слова.

Умер Вересаев, и загадка осталась нерешенной.

И вот тогда по чувству долга я решил написать о Викентии Викентьевиче Вересаеве и попробовать заняться дальнейшим раскрытием загадочной истории с дуэлью Пушкина. Аккуратно стал делать вырезки и записывать все факты, имеющие хотя бы самое отдаленное отношение к этому невыясненному делу.

Съездил в Ленинград, побывал на месте дуэли, заходил в квартиру Пушкина, где он жил и скончался, видел пулю, извлеченную из его тела и оборвавшую его жизнь, библиотеку и книги, с которыми попрощался в последнюю свою минуту умирающий поэт. Переписал первый протокол полицейского врача Юденича. Наведался в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Разыскал последнего потомка поэта, 37-летнего Григория Александровича Пушкина. Еще раньше в Москве я познакомился с 84-летней правнучкой Пушкина, Александрой Александровной, жившей по Арбату в доме № 31. Но, с какой бы стороны я ни подходил к своей теме, ничего нового обнаружить так и не удалось.

Надо было найти письмо уральского инженера, а также разыскать архангельского литератора, подробнее расспросить его о той дорожной книге для приезжающих, где был записан посланный от Геккерена человек.

Уже после войны ездил я в Малеевку с тайной надеждой отыскать там какие-нибудь записи или документы тех лет, повидать колхозников из соседней деревни, бывавших в нашей писательской коммуны. Но, кроме старой Феклуши, когда-то возившей нам из лесу дрова, в живых уже почти никого не осталось.

В дни боев за Москву Малеевка че-

тырежды переходила из рук в руки, именно здесь, в этих лесах, действовала Зоя Космодемьянская и конники генерала Довагора.

Фашисты сожгли дом и библиотеку. А библиотекарьшу, пытавшуюся отстоять ценные книги и рукописи, немецкий офицер застрелил из пистолета.

На месте пепелища, среди груды развалин, выросла молодая березовая рощица.

Мысли мои были теперь устремлены к Архангельску. Я выпрашивал у своих друзей и знакомых, живших или бывавших когда-либо в Архангельске, — летчиков, моряков, писателей и журналистов, — не попадалась ли где им такая книга дорожных записей и не встречали ли они человека — лет тридцати, среднего роста, угрюмого и малоразговорчивого, имевшего отношение к литературе.

Но при этих «данных» и сам Иракий Лаурсабович Андроников, как известно, большой мастер по раскрытию сложнейших литературных загадок, был бы, пожалуй, поставлен в затруднительное положение.

Несколько писем послал я в различные городские организации Архангельска с запросом: есть ли там улицы или пригороды, где жили когда-либо оружейники (или их потомки), или улицы, имеющие по названию отношение к оружию. Пришел ответ из адресного бюро Архангельска, в нем любезно сообщали, что, по сведениям Краеведческого музея, в XVII веке в Архангельске действительно существовали улицы Оружейных мастеров, Стрелецкая, Посадская и другие, где, вероятно, и проживали мастера-оружейники. Но после перепланировки Архангельска найти эти улицы трудно.

В январской книжке журнала «Новый мир» за 1956-й год были опубликованы материалы Тагильской находки, касающиеся дуэли Пушкина с Дантесом, с литературными пояснениями И. Андроникова.

Переписка Карамзиных еще раз подтверждает, что первый вызов Пушкина застал Геккеренов врасплох и они спешат с женой Дантеса на старшей Гончаровой, смахивающей, по словам современника, «на иноходца или на ручку от помела». Их действиями руководит чувство мести и страха перед яростью Пушкина, слышшего, как известно, отличным стрелком.

Вот строки из писем Тагильской находки:

«Завтра, в воскресенье, будет происходить эта странная свадьба».

«Что это — великодушие или жертва? — спрашивает императрица, желавшая знать подробности о «невероятной женитьбе Дантеса».

«Очень все это странно и необъяснимо и вряд ли приятно для Дантеса. Вид у него отнюдь не влюбленный».

И старый, хитрый развратник Геккерен и молодой повеса — его пасынок

на первых порах ведут себя в высшей степени тактично, плетя тонкую и сложную интригу, стараясь привлечь друзей Пушкина на свою сторону. Перед нами признание одного из членов той самой семьи, куда Пушкин обращался в особенно тяжелые минуты своей жизни, — Александра Карамзина:

«Наше семейство он (Дантес) усерднее, чем раньше, заверял в своей дружбе; он делал вид, что откровенен со мной до конца, и не скупился на изливание чувств, он играл на таких струнах, как честь, благородство души, и так преуспел в своих стараниях, что я поверил в его преданность м-м Пушкиной и в любовь к Екатерине Г(ончаровой), словом, во все самое нелепое и невероятное, но только не в то, что было на самом деле».

Прошли те необходимые для выполнения задуманного злодейского плана две недели — и так разительно, буквально на глазах меняется поведение обоих авантюристов! С открытой, вызывающей наглостью уже женатый Дантес начинает приволакиваться за женой поэта.

Пусть говорят найденные письма очевидцев-современников:

«Это начинает становиться безнравственным сверх всякой меры, — читаем мы в письме С. Н. Карамзиной. — Пушкин называл Геккерена «старой сводней» (тот действительно играл эту роль), — заключает она в скобки свое мнение, основанное на личных и непосредственных наблюдениях».

Дуэль в письме описана несомненно со слов Дантеса или Жуковского. Опять та же выдуманная версия с пуговицей: «...Он долго целился, пуля пробила руку Дантеса, но только мягкую часть, и остановилась против желудка — пуговица на мундире предохранила его, и он получил только легкую контузию в грудь, но в первую минуту он зашатался и упал».

В найденных письмах снова подтверждается, что автором рассылаемых пасквилей был старый Геккерен. Враги не останавливались ни перед какими гнусными средствами. И кольчуга, надетая под мундир, вероятно, не очень терзала совесть бесчестного убийцы. Он не боялся. Дантес, свидетель головокружительной карьеры Дантеса, рассказывал, что, приехав в Россию, этот никому не ведомый авантюрист «был принят в Кавалергардский полк прямо офицером, и, во внимание к его бедности, Государь назначил ему от себя ежегодное негласное пособие».

Царь прикармливал и одаривал (негласно!) будущего убийцу ненавистного ему поэта.

Пушкин убит. Казнен ли убийца, согласно суровым русским законам?

Нет, помилованный царем, он отпущен за границу.

Загадочная история с дуэлью не давала мне теперь покоя ни днем, ни ночью...

* * *

Однажды в разговоре писатель Н. случайно обронил фразу о том, что он где-то читал заметку, посвященную дуэли и пуговице Дантеса. К сожалению, он не помнил, где. В каком-то провинциальном журнале. Напечатано это было после войны. Фамилия автора — Алексеев. Полковник Алексеев — это он помнил твердо.

Не буду описывать всех хлопот и огорчений, в конце концов — спасибо добрым людям! — удалось выяснить, что заметка действительно была напечатана в одном из сибирских журналов. Но опубликована она была не после, а до войны, и фамилия автора — вовсе не Алексеев, а Комар, и он — не полковник, а инженер.

«А может быть, это и есть тот самый инженер, что писал Вересаеву?» — подумал я.

И вот, наконец, журнал в моих руках. Заметка небольшая, и называется она: «Почему пуля Пушкина не убила Дантеса».

Приводя некоторые из уже известных нам показаний современников, автор пишет:

«Дуэль происходила на обычных в то время гладкоствольных пистолетах, заряжавшихся свинцовой пулей».

Подробно, со знанием дела, М. Комар разбирает детали поединка.

«Если принять во внимание диаметр пули, равный 1,2 сантиметра, а начальную скорость при 11 шагах расстояния и при черном порохе — около 300 м в секунду, о чем имеются указания в специальной литературе, то можно представить себе огромную силу удара такой пули. Это удар, от которого человек устоять на ногах не может. Этот сильный удар пришелся на небольшую площадь, около 1 кв. сантиметра, которая соответствует размеру пули».

Сильный удар пули при этих условиях должен произвести большой разрушительный эффект. То, что пуля Пушкина пробила руку Дантеса без повреждения кости, нельзя признать большим эффектом. На эту работу израсходовалась только незначительная часть всей силы удара, а главная часть его обрушилась на пуговицу. Она должна была если не разрушить, то деформировать пуговицу и вдавить ее в тело.

Можно допустить, что пуговица задержала пулю, но от сильного удара она предохранить не могла. Как следствие удара, на теле Дантеса должен был

остаться след в виде кровоподтека, синяка и т. п.

«Что же помешало пуле проникнуть дальше после того, как она пробила руку? Что спасло Дантеса?» — задает вопрос автор заметки и заключает:

«По нашему мнению, Дантес спасся только благодаря тому, что он вышел на дуэль в панцире, надетом под мундир в виде корсета».

Этот панцирь не только предотвратил дальнейшее проникновение пули после ранения руки, но и избавил Дантеса от всяких следов удара на теле, так как удар распределился благодаря панцирю на большую площадь.

В то время несомненно такие панцири существовали и применялись. Они могли быть металлическими и вместе с тем мягкими, в виде стальных чешуек или пластинок. Если их не было в тогдашней России, то в Западной Европе они несомненно были».

Инженер М. Комар, живший в Сибири, не знал о встрече Вересаева с архангельцем и посланце Геккерена в Архангельск. Он дошел до этих выводов своим собственным логическим путем.

«Допустима ли такая версия с точки зрения высоты моральных устоев Геккерена и Дантеса, поскольку выход на дуэль в панцире был бесчестным поступком?» — спрашивает в заключение автор заметки.

И ответ ему дает предпосланное публикации заключение Викентия Викентьевича Вересаева, написанное им незадолго до смерти. Вот оно:

«При внимательном изучении обстоятельств, сопровождающих дуэль Пушкина с Дантесом, — пишет Вересаев, — настойчиво встает вопрос: как мог выстрел Пушкина причинить Дантесу такое легкое ранение? В статье инженера М. З. Комара вопрос получает разительно простое и, на мой взгляд, чрезвычайно убедительное объяснение. Оно срывает с Дантеса даже слабый ореол показной «рыцарственности» и ярким штрихом дорисовывает гнусную фигуру негодяя, лишившего нас Пушкина».

Значит, Вересаев был убежден в своей догадке!

Догадок много. Они различны. Дуэль и гибель Пушкина до наших дней приковывают к себе внимание крупнейших литературоведов мира. Автор не ставил перед собой никаких особых научных задач. Он просто написал рассказ — историю одной из таких догадок. Он считал это своим долгом. И он его выполнил.

ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА...

Л. Михайлова

Большое в малом

Рассказы молодых

1

Рассказ писать трудно. Частный эпизод не оставляет времени для передышки, как роман, где автор может уйти в сторону к другой мысли и другой теме. Это означает, что хороший рассказчик должен владеть умением стратегического развертывания на небольшом плацдарме, и, хотя в основе рассказа лежит всеобщее случаем, а не цепь событий, как в многоплановом романе, рассказ по-своему, как капля воды, отражает меняющуюся жизнь.

Случаи, в которых находят выражение типические явления жизни общества, рассеяны на каждом шагу. И, конечно, поэтому, а не только потому, что рассказ служит руслом молодой прозы, поприщем для новичков, а часто ступенью к повести или роману, — рассказ, эта древнейшая форма прозы, существует наряду с ее усложнившимися разновидностями и по сей день, привлекая взволнованное внимание читателя.

Как все живучее, рассказ с переменной общественной обстоятельностью меняет свои краски, содержание и форму.

Осмеяние мещанства и развенчание нытиков у Чехова, поэтизация души «маленького человека» и преклонение перед цельностью людей, связанных с природой, у Куприна, Короленко с его героем из народа, накапливающим силы для протеста, Горький, давший свои знаменитые образы романтических бунтарей, — каждый из них оставлял свою печать в летописи жанра, выражая себя и отвечая на вопросы, поставленные жизнью России конца прошлого века.

Советское время, формирующее человека высоких нравственных норм, полной мерой ввело в жанр образ героического. Читатель-современник хорошо знает рассказы, запечатлевшие подвиг героя Отечественной войны. Без риска ошибиться можно утверждать, что и читатель будущего не сможет пройти мимо рассказов военного времени, написанных Михаилом Шолоховым, Александром Довженко, Валентином Катаевым, Вадимом Кожевниковым, Леонидом Соболевым, Андреем Платоновым, Петром Павленко, Константином Паустовским.

«Четкий военный жест» Федора Игнатъева, «заведующего животноводством», еще указывает на недавнее прошлое героев Сергея Антонова. В «Поддубенских частушках» мы узнаем вчерашних фронтовиков среди «мирных людей», рядом с детски-непосредственной и глубоко серьезной в отношении к своему общественному долгу Наташей (этому научил ранний труд во время войны), «которой стоит только руку протянуть — и она дотронется до счастья», завоеванного отцом.

Благородство военного героя, выкованное подвигом, продолжало освещать характеры персонажей в послевоенных рассказах. У Ю. Нагибина тема подвига нашла своеобразное преломление в его рассказах о мальчиках, городских и деревенских.

Как жаль, что именно у этих двух признанных читателем авторов в последнее время в творчестве стали звучать мотивы, навеянные дачным житейством. В «Разноцветных камешках» С. Антонова и «В апрельском лесу» Ю. Нагибина, на юге и в Подмосковье,

читатель встречается с отставным полковником и солдатом, отбывающим действительную службу. Персонажи в военной форме хорошо знакомы обоим писателям. Но нельзя не заметить, что на этот раз герои выше мерок и обстоятельств, предлагаемых рассказами, что им тесно и неловко в рамках внешне живописных фактов, подвернувшихся авторам под руку.

В одной из недавних рецензий на книгу Нагибина «Человек и дорога» говорится: «Как бы ни стремился Нагибин уточнить свое восприятие и стиль, все же, очевидно, и по отношению к его творчеству остается верным известное положение: человек открывается в борьбе, в труде, в сильном переживании, словом, в конфликте. Поэтому... рассказ сборника — «В апрельском лесу» жизненнее и богаче... хотя исходная точка одна и та же: автор мельком наблюдает незнакомых ему людей».

Трудно согласиться с этой оценкой рассказа. Как можно судить о глубине конфликта, о силе переживания на основании «мимолетного взгляда», брошенного на двух людей, совершенно бессловесных, только жестикующих! Это театр теней, а он давно вышел из моды.

Два слагаемых рассказа — прогулка рассказчика за лесной для самодельного удилица и безымянный «солдатик» с его «крошечной подругой» (она еще «дитя, подросток»), попавшие автору на пути. Все в этом рассказе говорит не о жизненности и богатстве, а, наоборот, о литературной условности, начиная от старых, как мир, описаний («золотая, неправдоподобно круглая луна») и до перипетий драмы, которую автор, всегда озабоченный эффектностью ситуаций, измыслил на ходу («достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять, что они оба чем-то огорчены»). Рассказчик толкает своего «упрямого, стойкого солдатика» вслед за крошечной подругой и в погоне за «жестко регламентированным солдатским счастьем» то на «глинистую дорогу, бегущую по равнине» и «безнадежную, как приговор», то в «щемящую пустоту поля», то под рослую «плакучую березу». И так — до восхода луны. Рассказчик — человек досужий, но каково было солдату, устремлявшемуся вослед авторской фантазии, с кратковременной увольнительной на руках?

В сборнике есть бесспорно хорошие рассказы, в которых проявилась сильная сторона таланта Нагибина, его пристальное исследование человеческой психологии, но нетрудно разглядеть и слабость автора — желание придать мелочи, внешнему впечатлению видимость значительного события. Дар разгадывать мимолетное, угадывать самое малое — это счастливейший признак одаренности, если же пользоваться этой способностью неумеренно, как своим единственным и главным оружием, она превращается в претенциозное кокетство.

В такой претенциозно-кокетливой манере написан и другой рассказ — «Вечер в Хельсинки», где четверо похемингуэйевски настроенных мужественных мужчин и одна слегка постаревшая женщина многозначительно пьют разбавленный и неразбавленный коньяк и столь же многозначительно философствуют о том, о сем. Тут, да простит нас автор, в нос бьет «литературный зуд, болтовня эгоизма, который сам себя изучает и собою любит», — как говорил Тургенев.

Нам еще придется попозже вернуться к творчеству Ю. Нагибина. Сделать это небесполезно, ибо он принадлежит к числу уже давно известных рассказчиков, так или иначе влияющих на молодых прозаиков. Наша цель — поговорить о новых именах и новых рассказах, и это отступление прямого отношения к теме, казалось бы, не имеет. Но разве, рассматривая на выставке новые полотна, вы не припоминаете знакомые образцы, не ищете похожих сюжетов, линий и красок и, не найдя сходства, разве не радуетесь подлинной новизне?

Мне бы только песенку начать,

Чтоб на ней была моя печать... — говорит Александр Прокофьев, поэт предельно самобытный. Давайте поищем самобытности в творчестве молодых прозаиков, пишущих рассказы.

2

Обилие материала в толстых и тонких журналах, в альманахах и газетах обнаруживает немало талантливого у разных авторов. Погружаясь в этот поток рассказов, думаешь: возможно ли, что Чехову когда-то не было доступа в солидные журналы! «Что? Это вы называете произведением? Да ведь это короче воробьиного носа»; «Эх, вы, Чеховы!» — посмеивались над авторами коротких рассказов в редакциях уважаемых ежемесячников.

В наши дни редакции толстых журналов охотятся за «малым» жанром так же рьяно, как и за «большой прозой». Было бы задумано, выношено и написано — размер не имеет значения. Совсем маленький «короче воробьиного носа» рассказ «Радуга» курянина Евгения Носова нашел свое место в «Молодой гвардии», как и большой рассказ «В пути к причалу» ленинградца Виктора Конечного, напечатанный в «Знамени». В «Октябре» привлекли внимание рассказы воронежской писательницы Ольги Бубновой («Счастье»), москвича Ильи Крупника («Топь»)...

Рассказы эти непохожи темами и манерой, но роднит их одна черта — все более углубляющийся интерес молодых писателей к морально-этическим проблемам, и интерес этот так или иначе связан у них с проблемой цельного, большого характера, формирующегося в условиях строительства коммунистического общества.

..Вторая военная зима. Непривычный подневольный труд в оккупации. Чужая, голая изба, где, казалось, временами и «дверь скрипела сурово и недовольно». Хозяйка, широколицая Фрося, солдатская жена, а может уже и вдова, каких тысячи, притихшее оккупированное село, каких сотни, жуткие, бессмысленные смерти, каких не счесть. «Счастье» — рассказ о «пришельцах», оторванных войной от родного гнезда, о том, как городская девушка Лена и ее мать, претерпев унижение и горечь бездомности, нашли у Фроси не только угол, но вновь обрели чувство родины и тепло неожиданного счастья.

Воскрешая время войны, Бубнова напоминает о том отношении к жизни, которое, как «символ веры», само собой, прямо выражало признание или непризнание морально-этических норм, принятых всем народом. Тогда поступки без обиняков говорили о цене человека.

Бубнова рисует людей в бытовом испытании на фоне драматических событий истории. Все просто в рассказе — обстановка, отношения, складывающиеся в этой простой и жестокой обстановке общего несчастья.

Словно сама мать-родина, женщина из народа в беде и отогреет и окрылит. Лена, чьими устами говорит автор, не произносит этих слов, да они и не нужны, так как и Фрося, в образе которой отразились чистые черты русской женщины военного времени, не думает о своей миссии утешительницы, когда веселым пением гонит мысль о хлебе, или о своей миссии спасительницы, когда отправляется за три километра в пургу в легком ватнике навстречу Лене.

В рассказе три действующих силы. Две из них за пределами сюжета, они непосредственно не влияют на соприкосновение персонажей, но неизменно присутствуют в их сознании. Одна нависает черной тенью душегуба-фашиста (Прошел слух, что в управу поволокли больного туберкулезом агронома и он умер. «Никогда не видела я этого человека, но страшно слышать о его смерти и еще страшнее — о жестокости людей»). Другая отсвечивает заревом неугасимого и уже близкого пламени («Народ толкуют,— сообщает Фрося,— наши под Курском прорвались. Может, своих скоро увидим»). А третья, внутри рассказа движущая сила — неисчерпаемое беспокойство Фроси.

С некоторых пор Лена и ее мать замечают, что Фрося стала как-то смущенно на них поглядывать. Вновь ими овладевает тоскливое чувство беды, боязливое ожидание отказа от квартиры. Но Фрося терзается другим: «Тесно у нас, друг о дружку толкаемся... Да ведь и тоже... как быть... Люди в сарае, и есть им нечего, не то, что картохи... Может, потеснимся еще?... А, Леночка?... Да ты что?

Отвернувшись к окну, я плакала от счастья».

Осталась крыша над бездомной головой, и это само по себе уже немалое счастье. Но если бы О. Бубнова говорила только об этом, вышел бы рассказ о сердобольной бабе и жалких нахлебниках. Молодая писательница идет дальше изображения естественной человеческой гуманности (противостоящей жестокости, о которой «страшно слышать»), гуманности, которая больше говорит об инстинкте доброго человека, чем о его убеждениях. Фашистское расчеловечивание человека не могло коснуться и не коснулось души советских людей, и нет ничего более страшного и неестественного, чем разобщенность людей, чем одиночество,— разве что смерть. Женщина скромна, а душа ее величественна, и это простое величие, в котором сама его носительница видит норму поведения, и заставляет Лену прятать свои счастливые слезы.

Маленький рассказ написан в форме взволнованной исповеди о сокровенном. Не так уж приятно и легко рассказывать о своей зависимости от чужой воли, от чужой скарденности или доброты, о «светливой предупредительности матери», о «жгучей жалости к ней», о своем бессилии, доводящем «до ненависти к себе». Вместе с тем, в эмоциональном тоне повествования сказываются не только тягостные переживания героини, но и восхищение: «Ну, Фрося... Да разве я могла благодарить ее? Не было таких слов».

Много и мало нужно для счастья,— говорит автор. Порой оно зависит от простых вещей. Но всегда оказывается там, где чувства и поступки людей питаются одними корнями, где мысли и желания совпадают.

Тема истинной ценности человека доведена до крайней остроты в рассказе Ильи Крупника «Топь». Крупник еще более скуп на описания и отступления, он не дает развернутых психологических мотивировок, мысль его выражена в непосредственном действии персонажей. Настроение героя иногда дано в форме портретной, всегда очень эмоциональной характеристики. Иногда выразительно говорит о состоянии персонажа просто беглый жест. Нагибаясь и оттаскивая поваленные стволы, Неталпов «пинал их ногами». Стада грибов сидели под елью, которую рубил Неталпов, делая проход в таежной чаще. «Неталпов, остервенясь, раздавил их ногой». На шутку Неталпов «нехотя усмехнулся». Чувствуется, что это очень усталый, но еще и очень злой человек. Интересна самая фамилия персонажа — Неталпов мог бы быть Потаповым, «как настоящие люди», но он — Неталпов.

Кончается последний маршрут в сезоне. Через три дня геологический отряд из троих людей и двух лошадей, возглавляемый Неталповым, должен был, продравшись через тайгу и топь, выйти на базу. Но студент Виктор оставил на стоянке рюкзак с окаменелыми ракушка-

ми, впаянными в камень, «прекрасную фауну, хорошие образцы». И Неталпов погнал Виктора без карты, без компаса, без еды обратно за семнадцать километров, а сам с радистом Мишей двинулся дальше.

Считалось, что Неталпов «был из настоящих людей». Тысячи километров он исходил по этой земле. «Шесть лет подряд. И ему во всем везло... Он был работником и хозяином этой страны — тайги и кочек, — и люди шли за ним и верили в него, как в бога...» По этому праву удачливого хозяина Неталпов, не раздумывая, обрек юношу на пытку голодом, ужасом одиночества и беспомощности, мукой от сознания, что виноват, что «не было ему оправдания, не было пощады...»

Когда вокруг потемнело, как в яме, и раздались пугающие ночные шорохи, Виктор в страхе повернул обратно по тропе, к болоту, но «опять он увидел ненависть в глазах Неталпова и свои жалкие руки... И, подняв исцарапанные кулаки, он выкрикнул в деревья, в небо, в тропу, в болото неумелую отчаянную брань. И, как ребенок, вскинув голову, повернулся и опять пошел к повороту...»

Наверно, это был последний ребячий жест юноши, которого здесь «никто и ни разу тут не назвал его Витей, не Виктором, а просто Витей...»

Автор целиком полагается на красноречивость внутреннего монолога, впрямую не высказывая своих суждений, и здесь этот прием оправдывает себя, потому что перед нами, по сути, трое разобщенных людей, и каждый говорит с собою больше, чем с двумя другими.

Через три дня, когда уже была потеряна надежда, Виктор вернулся. Он был оборван, без шапки, лицо его, будто заржавленное, заросло грязной, медной щетиной. Теперь у него были темные тяжелые глаза. И когда он сидел неподвижно и тяжело, Миша-радист подумал: «будто хозяин костра, и болота, и этих кустов...» А когда показался Неталпов, студент по-хозяйски сказал: «Здравствуй, Вадим Петрович... Фауна цела. Садись...»

Они разные, но в чем-то похожие, отмечает про себя Миша, а ведь раньше студент был «очень добрый, все мог отдать... Он был, как глина, — лепи, что хочешь», но ведь «ничего не вернешь назад»...

Двое вышли из топи с невосполними потерями. Утратил свою (такую неприглядную) внутреннюю цельность и Неталпов — он перестал быть «богом» и, значит, с его точки зрения, стал ничем. А третий — Миша — маяется между этими двумя, страдая, не смея себе простить, что слишком поздно сказал Неталпову свое решительное — «Мы будем ждать».

Ничего не вернешь назад, кроме рюкзака с ракушками. Тут — единственный намек автора на нравственное преступление Неталпова. В остальном Неталпов чист, против интересов дела он не по-

грешил, и на этот раз он, как всегда, был лишь «упрям и точен». Но доверчивая душа ожесточилась, «романтика леса» (которая злила и смешила Неталпова) рассеялась, и поселилось в сознании молодого человека тяжелое злое чувство обиды на себя и на людей.

В представлении молодежи образ геолога всегда романтичен. Человек этой профессии самоотверженно переносит самые тяжкие лишения, а труд его, двигающий вперед экономику и науку, почетен и значителен. Вся атмосфера жизни геологов дает бездну заманчивых тем, и вот почему в творчестве молодых так много рассказов о геологах. Одни авторы кладут в основу своего сюжета глубоко драматическую коллизию со смертельным исходом, как это сделано в новелле Валерия Осипова «Неотправленное письмо». Другие, подобно Юлиану Семёнову, опубликовавшему два цикла рассказов в журнале «Знамя», откровенно любят заниматься незаурядностью этих людей. Автор рассказа «Топь», не оставляя в стороне признаки исключительной обстановки, стремится сказать о важном вообще, он пишет свой рассказ в защиту человечности и в осуждение безмозглого деспотического делячества, при котором обесцениваются и обращаются против человека самые плоды его труда, такого благородного в своей основе.

3

Поиски молодыми писателями героя, способного на подвиг, продолжают. Но идет мирная жизнь. И она, как известно, не часто предлагает героические коллизии в чистом виде. Кстати сказать, интерес к этическим проблемам связан с желанием освоить то возвышенное, что есть в каждом настоящем человеке, сказать и о потенциальных возможностях героя.

Размышляя о том, что составляет политическую основу своего незаконченного романа «Черная металлургия», и обдумывая, как воплотить духовную жизнь «с ее этическими и эстетическими потребностями и идеалами», Фадеев сделал, в частности, такую запись: «Наше время, после Великой Отечественной войны, рождает таланты, несущие в себе лучшие черты времени перехода от социализма к коммунизму и притом в таком количестве, как никогда раньше. Но это надо уметь видеть и понимать, как это происходит в живой жизни и что приходится преодолевать современной молодежи».

Между тем у многих авторов представление о достойном месте героя в жизни неизменно связывается с дальностью расстояния. Стоящий парень или девушка уезжают далеко (подалее от Четвертой Мещанской, как, например, персонажи в рассказе Е. Евтушенко).

Другие рассказчики, чтобы выявить незаурядные свойства своих персонажей, ставят их перед лицом обстоятельств, умышленно жестоких. Этот прием особенно характерен для Виктора Конечного.

Авторы, которые, быть может, «слишком» много читают и чьи представления о жизни скупер литературных реминисценций, выражают свои размышления о подвиге в иносказательной форме (Ю. Казаков, «Арктур — гончий пес»). Противоречие между порывами отважного и целомудренного характера и его повседневным существованием приводит к тому, что жизнь утрачивает возвышенный и героический смысл. Таков, собственно говоря, подтекст истории об Арктуре, который, несмотря на слепоту, был необыкновенным «гончаком».

Настойчивее же всего сказывается желание молодых авторов поселить своего героя в исключительной, романтической среде: Москва — будни, Сибирь — романтика. Противоречие заключено в самом этом стремлении, ибо поверхностно представление об истоках героизма. Прежде подвиг диктовался неприятием мира и был выражением крайнего протеста против этого мира. Ныне общественное чувство и его высшее выражение — подвиг служат защите того мира, в котором сформировались взгляды, идеология советского человека. «Я сделал только то, что должен был сделать как коммунист и советский человек на своем посту», — сказал машинист депо Конотоп Виктор Мишаков (как, вероятно, знает читатель, В. Мишаков предотвратил неминуемое крушение пассажирского поезда, но сам рисковал жизнью и при этом серьезно пострадал).

Обычное, советское формирует новое в характере советского человека. «На своем посту» — если такой готовностью к подвигу полно сердце одного из миллионов людей, которые рассматривают свой обычный труд как пост доблестного служения, значит не так уж серы наши будни...

Не что иное, как именно Четвертая Мещанская, «тихая улочка», где жили «самые разные люди: водопроводчики и парикмахеры, официантки и грузчики, часовых дел мастера и фрезеровщики, банщики и инженеры», воспитывала героев Евгения Евтушенко, учила их, что «нельзя лгать... себе в своей единственной жизни».

У художнического глаза Евтушенко — глубокое дно, необычайно чувствительные светопреломляющие среды. Взглянул и как много сразу вобрал: «Такой неожиданный на крыше крыльца, маленький подсолнух с серебристым пушком на жесткой зеленой коже», «мерцающие под водосточной трубой отшлифованные и закругленные водой розовые кусочки кирпичика и темно-зеленые осколки бутылочного стекла, «морские камешки» Четвертой Мещанской», тополиные

пушинки, которые «медленно и мягко кружились в воздухе, плавали, как стайки крошечных утят, на поверхности луж, оставшихся после вчерашнего дождя, запутывались в волосах продавщиц вафель, потихоньку набивались в кобуру милиционера, большого любителя этих вафель, а вечером, влетая в открытые окна, садились на черные крутящиеся пластинки». Все замечено точно, сказано очень по-своему, и верно звучит в экспозиции к рассказу интонация повзрослевшего человека, с нежной и умудренной улыбкой припоминающего картины недавней юности.

Но в конце концов нет ничего мудреного в том, что поэт радует читателя свежестью сравнений и метафор. Автор как будто хочет сказать о многом. Любовь, смерть, дружба, человеческое сердце — источник неистощимый, хотя и давно известный — все те же вечные темы искусства. А скромная улочка — разве не арена столкновения больших и дешевых страстей, благородных и низменных чувств.

Вы следуйте за красивым уверенным голосом рассказчика, но чем дальше уходите в глубь сюжета, тем сильнее становится чувство разочарования. Фабула, игра в слова — все это без сомнения очень изобретательно, но по замыслу рассказанная история и наивна и неверна.

Вдруг как-то одна из героинь, Роза, «так же тихо, как и все, что она делала, сказала: «А я на целину еду, ребята...» Потом от нее стали приходить письма, «такие же коротенькие и простенькие, как она сама. Письма эти до того были похожи на нее, что иногда мне тоже казались веснушчатыми».

Прелесть, как сказано. Но читателю уже мало этого. Хочется знать, почему так сказала Роза, почему сказала это, а не что-нибудь другое, что скрывают эти характеристики и что обозначает эта заведомая простота или, скорее, незамысловатость. («Она работала на заводе контролером ОТК. Не знаю, что она там контролировала, да и представить я себе не мог, что Роза вообще что-нибудь может контролировать»).

Рассказчик замечает, что он «не случайно» так мало говорит об этом персонаже — «она какая-то была вся незаметная, наша Роза: маленькая, крепенькая, везде-везде — на носу, на руках и даже на ушах — у нее были веснушки. Ей так не шло ее имя». И в самом деле, не случайно, если предположить, что скромные природы по своей прямолинейности без рассуждений, «тихо», как и все, что они делают, совершают героические поступки, а заметные творческие личности постигают истинный смысл жизни сложным, извилистым путем. Поэтому «незаметная наша Роза» оставляет старую мать и уезжает в целинный совхоз, где ее убивают хулиганы, а студентка театрального вуза, «гордость Четвертой Мещанской» красавица Римма остается в

процветающей, похоже, профессорской семье, чтобы мучить любимых и нелюбимых. Простенькая бессловесная дочь прачки, ставшая неожиданно для читателей, да и для самого автора, комсомольским вожакom, преподносится как антипод дочери хирурга, сотканной из интеллигентских противоречий. Понадобилась смерть подруги, чтобы излечить Римму от бессмысленной экстравагантности.

Хорошо начатый рассказ сломался, к концу в нем возобладала развязная скороговорка штампа. Стоит только взглянуть на рыдающую Римму, «облепленную мокрым цветным платлем», бредущую «в беспомощных замшевых туфельках» «сама не зная куда», или на Степана, который, может быть, плакал «в далекой тайге горькими мужскими слезами».

И хотя по виду все очень серьезно в развязке рассказа, он все-таки не задевает глубоко. Как будто в чужом доме вам показали фотографию и сказали, что человека этого уже нет, его убили. Вам станет грустно и как-то неловко, потому что настоящего горя не будет, по фотографии нельзя себе представить, каким был человек. Милая, некрасивая Роза осталась у автора плотью без дыхания, без внутренней жизни. Неживую, ее легко было и уничтожить, сопротивляться она не могла.

Драматический конец не подготовлен логикой образов. Розы нет. Что же до «странной» Риммы и ее переживаний, то время ей ни в чем не препятствует, для окружающих она «гордость». Степан любит ее, а она Степана. Конфликт Риммы с самой собой, ее сомнения и колебания, ее причуды капризницы можно исчерпать одной строкой старого цыганского романа: «захочу полюблю, захочу разлюблю».

Для разрешения этой дилеммы, важной с точки зрения девушки, подобной Римме, и не суть важной с точки зрения истории, необязательно было вызывать образ целины, да еще в таком трагическом аспекте.

Наверно, Е. Евтушенко догадывается, что резня не самое распространенное явление на целине, хотя случалось и такое. Представим себе другую, менее устрашающую картину. Человек хорошей профессии жил в доме с удобствами, был обеспечен, пользовался многочисленными благами цивилизованного города и уехал в голую, открытую всем ветрам степь, поселился в палатке под тонкой брезентовой крышей, простужаясь в холод, страдая от жары, с трудом привыкая к изнурительной работе, недоедая и недосыпая. Все его мужество укладывают в привычную фразу: отказался от личных благ ради интересов общества. Такое самоотречение нужно было, чтобы другие, сегодня и завтра, ели сытнее, жили лучше. В числе многих молодых людей этот подвиг совершили и московские комсомольцы.

А другие, чьи поступки достойны та-

кого же уважения и признательности народа, остались на своем обычном посту.

Свершение, творчество, подвиг — не случайно эти слова так часто мелькают в повседневной речи советских людей. К героическому подвигу приравнен и подвиг Валентины Гагановой, исполненный глубокого общественного значения, пошедший, по удачному выражению В. Смирнова, секретаря Калининского обкома ВЛКСМ, «как хорошая песня — от человека к человеку».

Нормы поведения отвечают общественным условиям. В войну нормой поведения фронтовика было презрение к смерти во имя победы, в наши дни такой нормой все больше становится высокой трудовой порыв. Сегодняшний массовый героизм молодого рабочего, возвышенный по духу, но простой в своем выражении, вряд ли требует от литературы трагедийного обрамления. Конечно, из правила допускаются исключения. Но тем основательнее должно быть мотивировано такое исключение, чтобы не быть просто эффектным маневром. Эффектность как раз и привлекает иных читателей рассказа «Четвертая Мещанская», в котором моральный конфликт лишен общественного смысла, а общественный конфликт воздвигнут на произвольном основании.

Говорят, что в этом рассказе можно увидеть целую галерею молодых людей. Но ведь галерея значит выставка, не так ли? А у экспонатов нет внутренней потребности в движении, их расставляют и переставляют целесообразной рукой устроители вернисажей. Работница, штурмующая целину, инженер-лесовод (с задатками Робинзона), футболист (очень популярный), актриса (вероятно будущая знаменитость) и, наконец, писатель — портреты представителей этих профессий расположены у автора весьма картинно. Могла и такая плеяда вырасти на Четвертой Мещанской. А все же никакого «мы», которым автор хочет удостоверить подлинность своих героев, в рассказе нет, есть умозрительное «я» повествующего. И происходит это, возможно, именно потому, что рассказчику не так уж важно было знать, что «там контролировала» Роза (и что очевидно заполняло ее жизнь, иначе она не оказалась бы в числе лучших). И он не пошел туда, где ее знали не только как «существо с толстыми ногами в туфлях, начищенных зубным порошком» (в отличие от модных «беспомощных замшевых» Риммы). Не пришлось бы тогда далеко ходить за ответом на вопрос, тревожащий Четвертую Мещанскую, — а это главный вопрос рассказа: что будет с ними, ее детьми, теперь, когда «мы, ее дети, уже не дети». Не пришлось бы отсылать бедную Розу в дальний путь за необыкновенным концом для рассказа, и рабочая улица Москвы, может быть, и вправду обернулась бы к читателю не

показной, «открыточной», а обычной деловитой и внутренне поэтичной, настоящей своей стороной.

4

В рассказе Леонида Образцова «Романтики», напечатанном в «Комсомольской правде», нет никаких подробностей красивого пейзажа, нет ничего броского и яркого в обстановке, герои по роду занятий и образу жизни тоже очень скромны и, не в пример героям предыдущего рассказа, наверняка не посещают ресторанов.

«На стене, напротив окна с мутными стеклами, висит оборванная карта. Когда через открытую на обе створки дверь в мастерскую врывается ветер и шевелит ее, слесарь Яша налегает на напильщик и что есть силы скрипит им по металлу. В эти минуты он чаще всего запарывает работу — и почти готовый ключ, а то и велосипедная педаля с грохотом летит в угол, где стоит ящик со сломанным инструментом и дырявыми кастрюлями.

Яше жаль напрасно испорченного заказа, потерянных трех или пяти рублей... он чуть не плачет. Хорошо еще, что остается одно утешение: Самсонов теперь не будет приставать к нему со своими рассказами».

Автор сразу обращается к действующим пружинкам сюжета — к внутреннему самочувствию героя, считая, что душевные состояния и поступки персонажей красноречивее всего остального будут говорить в пользу темы. Но самое это начало рассказа, выхваченное из жизни, такой неприглядной, можно рассматривать как произнесенную декларацию, свидетельствующую о манере и задаче писателя.

Л. Образцова вовсе не привлекает то, что кричит о своей исключительности. И он не прибегает к явно выраженной, подчеркнутой — патетической, или лирической, или сатирической, или элегической — интонации. Кого-то он любит, кому-то сочувствует, кого-то осуждает, но рассказывает об этом скромно, просто, так же, как живут его персонажи. И драматизм рассказа (любовь и дружба в какой-то момент терпят крушение, доверие обмануто и мечты рушатся) волнует, может быть, сильнее от недосказанности, от того, что не поставлены жирные точки над «и». Это и художественный прием и выражение мироощущения. Недосказанность заставляет вас грустить, но она же оставляет и надежду. В жизни на смену грусти приходит утешение, а горечь разочарования владеет молодым сердцем не так властно, как жажда счастья.

Порыв к надежде, мечта — это тот пробный камень, которым автор как бы высекает искру из образа, чтобы потом измерить силу и качество свечения чело-

веческой души, отношение героев к себе, к жизни и друг к другу.

Для Яши мечта — глубоко затаенная, несбыточно-прекрасная надежда. Его мечтанья — это томление робости («почему он не родился таким же здоровяком, как Самсонов»), а олицетворение мечты — «Фросино лицо с острым подбородком и чуть приоткрытыми губами, за которыми, как кусочки голубого сахара, стоят красивые зубы». У решительного, уверенного Самсонова, который, не в пример Яше, «никогда не молчит, не смотрит исподлобья и умеет все на свете», мечта, как и он сам, видная, громкая: «...Вот плюну на эту дыру и махну куда-нибудь в Сибирь или Кара-Кумы». А воображение Фроси, маленькой домработницы в семье прокурора, где четверо детей и нескончаемая стирка, тоже витает далеко от надоевшего двора. Она надеется выйти замуж и уехать с Самсоновым куда-нибудь на край света, куда и в мыслях дотянуться почти невозможно и где нет «нудного» Яшки с его ненужной любовью («И зачем только он влюбился... Разве такие парни могут нравиться девушкам»).

На первый взгляд кажется, что это рассказ об извечном треугольнике, где хороший, но некрасивый любит красивую, а она любит красивого и красноречивого, не подозревая, каков он в действительности. Но автор не случайно избрал лейтмотивом для образа Самсонова — этой позирующей персоны треугольника — романтику дальних следований. Болтуну нужно, чтобы его болтовню принимали всерьез. Поэтому он и берет серьезную и при этом излюбленную идею молодежи. Поэтер хочет нравиться другим и самому себе, для этого он и позирует. Нередко и в жизни встречаются красноречивые, примазавшиеся к романтике, как если бы это была повальная мода. Одних толкает к беспредметному красноречию служебное поприще: надо подавать пример, если не делом, так хоть словом. А другие, волею обстоятельств, подобно Самсонову, сидящие в «дыре», в обстановке «негероической» (повседневное томит и надоело), тешатся маниловской фразеологией, насыщая ею свой мнимый дерзающий дух. И, как это бывает сплошь и рядом у прототипов Самсонова, приобщение к энтузиазму у него показное. Обратной стороной его «романтики» служит скепсис. Недаром же дело свое он делает «нехотя», спуская рукава, эгоистически обманывая и обижая людей и при этом сохраняя вид человека, страдающего от их мелочной суеты.

Как будто за Самсоновым не числится никаких уголовно наказуемых дел. Он только говорит и говорит. Сначала с легкой душой уговаривает Яшу: «На Ангару и на Алтай и без нас многие едут. Мы отправимся на Балхаш... Нам друг без друга нельзя, тем более тебе... Давай пиши заявление об уходе... Но смотри, если надуешь...» И Яша, который долго

твердил, что «ему и здесь хорошо», испугавшись неминуемой разлуки с Фросей, загипнотизированный речами Самсонова, «вдруг почувствовал, что действительно ему нельзя без такого товарища». А вечером, накануне предполагаемого отъезда, Самсонов забуднил с той же блудливой развязностью:

— Понимаешь, Яшка, у нас тут кое-какие дела... Мы задержимся недельки на две. Личный вопрос, так сказать...

...Яша ничего не ответил. Он хотел было поздравить и Фросю и Самсонова, но не смог: в горле, будто пробка, сидел непроглоченный глоток воздуха, и сколько он ни пытался вытолкнуть его наружу или проглотить, ничего не выходило.

— Я тут тебе ботинки принес, горные. Классная вещь! — сказал Самсонов минуту спустя и поставил ботинки на Яшин верстак...

Утром Яша уехал.

Вернувшись со станции, Самсонов подошел к висящей на стене карте и долго рассматривал ее.

— А, пожалуй, зря Яшка поехал на Балхаш. Надо было ему на Памир. Понимаешь, Фрося, Памир — это крыша мира. Вот поженемся и махнем туда.

— А как же Яша?

— Не маленький, не пропадет, — ответил он не совсем уверенно.

Через неделю на карте обозначалось новое черное пятно — Самсонов всем посетителям рассказывал теперь о Памире».

Так два человека потеряли друг друга, расплатившись этой ценой за доверие к думому романтику, спекулирующему на чужих чувствах.

Грустит над своей иллюзорной любовью повзрослевшая Фрося, еще недавно такая живая и любопытная, словно воробей на том дворе, где она целыми днями сушила белье. Теперь она перестала торопиться с замужеством, все реже заглядывала в мастерскую, а когда забегала на секунду-другую, спешила узнать, «нет ли писем от Яши. Но писем от Яши не было». Тоскует где-то Яша.

Но читатель вслед за учителем Петром Николаевичем, одним из посетителей мастерской, который тоже был в свое время немного романтиком и над заказом которого Яша самоотверженно трудился «два полных вечера», хочет сказать Яше: «В конце концов решающим являются наши дела. Именно дела».

Рассказ «Романтики» не похож на известные образцы истолкованием и развязкой обычного любовного сюжета — треугольника. Фрося не досталась фальшивому герою и вообще не досталась никому. Не похож он на другие рассказы и трактовкой злободневной романтической темы, взятой, если так можно сказать, другим концом, со стороны персонажа, цинично эксплуатирующего ее привлекательность.

Леонид Образцов еще мало печатался. И досадно, что знакомство читателя

со способным автором газета «Литература и жизнь» решила продолжить малоинтересным рассказом «Соловьи».

И в этом рассказе Образцов пытается поставить перед читателем этическую проблему, рисуя взаимоотношения людей, живущих рядом и столкнувшихся случайно. Но насколько непроизвольны были душевные движения и поступки «Романтиков», насколько простой и выразительной была манера письма в этом рассказе, настолько же несобранны, немотивированны и безвкусны сюжетные повороты и изобразительность в «Соловьях».

В начале предыдущего рассказа автор замечает, что Урал, Ангара, залив Кара-Бугаз на карте, висящей в мастерской, «до того затыканы черным от масла и железных опилок пальцем Самсонова, что кажутся громадными, бездонными дырами»; вы потом поймете, для чего это написано: маяющие вдаль географические точки так и остаются для Самсонова неизвестными бездонными дырами на разливной и раскрашенной бумаге. Но стрелы сравнения в новом рассказе служат лишь средством бессодержательного разглагольствования. Слово само собой, без всякого старания автора происходит самоизобличение Самсонова, и оно убедительно. В характеристике же Сидорова, героя «Соловьев», звучат то сентиментальные, то грубовато-крикливые нотки. И это понятно: трудно найти верный тон с человеком, который тебе до конца не ясен и с которым ты, по чести говоря, не знаешь, как поступить.

Некто Сидоров, цинично изверившись в чистой любви, собрался на пароходе приударить за хорошенькой пассажиркой, полагая, что она «такая, как все», и «не прочь понравиться». Потом, ночью, услышав, что кто-то другой, какой-то майор, признается ей в любви, проникся «сложным, состоящим из раздражения, зависти и обиды чувством». А утром увидел «понравившуюся ему женщину» в окружении семьи и понял, что майор был ее мужем. Счастливые супруги и их двое детей сошли на какой-то пристани, а Сидоров, оставшийся на палубе, «чувствовал, что навсегда прощается с чем-то большим, что обошло его стороной и непонятно для чего решило показаться ненадолго сегодняшней ночью».

Сидоров изображен желчным, уже пожившим человеком, одним из тех «холостяков, которым давно перевалило за сорок и которые немало повидали на свете». Он «не верил в постоянство женщин и считал любовь чем-то вроде сахара, который люди изобрели, чтобы подслащивать в сущности безвкусный, но наиболее часто употребляемый напиток, называемый обыкновенной водой из водопроводного крана. К этому выводу он пришел не сразу, но, придя, уверовал в него всецело, как в аксиому, и держался за него крепко, двумя руками».

С этой тяжеловесной и развязной фразой как-то не вяжется представление о художественности. Но тем не менее она внушает читателю естественное любопытство: как будет дальше, перестанет или не перестанет Сидоров под влиянием случая, который преподносится как исключительный в его практике, крепко, двумя руками, держаться за свою аксиому? Если перестанет, то как и почему это произойдет. Если не перестанет, то стоит ли тогда живописать бесплодные метания пошляка, которые конечно же не могут ни в ком вызвать ни серьезного интереса, ни тем более сердечного участия.

Нехорошо быть опустошенным холостом, едущим в командировку, лучше быть влюбленным в свою жену майором, едущим, по всей видимости, в отпуск. Совершенно ясно, что не для обнародования этой бесспорной истины писал свой рассказ Образцов. По замыслу следовало развенчать моральную несостоятельность одного и возвеличить нравственную красоту двух других. Но антиподы Сидорова, привлеченные для иллюстрации авторской мысли, так же, как и сам Сидоров, аляповато и неинтересно играли свою скучную роль наглядного пособия. И автор в конце концов засвидетельствовал личность и поведение Сидорова как факт сугубо житейский: такое, мол, частенько бывает.

Если человек плох, пусть он расплавляется за это чем-то большим, чем зависть, сначала желчная, а потом слегка грустная, но в обоих случаях скоропреодолящая. Прием недосказанности, оправдавший себя в поэтической картине «Романтиков», оказался недостаточным в случае с законенным циником Сидоровым. К тому же, если говорить о манере характеристики героев в «Соловьях», то в отношении майора и его жены все, наоборот, слишком до приторности, перерассказано. Их благополучие неизменно, это ясно. Что же касается Сидорова, то и он остался «при своих». Оправившись от раздражения, смешанного с обидой, он пустится на поиски более легких побед, странствуя по городам и всяем соответствующего хозяйственного района. Так думает читатель. А писатель молчит. Он, с его небезуспешными поисками оригинальных сюжетов и оригинальных характеров, явно спасовал перед фигурой «тертого калача». Пусть не жалеет об этом.

В чтении параллели не всегда бывают буквальными. Иной раз произведения сближает характерный тип человека, иногда — смутно знакомая картина, время или место действия. И на этот раз читатель, мысленно возвращаясь к рассказу Л. Образцова, возможно припомнит другой пароход, другого писателя и другого литературного героя — поручика из рассказа Бунина «Солнечный удар». Поручик тоже затевал, как он думал, «только забавное знакомство». Но Бунин не

был бы тем замечательным мастером психологического этюда, каким мы его знаем, если бы стал описывать бесследность путевого эпизода или пустячность дорожного приключения. Его герой «никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь». Воспоминание о минувшей встрече «не оставляло его много лет», а первые часы одиночества превратились в «неразрешимую муку», от которой «нужно было спасаться». Он думал и думал о поразившем его и уже недосягаемом счастье, «чувствуя себя постаревшим на десять лет». Счастье исчезло и не вернется. Но наверно не вернется и легкомысленный эгоизм. Пройдя через муку *испытания*, человек становился чище, богаче и тверже душой.

Невозможно счесть героев, которые лишь потирают колено, зацепившись за кочку безобидного приключения. Муза молодых и немолодых рассказчиков стреляет дичь, ловит рыбу, на ходу знакомится с иностранцами, путешествуя в трамваях, автобусах, поездах, на пароходах и воздушным путем.

Мимолетное наблюдение обрекает героев на безмолвие, многие персонажи рассказов почти бессловесны. Автор решает и действует за них, фантазируя иногда неудачно. На охоте и рыбной ловле говорит природа. Человек больше слушает и молчит. Трудно расслышать и то, что говорится за окном вагона, смутно доносятся голоса и через открытую дверь чужого дома.

Свой рассказ, недавно опубликованный в «Литературной газете», Нагибин многозначительно назвал «Песнь песней». Писатель с понятным уважением отзывается о потомственном слесаре Патрушеве, чья «дотошная недовержчивость порой вносила необходимую поправку в то благодушное доверие к видимости, каким, что греха таить, отличаются наши туристы». Читатель, в свою очередь, обнаружил бы свое признательное уважение к труду писателя, если бы сам автор с такой же похвальной дотошностью суммировал то, что увидел и запомнил. Не так уж обязательно было присоединять к неотразимому впечатлению, которое производил на молодых финок одним своим бессловесным появлением красивый «черноморец», студент-строитель Алеша Торбан, то большое, серьезное и подчас драматическое, «что испокон века зовется любовью с первого взгляда».

Восемнадцатилетней манекенщице с «большими доверчивыми ярко-синими глазами» (и не ей одной) понравились, очень понравились «по-ночному» сверкающие «темно-карие, почти черные, влажные глаза» советского гостя, когда он «со свободным изяществом, каким отличаются черноморцы», наблюдал демонстрацию моделей в кабинете директора текстильной фабрики. (А потом он еще пел «с той милой покоряющей небрежностью, какая отличает черноморцев».) Но ведь не пострадал бы престиж наше-

го государства, если бы автор и не придал этому факту неожиданно значительную окраску, причем неуязвимой стороной, разумеется, оказался советский студент и до слез уязвленной маленькая манекенщица. В таком нафантазированном трагизме скрывается подвох, от него до смешного не так уж далеко — один шаг.

«Истории чувств» посвящены изумительные страницы русского рассказа. Но у чувств героев этого рассказа Ю. Нагибина нет никакого психологического обоснования; большая тема не могла уложиться в форму беглой путевой зарисовки в чужой стране, где туристы остаются туристами.

Неудачи молодого начинающего рассказчика Л. Образцова и опытного прозаика Ю. Нагибина приключились на одном и том же месте. И именно там, где авторы заменили мнимой значительностью, банальностью живые, напряженные страсти времени.

5

В последнее время много говорилось о творчестве Юрия Казакова. Разные суждения скрепляются вокруг вопроса о направлении этого таланта.

Появление первой книги всегда наглядно, оно помогает решить главный вопрос, является ли писательство просто профессией, избранной в силу тех или иных причин, или же в нем выражается истинное жизненное призвание молодого человека. Казаков писатель по призванию. Но кроме этого вывода, книга подводит и к другому, позволяет приблизиться к истине в споре.

Однажды пришлось услышать такую оценку рассказов Казакова: «Они ручейные». Подразумевалось, вероятно, прозрачные, музыкальные. И, в самом деле, огромный, по-новому открытый и описанный мир звуков, как если бы их фиксировал тончайший слух музыканта, обступает читателя в рассказах «Ночь», «На охоте», «Арктур — гончий пес».

Арктур ничего не видел, «зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. ...И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за много верст вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой

бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины, — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятная ему».

Сближают этот рассказ с рассказом Бунина «Сны Чанга» на том основании, что и там и здесь в центре сюжета образ четвероногого героя. Но таким аналогиям конца нет, почему тут не вспомнить и новеллу Томаса Манна «Хозяин и его собака»?

То, что описано выше, услышал именно Казаков и описал, как Казаков, — по-своему, миновав стихию уподоблений и сравнений в поэтическом образе ночи затихшего городка. Глазу читателя, ищущему свежих впечатлений, этот простой перечень звуков вероятно скажет больше, чем, например, трафаретная раскраска обстановки в рассказе Нагибина «В апрельском лесу», о котором говорилось выше.

В другом рассказе Ю. Казакова «На охоте» слышен тот же музыкальный ритм и своя особенная звуковая выразительность: «...начало робко капать, трогая цветы и листья». (Это пошел обложной реденький, теплый дождик.) «Охотники сидели в шалаше и были счастливы от усталости, от того, что успели устроиться и могут переждать непогоду, от тишины и от едва слышного шурстения дождя по листьям».

Снова писатель обошелся без неизменных «как» и «словно». Для него образность заключена в самой сути точного слова, каким он выражает свое восхищение жизнью природы, «неведомой и неслышной» многим, но знакомой и понятной ему.

Но живописное и прекрасное слово еще не создает писателя, хотя с этого писатель и начинается; это форма, в которой выразительно, но лишь отчасти проявляется особенный мир пишущего. Содержание большинству рассказов Казакова (теперь, когда они собраны в книгу, это очевидно), его пока что главную тему дает общение героя с природой или связи людей в обстановке властной природы («Тихое утро», «Ночь», «На охоте», «Никишкины тайны», «Арктур — гончий пес», «Манька», «Оленьи рога»).

«Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, — так начинается тургеневская «Лебедянь», — состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место, что для человека незанятого весьма приятно». Приятное занятие вело писателя в деревню, что была тогда центром и зеркалом народной жизни, и давало ему неоценимые наблюдения, из которых родилось знаменитое произведение, поэтически проникновенное и обличающее. В «Записках» было выражено сочувствие либерального писателя страдающему от кре-

постничества народу, и они отражали, как тогда говорили, потребности русской национальной жизни.

Но знакомства во время охоты были, пожалуй, единственной формой непринужденного общения с людьми из народа для «незанятого человека», барина, каким был Тургенев. У советского писателя, демократа не только по убеждению, но и по образу жизни, поле контакта с народом много шире. Когда молодой и талантливый писатель боится смело шагнуть на это поле, робко переминаясь около, он волей-неволей в конце концов сворачивает на дорожку, протоптанную до него поколениями художников.

У Казакова человек на природе щедр и силен, в быту — нередко слаб и эгоистичен. Рисуя свой идеал чистого и сильного духом героя, автор уходит от повседневности, которую он, если изображает, то только с ее бытовой стороны, к природе и ее непотревоженной романтике. Дети от рождения благородны и цельны. Этой мысли отвечают обаятельные детские образы в рассказах «Тихое утро», «Никишкины тайны», «Ночь». А другой, самый возвышенный и целомудренный характер книги — Арктур. И в том и в другом случае изображаются существа бессознательно чистые и прекрасные. Но остается другая сторона нашей повседневности, и именно ее романтическая и наиболее типичная, созидательная и преобразующая сторона, вовсе не отраженная в творчестве Казакова. Вернее, он пробует изобразить пафос труда, но сопрягает этот пафос с романтической исключительного характера. Неуверенность заставляет его изменить своей скромности, появляется расписное Северное море, расписные образы рыбаков, могучих людей, один на один противоборствующих злой силе природы («Никишкины тайны», «Манька»).

Казакова не раз упрекали в несамостоятельности. Но редко у молодого писателя сразу определяется твердый голос. Взаимопроникновение каких-то элементов творчества, формы, настроений, очевидно, в той или иной степени неизбежно в писательской биографии. В свое время у начинающего Бунина находили «чеховские настроения», а у Чехова «тургеневские ноты».

Собственная художественная одаренность Казакова настолько бесспорна, что он не боится прямо указывать адреса своих учителей, посвящая рассказы Пришвину и Паустовскому, прибегая в названиях к знакомым ассоциациям («Созвездие гончих псов» у Паустовского, «Танька» у Бунина). Природа несамостоятельности Казакова сложнее простого копирования и рабского подражания. Пишет он вроде бы о сегодняшних людях, но как-то приблизительно, лишь намекая на их характерные черты, и, хорошо зная по литературе прошлое, он рисует такие неопределенные картины, что читатель сам начинает отыскивать

в уже знакомых книгах сходные образы, которых писатель, быть может, совсем и не имел в виду. То же и с письмом «под Бунина». Страстно любя природу, современный нам писатель кланяется первозданной земле так же низко, как Бунин, поэт прошлого, и минует то новое, чем прекрасна наша сегодняшняя, обогащенная и украшенная трудом земля. Схожесть письма Казакова с прозой Бунина в этом, а не в подобии поэтических красок, пластики, звучания фразы; дело здесь не во внешнем лишь сходстве.

Рассказ «Оленьи рога», наоборот, своей атмосферой полусказки прямо напоминает некоторые сюжеты Паустовского. Но хотелось бы, чтобы Казаков заразился другой, сильной стороной романтизма у этого писателя. «С детских лет,— говорит Паустовский в своей автобиографической повести, — одна страсть завладела мной — любовь к природе... Это было не бесцельное любованье, а сознание среды, без которой человеку нельзя работать в полную меру сил». Из стремления передать свое ощущение эпохи и осознания природы как творческой среды возникла тема «Карабугаза» и «Колхиды», определив в этих романах беспокойный, дерзновенный характер героев, «занятых пересозданием природы», «работой исполнителей», «требующей таланта, предвидения». И если здесь неповторимо отразился один из этапов социалистического переустройства природы, то и Казаков мог бы дать свое, неповторимое, обратившись к своему, тоже неповторимому времени.

Русская литература, в которой удивительно сочетается художественная красота и нравственная сила, во все времена питалась нерасторжимыми связями с жизнью. И разве не кажется странным, что в наши дни современность в иных высказываниях писателей толкуется как некий примитив однодневности.

У Казакова есть рассказ о Лермонтове, но Лермонтов-то писал героя своего времени.

Очень симпатичный и, по видимости, современный, пожалуй самый современный образ у Казакова — Семен в рассказе «Ночь». Добываясь своего, восьмилетний Леша просит брата: «Дай честное комсомольское!» Известно, что Семен играет в клубе на баяне музыку собственного сочинения. Приметы индустриальной эпохи искусно вплетены в рассказ Семена: «Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сажу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: «до» там или, может, «фа-диез». Снова читатель поддается обаянию фонетически изобретательной окраски повествования. Но, если говорить серьезно, вся эта музыка не выражает главного. Моральная красота Семена, как и моральное уродство «парня» в рассказе «На полустанке», как и соче-

тание того и другого в герое рассказа «Отщепенец», — от века. Артистизм — вековая-де черта русского человека. Замечанию Семена — «народ здесь сильный ужасно» — тоже тысяча лет (чуть-чуть, и сказал бы «ужасти»).

Еще один, наиболее часто повторяемый упрек по адресу Казакова — упрек в пессимизме. Думается, что акцент на темной (или розовой) краске не всегда служит точным показателем воззрений. У молодого художника подобная односторонность довольно часто является следствием однообразных впечатлений, и об этом важно поговорить.

«Дом под кручей», «Странник», «На полустанке» — как будто эти рассказы далеки от охотничьих сюжетов. Но и они возникли как результат неспешного житья в тиши, когда извечное, природное кажется, а порой даже утверждается автором как недвижимое, неизменное и не подвластное новизне. То же «низкое, равнодушное небо» простирается «над ближним лесом», и равнодушный начальник полустанка лениво, будто пятьдесят лет назад, тянет свое: «Н-да... Нынче все едут... скоро и я уеду...» Ни дать ни взять, мужик, «неизвестно зачем приходивший на станцию», в рассказе Бунина «Иоанн Рыдалец»: «Вот уйдет машина, пойду и я помаленьку», — то же тупое безразличие к окружающему, которое «неизвестно зачем» существует. Доверчивость героини рассказа легко употребить во зло, настолько девушка покорна и беззащитна, а хамство парня такой беспробудной, злодейской силы, что его ничто не перешибет. Вполне мог бы он, как говаривали в старину, податься на заработки, а не на спортивную тренировку.

Умиление («Ночь», «Тихое утро», «Никишкины тайны»), спокойное любованье («Манька», «Оленьи рога»), горькое сожаление («На полустанке»), брезгливое отвращение («Странник») — такие эмоции, возникающие при чтении сборника, проходят быстро. Взволновать читателя до глубины души Казакову пока не удалось. Это еще впереди.

Было бы бессмысленно сравнивать героев других литературных произведений, которые вызывают у читателя более активное чувство, с персонажами прочитанной книжки. Никогда Казаков не будет писать, как пишет свои темпераментные рассказы о заводских и деревенских людях «ершистой» Георгий Радов, когда, типизируя то или иное явление и памятуя о своем боевом журналистском прошлом, он всем сердцем, безотлагательно желает им помочь. Пусть герои Радова зовут к немедленному действию, а герои Казакова — к глубокому раздумью. Не в этом дело.

Прочитав рассказ Казакова «На охоте», я вспомнила не другого литературного героя, а живой персонаж — великолепного и, к сожалению, уже немолодого актера Василия Осиповича Топорко-

ва и его крик души. Его «заветная мечта встретиться с такой пьесой о величии дел наших современников, которая вызвала бы взрыв. Да, да! Взрыв волнений и переживаний — и у зрителей и у актеров... Сыграть роль в такой пьесе, поставить ее — несравненное счастье для актера и режиссера». И я представила себе лицо этого человека, читающего казаковский рассказ.

Сначала вас берет в плен элегическая грусть постаревшего Петра Николаевича — «проходит жизнь!», потом радость еще «не омраченного ничем счастья» его сына Алексея, которого Петр Николаевич привез в те места, где когда-то бывал со своим отцом. Но вот кончается музыка леса и очарование меняющихся настроений, читатель расстается с этими двумя фигурами, печальной и жизнерадостной, и начинает его терзать безысходная философия фатальности и неизменности жизни. Все неотвратимо проходит и с той же неотвратимостью повторяется — отцы и сыновья, рассветы, туманы на лугах, грустные запахи земли, «все те же вечные, навсегда те же». «Да, все то же», — думает Петр Николаевич. «И жизнь по-прежнему прекрасна, и будет такой всегда, — всегда будут пылать, багроветь и зеленеть закаты и разгораться тихим светом восходы, всегда будут расцветать цветы и расти трава, и новые люди будут приходиться на места стародавних охот».

Так было во все времена в природе, говорит автор, а природа для него равна поэзии, — какой смысл восставать против естественного порядка вещей. Но, может быть, тема роковой неотвратимости явлений (подобно месту первой охоты Петра Николаевича), «как почти все, давно ушедшее, представлялась в памяти более значительной, чем на самом деле», и напрасно писатель за нее ухватился?

— Ах, как у него все мило, талантливо, поэтично, — думает читатель об авторе. — Но что это он меня хоронит? Ну его совсем...

Можно уезжать далеко, ездить на станции и полустанки, обогащаться знанием языка и обычаев — и все же оставаться только внимательным наблюдателем или жалобщиком, сетующим на противоречия жизни. Если продолжить мысль, высказанную в начале статьи, о том, что долговечность жанра рассказа объясняется типизацией меняющейся жизни, если помнить о нашем настоящем, небывало значительном громадностью своих свершений ради будущего, если знать, что неталантливое в литературе рассказа забудется, а талантливое останется, — тогда что оставит Казаков литературе от нашего времени? Оценив с такой точки зрения написанное им до сих пор, мы убедимся, что большинство его размышлений, облеченных в художественные образы, отмеченные медленными временами Тургенева и Бунина, уже

оставлены в литературе до него, включая и рассказ о Лермонтове.

Нет для талантливого человека обиды горше, чем повторить другого в искусстве. «Как человек одной с тобой профессии,— писал Фадеев более двадцати лет назад одному писателю,—...я знаю, как трудно,— это самое трудное,— передавать и вызывать новые чувства».

Есть север и север, два разных мира поэзии — новой и старой. Давно, сейчас это время уже кажется исторической давностью, Борис Горбатов, зимую во льдах, открыл читателю «Обыкновенную Арктику». То было время, когда шум моторов только еще начал будить ледяное безмолвие. Он писал о радистах, врачах, летчиках, о новичках севера и старожилах. Одни несли сюда свет Большой Земли, другие, взрывая косность и замкнутость свою и своего края, «прыгали» прямо из тайги, из медвежьей глуши — в небо. И все они жили мечтой о времени, когда «здесь будут шуметь города». «Обыкновенное» необыкновенное время наступило.

Спустя два десятилетия, вместивших войну и целину, колоссальное потрясение и великое обновление экономики и психологии людей и страны, другой молодой писатель избирает для поездки город, что «древен и глух», «азиатски дик, скучен, пылен и всеми забыт». Если не считать иностранцев, которые в нем ненадолго задерживаются, чтобы потом, не в пример автору, ознакомиться со строительством большой плотины «двадцатью верстами ниже по реке» и с «богатым колхозом-гигантом», что вырос «за какие-нибудь» десять лет выше города. Но не выше и не ниже, а именно в самом городе, где «до сих пор бегают бабы на базар, слушают, обмирая, пророчества Коли-дурачка, грязного, загорелого, гогочущего и плачущего», нашел автор свой интерес и свой сюжет для рассказа «Старики». Поступил он так по злему умыслу? Нет, конечно. Поступил так, потому что это ему легко, а другое трудно.

История взаимной ненависти двух стариков, которую можно было однажды использовать как колоритную подробность, растянулась на двадцати страницах, и читатель с чувством неловкости за талантливого автора думает, что не к чему было тратить время и темперамент, анализируя эту отжившую, разведающую «мощь» характеров; идти надо к тем, кто создает смелую и умную жизнь для себя и вокруг себя, к тем, кто поновее Тихона, который нов только той сто раз описанной «новизной», что «любил глосовать первым».

Нынешним летом Казаков побывал в иных дальних даялах, работая в составе выездной редакции «Литературной газеты» на стройках Сибири. Возможно, что новый огромный приток впечатлений подсказет новые сюжеты и потеснит в памяти писателя отзвуки школьных

и студенческих воспоминаний, статику литературных накоплений и волнение охотничьих страстей.

6

«...Описания моря похожи друг на друга ревушими валами, кровавыми закатами и ровной дорожкой кильватерного следа по корме», — пишет в одном из своих рассказов Виктор Конецкий. В этой фразе, помимо ее, так сказать, программного смысла привлекают внимание слова — «по корме»: человек, не знакомый с морской терминологией, сказал бы — «за кормой». «Впереди — над волнами — то появлялись, то пропадали мачты «Колы», крестили все вокруг торопливыми взмахами рей». «Пионер» вздрагивает от килля до верхушек мачт, получив первую затрещину от волны, которой он подставляет борт». Двойная — образная и смысловая емкость этих двух по-морски кратких описаний точно выверена «на глубину».

Искушенность не случайная. Хотя у Конецкого нет специального литературного образования, он хорошо владеет литературной формой и, кроме того, знает море. До 1955 года он был штурманом дальнего плавания.

Итак, Конецкий не любит описывать красоты морского пейзажа. Начиная рассказ о том, как спасали в штормовом море экипаж тонущего траулера, он обращается к страницам лоции. Ее лаконизм и выразительность — так считает рассказчик — подготовит читателя к восприятию и поэзии и сути событий, которые надвигаются и которыми живет его герой. «Веер перистых облаков при закате и странная медно-красная окраска неба после него, так же, как усиленные зыби и увеличивающаяся продолжительность сумерек, указывают на приближение урагана». Действительно, грозное предупреждение об опасности, — картинно, спокойно и деловито. Если помнить, что носитель идеи рассказов Конецкого — человек строгий, не любит «потрошить душу», и дело его строгое, «без завитушек», то находит свое объяснение и подчеркнутая строгость в выборе красок.

Сюжеты рассказов Конецкого строятся на мобилизации всех внутренних ресурсов героя для борьбы не с другим, а с собой. Препятствие заключено внутри человека, и он побеждает самого себя.

В этой идее нет ничего похожего на тягу к личному нравственному усовершенствованию, в котором мечется человек, не удовлетворенный тем, что сыт и благополучен, но гораздо менее озабоченный тем, что происходит вокруг. Ах, только не мобилизуйте и не пропагандируйте меня — так втихомолку десять раз на дню думает самоулубленный, само совершенствующийся индивид. Всякое

вмешательство, идущее извне, будь то семилетний план, международное экономическое соревнование, все, что требует перемены привычных представлений,— злая похема исканиям, вращающимся вокруг личных вкусов и обстоятельств жизни. Что же происходит с таким субъектом перед лицом серьезного испытания? Ах, я негодяй, тряпка, слизняк,— говорит он себе и... уклоняется от того шага, ради которого, собственно, только и стоило расти в себе «святое недовольство». Уклоняется — и делает шаг навстречу цинизму. Келейные добродетели всегда шатки.

На корабле «Даго», безнадежно поврежденном в войну и снятом с мели для переплавки, четверо добровольцев со спасательного судна «Кола» остались один на один со штормовым морем и ночью. Случилось так, что им пришлось обрубить трос, связывающий их с «Колой», иначе спасатель не смог бы быстро оказать помощь большому экипажу гибнущей «Одессы». Описание возможной катастрофы, о которой не говорят и которая подразумевается, использовано писателем для того, чтобы мотивировать жестокую борьбу четверых моряков с собой в водовороте беснующихся волн на неуправляемом остоле корабля.

Рассказы Конечного подводят к такой мысли: нет навсегда ко всему готового характера. Решаясь на подвиг, совершая патриотический поступок, герой обязательно жертвует чем-то для него важным и дорогим. Иначе нет подвига. А путь к самоотвержению нередко лежит в стороне от «пути к причалу», его надо прокладывать по другому курсу, и он очень труден. В море простое право на уважение и самоуважение достигается высокой ценой, смерть и в войну и в мирное время ходит рядом.

Легко впасть в соблазн писать образ жестокого моря и портреты романтических смельчаков, что увлекают своим примером слабодушных. Но если по отношению к любому человеку верна мысль о том, что личность познается в труде, то трижды верна она по отношению к моряку. И вот этим трудом, в котором выражен весь человек без остатка, его психология и этика, той органической романтикой, в которой слиты профессия и сердце, и хочет увлечь читателя автор морских рассказов Виктор Конечкий.

«Важно так полюбить какую-нибудь сторону жизни, так увлечься ею,— писал Л. Толстой в дневнике,— чтобы ничего не видеть, кроме нее, и от этого увидеть в ней то, чего никто не видел, и потом все силы души положить на то, чтобы как возможно лучше выразить то, что видишь».

Для писателя, больше чем для кого бы то ни было, любить — это знать. Понимать, подобно капитану «Колы» Гастеву, что означают для спасателя «десять лет штормов, неожиданных ночных

выходов в море, срочных погрузок, аварийных тревог, оборванных буксиров, споров со спасенными, докладных записок на списание погибшего имущества, разбитых в щепки вельботов и этих чертовых мотопомп, которые всегда подводят в самый ответственный момент». Будни? Конечно. А за ними жизни людей и своя собственная, достойная или недостойная жизнь.

Профессия не дает покоя, не учит легким решениям. По нормам советской морали водить корабли — значит быть не только профессионально, но и человечески безупречным. Мысль не новая. Но автор заключает ее в такую жесткую оболочку сюжета-аварии, что мы, кажется, слышим треск ломающегося (и побеждающего) характера.

За волнение, за самые слабые признаки страха лейтенант Антоненко, временно исполняющий обязанности командира морского водолазного бота («Под водой»), «всегда наказывал себя: шел навстречу той опасности и тому риску, которые вызывали в нем волнение и страх». Свойство природы, которое Антоненко помнил в себе еще со времени учебы, постепенно превратилось в умение скрывать то, что он чувствовал на самом деле, и показывать только то, что он считал нужным показывать. «Любому начальнику надо быть немного актером», — так думал Антоненко. И начинал действовать так, как должен был действовать разыгрываемый им герой; «вся эта игра помогала ему, и в мыслях он не отделял себя от того, кого он играл». В момент опасности Антоненко «становился намеренно медлителен и старался говорить, не повышая голоса». Человека, чувствительного к одобрению, — а в этом природа показного актерства — больше всего можно ранить стыдом. И однажды маска невозмутимости была сорвана самим актером. Чтобы пройти в туман опасным проливом к тонущей барже, надо было потратить лишние часы. Но Антоненко пошел этим путем. Время для ремонта истекло, водолазы считали опасным спускаться на дно. Тогда Антоненко в непривычно тяжелом водолазном костюме сам пошел на грунт и исправил повреждение, но под нависающим днищем баржи им овладела истерика.

Все кончилось благополучно. Баржа спасена, и это сделал Антоненко с действительным риском для жизни. Победителей не судят, совесть его как будто чиста. Но лейтенанта, проснувшегося в каюте, мучит другое: «Только теперь, впервые в полном одиночестве встретив смертельную опасность, впервые так остро пережив страх, Антоненко понял, что настоящее мужество и смелость отчаяния — разные вещи. Неужели он трус? Ведь и сейчас он боится. Боится показаться людям, посмотреть им в глаза».

Не легко было пересилить себя. Лейтенант жаждал восхищения, а тут

«стыд... душил его». Жестокою порку задали ему море и автор. Но провал актера был началом рождения человека.

В рассказе «Последний рейс» противопоставлены два характера — молодой самонадеянный капитан, склонный судить о людях не по их достоинствам, до поры скрытым, а по их привычкам, нередко раздражающим, и только что присланный на траулер помполит, человек вдумчивый и скромный. В этом последнем рейсе помполиту, больному еще с войны, было суждено навсегда проститься с морем. И капитан, который во время двухсуточного шторма сумел, наконец, разглядеть подлинное лицо старого моряка, понимая, что теряет его безвозвратно, с мукой думает: «Черт, до чего я бессилён».

И в этом рассказе ломка привычных представлений происходит в обстановке, катастрофически напряженной, но сюжет не оставляет впечатления искусственности. Тем не менее не грозит ли Конечному опасность самоповторения на пути столь сурового воспитания героев? Совершенно очевидно, что он враг сантиментов и благополучных исходов, противоречащих правде. Однако мрачность может стать такой же манерной, как и слащавость. И потом, не обрекает ли автора раз навсегда обусловленный принцип — пишу жестокие рассказы на вынужденную «смелость отчаяния» (как у Антоненко) и не заставляет ли «показывать только то», что он считает «нужным показывать».

Главный персонаж рассказа «К причалу» боцман Росомаха — индивидуалист, опустошенный долгими годами бесплодного бродяжничества по свету. Но вот жизнь его приобрела смысл — он узнал, что у него есть сын, плод давней случайной связи. «Впервые за всю свою морскую жизнь боцман торопился скорее вернуться в порт, на берег». И надо же было, чтоб в этот момент его подстерг беспощадный автор и, одного его из четверых, наказал смертью. За что же? За то, что долго не возвращался на родину, за то, что не искал Марию, за то, что не сразу решился рубить трос (зная, какой опасностью это грозит), когда «ожидание встречи с сыном становилось нестерпимым»? Очевидно, не за это, иначе это было бы неумным возмездием человеку не за его вину, а за его беду. Тогда, значит, просто так, для концепции.

Навязчивый прием в этом рассказе вступает в противоречие с логикой образа, обнаруживает свое однообразие. Не стоит повторять из рассказа в рассказ шторм как выражение крайних обстоятельств, в которых происходит рост сознания, наказание как расплату за ошибку (действительную и мнимую) и, как кульминацию внутреннего движения характера, любовь — всегда неудачную. Предвзятость, своеобразный догматизм

приведут к штампу, а этого, как мы знаем, как раз и не хотел бы автор.

Любопытно, что года два назад Конечский выступал в соавторстве с Эдуардом Шимом (кино-повесть «Опора»). Противоположности сходятся и, очевидно, расходятся.

У Э. Шима, художника по профессии, удивительный дар схватывать живописное и привлекательное. Каждый его рассказ открывает читателю какое-нибудь «близкое чудо» в окружающем мире. У этого автора своя, ярко выраженная манера, свой, совсем будто бы невыписанный язык. Непринужденно льется живая речь веселого и трудолюбивого человека в рассказах «Запах весны» и «Такое наше ремесло». Открытое сердце, талант и любознательность делают человека счастливым. Если носить в душе отсвет родной «пестрой земли», все вокруг, самое простое будет полниться «чудесными запахами весны». А талант — это любовь к делу и жажда знаний, «от нее может выйти польза моему ремеслу».

Последние два рассказа опубликованы в газете «Литература и жизнь». Там же напечатаны хороший рассказ Веры Чубаковой «Любовь» — о том, как могла бы неудачная любовь сломать характер, если бы не дар мастерства, не «золотые руки» некрасивой девушки, сделавшие ее дело в ее глазах и в глазах окружающих настолько значительным, что совсем незначительным оказался «недосягаемый» герой, кланяющийся чужому успеху; рассказ Николая Родина «Василька», доказывающий, что единственно и навсегда счастлив в любви тот, кто, любя, видит любимого прекрасным, сильным и умным (сила этой любви такова, что заставляет задуматься и тех, кто присыпает свое некогда страстное чувство к близкому человеку привычной пыльной повседневности); рассказ Бориса Балтера о том, как уже в роднике детской дружбы рождается человек — умный, волевой и честный; рассказ Хизгила Авшалумова «Встреча у родника»... Упомянутые рассказы отличаются тонкой наблюдательностью и своеобразным письмом. У Чубаковой манера темпераментная, энергичная, у Балтера, наоборот, спокойная, с какой-то доброй и мудрой усмешкой, у Родина лирическая, у Авшалумова лаконичная, с юмором.

Хорошо, что газета стала гостеприимным домом для рассказчиков, хотя ее удачи перемежаются с рассказами, в которых просто «отображаются» факты, не нацеленные к значительной мысли.

* * *

От съезда к съезду или за год уровень достижений художественной литературы обычно определяется количеством и качеством того, что сделано в области больших форм. При этом величину литературного явления порой измеряют листажом. Иной рассказ уже за-

воевал признание читателя, а никак не попадет в актив литературного года.

Но рассказчики народ упорный — пишут и пишут, пишут много. Много дебютов в газетах и журналах, много сборников.

Совсем недавно вышла новая интересная книжка — рассказы Юрия Трифонова. Здесь читатель найдет рассказы о молодых людях, о спорте, о военном времени, о путешествиях, о Туркмении, о кара-кумской пустыне, о новых городах в песках.

В свое время критика упрекала Трифонова в многословии. Форма новых

рассказов, объединенных в разделе «Под солнцем», доведена до густоты экстракта — 2-3-6 страничек. Вот уж поистине — полезная площадь. А ведь эта насыщенность, краткость — итог большого, настойчивого труда. Сборник заслуживает особого и обстоятельного разговора, а это беглое упоминание, да и, пожалуй, всю статью хочется закончить фразой из заметки, написанной писателем для чешской газеты «Культура» и метко выражающей пафос труда рассказчика: «Писать рассказ — это значит бежать стометровку. Надо выкладываться без остатка, вот и все».

В. Бавина

Прежде всего — о людях!

По страницам журнала „Пионер“

О чем только не пишут в этом журнале: о строении Вселенной и об искусственных советских спутниках, о событиях на арабском Востоке и о первой зимовке на станции Пионерская, о советских пограничниках и о профессии геолога, о новейших достижениях современной химии и о работе художника, о Брюссельской выставке и о людях с комсомольским значком, чьи подвиги вызывают восторг и желание подражать им, о сокровищах ленинградского Эрмитажа и о жизни пионерских дружин и отрядов... Словом, обо всем, что может интересовать нашего ребенка и подростка.

Нужно ли читателям «Пионера» знать обо всем этом? Бесспорно. А вот станут ли они читать все то, что для них написано? Всякий, кто постоянно следит за журналом «Пионер» и знаком с психологией ребенка, поймет, что это вопрос не праздный...

Что вызывает особенный интерес у читателя, берущего в руки журнал без всякой особой цели, просто почитать?

Прежде всего, конечно, беллетристика.

* * *

Итак, беллетристика «Пионера».

Конец тысяча девятьсот восемнадцатого года. Ночная голодная Москва. Двенадцатилетняя девочка Ася Овчинникова убежала от богатых своих родственников — домой, туда, где было холодно, голодно, где даже не было мамы (она

лежала в больнице), но где на нее никто не смотрит как на обузу.

Главное в повести Н. Лойко «Дом Карла и Розы» — воспитание характера Аси, формирование в ее сознании черт коммунистического мировоззрения под влиянием новых, советских условий жизни.

Обстоятельства для Аси сложились так, что она уже «не верит, что можно жить, радуясь песне, звездам, радуясь тому, что живешь...» Похоронив мать, девочка осталась круглой сиротой. Всеми, как ей кажется, покинутая, озлобленная, Ася смотрит на мир враждебно: «Всякий может ее обидеть, перехитрить».

По натуре добрая, чуткая и отзывчивая, девочка еще не знает жизни, людей, не умеет отличить притворную, лживую ласку от искреннего участия.

События, происходящие вокруг Аси, с неопровержимой ясностью доказывают ей, что правда на стороне тех простых, малообразованных и внешне грубых, но честных, добрых и справедливых людей, к которым ей так упорно стремились внушить пренебрежение, недоверие, а порой и ненависть.

Убедительно показывает автор, как сама жизнь делает религиозную Асю (вопреки ее страстному сопротивлению) безбожницей. Впервые Ася усомнилась во всемогуществе бога, когда поняла, что маму можно было спасти, если бы были деньги. Ася еще не разрешила себе спорить с богом, но раз «такое про него подумала, что потом долго повторяла мо-

литвы, замаливая грех». И все чаще к Асе приходит мысль: почему дядя Андрей, которого она очень любит, почему столько других хороших людей безбожники? И почему экономка Василиса, притворщица и обманщица, даже сирот обижает именем бога?

И вот однажды во время обедни Ася, «как бы собрав воедино нечто, давно зреющее в ней, произносит нелепейшую, но очень горячую молитву:

— Бог, сделай так, чтоб тебя не было!

И повторяет упрямо:

— Сделай так».

Автор повести, изображая процесс становления в России советской власти, показывает его в главном — в изменении психологии людей, их отношения к труду, к трудовому человеку, к религии. Писательница рассказывает жизнь через психологию наивной и непосредственной своей героини. Все, чем Ася увлекалась в книгах определенного толка — «красивая» и недоступная для нее жизнь институток; благочестивые девочки из «Задуманного слова», — все это оказалось не таким уж интересным, а порою смешным и глупым, противоречащим здравому смыслу. Трудно Асе было расставаться с прежними представлениями о жизни, но чем труднее уходило прошлое, тем прочнее закреплялось настоящее, тем уверенней Ася становилась на сторону своих новых друзей, на сторону новой, советской жизни. Личная судьба девочки из мелкобуржуазной семьи раскрыта в повести Н. Лойко на широком фоне жизни народа, его борьбы за будущее.

Несомненный интерес для читателя представляют и рассказы Вили Орджоникидзе «Тифлисский рассвет». Жизнь Камо, героя этих рассказов, бесстрашного большевика-подпольщика, полная необычайных приключений и героических подвигов, — яркий образец смелости и самоотверженности борца за дело народа. Написаны рассказы живо, просто и лишний раз свидетельствуют, что работа революционеров дает богатейший материал для приключенческой литературы.

Но как бы ни были интересны произведения о прошлом, не трудно представить себе, что читателя «Пионера» (как, впрочем, любого другого журнала) больше всего интересуют книги о наших днях — о себе самом, о своих товарищах, о живущих рядом с ним взрослых.

Среди повестей, опубликованных в журнале за 1958—59 годы, лишь три посвящены современности: «Тайный сигнал барабанщика, или как я вел дневник», «Говорит седьмой этаж..» Анатолия Алексина и «Лунная область» Виталия Третьякова.

Удачно используя в одной из повестей форму дневника, а в другой — оригинальную форму радиорепортажа, А. Алексин создал психологически до-

стоверные характеры подростков и взрослых.

Автор, верно подметив, что нередко наши дети не без помощи некоторых воспитателей (в том числе и детских писателей) считают полезные дела обязательно скучными, ставит своего героя в такую ситуацию, когда эти дела начинают увлекать его.

Трудно переоценить умение автора «Тайного сигнала барабанщика» весело, непринужденно говорить с детьми о их недостатках, высмеивать их ошибки, не оскорбляя, и быть нравоучительным без скуки. И вот почему думаешь, что одна эта повесть А. Алексина, может быть, решает гораздо больше проблем коммунистического воспитания, чем десяток иных рассказов на морально-этические темы.

Вторая повесть этого автора — произведение более значительное и по кругу тех проблем, которые в нем поднимаются, и по оригинальности их решения. Здесь крепко связаны две очень важные линии — моральный облик людей (как взрослых, так и детей) и их трудовая деятельность. И опять-таки писатель сумел эти, казалось бы, скучные проблемы решить не только правильно, но и выразительно.

Думаю, что повесть А. Алексина «Говорит седьмой этаж...» даст богатый материал для организации пионерской работы на новом этапе развития советской школы. И в этом смысле повесть Алексина можно назвать и «школьной повестью», и «пионерской», хотя формально там нет ни школы, ни пионерской организации.

Здесь мне снова хочется поспорить с критиками, активно выступающими против неверного изображения жизни в школьных повестях. В статьях этих всегда поражает одно обстоятельство: заданность, стремление критика подогнать то или иное произведение под уже готовую теорию. А сделать это часто довольно трудно.

В № 6 журнала «Урал» за 1959 год была опубликована статья Ларисы Исаровой «Жизнь и бескрылые книги». Бескрылые книги — это повести о школе, и, как явствует из заглавия статьи, жизни они не отражают. «Какие проблемы обойдены в этих повестях и чем они подменялись?» — спрашивает автор статьи. И утверждает: пишущие о школе не знают жизни. В жизни одно — в повестях о школе совсем другое.

Чего же не изображали в своих произведениях писатели? Прежде всего — борьбы за знания, а не за отметки; настоящей дружбы, любви, от которой бы герои умнели (автор статьи так прямо и пишет: «Не становятся эти героини умнее, когда их осеняет поэтичное первое чувство»); трудового воспитания, достоверных и многогранных человеческих характеров... Словом, как можно предпо-

ложить, не читая статьи Л. Исаровой, а лишь проглядев ее хлесткие подзаголовки («Погоня», «Бедняки», «Словеса», «Пары чистых и нечистых»), разгром учинен полный. Ну, а прочитав статью, легко убедиться, что критик, к сожалению, часто не сводит концы с концами.

Статья Л. Исаровой построена оригинально и внешне убедительно: автор ведет разговор о литературе, отталкиваясь от собственного опыта работы в школе. Но, к сожалению, с первых же страниц бросается в глаза несоответствие между тем, что критик говорит о жизни школы, и тем, как она анализирует книги.

Л. Исарова пишет, например, что в первый же год работы в школе ее поразила «судорожная погоня за отметками, а не за знаниями». «В тот год я думала, что с таким настроением учатся только мои девочки». Оказалось, это общий недостаток в работе школы.

За что же автор статьи упрекает писателей, пишущих о школе? А за то, что они взяли да вот так все это и изобразили. (Речь идет о повестях Донченко «Золотая медаль», Матвеева «Семнадцатилетние», Полоцкой «Ученица 10-а» и Степанян «Золотая медаль».)

Вот как критик анализирует повести Донченко. «В повести... три главные героини, три подруги: Юля, Марийка, Нина. Чем заняты эти милые девочки, хорошие комсомолки, чуткие товарищи? (Заметим, что выделенные мною слова, видимо, отражают мнение Л. Исаровой об этих героинях, сложившееся, вероятно, после прочтения повести.)

«Марийка уверяла себя,— цитирует дальше автор статьи,— что учиться вовсе не ради медали, что об этом не надо и думать: кто знает, как она сдаст экзамены. Но другая Марийка тайком говорила: а все-таки почему бы тебе не помечтать о такой награде, особенно если заслужишь ее по праву? Не забывай: золотая медаль дается лучшим из лучших, получить ее нелегко. И если тебя наградят, это будет признание, что ты отлично училась. А ведь это тоже можно назвать трудовым подвигом».

«Такие прописи для паинек,— комментирует цитату критик,— занимают основное место в книге, все остальные дела — ссоры, дружба, любовь, комсомольская жизнь — выглядят в повести как нечто, в общем, второстепенное... Я вовсе не хочу сказать, что учиться хорошо — дело десятое. Речь идет о другом. Страшно, когда хорошо учатся не потому, что хочется побольше узнать о мире, а только во имя деляческой цели: «что я с этого буду иметь».

Но откуда вдруг такие страхи? При чем тут повести Донченко? Ведь именно из цитаты, приведенной критиком в качестве единственного аргумента, ясно, что Марийка прекрасно понимает: золотую медаль дают не просто за отличные от-

метки, а за отличные знания. И если Марийка это понимает, то почему бы ей, действительно, «не помечтать о такой награде, особенно если заслужишь ее по праву»? И почему такое отношение к учебе надо называть судорожной погоней за отметкой? Ведь и основной конфликт повести строится именно на разном отношении к отметкам: Нина гонится за славой любой ценой, во что бы то ни стало, а Марийка прежде всего стремится к знаниям. Приходится только удивляться, как критик мог не понять замысла автора.

Несправедлив и другой упрек критика, будто Донченко и не мыслит для своих персонажей иного будущего, кроме учебы в институте. Донченко пытался показать и другой путь: один из героев его повести, хороший ученик, по собственной инициативе идет работать на завод, в этом он видит свое призвание. И автор явно одобряет этот поступок своего героя. Если автора здесь и надо упрекать, то в том, что поступок героя недостаточно психологически мотивирован.

Подобных примеров из статьи Л. Исаровой можно привести немало. Все дело, мне кажется, в том, что критик судит о произведении лишь по проблемам, которые в нем поставлены (или не поставлены), а не по тому, какое эти проблемы получили художественное воплощение.

Приведу еще только два примера. Рассуждая по поводу повести Л. Кабо «В трудном походе», критик пишет следующее: «Читая о педагогических исканиях Ушакова, я поняла, что надо было делать мне...» Как педагог Л. Исарова, конечно, права: обмен опытом в педагогической работе так же полезен, как и в любой другой. Но как критик Л. Исарова не сделала главного — не доказала, что учитель Ушаков — полноценный художественный образ, что он живет и действует в повести, а не просто производит речи. Доказать это она и не смогла бы, а следовательно, утверждение критика, что образ Ушакова — это удача Кабо, зиждется опять-таки только на том, что автор излагает устами своего героя более или менее верные решения некоторых педагогических проблем.

Подобным же образом пишет критик и об образе Коли из повести Шарова «Ручей старого бобра», оценивая его как единственно художественно полноценный характер. Патетическая декларация отнюдь не сопровождается даже намеком на анализ оцениваемого характера. Я не имею возможности в этой статье анализировать названные выше повести, тем более что в свое время о них я уже писала. Цель моя — поговорить о методе работы критика, выступающего против школьной повести.

Метод критики, использованный Л. Исаровой, мне представляется явно наивным и неубедительным. Нельзя

всех писавших в разное время о школе упрекать за то, что они не увидели в школе тех дней школу сегодняшнюю. Все дело в том, как писатели изобразили то, что в школе *было*. Думаю, что и сейчас мы прежде всего видим долг писателей, берущихся за «школьную повесть», в том, чтобы они по-настоящему художественно изобразили нашу сегодняшнюю школу. Алексин уже попытался кое-что сделать в этом направлении в своей повести «Говорит седьмой этаж...»

«Лунная область» В. Третьякова — это произведение о романтической мечте мальчика, стремящегося к славным подвигам и великим открытиям. Герой повести — обыкновенный мальчишка. Он не любит арифметику, потому что увлекается географией, вернее, «белыми пятнами» земного шара; под впечатлением обиды он может несправедливо оскорбить девочку, с которой дружит; может даже с независимым видом проиграть в пристеночку деньги, оставленные ему дядей на хлеб (чтобы приятели не думали, что ему жалко денег и что он «распустил нюни, как баба»). Но он находит в себе силы извиниться перед девочкой, честно признаться дяде в проигрыше... И он не украдет дядиных часов, хотя они ему и очень нужны для побега в Лунную область. Словом, Артем Огоньков не такой уж плохой, и подружиться с ним можно. Это поняли и ребята из его класса, поймут это и читатели.

«Пионер» опубликовал несколько повестей и рассказов на темы Отечественной войны и борьбы за мир («Комсомольский экипаж» А. Некрасова; «В разведку шел мальчишка» — главы из повести В. Морозова; «Отважные» А. Войнова — повесть, посвященная памяти Героя Советского Союза пионера Вали Котика, «Паренек из поезда» и «Управлять кораблем необходимо...» Мариана Брандыса). Все эти произведения интересны и полезны, ибо воспитывают высокие патристические чувства, чувства братской солидарности. Но, к сожалению, рассказов на современные темы в журнале все еще мало. И большинство из них посвящены мелким, частным, незначительным проблемам. Это даже и не проблемы, а лишь моральные сентенции, вроде: «человеку надо доверять» («Первый взлет» И. Дика, «Счастье» С. Георгиевской); «Надо только очень захотеть, Тимка!» А. Красильщикова (очень близок по мысли к этому рассказу переводной рассказ Аллана Маршалла «Как там, Энди?»); «честным быть хорошо, а нечестным плохо» («Находка» И. Дика); «надо ценить чужой труд» («Георгиновый сад» Е. Судаковой); «не жадничай» («Несчастный случай» М. Яровой); «девочка — тоже человек» («Девчонка» А. Аксеновой) и т. д. Конечно, все эти сентенции сами по себе весьма правильны, они отвечают требованиям «пионерских ступенек», но художественная-то литература не может быть всего лишь иллюстрацией к такого

рода сентенция! Как ни хороши известные миниатюры В. Осеевой «Волшебное слово», они лишь с большой долей прилизанности могут быть отнесены к жанру рассказа. Да и адресованы они к дошкольному возрасту.

И особенно огорчительно, что ведь и Судакова, и Аксенова, и Яровая, и другие — писатели молодые и способные (это видно по языку некоторых их рассказов и по достоверному изображению отдельных черточек характера). Их стоит предостеречь от голой назидательности, посоветовать идти не от заданной мысли, а от жизни.

А то, что с этими молодыми рассказчиками стоило поработать, с достаточной очевидностью свидетельствует, например, опубликованный в № 6 «Пионера» за этот год рассказ А. Аксеновой «Ясные звезды» — произведение глубоко поэтическое, душевное и умное.

У восьмилетнего Кондрата умерла мать. В дом пришла мачеха с сыном — пятилетним Семой.

— Кондрат! — надрылся маленький Сема. — Иди, тебя мамка бить будет!

— За что? — спросил Кондрат откуда-то сверху.

Сема поднял голову и увидел брата на высокой развесистой груше.

— Стекло в чулане разбилось! — радостно захлебываясь, сообщил он. — Мамка сказала: ты! Кто же еще? Больше никому.

Так начинается повествование.

Кондрат решает уйти из дома. Но когда он об этом сообщает маленькому Семе, совершенно неожиданно оказывается, что и тот собирается уйти из дома.

— А чего тебе уходить? У тебя мать, отец скоро придет. Плохо тебе? — В горле у Кондрата защекало, он замолчал.

— Конечно, плохо, — заторопился Сема. — Все спать гонят! Еще куры гуляют, а я спи. Уйду я тоже совсем в лес.

— Еще чего! — строго сказал Кондрат. — Не выдумывай, запутаешь...

— А я тогда с тобой пойду!

Кондрат посмотрел на черноглазого румяного крепыша. Вдвоем и правда лучше!».

И покровительственное отношение старшего к младшему, и симпатия к черноглазому крепышу, и чувство сиротливости и зависти («у тебя мать... Плохо тебе?») — все это сложно переплелось в детской душе.

Но вот мальчишки в лесу, и забота о братишке побеждает все остальное. Когда же, наконец, они улеглись в сторожке спать, Кондрат, положив одну руку под голову Семы, а другой рукой крепко обняв его, подумал: «А хорошо иметь брата!»

Но теперь, столь решительно уйдя из дома, Кондрат начинает по-новому видеть не только Сему. Прижимая к себе теплое тельце брата, глядя на звезды, ясные, как пуговицы на новенькой школь-

ной форме, думает: «Прошлый год в костюмчике пробегал. А мачеха сказала: «Надо форму». Сама и купила, отец еще не знает. И радовалась-то как, точно себе обнову справила! Кондрат улыбнулся в темноте. Вообще она чудная: то придет с фермы веселая, хохочет, бегаёт, а то кричит на всех, будто и Семка ей не родной. А отец приедет — повиснет ему на шею, как девочка, и ни на шаг не отходит. Все кормит его, как будто он с голодного поля приехал...»

Да, теперь-то Кондрат замечает в мачехе главное. И выходит, мачеха не такая уж плохая... «Интересно, что она сейчас делает? Кондрат представил маленькую черноглазую женщину у окна. Сидит небось и вглядывается в темень, не появятся ли они. А может, по хатам бегаёт, стучит: «Не у вас мои дети?» Она всегда их так зовет. Или голосит, думает, утонули в Ярице...

Кондрат затеребил Сему.

— Сем, да проснись же! Сем, домой пойдём!»

Пока они ждали рассвета, выяснилось, что стекло дома разбил Сема («паука раздавил, а оно и треснуло»), но, боясь, что мать побьет его, сказал, что стекло разбил не он.

Беглецы возвращаются домой. «За столом, сжав ладонями виски, сидела женщина. Услышав, что кто-то вошел, она вскочила и тут же бессильно опустилась опять...»

Кондрат снял со стены висевший на гвозде старый отцовский ремень и протянул мачехе.

— Стекло в чулане я разбил...

Мачеха схватила ремень и зашвырнула его в угол.

— Да ты что? Семка это разбил!

— Нет, я!

— Я же знаю, что Семка, и тебя звала пристыдить его, чтоб не врал. Ведь ты, негодник, разбил? — спросила она Семку.

— Конечно, я,— доверчиво подтвердил тот.

Мачеха пристально посмотрела на Кондрата.

— Чего же ты на себя говоришь?

— Мал он еще, драть-то.

Мачеха засмеялась, всхлипнула и обхватила его гибкими, сильными руками за шею.

— Ах ты, глупый ты мой! — совсем как мама, сказала она и прижала его голову к себе. Туда, где горячо и быстро толкалось ее сердце.

Так, раскрывая взаимоотношения детей, писательница сумела создать не только обаятельные образы двух мальчишек, но и интересный характер мачехи. С ней читатель встречается всего лишь в коротеньком эпизоде, но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы у читателя сложилось законченное представление о человеке, ибо встреча с мачехой была хорошо подготовлена. Новелла, занимающая всего четыре странички текста,—

стройное и завершённое произведение, как по мысли, так и по форме.

* * *

И повесть Н. Лойко, о которой здесь говорилось, и повести Харчука «Осип с гроша сдачи», и Джанни Родари «Приключение Тонино — невидимки», и Томаса Гарди «Наши приключения в Уэст Поли», и некоторые другие произведения, о которых совсем ничего нами не говорилось, но которые, несомненно, представляют собой настоящую художественную литературу,— все это очень хорошо.

Но ведь журнал-то «Пионер» для пионеров и о пионерах! Подумать только, какие грандиозные события происходят в современной школе, а они, эти события, не могут не отразиться и на жизни пионерской организации. Что есть об этом в журнале «Пионер»? Очень и очень мало. Как перестраивается и уже кое в чем перестроилась школа, как все это сказало и еще скажется на ее жизни, на деятельности пионерской организации, а следовательно — и прежде всего! — на людях: детях, учителях, пионервожатых; как изменится и уже изменится их психология в соответствии с новыми условиями жизни,— вот на какие вопросы мы в первую очередь ждем сейчас ответа от детских писателей и от журнала «Пионер».

И в рекомендации книг на страницах журнала мы прежде всего ждем рассказа о книгах, в которых отразилось главное в жизни нашего времени, нашего народа,— о книгах, герои которых — передовые люди века, его борцы и строители, чьими усилиями движется наше общество к коммунизму.

В рецензировании книг у «Пионера» есть свои удачи. Некоторые рецензии, на мой взгляд, написаны отлично. Это прежде всего заметки А. Дорохова о книге Н. Михайлова «Иду по меридиану», А. Туркова о творчестве А. Толстого и Б. Галанова о повести М. Прилежаевой «Начало». Каждая из этих рецензий очень своеобразна (у А. Туркова — это даже не рецензия, а очерк) и не похожа на другую. Но у всех трех есть одно качество: написаны они талантливо, со знанием особенностей психологии своего читателя.

«Раскроем, ребята, повесть Марии Павловны Прилежаевой «Начало» и перенесемся назад на шестьдесят с лишним лет. Петербург. Сумерки. Дышит холодом осеннее небо. Резкий ветер гонит по Неве волны с белыми гривами. Чиновники в тощих шинельках, мелкие служащие возвращаются с должности по домам. Что же случилось в такие дни? Какие произошли события? Почему писательница озаглавила свою повесть «Начало»? Прежде чем ответить на эти вопросы, присоединимся к юноше в поношенной бобриковой куртке, который,

отделившись от уличной толпы, входит сейчас в один из серых, неказистых «доходных» домов, где до революции селились бедные студенты, мастера, рабочие. Вместе с ним мы попадаем прямо на собрание марксистского кружка».

Так начинается рецензия Б. Галанова. Критик, не раз уже успешно выступавший в печати по вопросам детской литературы, хорошо знает, что большинство детей и даже подростков не станет читать рецензии, может быть, и очень правильной, но написанной в обычной, несколько суховатой манере. И поэтому он дает образ книги, рисуя картину осеннего Петербурга, и в той же свободной, живописной манере продолжает говорить о книге. В рецензии сказано все необходимое, но сказано живо, эмоционально.

Хорошо, что редакция ищет и находит новые формы рецензий, критических заметок,— иногда более, иногда менее удачные. Интересен, например, рассказ о книге по фотографии одного из эпизодов, в ней описанного («Приключение на шестом континенте» Фолько Квиллини). Но вот в этом же номере опубликована заметка Ю. Созицкой «Почерк писателя». Стоит над этой заметкой рубрика «Ч. Н. Ч.?» («что нам читать»), и можно предположить, речь пойдет о том, что читателю еще неизвестно. Однако заметка построена таким образом, что читатель должен догадаться, о каком писателе и какой его книжке идет речь. И выходит: или читатель знаком с книгой, и ее тогда не надо рекомендовать, или не знаком — и тогда нечего ему задавать праздных вопросов. Получается, что «занимательная» история, рассказанная Ю. Созицкой, отнюдь не занимательная, она не пробуждает любопытства читателя, а скорее гасит его.

Какие только книги не рекомендуют в «Пионере»: и «Похождение Немезиды» Г. Гуревича, и «Девочку, с которой не разрешали дружить» Ирмагд Койн, и «Сказки старого Сюня», и «Бронепоезд Гандзя» Н. Григорьева, и «Послушайте старика» Остапа Вишни и «Яблоно здоровья» (сборник зарубежных сказок), и «Мужчины двенадцати лет» Альваро Юнке... Эти и многие другие книги интересны, полезны, нужны детям. Но в журнале «Пионер» хотелось бы тему современности видеть главной темой всех его разделов. И нам кажется, что рецензии только на одну книгу Л. Квина «Палатки в степи», посвященную этой теме, бесконечно мало.

* * *

Что интересного предлагает «Пионер» читателю в других разделах?

«...Человек вынул из кармана небольшой кошелечек. Вытащил из него что-то сложное, как носовой платок, и встряхнул. В руках у него оказался прозрачный и легкий... плащ с капюшоном.

— Незаменимо при неожиданном дожде,— сказал человек,— не промокает даже под ливнем... Подъехал грузовик с ящиками, полными бутылок с молоком... Шофер... начал разгружать машину. Один ящик выскользнул у него из рук, и бутылки посыпались прямо на асфальт. Но, падая, они не разбивались, а... подпрыгивали, как мячики». Так начинается свой рассказ А. Дорохов о достижениях современной химии («Мир, сделанный на заказ»).

«Чулки из угля», «Посуда из газа», «Обувь на всю жизнь», «Плавающие кирпичи». «Меха несуществующих зверей»... Прочитав такие названия глав очерка, ребенку, даже девятилетнему, захочется узнать, что все это такое, а начав читать, он уже не сможет оторваться.

А. Дорохов безусловно умеет ясно и образно разговаривать с детьми о вещах сложных и трудных для их понимания. Рассказывает ли писатель о книге Н. Михайлова «Иду по меридиану» или о серии изданных Дегтизов брошюр «Путешествие в семилетку»,— делает он это увлекательно. Чистый и точный язык, удачно найденные сравнения, отсутствие специфических научных и производственных терминов делают захватывающим рассказ о вещах сложных и, казалось бы, мало поэтичных.

Интересно описывает Б. Бродский Брюссельскую выставку. Занимательно, хотя и чересчур пространно, пишут о Китае Н. Кончаловская и П. Семенов. Поэтично, эмоционально повествует художник И. Савицкий о Кара-Кумах. Найти автора, который умел бы разговаривать с детьми о вещах сложных просто и увлекательно,— трудно, но, как показывают эти примеры, можно. Тем более жаль, что «Пионер» не всегда умеет говорить, скажем, об искусстве так же доступно и занимательно, как о химии.

«Пионерский клуб» — так называется один из самых интересных и полезных разделов журнала. Здесь читатель не только может узнать, как научиться преодолевать страх, как воспитывать в себе организованность и точность, как выработать в себе силу воли,— словом, как стать таким, каким очень хочется стать,— но и познакомиться с людьми, которые всему этому уже научились,— с Героем Советского Союза, с бывшим летчиком-испытателем... Жаль только, что раздел этот на долгое время прекратил свое существование. Правда, через полгода журнал возобновил разговор с читателем на морально-этические темы в «почте пионервожатого Симы Соловьева». Однако ведется этот раздел довольно-таки скучно и назидательно.

Интересно, конечно, побеседовать с такими вожатыми, как доктор географических наук Б. А. Федорович, или кинооператор Д. А. Каспий, или чемпион мира Олег Гончаренко. Но вот в этом же номере журнала рассказ о пионерских делах занимает целых семнадцать стра-

ниц убористого текста: здесь и советы, как сделать станок для выпиливания, телефон, душ с раздевалкой, солнечные часы, и как электрифицировать лагерную мачту, и советы по физзарядке... Все это хорошо и кому-нибудь, наверное, пригодится. Но, как известно, далеко не все, что с точки зрения взрослых кажется нужным детям, воспринимается в этом же плане и детьми. В следующем номере такие материалы занимают 22 страницы, и в следующем — 19... Итого в трех номерах — 58 страниц — почти целый журнал. Не много ли?

Думается, многие практические советы, очень полезные в пионерской работе, было бы правильнее перенести в журнал «Вожатый», сделав в нем специальный вкладыш для пионерского актива.

«Пионер» слишком широко использует газетные формы подачи материалов. И переключка дружин, и подведение итогов соревнования отрядов, и некоторый

материал из почты вожатого Симы Соловьева (например, «Будь готов!» в номере одиннадцатом за прошлый год и шестом за этот год) с большим успехом, да и с большим основанием могли бы быть опубликованы в «Пионерской правде».

Словом, надо было бы серьезнее подумать над тем, как разгрузить «Пионер» от обилия обязательных материалов, которые делают журнал малоинтересным для широкого читателя. Ведь эту площадь редакция с успехом могла бы использовать для печатания художественной литературы, рассказов о семилетке, для более широкого ознакомления своих читателей с искусством, жизнью за рубежом...

О пионерах, их делах хочется в журнале «Пионер» видеть прежде всего художественные произведения, публицистику. Ведь пионерская организация — это же коллектив людей. О них, о людях и надо писать прежде всего.



А. З л ь я ш е в и ч

«То, что составляет мастерство»

Каждый критик имеет право на собственное мнение в подходе к конкретным литературным явлениям. Вот почему я не собираюсь упрекать Юр. Константинова, автора обширной статьи «Проза 1958 года» («Наш современник», 1959, № 2), за то, что он приходит в восторг от некоторых, на мой взгляд, далеко не совершенных книг. Это дело литературных убеждений Юр. Константинова и его вкуса.

Надо отдать должное Юр. Константинову. Он много прочитал новых книг. Вот, например, роман «Саламандра» В. Очеретина. Есть здесь такой паренек Федор Казаков. Сначала он был просто хороший, потом стал очень хорошим. Но как это получилось? «Начинается полоса мучительных поисков в этом, по существу, хорошем парне. Он ведет их не один. Ему помогают и Кузьма Порошин — парторг цеха, и опытный сталевар Крутых, и старая работница, совесть завода, Бушуева, и (!) светлое чувство любви к девушке».

До сих пор мы полагали, что для человека может начаться полоса поисков, но это, видимо, явно устарелое представление. Теперь поиски ведутся в самом человеке. Но зато какие это дает результаты! Проходит короткий срок, и Федор «уже не только профессиональным мастерством, но и всем своим обновленным существом добивается права варить сталь особого назначения — «саламандру». Да, тут без «мучительных поисков» не обойдется».

Вообще слово «полоса» Юр. Константинов любит без меры. Оно встречается в его статье неоднократно. И почти каждый раз в явном противоречии с

правилами грамматики. Очень любит Юр. Константинов пользоваться и словами, взятыми из воинских уставов. Так, современный социальный роман, с его точки зрения, показывает «ведущие силы советского общества, борющиеся на главном направлении, в решающее время», а героев повести В. Тендрякова «Чудотворная» — мать и бабушку Родьки — «очень многое различает, но и объединяет их нечто такое, что не может на время не создать сомкнутый строй из различных видов оружия».

Юр. Константинов не просто пересказывает сюжеты произведений, но и снабжает их, так сказать, «теоретическим» комментарием. «Черемшанские дали» Николая Коляструка, к примеру, — «произведение, в высокой степени согретое сильной и нежной любовью к нашему человеку. Автора (и это его принципиальная установка) очень мало интересуют события сами по себе. Он пишет о них лишь тогда, когда что-либо раскрывает, характеризуя человека». «Писать тогда, когда что-либо раскрываешь», — я думаю, за этот добрый совет многие авторы вынесут Юр. Константинову свою сильную и нежную благодарность.

До сих пор я цитировал отрывки, относящиеся к обзору книг, удостоенных похвальных отзывов и поощрительных рекомендаций. Но я не завидую и тем авторам, которые навлекли на себя гнев Юр. Константинова. Вот, Ю. Семенов написал явно легкомысленный рассказ «Вернулся». К одной женщине вернулся беглый муж.. «Да, она сейчас счастлива, — пишет Юр. Константинов, — может быть, в какой-то мере слепа от счастья, но это вовсе не значит, что и писатель

должен быть поражен слепотой. И это не должно приводить к тому, что мерзавец обманывает уже не честную, хорошую женщину, а чуть ли не жалкого слизняка».

Слышите, Ю. Семенов? Пусть ваш герой обманывает только честных, хороших женщин, а «чуть ли не слизняков» оставьте в покое, а то воспитательная ценность вашего произведения сведется к нулю и вы навсегда рискуете остаться пораженным слепотой.

Я думаю, что и писательнице М. Глушко, во избежание неприятностей, тоже следует прислушаться к советам Юр. Константинова. В повести «Это мой сын» есть и удачные страницы, но «там, где М. Глушко человеческую трагедию матери, потерявшей сына, начинает вести по канонам мелодрамы, заставляя молодую, имеющую еще одного ребенка и любящего мужа женщину вечно терзаться, казнить, отравляя своим пессимизмом жизнь окружающих,— там автор отходит от верности психологического рисунка».

Действительно, слыханное ли это дело и бывает ли так вообще в жизни: у женщины есть еще один ребенок и муж, а она тяжело переживает потерю второго ребенка!

Не буду утомлять читателя перечнем всех особенностей статьи Юр. Константинова «Проза 1958 года». Стоит ли заниматься, выражаясь термином Юр. Константинова, «мелочным колупанием теневых сторон действительности»? Надо ли возмущаться тем, что Юр. Константинов всерьез осуждает писателя, посмеявшегося свести своего героя с «женщиной вампирского типа», что он восторженно восклицает в адрес десятилетнего мальчика: «какого человека страна вырастила!» или вдруг начинает протестовать

против попыток идти «слишком узкой тропой обобщений».

Не будем обращать внимания и на многочисленные противоречия в тексте. В одном абзаце Юр. Константинов рекомендует «Сентиментальный роман» «как одну из немногих книг минувшего года, отмеченных печатью высокого художественного мастерства», и нахваливает В. Панову, наполнившую свое произведение «сильно выраженными приметами времени», а десятью строчками ниже порицает писательницу за то, что она «не захватила в поле своего зрения то, что во многом определяло время».

Все это мелочи по сравнению с теми выводами, к которым приходит Юр. Константинов, подводя итоги своего обзора: «Язык, композиция, сюжет, характеры героев, их речевые и (!) психологические характеристики никогда не живут порознь в художественном творении, все крепко сцеплено и взаимообусловлено в том, что составляет мастерство писателя». Вот теперь наглядно видишь: уровень критической статьи самого Юр. Константинова находится в прямой зависимости от того, как он использует все, что создает критическую статью. Есть здесь и пересказ сюжетов многочисленных книг, и их беглая оценка, и теоретические экскурсы, и публицистические отступления, и «яркие метафоры», и «смелые сравнения», и все прочие средства художественной выразительности. Одно только забыл Юр. Константинов, в одном только разошелся со своими же собственными выводами. «Писатель,— уверяет он нас,— обязан работать на том уровне литературной техники, который исключает появление серых... аляповато сколоченных произведений. Здесь уже играет роль не только талант, опыт, культура, но и труд, сознание высочайшей ответственности перед читателем».

Еф. Борисов

Московская почта

Знаете ли вы, сколько в столице почтовых отделений? Триста двадцать. В восемь раз больше, чем было в дореволюционной Москве!

Центр этой широко разветвленной почтовой сети — Московский почтамт.

Заглянем в его первую экспедицию. Каждые сутки отсюда уходит один миллион писем, отправляемых москвичами и столичными учреждениями во все концы страны. Стеллажи, которыми уставлено огромное помещение экспедиции, разделены на бесчисленное множество клеток — по числу пунктов, в которые уходит корреспонденция. Работающие здесь сортировщики — отличные знатоки карты административного деления СССР. Лишь в самых исключительных случаях заглядывают они в справочник — «Трастовый указатель», в котором поименованы 55 тысяч почтовых учреждений СССР.

Обработка партии писем, поступающей в экспедицию, должна производиться максимум за два часа. Сортировщики работают с исключительной быстротой. Они держат в памяти все, что напечатано в «Трастовом указателе». Приходится при этом учитывать и всякие сложности. В стране, в разных ее районах, насчитывается, например, двадцать восемь почтовых отделений с одинаковым наименованием «Красный Яр». Это и многое другое нужно постоянно помнить, чтобы выполнить норму — поспеть за один час рассортировать более двух тысяч писем.

Работает сортировщик так: в левой руке держит пачку писем, на которую все время устремлены его глаза, а правой рукой берет из пачки письмо и кладет его, уже не глядя, в ту клетку, куда оно должно лечь, чтобы попасть по назначе-

нию. «Клавиатура» сортировщика состоит из пятисот — шестисот клеток!

Особо выделены аэродромы Советского Союза, в том числе — полярные, куда ежедневно направляются мешки с письмами «на сброс».

...Сигнал оповестил: с вокзала пришла очередная партия корреспонденции. Грузовик остановился во дворе почтамта. У одного из люков приняли мешки и по наклонному транспортеру направили их на второй этаж — в девятую почтовую экспедицию. Здесь производят обработку писем, адресованных москвичам. С одних только самолетов почту принимают около двадцати пяти раз в сутки. И до ста раз — с поездов, ежедневно прибывающих на московские вокзалы.

Груда писем высыпана из мешков на огромные, обитые цинком столы. Как в ней разобраться? Не успел я об этом подумать, как проворные руки девушек разложили стандартного формата письма по небольшим ящикам и направили их по транспортерам к сортировщикам.

И вот уже шагает вдоль стеллажей с клеточками одна из лучших сортировщиц девятой экспедиции Московского почтамта Нина Тимофеева. Она обрабатывает в час 2850 писем при норме 2100, раскладывая письма по 320 клеткам — во все почтовые отделения столицы.

Как это нелегко — правильно рассортировать все письма! Мне показали «Справочник по сортировке почтовой корреспонденции в Москву». Это объемистый, в 455 страниц, том. На 81-й странице, например, даны такие сведения: улицу Горького обслуживают пять почтовых отделений. Дома от № 1 до № 17 приписаны к 9-му почтовому отде-

лению. А в учреждения, размещенные в доме № 13, приносят корреспонденцию почтабоны другого — 32-го почтового отделения. Эти и десятки других «сюрпризов» хорошо знают сортировщики.

Было бы не так уж трудно направить в соответствующее почтовое отделение письмо, если бы на всех конвертах был проставлен индекс. Но ежедневно в Москву приходит около полумиллиона писем без указания индекса. Их доставка на почтамт, сортировка и развозка по городу отнимают не менее трех часов.

А письма с индексом прямо с вокзала, минуя почтамт, попадают на семь московских почтовых узлов. Среди них и распределены почтовые отделения столицы. На узле сортировка идет быстро — в местных особенностях разбираться тут намного легче.

Да, отнюдь не прихотью работников связи диктуется необходимость проставлять на конверте индекс почтового отделения. Помните об этом, товарищи, отправляя в Москву письмо!

Но дело не только в индексах. Каждый день на Московский почтамт прибывают сотни писем с такими, например, адресами: «Начальнику ОДУЭС» или «Москва, Народный суд». Большинство таких писем возвращаются отправителям, загружая при этом почту и транспорт.

Ну, а как поступать в тех случаях, когда адрес отправителя неизвестен, а адрес получателя состоит всего лишь из двух слов — скажем: профессору такому-то? Приходится содержать специальную «Справочную группу обработки корреспонденции с неясными адресами».

— Мы наводим справки, звоним по телефону, обращаемся в адресное бюро... — говорит работающий в этой группе старый связист Иван Федорович Пешко. — Зато как доволен адресат, когда его разыщешь!

Перед праздниками объем работы Московского почтамта увеличивается почти втрое. Родилась добрая традиция: обмениваясь друг с другом поздравлениями по случаю праздника, да еще все предприятия и учреждения посылают поздравительные открытки ушедшим на пенсию. Разумеется, и пенсионеры не остаются в долгу перед бывшими своими сослуживцами.

Но одно дело — традиция добрая, а другое — традиция досадная. В наименованиях московских улиц существует невероятная пестрота и путаница. Возьмем хотя бы один пример из сотен подобных. Станция Ростокинская, Левая Ростокинская улица, пять Ростокинских переулков, Ростокинский городок, пять линий Ростокинского городка... — вот названия улиц и переулков, расположенных на сравнительно небольшом участке столицы.

А сколько хлопот причиняет переименование улиц или путаная нумерация домов. На Ленинградском шоссе через три дома от дома № 27 висит табличка:

«Ленинградское шоссе. № 107». Вот и поди разберись, что к чему!

На многих новых жилых домах таблички с номерами появляются спустя несколько месяцев после того, как дома заселены.

Исполком Моссовета уже давно обязал главного архитектора столицы следить за тем, чтобы в подъездах строящихся домов устанавливались абонементные ящики. Но это указание выполняется плохо.

Мало «прославлять» почтабона ремесло», как поется в одной популярной песенке. Пора посадить его на легкий моторизованный транспорт — особенно на трудных маршрутах, пора позаботиться и о создании опорных пунктов, куда почта привозилась бы для определенного микрорайона.

...Однажды в 9 часов утра я опустил в своем почтовом отделении три письма моим друзьям-москвичам. По инструкции, утвержденной Министерством связи, почта обязана была доставить эти письма в тот же день. Однако они пришли по назначению лишь на следующий день. Иные письма ходят по Москве два-три, а то и четыре дня. Бывают случаи, когда письма, на конвертах которых стоит пометка «авиа» и наклеена рублевая марка, путешествуют по железной дороге, а не по воздуху.

Кое-кто в почтовом ведомстве объясняет это так: мол, в большом деле не избежать ошибок. Мы думаем иначе — чем больше объем работы, чем она сложнее, тем более четко она должна быть организована!

В семилетке намечены большие планы, связанные с улучшением работы московской почты. На Казанском, Киевском и Павелецком вокзалах будут сооружены почтамты. Реконструируют отделения перевозки почты и на некоторых других вокзалах и аэродромах. Железнодорожные почтамты, которые будут обслуживать и прилегающие к ним зоны, оборудуют грузовыми лифтами, большим количеством транспортеров различной конструкции, полуавтоматическими, а впоследствии и автоматическими установками для сортировки посылок. Сооружение почтамта при Казанском вокзале уже началось. Длина его будет равна 120 метрам, ширина — 60, высота каждого из шести этажей — 6 метрам. На крышу здания будут опускаться вертолеты с грузом. Почтамт будет обрабатывать около 150 000 посылок в сутки.

На многих предприятиях связи будут установлены автоматы и полуавтоматы для различных видов почтовых операций.

Но пока что — надо это прямо сказать — Московский почтамт работает полустарыми методами. Еще в 1951 году зародилась мысль создать автомат, полностью исключающий ручной труд при сортировке писем. И только три года назад в Центральном научно-исследовательском институте связи приступили к

его проектированию. Сейчас уже создан действующий макет электронной сортировочной машины, которая работает в семь раз быстрее самого умелого сортировщика и никогда не ошибается: сама «читает» адрес-код и «раскладывает» в час 13 500 писем. Но, к сожалению, дальше макета дело не пошло. Так он и стоит в разобранном виде...

Чтобы применить на практике автоматическую сортировочную машину, потребуется перестроить весь процесс прохождения письма. Каждое письмо стандартного формата должно быть снабжено кодом. Как это наладить? Ясного представления о принципах такой перестройки еще нет.

Мнения на этот счет у главного инженера Почтового управления Министерства связи СССР И. А. Ламма и у заместителя начальника Почтового управления Министерства Н. К. Бушуева расходятся. И проектировщики машины идут пока своим путем, действуют на ощупь.

Слов нет, в старой почтовой карете была своя романтика. Но в наше время в этой карете далеко не уедешь. Пора уже выпрычь из нее «старую клячу» — кустарщину, остальные методы работы, свести к минимуму ручной труд почтовиков и с помощью новой техники перевести почтовое обслуживание жителей столицы на современные рельсы.

Мартын Мержанов

«Урожайный год»

(Спортивные заметки)

Когда вспоминаешь о прошлом спортивном годе, перед взором возникает неоглядная арена борьбы молодых, здоровых, красивых людей, которые взлетают с шестом над планкой, прыгают с вышки в воду, бегают, играют в мяч, метают диски, рисуют узоры на льду, прокладывают лыжню в лесу, восходят на вершину Монблана, да разве можно увидеть все, что происходит на людной арене?

Многие события на этом форуме вызывают интерес, но я хочу остановиться только на тех, которые своим значением определяют движение вперед.

Спортивным маяком нынче стал Олимпийский огонь, который хотя и вспыхнет только в августе будущего года в Риме на «форо Италико», но уже теперь освещает путь к обиталищу «спортивных богов» — Олимпу.

Может быть, именно поэтому, заглянув в распахнутую дверь Олимпийского года, хочется поговорить в первую очередь о легкой атлетике — матери спорта еще со времен эллинских состязаний в древней Греции. Она и сейчас не уступает своего первенства в искусстве гармоничного развития человеческого тела и верховодит на стадионах. Легкая атлетика многогранна, как никакой другой вид спорта. Она любит быстрых и смелых, ловких и сильных, гибких и выносливых.

Еще совсем недавно в списках сильнейших легкоатлетов мира редко можно было встретить имя советского спортсмена, а если оно и попадалось, то где-ни-

будь за чертой десяти звезд первой величины. И почти все «спортивные боги» принадлежали к команде США, которая не имела себе равных ни на Олимпийских играх, ни на любых других состязаниях.

Теперь картина меняется: на международную арену выбегают наши легкоатлеты, на флагштоках взвываются знамена нашей отчизны, на пьедестал почета под звуки гимна поднимаются наши ребята с улыбкой на уставших лицах.

Дельцы американского спорта, просматривая протоколы состязаний, снисходят до наигранной улыбки, но не могут погасить в себе раздутое пламя сомнения.

Однако в последнее время появилась тревога. Она прозвучала даже в голосе наиболее выдержанного и олимпийски спокойного президента международного олимпийского комитета американца Эвери Брендеджа. На банкете в Чикаго он сказал: «Все чаще и чаще атлеты других стран, а не США устанавливают мировые рекорды... без сенсационных достижений черных и других темнокожих атлетов мы никогда бы не были выше нации второго ранга»...

Ушедший сезон показал, что американцев не спасли и талантливые темнокожие бегуны... На стадионе Франклин-Филд, в Филадельфии, где встретились советские атлеты с отборными спортсменами США, взвился флаг Советского Союза...

Второй матч столетия

Реванш — это отплата за поражение. Такого реванша жаждали американские легкоатлеты после того, как в 1958 году в Москве они проиграли два очка в состязании, которое журналисты окрестили как «матч столетия».

В те дни один из американских журналистов сказал мне:

— Это уж чересчур... На Олимпийских играх в Хельсинки ваши спортсмены занимали вторые и третьи места, в Мельбурне они уже вышли на первые места, а теперь победили непобедимых... Согласитесь, что это чересчур...

Сейчас нет надобности вспоминать очень интересную и до предела напряженную борьбу атлетов, когда до последнего посылка копья не было известно, кто же выйдет победителем в десятиборье — Рафер Джонсон или Василий Кузнецов? Победил Джонсон, но и эта спортивная удача не спасла команду США от поражения. И вот в момент, когда на электрическом табло вспыхнули цифры 172 : 170 и определилось превосходство наших атлетов, американцы захотели повторить встречу, но теперь уже на глазах соотечественников, на маленьком уютном университетском стадионе Франклин-Филд. Они угадывали в этом успех.

Но реванш не получился. Правда, американские спринтеры Р. Нортон и Э. Саутерн опять были первыми на коротких дистанциях бега, зато А. Десятчиков и А. Артынюк — на длинных, А. Ортур и А. Кэнтело отличились в метаниях, а Р. Шавлакадзе и К. Цыганков — в прыжках.

Героями дня стали наши стайеры-бегуны на длинные дистанции. В 39-градусную жару они блестяще провели бег на десять тысяч метров. Спортивные комментаторы расценили это как подвиг в «тяжелой схватке» с расстоянием и солнцем. Не все эту борьбу выдержали. Американец Р. Сот, например, закончил бег на... носилках.

Эту трудную дистанцию выиграл А. Десятчиков. Вторым был тоже советский спортсмен Х. Пярнакиви.

В фокусе внимания оказалось десятиборье — наиболее трудный вид программы, в который входят и бег, и прыжки, и метания. Прошлогодний поединок Джонсона и Кузнецова не был забыт. Но пока американский спортсмен терял время на то, чтобы собирать брошенные ему под ноги лавровые венки, Кузнецов тренировался.

Перед самым матчем в Филадельфии стало известно, что Рафер Джонсон не примет участия в состязании. Американские газеты по-разному говорили об этом факте. Одни утверждали, что он попал в автомобильную катастрофу, другие — что он просто занемог, одни считали, что он не может выступать, другие настаивали на том, чтобы он все-таки выступил. Однако в последний момент Рафер

Джонсон участвовать в единоборстве с Кузнецовым отказался. Ну что ж, в легкой атлетике можно состязаться и заочно, ибо сантиметр и секундомер безошибочно определяют победителя. Кстати, заочная борьба между этими выдающимися десятиборцами идет уже давно. Заветной мечтой обоих было «перешагнуть» восьмитысячный барьер общей суммы очков. Джонсону это удалось однажды, а Кузнецову — четырежды. Но нужно было преодолеть не только восьмитысячный барьер, но и результат, показанный Рафером Джонсоном в прошлом году в Москве. И вот Василий Кузнецов на глазах американцев, в очень неблагоприятных метеорологических условиях, пошел в атаку на достижение Джонсона. Атаквал он красиво и уверенно и добился блестящего результата: он набрал 8350 очков. Это значительно больше, чем имел в своем активе заочный соперник Джонсон, и на 753 очка больше, чем набрал Д. Эдстрем, который был соперником реальным.

Любители легкой атлетики в Франклин-Филде шумно рукоплескали Кузнецову и выбегали на поле, чтобы обнять его.

Когда выстрел из старинной пушки возвестил об окончании второго матча столетия, судьи подписали протоколы, в которых значилась еще одна победа легкоатлетов СССР. На сей раз она выразилась в более внушительной цифре 175 : 167.

Один из американских тренеров сказал:

«Пока мы спали, русские шли вперед. Теперь, чтобы догнать их, нам потребуется не менее четырех лет»...

Успех в Франклин-Филде трудно переоценить. Он еще раз развеял миф о непобедимости американских легкоатлетов, которые, как они сами признались, «шли с больших козырей».

Рассчитанная до метра и до секунды, их тактика выигрыша дала трещину в самом, казалось, неожиданном для американцев месте: они проиграли прыжок в высоту.

В прошлом году в Москве, когда знаменитый Чарльз Дюмас не мог допрыгнуть до планки Игоря Кашкарова, он заплакал, не стесняясь окружающих. В этом году Дюмас проиграл не только И. Кашкарову, но и молодому советскому прыгуну Роберту Шавлакадзе. Американец покинул стадион без слез, но низко опустив голову.

Кто-то из его друзей подшутил:

— Чарльз! Проигрывать русским становится твоей привычкой...

Не менее неожиданным для хозяев стадиона оказалось поражение известного метателя Г. Каннолли, молот которого до сих пор неизменно летал дальше, чем у других.

Но вот способный советский «молотобоец» Василий Руденков послал свой

снаряд на 75 сантиметров дальше. Зрители «ахнули», а Коннолли растерянно смотрел на своего неизвестного соперника.

Эстафета

На стадионе имени В. И. Ленина в Лужниках шумел большой спортивный праздник — вторая Спартакиада народов СССР. Здесь состязались легкоатлеты, только что прибывшие из далекой Филадельфии и отмеченные мировой известностью, здесь же бегали, прыгали и метали сотни спортсменов, которые впервые стали рядом с прославленными мастерами.

Рядом со мною на трибуне сидел Владимир Куц. Он комментировал события: 35 миллионов молодых людей приняли участие в предварительных состязаниях второй Спартакиады, 55 тысяч спортсменов-перворазрядников и около пяти тысяч мастеров выросло за последние годы, а рекорды сел и городов обновляются чуть ли не каждый день. Мне вспомнилось, как совсем еще недавно, сидя на стадионе, мы обратили внимание на вихрастого, светловолосого паренька, который, «не взирая на лица», первым пришел к финишу длинной дистанции, немало поразив и зрителей и судей.

— Кто это?

Несколько позже вихрастый паренек рассказал нам, что по имени он Владимир, а по фамилии Куц, по «роду войск» — краснофлотец, а происходит из села Алексин, что стоит на речушке Баромле в Сумской области...

Теперь Владимир Петрович Куц только зритель, но он по праву может считаться участником, ибо диктор, комментируя бег стайеров, все время вспоминает о рекорде Куца и тем самым как бы подбадривает бегущих. Получается, что они соревнуются не только между собой, но и с результатом Куца, как он в свое время заочно состязался со своими знаменитыми учителями.

Так передаются спортивные эстафеты, так вихрастые пареньки выходят сначала на колхозный стадион, затем на первые смотрины — районную спартакиаду, а там, глядишь, и до Москвы «допрыгаются».

Миллионные резервы атлетов — основа наших успехов. Легкоатлеты уверенно победили в нынешнем сезоне не только американцев, но и англичан и немцев. Урожайный год!

Все это относится не только к атлетам «легкого жанра», но и к штангистам, которые, как известно, выступают в жанре тяжелом. И они черпают свои силы в гуще народной, среди сельских силачей, и им пришлось вести многолетнюю борьбу с американцами штангистами, среди которых был и «черный Аполлон» — негр Дэвис, и поляк С. Станчик, и японец Томми Коно. Эти спортсмены были «завербованы» крупнейшим амери-

канским дельцом, менеджером «железной команды» Бобом Гофманом. В последние годы к этой компании примкнул «подъемный кран» Пауль Андерсон, ныне сбежавший в профессионалы. Теперь он в цирке на утеху зрителей поднимает не штанги, а тяжелые несоразмерные шкафы...

На Олимпийских играх в Мельбурне советские штангисты заставили заговорить о себе во весь голос. В прошлом году в Стокгольме «железная игра» закончилась триумфальной победой советских спортсменов. И вот, новые успехи. Недавно в Варшаву съехались силачи, чтобы оспаривать право называться лучшим в мире. Американцы вновь попробовали взять реванш: Томми Коно удалось победить Ф. Богдановского, но и только. Советские штангисты В. Стогов, В. Бушуев, Р. Плюкфельдер и Ю. Власов стали чемпионами мира и Европы, а двое последних установили мировые рекорды в своих весовых категориях.

Очень хорошо выступили польские спортсмены, среди которых особенно отличился штангист М. Зелинский.

Американцы остались на третьем месте.

И еще одна интересная победа, о которой хоть кратко, но хочется сказать. Существует вид спорта, именуемый офицерским пятиборьем. В нем могут участвовать спортсмены, умеющие отлично стрелять из пистолета, бегать по пересеченной местности, фехтовать, плавать и совершить кросс на лошади. По правилам соревнования спортсмен должен скакать на чужом коне, который будет ему предоставлен только за 15 минут до начала состязаний, и стрелять из чужого пистолета, который до этого никогда не держал в руках.

У нас офицерское пятиборье культивируется всего несколько лет, тем не менее мы прочно завоевали международную арену. В октябре вернулись из Пенсильвании (США) наши пятиборцы. Они вновь победили всех. Особенный успех выпал на долю ереванского спортсмена Игоря Новикова, который вот уже третий год подряд получает не только золотые медали, но и звание сильнейшего пятиборца мира.

А теперь о футболе

Если наши атлеты, штангисты, пятиборцы, баскетболисты, борцы, гребцы радовали своими достижениями, то о футболистах, к сожалению, этого сказать нельзя. И как бы ни подсчитывались победы и промахи, последних было больше, и никакой оптимист не взял бы на себя смелость занести минувший сезон в разряд удачных.

Позади остались «битвы на шведских полях» в дни чемпионата мира, где мы, «кстати сказать, существенных успехов не имели, а впереди предстояли игры за

право получить «билет на проезд в Рим», на Олимпийские игры.

Здесь следует сделать некоторую оговорку. Международная футбольная федерация, или как она в сокращении игриво называется «фифа», вынесла странное и малообоснованное решение, в силу которого в римском олимпийском чемпионате не могут принимать участие игроки сборных команд, выступавших в матчах на первенство мира.

Таким образом 22 сильнейших советских футболиста были лишены возможности защищать спортивную честь страны. К тому же в отборочном состязании жребий свел в одну территориальную зону советских спортсменов с командами Румынии и Болгарии, на игроков которых не было наложено «вето» «фифа», так как эти коллективы не участвовали в шведском турнире.

Против сильнейших национальных сборных команд мы вынуждены были выставлять, по сути дела, молодежный коллектив. А он не украсил лавровыми листьями наш футбольный венок. Молодая команда состязания провела неудовлетворительно: две закончила ничью, одну выиграла и одну проиграла в Софии, то есть, как говорится, «осталась при своих». Но этого оказалось недостаточно для поездки в Рим.

Но неудачи футбольного сезона я вовсе не склонен ограничить поражением молодой олимпийской команды. Как бы ни были они неприятны, в конечном счете это только неудачи.

Однако, глядя на большинство матчей, в том числе и на те, которые были выиграны нашими футболистами (как, например, у французской команды «Реймс»), невольно замечаешь какое-то общее снижение класса футбола. Откуда оно? Мне кажется, происходит это от никем не писанного курса на силовой футбол.

Давно известно, что там, где не хватает умения, на первый план выставляется сила.

В первые шеренги команд пришли молодые люди. Они имеют бесценный дар молодости — быстроту, обладают большой физической силой, но не умеют пока свободно обращаться с мячом. И вот этот недостаток они пытаются компенсировать силой.

Сквозь пальцы на это смотрят тренеры, сквозь пальцы глядят и судьи, а в итоге нормальный атлетический футбол

перерождается в силовой, грубый, или, как сами спортсмены говорят, — грязный футбол.

Он не только изменяет облик советского футбола, который еще так недавно пользовался мировой известностью, но искусственно тормозит успешное движение вперед, наметившееся в последнее пятилетие.

Надеемся, что это болезни роста. Во всяком случае большая плеяда молодых игроков, которая «обрастает мясом мастерства», подает большие надежды.

Закончившееся первенство страны еще раз убедительно показало, что команды, которые пытались добиться успеха, применяя только силу, потерпели крах. Наиболее показательна в этом смысле судьба коллектива Центрального спортивного клуба Министерства Обороны. Силовые принципы футбола и явно выраженная оборонительная тактика отбросили эту, некогда сильнейшую, команду страны на одно из последних мест в розыгрыше страны.

Не имели удачи и другие силовые команды: «Молдова» (Кишинев), «Крылья Советов» (Куйбышев).

В то же время добились видного успеха те клубы, которые показали техническую, комбинационную, красивую игру. Они избрали своей тактикой атаку, а не оборону и, естественно, добились заслуженных побед. Я имею в виду московскую команду «Динамо». Она вновь стала чемпионом страны. Отлично зарекомендовал себя коллектив тбилисского «Динамо», показавший исключительно содержательный, интересный футбол. Команда из Тбилиси «шагнула» с девятого места на третье — призовое. Редкий успех.

Очень удачно провел сезон московский «Локомотив».

Прошлогодний чемпион страны «Спартак» в первой половине турнира терпел крупные неудачи. Объяснить это можно только непрерывным и не всегда обоснованным поиском нового состава. Вторую половину турнира «Спартак» провел хорошо и «выбрался» в верхнюю часть турнирной таблицы.

Почти все коллективы пополнились способной молодежью. Хочется надеяться, что рецидивы «силовой игры» будут изжиты, а плеяда молодых игроков, которая «обрастет мясом мастерства», поможет восстановить былую славу советского футбола.

Штамп на титульном листе.— Дом Загреева.— Новый музей А. П. Чехова.— Концерты «большой музыки». — Узники Кенсгольмской крепости.— Первые проенты метрополитена.— Сад Чехова.— Потомство дымчатых снляров.— Температура минус 195.

ДАР ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ СТЕПАНОВОЙ

Большой шкаф во всю стену. Под стеклом Горький, Чехов, Шолохов, Достоевский, Шекспир, Драйзер, Бальзак... Возьмите любую из этих книг, раскройте ее и на титульном листе, кроме штампа библиотеки, найдете еще один: «Книга — дар Валентины Ивановны Степановой».

Приходит в библиотеку Геннадий Клюквин, молодой кузнец с авторемонтного завода. Просит что-нибудь Беляева.

— Возьмите «Остров погибших кораблей». Не читали? — предлагают ему.

Раскрывает книгу Геннадий, начинает по привычке знакомиться с ней, листая страницы, и видит маленький прямоугольник сверху.

— А кто такая Валентина Ивановна Степанова?..

Давным-давно, еще в прошлом веке, начинал свою жизнь в Саратове веселый, общительный парень Сергей Степанов. Хотел учиться, но дальше четвертых классов городской школы не пошло.

Нужда заставила работать. С детства он знал и любил соседскую девочку Валю. Но родители прочили ей только богатого жениха.

Бурная осень 1905 года оборвала последние надежды. Сергей участвовал в сентябрьских и ноябрьских забастовках и попал в черный список. Всюду, куда бы он ни стучался, перед ним закрывались двери. Пришлось зарабатывать на хлеб насущный в других городах. В Сызрани и Самаре — грузчик на пристани. Потом снова Сызрань, потом Астрахань, Ташкент. А потом он сдал экзамен на почтового курьера. Было это уже в 1919 году. Всюду, где Сергей ни ездил, возил мечту далекой юности. Бежали станции, полустанки, бежали годы. А он все не переставал думать и жадно ловил каждую весточку о том, что делается там, у нее.

Неведомо куда могут привести дороги жизни.

Так бывает только в сказках, скрестились, соединились их пути. Он,

Сергей Петрович, и она, Валентина Ивановна, были, наконец, вместе. Оба уже не молодые, изведавшие бури и грозы. Они были вместе! Ведь говорят же, что очень хочется, то сбывается...

Они жили в маленьком флигельке, в тихом и зеленом переулке, перед горой, очень скромно, пожалуй даже уединенно. Он уходил на работу (теперь это был главный почтамт), она хозяйничала. И в свободные вечера и часы читала. Это было ее любимое занятие. На ее столике всегда лежали книги. В библиотеке ей, как давнишней и постоянной читательнице, в виде исключения давали сразу несколько книг.

Что ж удивительного в том, что в свой тяжкий час она завещала:

— ...А все наши деньги отдай, Сереженька, на книги. Библиотеке.

Каждое слово умирающей для Сергея Петровича священо!

Ничего не было странного в том, что говорил заведующей читальным залом Вере Ивановне небольшой старичок в поношенном пальто с бледным страдальческим лицом.

Но Вера Ивановна ничего не понимала.

— Вы хотите подарить нам сорок тысяч? — удивленно переспросила она.

— То есть, это не совсем я. Это моя жена. Но ее уже нет.

Ничего не понимая, Вера Ивановна провела Сергея Петровича к директору библиотеки Клавдии Петровне Макуриной и, пока стояла, знакомя их, очень выразительно пожалла плечами и недвусмысленно повертела пальцем у виска.

Сергей Петрович во второй раз терпеливо рассказал. Нет, он пришел сюда не случайно, а потому что прочитал про библиотеку в газете. Она ведь лучшая не только в городе, но и в республике. Не понадобятся ли самому эти деньги? Нет. Получает пенсию. Ее хватает. Вполне. Хочет, чтоб купили на эти деньги книги, главным образом русских и советских писателей. И еще Гюго, и Бальзака, и Драйзера. Очень любила их Валентина Ивановна.

Сергей Петрович правильно сделал выбор, придя именно в эту библиотеку. Здесь он встретился с таким чутким и сердечным человеком, как Клавдия Петровна Макурина. Можно было, вежливо поблагодарив, перечислить сумму на текущий счет библиотеки, и все. Но тогда книги Степановых перемешались бы со всеми остальными и никто потом и не вспомнил, и не узнал о благородном их поступке. Клавдия Петровна решила иначе. В сберегательную кассу вместе со Степановым отправляется целая делегация: директор библиотеки, председатель местного комитета и бухгалтер. Оформляется акт передачи денег и заводится особый счет. На этот счет решено приобретать самое лучшее, самое интересное: в магазинах, у букинистов, у частных владельцев редкостей.

В тот же торжествен-

ный день в библиотеку приглашаются активисты-читатели, устраивается нечто вроде собрания, на котором все горячо благодарят седого человека в старомодном пенсне. Он до слез растроган человеческим участием и вниманием. И с тех пор нет-нет да и заглянет в библиотеку. Однажды пришел и увидел гору книг. Они лежали на диване и на стульях и еще нераспакованные, перетянутые бечевкой, прямо на полу.

— Вот, Сергей Петрович, это все на ваши деньги. И на каждой книге будет вот такой штампик. Специально заказали в мастерской, — сказала ему Клавдия Петровна, подавая коробочку.

— Если б все это видела Валентина Ивановна! — только успел сказать он и, ухватившись за сердце, не сел, а как-то повалился на стул...

Так вот и появился штамп «Книга — дар Валентины Ивановны Степановой», который так удивил кузнеца Геннадия Ключвина. Еще многие и многие годы будет он удивлять людей. На этом можно было бы и поставить точку и упомянуть кстати о том, что портрет

Сергея Петровича Степанова можно увидеть в альбоме библиотеки с торжественной надписью: «Почетные читатели городской библиотеки Саратова». Но может быть, кто-либо заинтересовался: где и как живет сам Сергей Петрович?

Он снова в Ташкенте. Поехал к своей родной сестре. Библиотека устроила ему теплые проводы. Был огромный торт с трогательными шоколадными буквами: «Счастливого вам пути», и цветы. И снова это очень разволновало старого человека. Он даже не находил слов благодарности. Нет, нет, никогда до конца дней своих не забудет всего этого, — повторял он, пожимая на прощанье руки новых друзей.

И еще. Если кто-либо захочет посмотреть книги Степановых, поезжайте в Саратов, улица Ленина, большой новый дом под номером 32. Они не помещаются в директорском шкафу. Их много на выдаче. Уже больше тысячи книг, подаренных горожанам Валентиной Ивановной и Сергеем Петровичем Степановыми.

Г. Куликовская

ПЯТИДЕСЯТИКВАРТИРНЫЙ ДОМ ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

Помнится мне рисунок, помещенный в одной из центральных газет. На нем был изображен кран необычных размеров и форм. Под краном недостроенный дом — он складывается из отдельных объемных элементов — комнат, как из кубиков. Подпись под рисунком гласила:

«Так будет выглядеть строительная площадка в недалеком будущем».

Это было совсем недавно, и вот уже у дома из объемных элементов появился конкурент — дом объемно - пространствен-

ной коробочной конструкции. Автор его, известный строитель, ныне пенсионер, Иван Иванович Загреев.

«Дом Загреева» мало чем отличается от здания, построенного из объемных элементов. Это, собственно, его близнец, но еще более упрощенной конструкции.

Представьте, что на вашем столе в беспорядке лежит два десятка спичечных коробок. Сложите их в стопку, по несколько штук в ряд. Это и будет упрощенная модель дома из объемных элементов.

— Позвольте,— сказал профессор Загреев.— А почему коробка к коробке? Ради чего между двумя комнатами нужны две стены?

Это была блестящая догадка. Долгие месяцы напряженного труда понадобились Ивану Ивановичу для того, чтобы эта догадка облеклась в чертежи, расчеты.

Итак, две стены между комнатами — никому не нужная роскошь. Как же быть? Правильное решение, как всегда, было необыкновенно простым: коробчатые блоки нужно монтировать в шахматном порядке.

Возьмите те же коробки спичек и разложите их в шахматном порядке по две в ряд. А теперь разломайте одну из коробок и приставьте боковые части коробки к проемам. Это и будет упрощенная модель дома объемно-пространственной коробочной конструкции.

Коробчатые блоки монтируются, как вы поняли, в шахматном порядке. Когда блоки-комнаты установят и закрепят, к ним монтируются приставные панели с окнами, а затем, поверху, укладывается перекрытие с готовым полом. Этаж готов. На нем снова устанавливаются в шахматном порядке коробчатые блоки, монтируют приставные панели.

Каждый коробчатый блок состоит из наружной стены с оконным проемом трех внутренних стен. Наружные стены толщиной 20—30 сантиметров изготавливаются из керамзитобетонных или асбоцементных плит с заполнением пеностеклом, минеральной ватой и т. д. Внутренние стены изготовлены из железобетона с предварительно-напряженной арматурой в виде двутавровых панелей толщиной 4 см. С внутренней стороны стены облицовываются пластмассовыми плитами, которые наклеиваются на панели.

На первый взгляд кажется, что дом профессо-

ра Загреева не такое великое дело. Однако даже по предварительным, очень приблизительным подсчетам выяснилось, что темпы монтажа такого дома возрастают в 6—8 раз. Только десять дней потребуются на то, чтобы вырос пятидесятиквартирный красавец дом. А стоит такой дом будет в полтора

раза дешевле, чем строящийся сейчас крупнопанельные дома.

Пройдет еще немного времени, и громоздкий панеловоз с коробчатым блоком прогудит по московским улицам, направляясь на стройку первого в Союзе «дома Загреева».

М. Толмачев

В МЕЛИХОВО, ПОД МОСКВОЙ...

Пожалуй, не каждый читатель чеховских «Мужиков» знает, что эта повесть была создана великим писателем в подмосковном селении Мелихово, где Антон Павлович прожил с 1892 по 1899 год. Немногие, видимо, знают и то, что здесь же Чехов написал «Палату № 6», «Чайку», «Дядю Ваню», «Дом с мезонином» и многие другие произведения.

После смерти Антона Павловича усадьба в Мелихово стала приходить в упадок, и только в 1939 году началось возрождение этой дорогой памяти народа чеховской усадьбы.

Благодаря усилиям сотрудников Серпуховского краеведческого музея, и особенно комсомольца П. Соловьева, был восстановлен обветшалый маленький флигель — рабочий кабинет Антона Павловича. Война задержала эту работу, хотя в 1944 году музей уже открыл свои двери.

В 1949 году здесь была создана небольшая литературная экспедиция. В 1951 году, когда по решению Правительства СССР в Мелихово был открыт памятник А. П. Чехову, сюда приехал сотрудник Серпуховского музея — молодой художник Ю. К. Авдеев. Скромный, умелый организатор, он сделал многое для создания нового музея. Прежде всего был начат сбор материалов, а также мемориальных вещей, в свое время находившихся в семье Чеховых. Мария

Павловна Чехова прислала из Ялты письмо со схематическим планом флигеля. От дочери Марии Шакиной — горничной Чеховых — поступили стенные часы, подаренные в свое время матери. Современник А. П. Чехова — М. П. Симанов обнаружил в мелиховской школе письменный стол и два кресла, которые Антон Павлович подарил школе. Учительница Бочкова принесла книгу стихов поэта С. Д. Дрожжина с автографом А. П. Чехова. В больнице поселка «Новый быт» был найден медицинский тазик доктора А. П. Чехова. Подруга Марии Павловны Чеховой художница М. Т. Дроздова передала музею галстук, который Антон Павлович привез ей из Парижа...

И все же многого здесь еще не хватало. Перед создателями музея было еще много «неизвестных», начиная с окраски флигеля и кончая цветом обоев. Но за дело взялся коллектив неутомимых людей, о поисках, труде и находках которого И. Андроников, вероятно, мог бы написать интересные рассказы...

Племянник А. П. Чехова художник С. М. Чехов нашел в семейном архиве «Записную книжку врача» за 1898 год с пометками Антона Павловича, а также новые письма, фотографии и многие вещи, принадлежавшие семье писателя. С помощью сестры писателя, Марии Павловны, была в деталях

восстановлена обстановка флигеля, даже цвет обоев, которые, как оказалось, были «серенькими с цветочками без золота, по 7 копеек кусок». Кстати говоря, одна из московских фабрик изготовила специально для музея эти обои на... старинных валках. С 1952 года в усадьбе началось восстановление фруктового сада и цветников. В саду проложены «чеховские дорожки». Здесь растут сейчас любимые писателем розы, резеда... Восстановлен и «чеховский огород» «Юг Франции», где, кроме спаржи, артишоков, баклажанов, произрастают и сладкие стручки «бавны», специально доставленные из Таганрога.

В судьбе нового чеховского музея близкое участие приняли «бывшая хозяйка Мелихово» Мария Павловна Чехова, а также О. Л. Книппер-Чехова, которая передала столь знакомые всем нам по портретам писателя пенсне и очиненный карандаш Антона Павловича.

Музей открыт, работает. Тысячи людей посещают его. Он имеет заботливых и ревностных хозяев, среди которых современники А. П. Чехова — М. П. Симанов и А. А. Журавлев, а также учитель А. М. Пронин, краевед В. М. Колобов, студент Ю. Сгибнев и другие. Любовно собранные ими материалы, документы и предметы позволили приступить к постройке главного жилого дома. В 1956 году был заложен фундамент дома. По фотографиям, рисункам и этюдкам современников хорошо известен его фасад с террасой, тройное окно кабинета, выходившее в сад.

Известно также, что дом был деревянный, обшитый тесом, окрашенный охрой.

На основе частично сохранившегося фундамента был восстановлен общий план дома. Расположение комнат, их размеры воссоздали по со-

хранившимся описаниям, фотографиям, зарисовкам, а также рассказам Марии Павловны. Все это надо было согласовать в масштабе для создания макета дома в 1/25 натуральной величины.

Теперь дом закончен. Из Ялты, последней квартиры А. П. Чехова, получены многочисленные

предметы, бытовавшие в Мелихово.

К столетию со дня рождения А. П. Чехова, 29 января 1960 года, — музей будет полностью восстановлен.

П. Куделин, заместитель председателя музейной комиссии при ЦК профсоюза работников культуры

КТО ИЗОБРЕЛ БАЯН?

Когда и где создан этот популярнейший русский музыкальный инструмент? Кем создана первая хроматическая гармоника, на которой прозвучали мелодии Глинки, Обера, Гуно? Чья вдохновенная работа вывела гармонистов на концертные эстрады «большой музыки»?

В понедельник 10 декабря 1907 года в Малом зале Московской консерватории оркестр тульских гармонистов дал необычайный концерт, имевший шумный, небывалый успех. Сохранилась афиша этого концерта. Двенадцать гармонистов под управлением дирижера В. П. Хакстрема играли вальсы из «Фауста», «Камаринскую» Глинки, произведения Штрауса, Обера... Москва была поражена. Никто не думал, что на гармонике можно играть оперную музыку, что вместо пресловутой «венки-двухрядки» перед слушателями явится новый инструмент, воспроизводящий с концертной эстрады мелодии, о которых не могли и мечтать любители-гармонисты. Вероятно, тогда никто не представлял, что эта работа туляков проложит новые пути русскому музыкальному искусству, что сделан важный шаг к созданию современного баяна и недалек тот день, когда в программу консерваторий и музыкальных училищ наряду со скрипкой, виолончелью и роялем будет включена русская гармоника.

Изобретатель баяна — Николай Иванович Белобородов, тульский красильщик, энтузиаст и фанатик гармоники, один из тех народных умельцев, которыми так богата наша страна. Большая Советская Энциклопедия упоминает об Н. И. Белобородове. Однако печатных материалов об этом выдающемся русском умельце нет.

Николай Иванович Белобородов прожил 85 лет и всю свою долгую жизнь, начиная с детских лет, посвятил конструированию этого народного инструмента, популяризации и пропаганде игры на гармонике.

Ко времени московского триумфа (а перед ним громкий успех имели концерты тульских гармонистов во многих городах России) Николай Иванович был уже глубоким стариком — ему было около 80 лет. Белобородов родился в Туле 15 февраля 1828 года. Он не имел никакого музыкального образования. У военных капельмейстеров города энтузиаст-любитель почерпнул начатки музыкальной грамоты. Вместе с рабочими Тульского оружейного завода Калгановым и Софроновым он создал первый оркестр. Все свое время он отдавал экспериментальной работе над новым, более совершенным инструментом.

В 1870 году родилась первая хроматическая гармоника-инструмент, имев-

ший полутоновую систему. Эта белобородовская гармоника цела и сейчас хранится в Тульском музее. Н. И. Белобородов был и композитором (им сочинены «Поляка-фантазия» и «Кадриль»), и дирижером, и педагогом. Ведь для новой системы игры не было музыкальных пьес. Две огромные зеленые тетради партитур, заполненные рукой Белобородова, хранятся в архивах Тульского краевого музея.

Известность Белобородова росла быстро. В Москве в 1880 году в издательстве Куликова вышел учебник «Школа для хроматической гармонике по системе Н. И. Белобородова». Русский изобретатель стал известным за границей. В 1884 году в Тулу к Белобородову приехал представитель австрийской фирмы «Кальбе», выпускавшей венские гармоника. Фирма предложила Белобородову продать свое изобретение. Но Белобородов решительно отказался. Спустя два года фирма «Кальбе» снова прислала в Россию своего представителя с тем же предложением и получила тот же ответ: это — русское изобретение, оно в России и останется.

В 1886 году родился оркестр рабочих оружейного завода — 12 любителей-гармонистов. В конце девяностых годов оркестр дал первый публичный концерт в зале Тульского дворянского собрания.

В эту пору было создано «Первое Российское общество любителей игры на хроматических гармониках». Его почетным председателем был Н. И. Белобородов. Вскоре тульский оркестр уехал в концертное турне: Петербург — Москва — Калуга — Пенза — Сумы — Курск — Воронеж. Об этом событии сохранилось несколько старых афиш с наивным, трогательным текстом. Вот одна из них:

«К предстоящему концерту 26 сентября 1908 года в городе Курске единственного в России ор-

кестра Первого Российского общества любителей игры на хроматических гармониках. Оркестр Первого Российского общества любителей игры на хроматических гармониках — единственный у нас в России, и подобных ему нет. Хотя существуют оркестры гармонистов, но это лишь жалкие пародии, играют по слуху, или, вернее сказать, один подлаживается под игру другого.

Оркестр же Первого Российского общества совсем другое. Он действительно оркестр из людей с музыкальным образованием, играющих по специально составленной партитуре.

Вышеозначенный оркестр любителей основан в городе Туле в 1870 году известным Николаем Ивановичем Белобородовым, который и изобрел гармонику с полной хроматической гаммой.

Вначале дело это у Николая Ивановича не пользовалось успехом, так как приглашенные им гармонисты, преимущественно рабочие, трудно справились с чтением нот. Но когда была разучена первая пьеса и сыграна полным хором из двенадцати человек, тогда уже кружок любителей заинтересовался этим делом и стал прибавляться, так что одно время достиг до восемнадцати человек...»

Белобородовский оркестр давал концерт и в Ясной Поляне. На железнодорожной станции был А. Н. Толстой. Он захотел послушать оркестр и выразил свое одобрение его игре.

Умер Н. И. Белобородов в Туле 28 декабря 1912 года. Похоронен в этом же старом городе русских оружейников и музыкантов.

В. Шаламов

СУДЬБА СЕМЬИ ПУГАЧЕВА

В январе 1775 года в Москве на Болотной площади (ныне сквер на Большой Полянке) был казнен Емельян Пугачев. Вместе с Пугачевым были казнены и его ближайшие сподвижники.

Царское правительство подвергло жесточайшим наказаниям многие тысячи участников крестьянской войны, физически истребляя их или, после страшных истязаний, пожизненно ссылая на каторгу.

В заключительных строках своей «Истории Пугачева» Пушкин, говоря об окончании восстания, указывает: «Совершенное спокойствие долго еще не водворялось. Панин и Суворов целый год оставались в усмирненных губерниях, утверждая в них ослабленное правление, возобновляя города и крепости и искореняя последние отрасли пресеченного бунта».

Ненависть и опасения царского самодержавия против Пугачева были настолько велики, что оно решило подвергнуть варварски жестокой каре и его семью, состоявшую из малолетних беспомощных детей.

В 10-м пункте судебного приговора, так называемой «решительной сентенции» по делу Пугачева о его семье было вынесено следующее решение: «А понеже ни в каких преступлениях не участвовали обе жены самозванцев, первая Софья, дочь донского казака Дмитрия Никифорова, вторая Устинья, дочь яицкого казака Петра Кузнецова, и малолетние от первой жены сын и две дочери, то без наказания отдалить их, куда благоволит Правительствующий сенат».

Несмотря на то, что дворянские судьи установили полную невиновность и непричастность к делу

членов семьи Пугачева, его жена Софья Дмитриевна Недюжина, сын Трофим — 10 лет, дочери Аграфена — 6 лет и Христина — 3-х лет были заточены царским правительством пожизненно в одну из самых мрачных секретных «государевых» тюрем для политических и уголовных преступников — Кексгольмскую крепость. Сюда же была заточена и вторая жена Пугачева — Устинья Петровна Кузнецова. Таково было «благоволение» Правительствующего сената, одобренное императрицей Екатериной II.

В делах охранки — Тайной экспедиции — сохранились сведения о заключенных. Чиновник Тайной экспедиции А. Макаров, обследовавший по распоряжению императора Павла I в декабре 1796 года Кексгольмскую крепость, писал, что члены семьи Пугачева содержались в условиях строгого тюремного режима, в отдельной камере, а сын Пугачева в одиночной камере и использовались на различных принудительных работах в крепости.

В этом отчете читаем следующее: «В Кексгольмской крепости: Софья и Устинья, женки бывшего самозванца Емельяна Пугачева, две дочери девки Аграфена и Христина от первой и сын Трофим. С 1775 года содержатся в Замке в особливом покое, а парень на гауптвахте, в особливой комнате. Содержание имеют от казны по 15 копеек в день, живут порядочно. Женка Софья 55 лет, Устинья — около 36 лет, девка одна 24-х, другая 22-х; малый же лет от 28 до 30. Присланы все вместе из Правительствующего сената. Имеют свободу ходить по крепости для работы, но из оной не выпускаются; читать и писать не умеют».

В Кексгольмской крепости сохранилась даже так называемая «Пугачевская башня», где содержалась семья Пугачева.

В июне 1803 года им-

ператор Александр I во время посещения им крепости «случайно» узнал о содержащихся в заточении членах семьи Пугачева и разрешил им жить в форштадте при крепости под надзором полиции. Однако это распоряжение вскоре было отменено. Члены семьи Пугачева еще долгие годы находились на положении узников. В 1826 году, когда в «Пугачевскую башню» были посажены декабристы И. И. Горбачевский, М. М. Спиридонов и др., они застали еще там двух дочерей Пугачева. Пушкин в своем дневнике 17 января 1834 года записал,

что император Николай I, узнав о работе поэта над историей Пугачевского восстания, во время встречи с поэтом сообщил ему, что три недели тому назад в Кексгольмской крепости умерла сестра Пугачева. Николай I, конечно, ошибся. Речь шла, по-видимому, об одной из дочерей Пугачева, окончившей к тому времени свой скорбный жизненный путь. В Кексгольмской крепости кончилась жизнь и остальных членов семьи Пугачева. Так жестоко распорядилось царское самодержавие с потомками великого бунтаря.

Л. Светлов

МЕТРО И «РАЗУМНЫЙ ЭГОИЗМ»

Москвичи любят свое метро, его сверкающие подземные дворцы и эскалаторы. Безотказно и точно оно служит вот уже четверть века. Поэты и композиторы слагают о метро песни. Зарубежные гости считают московский метрополитен наилучшим в мире.

Но было время, когда даже сама мысль о сооружении метро высмеивалась едко и зло.

На рубеже XIX и XX столетий инженер П. И. Балинский разработал «Проект круговой и городских железных дорог (метрополитена) для Санкт-Петербурга в связи с Центральным вокзалом». В объяснительной записке он доказывал великие преимущества нового вида транспорта, ссылаясь на опыт крупных городов Европы и Америки. Однако проект Балинского не был простым повторением уже выстроенных на Западе подземных железных дорог. Русский инженер предлагал «совершенно новый и самостоятельный принцип наиболее выгоднейшего массового передвижения в городах». Проект предусматривал постройку десяти кольцевых линий на металлических эстакадах,

в том числе в центре столицы, на Васильевском острове и Петербургской стороне, а через Неву и каналы — возведение одиннадцати новых мостов.

Интересен замысел главного вокзала. На месте, занимаемом Буховской городской больницей, намечалось соорудить трехэтажное здание «самого большого и пока единственного в мире по своей идее Центрального вокзала». Вокзал этот, по мысли инженера, должен был служить местом выхода и входа всех пассажирских поездов, прибывавших в северную столицу. Центральный вокзал предполагалось превратить в узел пассажирского движения Петербурга.

Балинский подробно говорит о больших прибылях и выгодах, которые сулила постройка железной дороги. Но где царскому правительству взять 190 миллионов рублей для такого сооружения?

Неудача не обескуражила Балинского. В содружестве с инженером Е. К. Кнорре он разработал новый проект — на сей раз для Москвы — и направил его генерал-губернатору. В жаркий августовский день 1902 го-

да было создано чрезвычайное собрание Московской городской думы. Отцы города всполошились: речь шла о их собственных выгодах: строительство подземной дороги могло снизить доходность городских земель и домовладений. При чем же здесь интересы города?

Тон всему собранию задал гласный Гучков, назвавший проект фантастическим и несбыточным. Не менее энергичной атаке подвергся проект со стороны духовенства. Один архиерей писал московскому митрополиту: «Возможно ли допустить эту греховную мечту! Не снизит ли себя человек, созданный по образу и подобию божию разумным созданием, спустившись в преисподнюю? А что там есть, ведает один бог и грешному человеку ведасть не надлежит».

Митрополит сразу нашел общий язык с реакционной частью ученых-археологов. На имя председателя Городской думы князя Голицына полетела совместная жалоба о «дерзком посягательстве» Балинского и Кнорре на святыни: «Так как тоннели метрополитена в некоторых местах пройдут под храмами на расстоянии всего лишь трех аршин, то святыне храмы умяются в своем благолепии».

А духовный писатель Троице-Сергиевой лавры С. Нилус даже настрочил брошюру на злобу дня, в которой предал анафеме метрополитен, а его проектировщиков отнес к разряду «слуг антихристовых».

Газеты того времени высмеивали предложения инженеров. Типичным, пожалуй, является «поэтический отклик» «Русского слова». Вот он:

Не лучше ли для нас,
Когда бы посреди
 гостиной,
В компании праздной,
 хоть и чинной,
Преподнесли сей вздор
невинный
В безделья скучный
 час...

В Музее истории и реконструкции Москвы можно увидеть, как выглядели в представлении проектантов станции метрополитена. Популярный в прошлом художник и писатель Н. Каразин изобразил на одной картине эстакаду метрополитена на Красной площади и на другой — линию метрополитена, уходящую от Центрального вокзала в Замошье в том направлении, где построен сейчас двухъярусный Московский метрополитен.

Московская дума дружно провалила проект железной дороги Балинского и Кнорре.

Между тем растущий город требовал новых видов транспорта.

В девятых годах прошлого столетия население Москвы достигло одного миллиона человек, но город располагал примитивными средствами сообщения — извозчиками и конкой. К 1913 году население Москвы удвоилось. Конку заменил трамвай, но теснота, сутолока не уменьшились. Москва задыхалась от отсутствия современного транспорта. Городские власти поняли, наконец, что без строительства метрополитена не обойтись. В 1912 году уже известный нам инженер Кнорре разработал «Основы проекта по устройству дороги большой скорости в черте города Москвы». Поняв о судьбе первого проекта, Кнорре прекрасно понимал, какое щекотливое дело ему поручено, поэтому в объяснительной записке он весьма осторожно излагал существо дела. «В настоящее

время,— писал инженер,— было бы слишком смело предложить для оборудования Москвы полную самостоятельную сеть метрополитенов. По предлагаемому проекту предусмотрено комбинирование пригородных путей сообщения с другими видами сношений в одно целое, органически связанное. Это положение принято в основу схемы путей сообщения».

Были и другие проекты.

В Думе снова началось обсуждение. Мнения разошлись. Гласный А. Котлецов выступил против строительства метрополитена. «Мы должны,— говорил он,— стоять на точке зрения разумного эгоизма, т. е. преследовать только московские выгоды... Нельзя быть всем благодетелями». Сей гласный не был одиноким в своих высказываниях.

Радикально разрешить проблему внутригородского транспорта в крупных городах царская Россия не смогла — это оказалось ей не под силу. Коренная реорганизация городских железных дорог началась только в советское время. Вслед за московским метрополитеном, который отмечает в 1960 году свое славное двадцатипятилетие, вступил в строй ленинградский, сооружается киевский, на очереди — строительство метрополитенов в других промышленных и культурных центрах страны. Для всех них московское метро было и остается примером и прекрасным образцом.

И. Белоконов

«ЕСЛИ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК...»

«Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша», — говорил А. П. Чехов.

В одном из писем он шутил писал О. Л. Книппер: «Если бы я не был

писателем, то обязательно стал бы садовником». И где бы ни жил Антон Павлович, он старался украсить деревьями и цветами тот клочок земли, на который его привела судьба.

Будучи уже известным

писателем, он приобрел небольшую усадьбу в Мелихово, под Москвой. Едва переехав туда, Чехов начал садовые работы. Особенно нравились Чехову посадка и уход за цветами. Даже вдали от Мелихова, в Москве, Петербурге или за границей, куда он ездил на лечение, его не оставляли заботы о саде. «До моего приезда не обрезают розы», — писал Чехов. — Срежьте лишь те стебли, которые замерзли зимой или очень больны, но осторожно: имейте в виду, что больные иногда выздоравливают».

Осенью 1898 года Антон Павлович переехал в Ялту. Он приобрел на окраине города небольшую участок земли, расположенный на крутом склоне. Внизу текла речка Учан-Су. Верхняя часть участка примыкала к пыльному городскому шоссе. Для планировки и размещения насаждений на этом участке Антон Павлович пригласил местного садовода В. М. Крутовского. Часть участка, которая отводилась для сада, было решено поделить на три ступенчатых террасы шириной от пяти до пятнадцати метров.

Той же осенью были сделаны первые посадки. Стояла теплая, солнечная погода. Антон Павлович целые дни проводил в саду. Сохранилась фотография того времени. Чехов держит в руках крошечное деревцо, ждет, очевидно, пока садовник Мустафа подготовит место для посадки. Он работал с увлечением. В письмах к родным сообщал, что поспежел, меньше чувствует одышку. Исчез кашель, так сильно беспокоивший его, особенно по утрам:

Наступили холода. Все работы на участке были прекращены. В феврале, когда вернулись теплые дни, Антон Павлович снова занялся посадками. «Вчера и сегодня», — писал он своей сестре Марии Павловне. — я сажал на участке деревья и буквально блаженствовал, так хорошо, так тепло и поэтич-

но. Просто один восторг. Я посадил 12 черешень, 4 пирамидальных акации, два миндаля и еще кое-что».

Антон Павлович заботился о том, чтобы каждому дереву, кусту были обеспечены условия, благоприятные для его развития. Если смотреть с балкона, на котором писатель часто сидел, любуясь морем, то можно заметить, что деревья с ширококорневистой кроной посажены на тех местах, где их тень меньше всего мешает цветникам и плодовым деревьям.

Вдоль опорной стены, примыкающей к городскому шоссе, растут кедр гималайский, гледичия, ива гималайская, тополь турецкий. С противоположной стороны, вдоль каменного забора, разместились ясень, ленкоранская акация, гледичия. Почти вплотную к дому были посажены: кедр атласский, хурма китайская, магнолия, фотиния вечнозеленая. В середине сада, сильно освещаемой солнцем, растут абрикосы, индийская сирень, миндаль, мушмула, слива, кипарисы посажены по всему участку. В конце сада в окружении их стоит простая деревянная скамья, которую называли «горьковской». Здесь Чехов и Горький проводили время за беседой.

Чехову нравилось, что в его саду много деревьев с опадающей осенью листвой. Они напоминали ему смену времен года, которая в Крыму проходит почти незаметно. Шелковицы и акации пирамидальные, павлония, груша, слива, яблони в конце октября облетают, создавая, как писала Мария Павловна, «иллюзию севера», т. е. средней полосы России, Подмосковья, которое так любил Антон Павлович.

Весна 1900 года была для Чехова особенно радостной. В апреле в Ялту приехал Художественный театр, чтобы показать автору его пьесы — «Чайка» и «Дядя Ваня». Пригла-

шая артистов в Ялту, Чехов писал: «Я по всему саду наставил лавочек, не парадных с чугунными ногами, а деревянных, которые выкрашу зеленой краской. Сделал три моста через ручей. Сажая пальмы. Лилии, ирисы, тюльпаны, туберозы, гиацинты — все это ползет из земли».

Как о важном событии он сообщает о начале цветения абрикосов, о том, что взошли прошлогодние флоксы. Литератору М. О. Миньшикову пишет: «Произошло чудо: у меня в саду, в грунту расцвела камелия — явление в Ялте, кажется, небывалое. Она перезимовала и перенесла 8 градусов мороза».

Скромность Чехова проявилась и в оценке им своего сада. Несмотря на то, что сад казался ему необыкновенным, в письме к таганрожцу П. Ф. Иорданову Антон Павлович называет его своим «ялтинским садишком». Сообщая О. Л. Книппер, что скоро зацветут тюльпаны, он добавляет: «Сад у меня хорош, но это сад-диллент».

Весна 1903 года оказалась последней, когда Антон Павлович сам работал в саду. По неделям он не выходил из дома. Не прекращалась только работа над пьесой «Вишневый сад».

Антон Павлович ценил извечное стремление человека украшать землю. Однажды, гуляя по саду с А. И. Куприным, Чехов сказал: «Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и чертежах. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное красивое место. Знаете ли? — прибавил он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры, — знаете ли, через триста — четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна».

Чехов ошибся в сроках. Но его предчувствие очистительной бури, которая сметет с лица земли все, что унижало человека, мешало ему жить разум-

ной жизнью, оказалось пророческим. Великая Октябрьская социалистическая революция покончила со всем, что унижало, коверкало человеческую жизнь гораздо раньше, чем думал Чехов.

Крым, в котором Антон Павлович Чехов прожил последние годы жизни, скоро станет областью сплошных садов, парков и виноградников. В Ялте заложены новые парки на Дарсане и Чайной горке, новые скверы у памятника В. И. Ленину, у рыбокомбината, олеандровая аллея на Платановой улице, аллеи роз и магнолий на Санаторной улице и в сквере имени Калинина. Зеленеют молодые деревца, посаженные

ялтинскими комсомольцами на площади у Дома музея А. П. Чехова. Пройдут годы, и здесь будет тенистый парк имени Марии Павловны Чеховой, названный так в память основательницы музея великого писателя.

Старый чеховский сад, зеленым ожерельем окаймляющий музей, не затеряется в этом великолепии. В последние годы под руководством специалистов Никитского ботанического сада имени В. И. Ленина ведутся большие работы по профилактике и восстановлению посадок. Делается все, чтобы как можно дольше жило каждое дерево, посаженное руками Чехова.

С. Брагин

РЫБЫ ОБРАЗЦОВА

Разные бывают у людей увлечения. Библиофил собирает редкие книги, нумизмат — монеты, филателист — марки. Есть коллекционеры пуговиц, спичечных этикеток, театральных программ.

Народный артист СССР Сергей Владимирович Образцов увлекается рыбами. Аквариумисты хорошо знают его аквариумы. На выставках они неизменно привлекают внимание — непередаваемыми сочетаниями красок, теней и переливов.

В одну из суббот я зашла к Сергею Владимировичу. Его не было дома: он задерживался на репетиции спектакля «Соломенная шляпка». Шли последние приготовления к премьере.

В кабинете Сергея Владимировича все говорило о том, что здесь живет человек с тонким вкусом и большим художественным чутьем. Картины, книги, фигурки животных из дерева, клетка с птицей, аквариумы... И множество кукол. Они как бы напоминают: не забывайте, главное здесь все-таки

мы; это нам посвятил хозяин свою жизнь.

...Пришел Сергей Владимирович. Войдя в кабинет и поздоровавшись, он сразу направился к одному из аквариумов. Здесь находились дымчатые скаляры — рыбы, похожие на летучих мышей.

— Вы знаете, — сказал Сергей Владимирович, — вчера мои скаляры впервые выметали икру. Вот она, видите, на листике.

Несколько раз хозяин аквариума пытался получить потомство от простых скаляра, но безрезультатно. И вот, наконец, появились икринки у дымчатых скаляр, этих уникальных, пока единственных в стране рыб. Надо во что бы то ни стало вывести их потомство. Но как? Сергей Владимирович решил посоветоваться с опытным аквариумистом В. М. Маранчаком, профессором одного из московских институтов.

И сейчас Сергей Владимирович нетерпеливо ходит около аквариума со скалярами. Он ожидает Василия Макаровича. Рыбы ведут себя спокойно.

Время от времени они подплывают к листику и застывают около него. Шелева широкими плавниками, они стараются нагнать икринкам побольше воздуха. Длинные, свисающие вниз усы придают скалярам важный, степенный вид.

В передней раздался звонок. Пришел Василий Макарович Маранчак. Он посоветовал немедленно переселить икринки в отдельный аквариум.

— Несколько икринок уже погибло, — сказал он, — то же может случиться и с остальными.

Скипятили воду, налили ее в кувшин. Сергей Владимирович встал на скамеечку и, склонившись над одним из аквариумов, стал осторожно подливать в него воду. Температура в аквариуме сразу начала подниматься: двадцать восемь градусов, двадцать девять, тридцать...

Срезали листок, перенесли его в аквариум. Но, погружаясь в воду, листок случайно попал под струю воздуха, подаваемого в аквариум; икринки отделились и упали на дно. Немало еще пришлось повозиться, прежде чем икринки были помещены в безопасное место.

Сергей Владимирович показывает богато иллюстрированные книги о рыбах.

— Да, Василий Макарович, — спохватывается вдруг он. — Чуть не забыл... Помогите мне, пожалуйста, выловить виргинных самочек гуппи. Опять хочу заняться улучшением породы этой рыбки.

И снова оба они склонились над аквариумом. Были выловлены красавцы самцы вуалевых гуппи с длинным хвостовым оперением. Их поместили в отдельный аквариум. Туда же пустили виргинных самочек гуппи.

В это время в клетке, висевшей на окне, завилась иссиня-черная, с желтыми пятнышками на голове и с большим розовым клювом птица. Это была майна, так называемая говорящая птица.

Сергей Владимирович обернулся к ней и спросил:
— А говорить-то когда будешь?

Привез Образцов эту птицу из далекой Индии. Она тонко передает различные звуки. Может даже воспроизвести грохот грузовика.

— А вот говорить еще не умеет,— сказал Сергей Владимирович, — нужно учить ее, а мне некогда.

С интересом я выслушала рассказ Сергея Владимировича о том, как когда-то в детстве он впервые увлекся рыбами. Эта страсть вновь проснулась в нем лет пять-шесть назад, после того, как в день рождения ему подарили рыбок.

В каких бы странах ни бывал на гастролях Сергей Владимирович, отовсюду он привозил с собой рыб,— иногда в термосах, а то и просто в целофановых пакетиках, предназначенных для хранения продуктов.

Почти в каждой стране есть у Образцова друзья-аквариумисты. Много их в Чехословакии. Его хорошо знают аквариумисты пражского завода «Татра». Да и неудивительно. Сергей Владими-

рович неоднократно бывал в их клубе, рассказывал о своих рыбах, о том, как он выводил новые виды белых мотыльков, ктенопом, ленточных и вуалевых гуппи, зебр, цихлозом мееке...

Двенадцать новых пород рыб завез Образцов в Советский Союз. Любители неоднократно получали от него на развод самых различных рыб. За разведение новых пород он неоднократно получал грамоты.

Сейчас у Сергея Владимировича много интересных рыб: индийские барбусы, неоновая рыбка, фонарики, поцелуйные гурами...

На прощанье Сергей Владимирович показал мне и других своих питомцев: добродушного черного пуделя «Кляксу» и светло-бежевых сиамских кошек с голубыми глазами. Лапки, хвост и мордочка у кошек были черные.

— Люблю животных! — сказал Сергей Владимирович.— Хочу написать книгу о влиянии природы и животных на жизнь человека.

М. Жалнина

РАСКРЫВАЮТСЯ ТАЙНЫ РАСТЕНИЙ

Проедешь из конца в конец нашей страны — на пути встретятся ледяные айсберги и рощи тропических деревьев, студяные реки и густые леса, цветущие луга и горы в снеговом уборе. Разнообразен и климат — суровый холод сменяется зноем, влажный воздух — суховеями.

Не легко физиологам изучать растения в природных изменчивых условиях. Чтобы проверить морозостойкость какого-нибудь сорта растения в поле или в саду, приходилось иной раз ожидать по нескольку лет, пока не на-

ступит долгожданная неблагоприятная для растения зима. И ученые решили обогнать время. Так родилась мысль создавать искусственно нужную для опытов погоду.

Мы уже рассказывали нашим читателям о первой в Советском Союзе станции искусственного климата Института физиологии растений Академии Наук СССР. Здесь можно «заказать» любой климат, необходимый для опытов с растениями.

Что же нового сейчас в работе этой необычайной «фабрики погоды».

Кроме климата, интересуется ученых и плодородие почвы. В тридцати четырех специализированных помещениях устраиваются почвенные и воздушные засухи, создается различная интенсивность света, меняется продолжительность дня, изучается плодородие почвы, растения подвергаются воздействию зноя и мороза.

А какой может быть морозостойкость растений? Как закалять их, приучать к холоду? Как ведут себя замерзшие растения? Все эти вопросы изучаются с помощью специальных охлаждаемых шкафов и охлаждаемого столика, на котором под микроскопом можно рассматривать срезы растений при любых температурах. Ученые получили возможность проводить опыты при самых низких температурах, какие существуют на земле, и даже при более низких.

И вот уже первые практические результаты. Перед нами яблоня «Грушовка-московская». В природных условиях Подмосковья она погибает при сорокаградусном морозе. Морозостойкость этой же яблони, после закаливания на станции, повышается так, что после суточного пребывания на шестидесятиградусном морозе ветви, попав в тепло, раскрывают почки и цветут! Еще более морозостойка береза. Ее побеги, погибающие при сорока градусах мороза, после лабораторной подготовки выживают при 195° холода. Такие опыты проводятся впервые в мире!

Наше внимание привлекает операционная комната. Операционная? Какие же операции могут здесь производиться? Оказывается, на станции идет систематическая работа по выращиванию в питательных средах отрезанных тканей и органов растений. До сих пор в Советском Союзе в этой области проводились только отдельные исследования. «Оперированные» ткани поступают в лабораторию.

— Наши опыты во многом определяют будущее сельского хозяйства, — говорит научный сотрудник Раиса Григорьевна Бутенко. — Вот поглядите.

На стендах — колбы. В них изолированные корни ряда растений — томатов, моркови, красного клевера, люцерны. Они растут в питательных средах быстрее, чем в природных условиях. За шестнадцать дней корень люцерны увеличился в длину в десять раз.

Раиса Григорьевна проводит также опыты с

выращиванием ткани моркови, винограда. Известно, что морковь двухлетнее растение, а мы видим ткань моркови, которой от роду уже двадцать лет.

Сколько перспектив для сельского хозяйства открывает работа станции! Теперь можно установить хозяйственно важные особенности различных сортов и культур, выяснить, как они будут жить в различных климатах при различном плодородии почв.

Пытливая мысль не останавливается на достигнутом. Сконструирова-

на установка для опытного замораживания деревьев непосредственно в саду. Намечается создать такую же установку для определения устойчивости озимых посевов и многолетних трав в поле. В дальнейшем будут созданы более дешевые и простые машины для опытных растениеводческих учреждений.

Так с помощью «станции искусственного климата» раскрываются новые и новые тайны жизни растений.

Л. Дарова



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «МОСКВА» ЗА 1959 ГОД

ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР. I—3.

ПРИВЕТСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС ТРЕТЬЕМУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР. VI—3.

СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ — ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. Речь товарища Н. С. ХРУЩЕВА на III съезде писателей СССР 22 мая 1959 года. VI—3.

ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ ВОЗДВИГНЕМ ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОММУНИЗМА! Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС к рабочим и работницам, к колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза. VIII—3.

ПРИВЕТСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР УЧЕНЫМ, КОНСТРУКТОРАМ, ИНЖЕНЕРАМ, ТЕХНИКАМ, РАБОЧИМ И ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ УЧАСТНИКОВ СОЗДАНИЯ И ЗАПУСКА ВТОРОЙ СОВЕТСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ НА ЛУНУ. IX—3.

ОТВЕТ Н. С. ХРУЩЕВА НА ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ, ПОСТУПИВШИЕ В СВЯЗИ С ПОЕЗДКОЙ В США. IX—4.

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ. Н. С. Хрущев в Америке. XI—20.

СЕРГЕЙ КИСЕЛЕВ. Как снимался фильм «Н. С. Хрущев в Америке». XI—29.

ПЕРЕДОВЫЕ

РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ... IV—3.

НАШ СВЕТЛЫЙ МАЙ. V—3.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. X—3.

ПОБЕДА ПРАВДЫ И РАЗУМА. XII—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

НИКОЛАЙ АСАНОВ. Путешествие не состоится. Повесть. X—75.

ХАЗРЕТ АШИНОВ, Харнет. Рассказ. XII—99.

В. БЕЛОЩЕРКОВСКИЙ. На колесе. Рассказ. VIII—99.

АЛЕКСАНДР БУЛГАКОВ. Сквозь пургу. Повесть. III—91.

НИКОЛАЙ ВИРТА. Наша Берта. Повесть. II—4.

Аграфена Калитоновна. Рассказ. XI—71.

АНАТОЛИЙ ГЛЕБОВ. Соль. Быль. VI—124.

МАРК ГРОССМАН. Девятнадцать дней. Рассказ. II—135.

Л. ЖУХОВИЦКИЙ. Фельетон. Рассказ. V—64.

АЛЕКСАНДР ИСБАХ. Остров Козерога. Рассказ. IV—75.

А. КУДРЯВЦЕВ. Первые рассказы. Верочка.— Стреловница. Вступительная статья. Е. Книпович. X—117.

Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ. Поездка в Крым. Повесть. VII—112.

ВЛ. ЛИДИН. Молодые деревья. Рассказ. VII—136.

НАДЕЖДА МЕДВЕДЕВА. Гость. Рассказ. XII—109.

ГРИГОРИЙ МЕДЫНСКИЙ. Честь. Повесть. IV—17; V—74; X—7; XI—90.

АЛЬБЕРТО МОРАВИА. Они не умеют говорить. Рассказ. I—135.

ЛЕВ ОВАЛОВ. Партийное поручение. Роман. VII—23; VIII—11; IX—7.

В. ПОМЕРАНЦЕВ. Первый поцелуй. Повесть. VI—99.

Н. ПОЧИВАЛИН. После зимы. Повесть. V—19; VI—54.

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД. Джозефина Анна Мария. Рассказ. Перевод с английского Екатерины Гроссман. VI—142.

Э. СЕВОСТЬЯНИКОВ. Сарпинская быль. Повесть. XI—36; XII—58.

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. Весна в Крыму. Роман. XII—7.

А. СОФРОНОВ. Миллион за улыбку. Пьеса. Заметка нар. арт. СССР Веры Марецкой «Мне полюбилась роль Ольги Карташовой». IX—104.

ВЕЛТА СПАРЕ. Подарок. Рассказ. I—118.

В. ТЕВЕКЕЛЯН. За Москвою-рекою. Роман. II—54; III—15; IV—80.

ЛЮДМИЛА УВАРОВА. Мачеха. Рассказ. I—125.

КОНСТАНТИН ФИНН. Начало жизни. Пьеса. Заметка комбайнера Н. ПОПОВА «Так она и началась» о пьесе К. Финна «Начало жизни».

Песни композитора М. ТАБАЧНИКОВА из спектакля Моск. Драм. театра «Начало жизни». VI—18.

ОЛЕГ ШМЕЛЕВ. Рассказы о моей роте. II—126.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ. Они сражались за родину. Главы из романа. I—12.

МИХАИЛ ШОШИН. Лето на Тезе. Деревенские картинки. IX—83.

АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Маленький принц. Сказка. Рисунок автора. Перевод с французского Норы Галь. VIII—124.

ВАН ЮАНЬ-ЦЗЯНЬ. Прежнее поле битвы. Рассказ. Перевод с китайского Чжу Ли-жена и Юрия Смирнова. X—132.

ПОЭМЫ И СТИХИ

НИКОЛАЙ АГЕЕВ. Зарницы семилетья. IV—161.

ФАЗУ АЛИЕВА. Зое Космодемьянской. Перевод с аварского Ирины Озеровой. III—126.

НИКОЛАЙ АСЕЕВ. Великие.— Материя.— Никем не слышимый стук сердец. VII—141.— Два стихотворения. XI—166.

АННА АХМАТОВА. Из поэмы «Триптих».— Лирическое отступление.— Два стихотворения. VII—143.

СЕРГЕЙ БАРЕНЦ. Передний край. II—3.

ВИКТОР БОКОВ. Из новых стихов. VI—151.

НИКОЛАЙ БУКИН. Светло и шумно на перроне.— Московская сторона. II—146.

ИВАН БУНИН. Два венка. XI—175.

ИВАН БУРСОВ. Идут делегаты. I—5.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ. Дата жизни новой. XI—3.

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Параболическая баллада.— Осень. X—143.

ОЛЬГА ВЫСОТСКАЯ. Лирика. III—127.

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ. Из книги «Единство». I—140.

ВЛАДИМИР ДЕМИДОВ. Встреча с отцом.— Горноспасатель. X—145.

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ. Новые песни. IV—164.

ИВАН ЕРОШИН. Из новой книги. XII—124.

ЖАЛЕ. Встань, человек! — Москва.— Московский снег.— Скажи! — В Шуштере. Переводы с фарси В. Журавлева, С. Поликарпова, Е. Долматовского, Ц Бану. VI—147.

ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ. К портрету Дуснзвеневои. II—157.

ВАДИМ ЗЕМНОЙ. О топоре.— Чертополох.— Раздумья. II—147.
 ДИНА ЗЛОВИНА. Любовь и время. III—129.
 СЕМЕН КИРСАНОВ. Свэг Москвы. V—150.
 ОСИП КОЛЫЧЕВ. На Кузьминском шлюзе.— Астахов мост. XII—130.
 ВАСИЛИЙ КУЛЕМИН. Россия сентября. X—139.
 СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ. Советский рубль. XI—174.
 П. КУСТОВ. Металл и шлак.— Над Шексной. IX—146.
 ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ. Из книги «Стороны света». X—146.
 АНАТОЛИЙ ЛЕВУШКИН. Мещера.— Половодье.— Мшары. V—151.
 ВЛ. ЛУГОВСКОЙ. Громкоговоритель. V—153.
 МИХАИЛ ЛЬВОВ. Нет отдельного счастья.— Жены погибших.— Человек несет ребенка.— Он так подумал...— Некоторым юнцам.— Расскази мне... VII—157.
 ЮРИЙ МЕЛЬНИКОВ. Земля и песня. III—133.
 ВЯЧЕСЛАВ МОЛОДЯКОВ. Степь и люди. V—154.
 КОНСТАНТИН МУРЗИДИ. Уральские рассветы. I—144.
 ИРИНА ОЗЕРОВА. Ночная пахота. III—131.
 А. ОЙСЛЕНДЕР. Юго-Запад.— Поэту. VII—148.
 ЛЕВ ОШАНИН. Раздумья. III—3.— Раздумья. V—156.
 ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ. Это—Ленин. IV—147.
 СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ. Мать.— Огнеупорщик.— Лесоруб.— Осетия. XI—172.
 Н. ПОЛЯКОВА. Ровесникам.— Мой снег.— Письма.— Псковитянка.— Царица Нефертити. IX—143.
 ЕГОР ПОЛЯНСКИЙ. Метелица.— Буровые вышки. II—149.
 АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ. Созревание. I—147.
 Б. РУЧЬЕВ. Прощание с юностью. Поэма IX—134.
 НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ. Расстояния. XI—168.
 ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ. Старая кепка.— Зорин.— Есть такой денек...— Катержанин. II—151.
 ГРИГОРИЙ САННИКОВ. Новая планета. III—135.
 ПЕТР СЕМЫНИН. Великий мир. Цикл стихов. IV—168.
 НИКОЛАЙ СИДОРЕНКО. Признание. X—140.
 ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ. Стихи. Переводы с польского Анны Ахматовой. IX—147.
 АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ. Украина.— Фронт.— Ночи сполохом опаленные... Стихи. Где б я ни был... VII—145.
 ВИКТОР СТАРКОВ. Баллада о стойкости. II—154.
 ТАЙСТО СУММАНЕН. Карелия моя.— О чем поют онежские волны. Переводы с финского В. Морозова, Ю. Вронского, М. Тарасова. VIII—162.
 АРКАДИЙ СУХАРЕВ. Лесорубы.— Подкова.— Мы хлестанули по ударным группам... III—136.
 ФЕДОР СУХОВ. Лирика. I—150.
 ВЛАДИМИР ТАЗОВ. Лирика. VIII—160.
 НИКОЛАЙ ТРЯПКИН. Сыновьям и внукам. VI—156.
 ВЛ. ФИРСОВ. Небольшой разговор.— Ушла, ледком похрустывая, осень. XII—121.
 ОЛЬГА ФОКИНА. Северная Двина. III—132.
 ФЕДОР ФОЛОМИН. Начало.— Дует ли ветер с верхов. XII—123.
 ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ. Зрелый возраст.— Растет сын.— Тут есть торшеры и циновки... XI—170.
 ИЛЬЯ ШВЕЦ. Ваши руки. XII—119.
 МАРК ШЕХТЕР. Солнце.— Мечта моя.— Волезна на даче. XII—125.
 ПОЭТЫ СОВЕТСКОЙ БУРЯТИИ. Переводы Е. Цыганьникова.
 ДАМБА ЖАЛСАРАЕВ. Магистраль.— ДОЛБЕН МАДАСОН. На перевале.— Золотая серьга.— ВЛАДИМИР ЖАЛСАНОВ. Удивительный цветок. II—155.
 СТИХИ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ. Переводы М. Кудинова.
 ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ. Тяжелая земля.— Маленький лес.— ЖАК ПРЕВЕР. Как нарисовать птицу.— Барбара.— РЕНЭ-ГИ КАДУ. За дверью.— Э. ГИРЕВИК. Три сонета.— МОРИС ФОМБЕР. Возвращение сержанта.— Язон.— Не ангелы трубят. VII—150.

СТИХИ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ.

ЛОУРЕНС ФЕРЛИНГЕТТИ. Пес.— ДЖЕК СПАЙСЕР. Беркли во время чумы.— Психоанализ.— АЛЛЕН ГИНЗБЕРГ. Вольф. РОБЕРТ ФРОСТ. Починка стены.— КАРЛ СЭНДБЕРГ. Чикаго. XII—126.

ДЕЛА И ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

Г. АЛОВА. «Серебряные рудники» Москвы. X—182.
 И. АРАЛИЧЕВ. За далью даль. VI—163.
 Л. АРНАУТОВ, Я. КАРПОВ. Коэффициент смелости. IX—161.
 ЛИДИЯ ВИЧКАНОВА. Дороги, которые мы выбираем. IX—151.
 ВЕРА ГОЛУБЕВА. Завод здоровья. VI—166.
 П. ДЕМИЧЕВ. Великая энергия. XI—7.
 Г. ДЕНИСОВ. На земле саратовской. VII—156.
 ВАСИЛИЙ ЗАХАРЧЕНКО. Могучее дыхание. V—169.
 А. ИТИГИН. Его строили все города. V—172.
 АФАНАСИЙ КОПТЕЛОВ. Преображение Сибири. VI—169.
 ВЛАДИМИР КОСТИН. Бурное течение. V—174.
 ЯКОВ КРИВЕНОК. Одна семья. IV—172.
 АНАТОЛИЙ МАРКУША. Москва с высоты... VI—160.
 А. МЕДНИКОВ. Завод на Красной Пресне. III—138.
 АЛЕКСАНДР ОЗЕРСКИЙ. Вода или сталь? V—180.
 ВЛ. ПАВЛОВ. Наш новый дом. III—145.
 М. РАУЗЕН. «Тайны» нашего просвещения. XII—131.
 Н. РОДИОНОВ. Зримые черты коммунизма. VI—7.
 Л. САКСОНОВ. Точка зрения русских. VI—165.
 ЕЛЕНА СЕРЕБРОВСКАЯ. Два дневника. IX—157.
 ЛЮДМИЛА СЕРОСТАНОВА. На берегу Сулака. V—178.
 В. УСТИНОВ. Москва в семилетке. IV—6.
 Я. ЧАДАЕВ. Семилетка России. I—166.
 АЛЕКСАНДР ЧУВАКИН. Первые ласточки. V—176.
 ОЛЕГ ШМЕЛЕВ. Солнечная панорама. VIII—164.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

А. АРСЕНЬЕВ. Советская школа перед новыми задачами. IX—168.
 И. БЛАТ, П. РОМАНЕНКОВ, Н. УШАТИКОВ. Ветер с востока. XI—189.
 АЛЕКСЕЙ ВЕЛИЧКО. Будущее начинается сегодня. II—198.
 ВЕРА ВЕТЛИНА. Алтай, которого не было. II—158.
 Н. ВЕТЧИКИН. Записка из Совнаркома. IV—153.
 Ф. ВИГДОРОВА. Часы раздумья. О письмах И. П. Павлова к невесте. X—149.
 В. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ЗАВТРА. Заметки делегатов XXI съезда КПСС. В. ГОРБУНОВ. Теперь — за дело! — А. ЖУКОВ. Для человека.— Т. БОНДАРЕНКО. Лучшая школа воспитания. III—4.
 М. ВОДОПЬЯНОВ. Золотая звезда. V—161.
 Л. ВОЛКОВ-ЛАННИТ. Голос, сохраненный навеки. IV—155.
 ЕФИМ ЗОЗУЛЯ. О Ленине. IV—148.
 ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ. Сасово — городок под Рязанью. XII—151.
 СЕРГЕЙ КРУТИЛИН. Четыре года. I—153.
 Г. ЛЮБОШ. В стране фиордов и скал. VIII—171.
 С. ЛЯНДРЕС. О культуре книжного дела. X—189.
 АРКАДИЙ ПЕРВЕНЦЕВ. Впереди — коммунистический труд! I—6.
 БОРИС ПОЛЕВОЙ. Московское время. XI—4.
 ЮРИЙ ПОЛУХИН. Настя Воронова. III—155.
 Р. РАЗИН-АКСЕНОВ. Разговор с курсантами. IV—151.
 АНАТОЛИЙ СЕМИРЕНКО. Молодые хозяева. Из записок инспектора школ. XII—139.

- НИКОЛАЙ ТИХОНОВ. За мир во всем мире. V—5.
 ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛОВА. С «Березкой» по Америке. Фото автора и из американских журналов. VII—179; VIII—181.
 ИВАН ШЕВЦОВ. Певец красивой души. I—177.

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

- РАЛЬФ ПАРКЕР. Город открытых сердец. Перевод с английского А. Александрова и Г. Крутикова. III—179.
 МИТЧЕЛ УИЛСОН. Три глаза. Перевод с английского Н. Трениной. VII—165.
 ИРЖИ ФРАНЕК. Москва и Прага. VI—209.
 З. ХИРЕН. Автобус ждет на площади. V—195.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

- АННА КАРАБАЕВА. Наш старший товарищ и друг. Из воспоминаний об А. С. Серафимовиче. I—204.— Из воспоминаний об Александре Фадееве. XII—160.
 А. В. КОЛЬЦОВ (к 150-летию со дня рождения). Н. РЫЛЕНКОВ. Поэзия души народной.— П. УХОВ. Неизвестное стихотворение А. Кольцова. X—202.
 СЕРГЕЙ МАРКОВ. В стольном городе Канбалыке. X—217.
 ПИСЬМА И. П. ПАВЛОВА К НЕВЕСТЕ. X—155.
 ИВАН РАХИЛЛО. Рассказ об одной догадке. XII—171.
 И. ТЮЛЕНЕВ. Через три войны. II—176.
 А. ШИФМАН. Первый китайский корреспондент Льва Толстого. X—218.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

- И. АЛЕКСАХИНА. Первые шаги. VIII—207.
 А. АНТОПОЛЬСКИЙ. Человек идет к счастью. II—228.
 В. АРХИПОВ. О субъективном и объективном в искусстве. II—215.
 К. АСТАХОВ. Мирозрение и метод в художественном творчестве. I—189.
 В. БАВИНА. Прежде всего—о людях! По страницам журнала «Пионер». XII—194.
 ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ. Рассказы Николая Воронова. X—205.
 СЕРГЕЙ БАРУЗДИН. О нашем первом съезде. I—185.— Стихи Андрея Дементьева. III—218.
 С. БОРЗЕНКО. Злободневность романа о войне. III—213.
 Б. БРАЙНИНА. Мудрость рождается от свершенных мечтаний. III—209.
 В. БУШИН. Вчера и сегодня. X—212.
 А. ВЛАСЕНКО. Лирика глубоких чувств. II—226.
 О. ВОЙТИНСКАЯ. Большие чувства. X—210.
 А. ВОЛКОВ. Подвижнический труд. IX—180.
 ГЕОРГИЙ ГАЙДОВСКИЙ. Своими глазами. II—230.
 ЛЕВ ГИНЗБУРГ. Освобожденный Шиллер. XI—176.
 И. ГРИНБЕРГ. Жар дневниковых страниц. IX—185.
 А. ГРОМОВА. Дороги, пройденные стихами. VIII—208.
 Н. ДАЛАДА. Исповедь в любви. X—209.
 И. ДЕНИСОВА. Книга давно нужна. IX—201.
 АНАТОЛИЙ ЕЛКИН. За и против. IX—189.
 ГРИГОРИЙ ЕРШОВ. В атмосфере творческого беспокойства. III—195.— Оружием смеха. VI—196.
 ВАСИЛИЙ ИЛЬИН. Над быстрым Тереком. I—211.
 ЛАРИСА ИНСАРОВА. История одного детства в тринадцати рассказах. VI—195.
 М. КВАСНЕЦКАЯ. Немного впереди сегодняшнего дня. III—222.
 И. КОЗЛОВ. Постыжение высоты. VI—186.
 Г. КОЛЕСНИКОВА. Когда писатель вместе с народом. II—204.
 Н. КУТОВ. Северные звезды. I—218.

- М. ЛАПШИН. За счастье нужно бороться. V—211.
 Ф. ЛЕВ. Обыкновенные герои. X—207.
 Н. МАСЛИН. О герое в литературе и жизни. V—200.
 Д. МИЛЮТИНА. Герой приходит в литературу из жизни. IV—214.
 Л. МИХАЙЛОВА. Большое в малом. XII—179.
 НИКОЛАЙ МОСКВИН. Вечера в гостинице. IV—191.
 Л. НИКУЛИН. О чем говорят рукописи Бунина. VII—200.
 М. ПАЛАНТ. На верной дороге. IX—202.
 А. ПОЛИКАНОВ. Поэты текстильного края. I—198.— От боя к труду. IX—203.
 СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ. Осенний гром. VI—194.— Счастье ремесла. X—211.
 ТИХОН СЕМУШКИН. Крепка земля наша богатырями. V—213.— Мы будем такими, как Серго! IX—201.
 Н. СЕРГОВАНЦЕВ. Писатель, знающий жизнь. IV—209.
 М. СИНЕЛЬНИКОВ. Глубинные богатства. XI—210.
 ЮРИЙ СМИРНОВ. Поиски Карима Девоны. IX—198.
 ВЕРА СМЕРНОВА. Отвечать за других. О сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». VIII—115.
 ГРИГОРИЙ СОЛОВЬЕВ. О лирике. I—215.
 Е. СТАРИКОВА. Леонид Леонов. VI—178.
 Н. СТЕПАНОВ. О Гоголе. IV—199.
 В. СУРГАНОВ. Северянка. VIII—206.
 Я. СУХАНОВ. Увлечательная книга. III—216.
 В. СЫТИН. Жизнь писателей Москвы. VI—180.
 Д. ТЕВЕКЕЛЯН. Герою семнадцать лет. XI—202.
 А. ТУНИЦКИЙ. Когда заплакала русалка. IV—212.
 Ю. ФЕОФАНОВ. Правдиво, насмешливо, зло. III—220.
 АН. ФИНОГЕНОВ. Киноповесть о судьбе человека. II—221.
 Л. ФОМЕНКО. О мастерстве романиста. VIII—198.
 В. ЦЫБИН. Земная тяга. I—213.
 М. ЧАРНЫЙ. Всесоюзный заповед. III—202.
 В. ШЕРВИНА. Современность и герой. VII—211.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

- НИКОЛАЙ ДОРИЗО. Упрощенная критика. X—216.
 «РЕПЛИКА», ВВОДЯЩАЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. IV—217.
 ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ. Поэт и читатель. X—214.
 А. ЭЛЬШАВЕИЧ. То, что составляет мастерство. XII—201.

НАУКА И ТЕХНИКА НАШИХ ДНЕЙ

- В. АЛПАТОВ. Со старостью можно бороться. VI—200.
 В. БРОНШТЭН, В. КОМАРОВ. Человек и космос. V—185.
 П. ГОРДИЕНКО. На ледяных просторах Арктики. X—199.
 В. ДЕМИХОВ. Еще о продлении жизни человека. VI—207.
 А. ДОРОХОВ. Лекарство земных недр. X—195.
 А. ЛЕСКОВ. Завоевание будущего. IX—173.
 Б. РОЗЕН. Химия человеку. XI—198.
 Я. СОРИН. Торжество радиоэлектроники. III—174.

РЕПОРТАЖ И ИНТЕРВЬЮ «МОСКВЫ»

- ЕФ. БОРИСОВ. Московская почта. XII—203.
 Е. ДЕМБО. Город чудес и трудовой славы. VII—198.
 Л. ЗАКРЖЕВСКАЯ, А. МЕЛИК-ПАШАЕВА. Театр в Кремле. I—232.
 К. М. ИВАНОВ. Бесценный багаж. VI—210.

ВЛ. ИШИМОВ, С. ПОЛИКАРПОВ. По магазинам улицы Горького. Фото К. Николаева. VIII—209.

ВЛ. ИШИМОВ, К. НИКОЛАЕВ. Зачем мы приехали в Москву. IX—205.

Г. Р. КРОЙТ. Удивительные перемены. VI—211. Н. МАР. Город большой науки. I—221. МАРТЫН МЕРЖАНОВ. «Урожайный год». Спортивные заметки. XII—205.

МОСКВА В 1965 ГОДУ. Л. САВЕЛЬЕВ. Все это мы сможем купить.—Л. ДАРОВА. Мария Ивановна будет довольна.—И. МОРОЗОВ. На дорогах, ведущих к столице. III—164.—Н. ДИЛИГЕНСКАЯ. Путешествие на преображенный завод.—Н. МАР. Огни уходят в Химки. IV—185.

О НАС САМИХ. VI—212. РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ГОСЛИТИЗДАТА. VI—198.

Е. СЕМЕНОВ. Московские обновки. I—229. Ф. ТИХОНОВ. Столица света и счастливых людей. I—234.

И. Р. ЭЙШЕНБАУМ. В этот прилет. VI—210.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

№ 1. АЛ. ИСБАХ. Две строчки великого плана (236).—М. МУХТАСИПОВ. На волжском берегу (237).—АЛ. ЛЕСС. Это было в Волгограде (238).—Л. ДАРОВА. Новое в старой почте (239).

№ 2. Л. САВЕЛЬЕВ. Чайка продолжает полет... (232).—Н. ГОРЧАКОВА. Завод и школа (233).—Л. ДАРОВА. Под землей столицы (234).—К. БАРЫКИН. Цветное и широкоэкранное (235).—МАКС ЗИНГЕР. В полярном конверте (235).—Г. БАБАТ. Что такое вечемобиль (236).—ЕРМОЛАЙ КНИГОЛЮБОВ. «Прадел» и «правнук» (237).

№ 3. Л. ПОДВОЙСКИЙ, М. СКОРОХОДОВ. Свет над заставой (177).—Д. ВЕТРОВ. «УА-3-ЕГ» говорит с Анголой (225).—А. МИНАЕВ. Хлеб для миллиона москвичей (226).—И. КРЕЙН-ДИЛНА, Е. ДИНЕРШТЕЙН. Багрицкий о себе (227).—А. МЕЛИК-ПАШАЕВА. «Хорошая штука — радиотакси» (228).—Я. КИСЕЛЕВ. Мебель из-под пресса (229).—К. БАРЫКИН. Климат по заказу (229).—В. ДОЛГИЙ. Адрес: «Все моря мира» (230).

№ 4. Ю. КЛИМОВ. Драгоценные экспонаты (220).—М. ТОЛМАЧЕВ. Красная линия (221).—В. ТИХОНОВ. Книги для миллионов (221).—Б. ЛУКЬЯНОВ. Где и как работает ЭВМ (222).—А. ЛАЗЕБНИКОВ. В девяносто пять лет... (223).

№ 5. А. ФРОЛОВ. Пятьдесят миллиардов (219).—Д. ВЕТРОВ. Город в лесу (220).—Л. ДАРОВА. Секунды семилетки (221).—Г. КОТОВ. Москва в... Джакарте (222).—Г. ЦЕЛМС. «Мистеру... Сеньору... Герою...» (223).—Л. КОРАБЕЛЬНИКОВА. Две новые странички (223).

№ 6. АЛ. ЛЕСС. Сонет о Ленине (214).—А. ЛАЗЕБНИКОВ. История маленьких фильмов (215).—К. ВАСИЛЬКОВ. Хотьковские садоводы (216).—М. ТОЛМАЧЕВ. Перед заграничным путешествием (217).—ИРИНА ВОЛК. На Горьком озере (217).—БОРИС СМИРЕНСКИЙ. Забытый романс (218).—Н. СОСЕДКО. «Итальянское утро» (219).—Л. САВЕЛЬЕВ. Карточка Василия Пленкова (220).

№ 8. А. ЛАЗЕБНИКОВ. Седьмой патент слесаря Матвееико (221).—М. ТОЛМАЧЕВ. Дом, доставленный на колесах (222).—В. ТИХОНОВ. Певцы Подмосковья (222).—Б. РОЗЕН. Чудесные дрожжи (223).

№ 9. МИХ. БЕЛЯВСКИЙ. Кино—Москва 1965 года (216).—М. БАЙКОВА. Книголюбия (217).—Л. ЮЩЕНКО. Окно в океан (218).—Н. УШАТИКОВ. Литературный цех автозавода (219).—К. ИВАНОВ. Фотоаппарат будущего (220).—МАРК ХРОМЧЕНКО. Пруды Москвы (221).—М. ЖАЛНИНА. В магазине на Арбате... (222).—П. УХОВ. Незвестные письма И. С. Тургенева (223).—А. ЯКОВЛЕВ. Поэт-художник на стройке (224).

№ 11. А. ЛАЗЕБНИКОВ. В одном районе (215).—АЛ. ЛЕСС. Библиотека рабочего (216).—Э. ШОЛОК. Черты героя (217).—И. ФАКОВА. Семинар в Дженцано (218).—В. СКОМОРОХОВ. Письмо Васи Переведенцева (218).—

М. ЖАЛНИНА. Альпийская горка (219).—К. КОСТИН. Как проверяется золото (220).—Новые экспонаты (Сокровища московских музеев (221)).

№ 12. Г. КУЛИКОВСКАЯ. Дар Валентины Ивановны Степановой (209).—М. ТОЛМАЧЕВ. Пятидесятиквартирный дом за десять дней (210).—П. КУДЕЛИН. В Мелихово, под Москвой (211).—В. ШАЛАМОВ. Кто избрал баян (212).—Л. СВЕТЛОВ. Судьба семьи Пугачева (213).—И. БЕЛОКОНЫ. Метро и «разумный эгоизм» (214).—С. БРАГИН. «Если каждый человек...» (215).—М. ЖАЛНИНА. Рыбы Образцова (217).—Л. ДАРОВА. Раскрываются тайны растений (218).

ЮМОР

ВИКТОР АРДОВ. Шесть портретов, VII—221. МАКС ЗИНГЕР. Как дед Софрон бросил варить самогон. Быль. X—220.

И. ИГИН. Дружеские шаржи, III—238. АЛЕКСЕЙ МАЛИН. Маленькие басни. III—235. ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК. Буль-буль. Сказка. V—214. Г. РЫКЛИН. Эпизоды разных лет. III—231.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1959 ГОД. XII—220.

ВКЛЕЙКИ И ФРОНТИСПИСЫ

№ 1. Портрет В. И. Ленина работы скульптора Е. ВУЧЕТИЧА.—Фронтиспис к роману М. Шолохова «Они сражались за родину» (12).—Произведения живописи на Всесоюзной художественной выставке «40 ЛЕТ ВЛКСМ».—Произведения скульптора Н. В. ТОМСКОГО.

№ 2. Фронтиспис к повести Н. Вирты «Наша Берта» (4).—Военная тема на Всесоюзной художественной выставке «40 лет ВЛКСМ».—Произведения художника П. Ф. СУДАКОВА.

№ 3. ВЫСТАВКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН. (Живопись).

№ 4. Фронтиспис к повести Г. Медынского «Честь» (16).—Москва и москвичи. Фото В. КОВРИГИНА.—Рисунки художника П. М. БОКЛЕВСКОГО к произведениям Н. В. Гоголя.

№ 5. Фронтиспис к повести Н. Почивалина «После зимы» (18).—Произведения живописи на выставке «НАШ СОВРЕМЕННОК».

№ 6. ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ в Москве.—Новые иллюстрации к книгам, выходящим в Гослитиздате.

№ 7. Фронтиспис к роману Л. Овалова «Партийное поручение» (22).—Портрет Н. Н. Асеева работы худ. М. СИНЯКОВОЙ.—VI выставка молодых художников Москвы.—Пейзажи художника П. А. РАДИМОВА.

№ 8. Фронтиспис к роману Л. Овалова «Партийное поручение» (10).—Московские вечера. Фото И. КОШЕЛЬКОВА.—Рисунки американского художника А. РЕФРЕЖЬЕ (с пояснительным текстом).

№ 9. Фронтиспис к роману Л. Овалова «Партийное поручение» (6).—Промышленный раздел на Выставке достижений народного хозяйства. Фото И. КОШЕЛЬКОВА.—ВЫСТАВКА ПОЛЬСКОЙ ГРАФИКИ в Москве.

№ 10. Фронтиспис к повести Г. Медынского «Честь» (6). На Выставке достижений народного хозяйства СССР. Фото И. КОШЕЛЬКОВА.—ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ГРАВЮРЫ.

№ 11. Фронтиспис к повести Э. Севостьяникова «Сарнинская быль» (36). Н. С. ХРУЩЕВ в Америке. Цветные фото В. КИСЕЛЕВА, С. КИСЕЛЕВА, В. ТРОШКИНА.—Москва, Фото И. КОТЕЛЬНИКОВА.

№ 12. Фронтиспис к роману С. Н. Сергеева-Ценского «Весна в Крыму» (6). Ленинские места в Москве. Гравюры А. МИЩЕНКО.—ВЫСТАВКА СОВЕТСКОГО ЭСТАМПА.

ВКЛАДКИ «НОВЫЕ КНИГИ»

- № 1. Ноябрь — декабрь.
- № 2. Январь.
- № 3. Февраль.
- № 4. Апрель.
- № 5. Май.
- № 6. Июнь.

ВКЛАДКИ «ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ»

- № 7. Как питаться в июле — августе.— Молоко.— Летний отдых на воде.— Советы женщинам. Как принимать солнечные ванны. Летние питательные маски для лица.— Художественные выставки.
- № 8. Закаливание организма.— Приходите к нам в Лужники! — Туристские маршруты выходного дня.— Московский клуб туристов.— Музей-усадьба «Абрамцево».— Абонементы на

концерты.— В лес по грибы.— Советы женщинам. Уход за руками летом.— Как бороться с полнотой

- № 9. Школа и родители.— Полезные книжки.— Подмосковные прогулки.— Что можно готовить в сентябре.— Что можно заготавливать на зиму в домашних условиях.— Прибор для домашнего консервирования.— «Москва» — читателям.
- № 10. Забота о здоровье детей.— Магазины «Детское питание».— Выставка-продажа политехнических товаров в Московском универсаме «Детский мир».— Для любителей музыки.— Останкинский дворец.— Гостиницы для приезжающих — Как организовать недорогой ужин.
- № 11. Встреча Нового года.— Советы женщинам.— Институт врачебной косметики.— «Москва» — читателям.
- № 12. Аккуратность, уют, удобство. Советы по домоводству.— Из старых журналов. Хозяйственные и кулинарные советы.— «Москва» — читателям.

В первом номере нашего журнала публикуются новая повесть И. ШУХОВА «Семья», путевая повесть известного писателя-путешественника Н. Н. МИХАЙЛОВА и доктора медицинских наук Э. В. КОСЕНКО «Американцы», написанная в результате поездки в США, Центральную Америку и в район Тихого океана, и специально написанный для «Москвы» очерк американского писателя МИТЧЕЛА УИЛСОНА «Нам осточертел страх».

Во втором номере публикуются повесть ИГОРЯ ЗАБЕЛИНА «Под северным солнцем», рассказ АЛЕКСАНДРА БЕКА «Пятнадцать капель», сценарий писателя С. БОРЗЕНКО «Год рождения 1943-й» и повесть одного из крупнейших современных американских писателей УИЛЬЯМА ФОЛКНЕРА «Полный поворот кругом».

С третьего номера журнал начинает печатать роман Владимира КИСЕЛЕВА «Человек может», посвященный жгучим проблемам нашей современности, и новый роман «Любите ли вы Брамса?», принадлежащий перу широко известной французской писательницы ФРАНСУАЗЫ САГАН, с которой впервые познакомятся советские читатели.

ЖУРНАЛ „МОСКВА“ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ПОДПИСКЕ. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И КОНТОРАХ СОЮЗПЕЧАТИ С ЛЮБОГО НОМЕРА. В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЖУРНАЛ ПОСТУПАЕТ В КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ.

Москва

Для нашей семьи

ДЕКАБРЬ

АККУРАТНОСТЬ, УЮТ, УДОБСТВО

Советы по домоводству

В своем доме, квартире, комнате человек проводит значительную часть времени. Здесь он отдыхает после трудового дня, слушает радио, читает, занимается с детьми, справляет семейные праздники, встречает друзей. А иной и работает — готовится к экзаменам или пишет диссертацию, рисует или играет на рояле. Можно без преувеличения сказать, что от домашних условий, домашней обстановки во многом зависит настроение и работоспособность любого труженика, любого человека.

Однако было бы ошибкой считать, что удобства и уют возможны только в новом благоустроенном доме. Безусловно, хорошая комната в доме, построенном по последнему

слову техники, уже сама по себе предоставляет жильцу немалые удобства. Но все-таки культура жилища создается прежде всего самим человеком.

Есть старинная русская пословица: «Каков Дема, таково у него и дома». В самом деле, небрежное, безразличное отношение к жилью, кое-как расставленная мебель, отсутствие элементарной чистоты могут свести на нет преимущества самой хорошей квартиры. И наоборот, со вкусом расставленная мебель (пусть самая недорогая), умело подобранные украшения, порядок и чистота придают комнате даже не очень благоустроенного дома настоящему уютный вид, вызывают уважение к ее хозяевам.

Культура жилища

Культура жилища — это прежде всего чистота, удобство, целесообразность во всем и настоящая (отнюдь не показная) красота. Следует постоянно помнить правило: в каждом помещении должно быть по возможности все нужное, но ничего лишнего.

Надо стремиться, чтобы каждое помещение использовалось по

его прямому назначению. Ни в коем случае не следует превращать жилые комнаты в мастерские, стирать или сушить в них белье. От этого в комнате появляется сырость, загрязняется воздух.

Очень важно правильно и своевременно убирать квартиру. Но еще важнее — не засорять ее, поддерживать в ней постоянную чи-

стою и порядок. Такую квартиру убирать очень легко.

О чистоте и порядке надо заботиться еще до входа в жилые помещения: вытирать обувь, стряхивать грязь, снег. В жилых помещениях не следует чистить платье и обувь. Не рекомендуется вносить в комнаты продукты, которые можно оставить на кухне.

Ни в коем случае не следует разбрасывать вещи по углам, стульям, подоконникам. Это приводит к беспорядку, делает комнату неуютной.

Каждой вещи в квартире — от самой большой до самой маленькой — нужно найти свое определенное и вполне целесообразное место. Ничего лишнего не должно быть на виду.

Отделения и ящики шкафов, гардеробов, буфетов, комодов и другой мебели должны иметь свое постоянное назначение, чтобы в любой момент можно было отыскать нужную вещь. Хорошо, если у каждого

члена семьи будет определенное место для вещей, которыми пользуется только он.

Иногда не хватает мебели для размещения всех вещей, например, не вся одежда помещается в гардеробе. Кроме того, держать одежду и другие вещи в гардеробах и шкафах не всегда целесообразно. В этом случае многие вещи и одежду, которыми ежедневно не пользуются, следует уложить в чемоданы или сундуки. Затем нужно позаботиться о размещении чемоданов так, чтобы они не портили внешний вид жилого помещения. Обычно чемоданов бывает несколько, вещи складываются в них на долгий срок, и по истечении времени бывает трудно вспомнить, в каком чемодане что лежит. Чтобы облегчить поиски, рекомендуется при укладке чемоданов делать опись вещей и хранить ее отдельно. Составить опись — дело минутное, а сэкономит она много времени и труда.

Целесообразность и удобство

Приобретая мебель или иную вещь для квартиры, нужно подумать об удобстве и целесообразности. Например, если комната небольшая, следует отказаться от широких, низких трельяжей, тумбочек, комодов, кроватей и предпочесть им небольшие туалетные столики со стенным зеркалом, высокие гардеробы и шкафы, различную комбинированную мебель (диван-кровать, кресло-кровать и т. п.), подвесные полки для книг, книжные стеллажи (вместо книжных шкафов) и т. д. Обеденный стол лучше всего приобрести круглый, так как он не только красивее, но и экономичнее четырехугольного, за ним может разместиться больше людей.

Существенную роль в создании уютного, красивого вида комнаты играет целесообразная расстановка мебели и других предметов домашней обстановки.

Невозможно указать точные рецепты расстановки мебели и других предметов быта на все случаи жизни. Однако можно дать несколько общих советов.

В частности, прежде чем расставлять или переставлять мебель, рекомендуется сделать следующее: на большом листе бумаги начертить точный план комнаты в масштабе 1 : 10 или 1 : 20 (в зависимости от размеров комнаты, квартиры). На плане должны быть обязательно обозначены окна, двери, печи, батареи центрального отопления. Затем из тонкого картона или плотной бумаги вырезать в масштабе точные контуры мебели. После этого можно попробовать различные варианты расстановки мебели на плане и выбрать лучший из них.

Обеденный стол, в особенности если он круглый, удобнее поставить посередине комнаты. Висячую лампу с абажуром или люстру в этом случае лучше повесить над столом, на уровне верхней трети стены.

Свой рабочий или письменный стол надо ставить поближе к окну и так, чтобы свет падал с левой стороны. Кстати, и штепсель для настольной лампы следует установить с таким расчетом, чтобы лампа могла стоять с левой стороны от

сидящего за столом человека. Кровать, диван или тахту, на которой спят, надо ставить по возможности к одной из внутренних стен, а не к более холодной, а иногда и сыроватой наружной.

При размещении музыкальных инструментов, телевизоров, радиоаппаратуры надо учесть, что их не следует ставить к наружным стенам, а если это неизбежно, то не

придвигать их к стене вплотную. Не рекомендуется ставить их и около печей и батарей центрального отопления. Кстати, для таких предметов полезно завести чехлы.

Электровыключатели следует устанавливать вблизи входной двери, на одинаковой высоте (160—170 см от пола) и по возможности одной системы. Это облегчит пользование ими.

Украшения в комнатах

Комнату украшают и мебель, и обои, и люстры, и хороший пол. Но, кроме того, существует множество предметов, без которых жилая комната была бы менее уютна. Речь идет о картинах, гравюрах, статуэтках, вазах, вышивках, коврах и других предметах прикладного и изобразительного искусства. Удачно расставить мебель гораздо проще, чем хорошо, со вкусом украсить комнату.

Прежде всего нужно помнить, что так называемые «принципы» — «чем больше украшений, тем лучше», «стены не терпят пустоты» — порождены дурным вкусом. Комнату, квартиру можно и нужно украшать, но ни в коем случае не следует заниматься украшательством.

В комнате не следует на любой мебели без разбора выставлять большое количество статуэток, фигурок, безделушек. Не рекомендуется перегружать стены картинами, фотографиями, тарелками, барельефами, вышивками, коврами и ковриками. Тумбочки, трельяжи, приемники, проигрыватели, телевизоры, которые и сами по себе достаточно красивы, также не следует накрывать бросающимися в глаза

салфетками, скатертями, дорожками.

Каждый человек, конечно, украшает свою комнату такими вещами, которые ему нравятся. Однако всем без исключения можно порекомендовать одно золотое правило: лучше меньше, но лучше.

Это относится и к другим местам. Например, балкон должен использоваться для того, чтобы побыть некоторое время на свежем воздухе, или для того, чтобы поставить на него коляску со спящим грудным ребенком.

Лучшим украшением балкона, составляющим одновременно естественную защиту от жгучих лучей солнца, если комната обращена на юг, и от пыли, могущей проникнуть с улицы, является озеленение вьющимися и ампельными растениями.

К вьющимся растениям можно добавить ящики и вазоны с цветами, и балкон превратится в уютный и красивый садик.

Но даже зимой или в тех случаях, когда владелец балкона по-прежнему не украшает его растениями, балкон нельзя захламлять, устраивая на нем кладовую для ненужной мебели и других вещей.

Коридор

Коридор (прихожая) — своего рода визитная карточка квартиры. Это нежилое помещение часто принадлежит нескольким семьям.

В коридоре или прихожей следует разместить вешалки для верхней одежды, ящики для обуви и калош, подставки для зонтов. В отдельном закрытом ящике должно храниться все необходимое для чистки обуви и одежды. Если есть

место, хорошо поставить столик, стул, повесить зеркало. Выколачивать и вытряхивать одежду в прихожей не рекомендуется. Нельзя делать это и на лестницах жилых домов, так как лестничная клетка служит резервуаром свежего воздуха для квартир. Одежду и постельные принадлежности следует чистить и проветривать на открытом воздухе.

Часть вещей, которые мешают в жилых комнатах, можно поместить в коридоре или прихожей, но расположить их надо в определенном порядке, не загромождая этих по-

мещений. Велосипеды рекомендуются подвешивать на стене под потолок на двух больших костылях, вбитых на расстоянии 20—30 см один от другого.

Основная жилая комната, спальня

Если в квартире, занимаемой одной семьей, две или больше комнат, то одну из них можно оборудовать под спальню, а другую под основную жилую комнату. В спальне, кроме кроватей, обычно ставят кресла, туалетный столик или трельяж, небольшой столик для шитья, шкаф, тумбочку с небольшой настольной лампой, чтобы можно было включить или выключить свет, не вставая с кровати.

Здесь не должно быть пепельницы, так как курить в спальне нельзя.

Основная жилая комната может служить многим целям. Это и столовая, и рабочий кабинет, а иногда и спальня для некоторых членов семьи. Чем универсальнее основная жилая комната, тем меньше здесь должно быть лишней мебели, тем удобнее должна быть сама мебель.

Кухня

Кухня предназначена только для одной цели — приготовления пищи и хранения некоторых продуктов. Здесь все — от окраски стен, мебели до покрытия полов — должно быть поставлено на службу чистоте. В кухне следует разместить кухонные столы, шкафы для хранения посуды, холодильник. Ничего лишнего, не относящегося к приготовлению пищи и хранению продуктов, здесь быть не должно.

Украшать кухню картинами, фотографиями не рекомендуется. Лучшее украшение кухни — идеальная чистота. Кухня уютна, когда стол покрыт цветной клеенкой, на окне — легкая занавеска, на подоконнике — небольшое количество комнатных цветов (особенно рекомендуется ставить в кухне цветы, которых не переносят мухи).

Иногда кухня может быть использована и в качестве столовой, в особенности для завтраков и ужинов.

В кухне должно быть светло. Поэтому окна не следует завешивать темными гардинами или занавесками, поглощающими много света. Мебель в кухне располагают так, чтобы она не мешала свободному проникновению света.

Окраска стен и всей мебели, находящейся на кухне, должна быть по возможности светлой, лучше всего белой. Это необходимо не

только для лучшего освещения кухни, но и для более легкого поддержания чистоты в ней. Если солнечного света в кухне мало, то освещение нужно усилить электрическими лампами. Экономить электроэнергию за счет плохого освещения кухни не следует. Лампы на кухне должны быть расположены таким образом, чтобы места приготовления пищи (стол, плита) были освещены ярким, но не резким светом. Поэтому для кухни больше всего подходят матовые лампочки или круглые стеклянные матовые абажуры.

Вентиляция на кухне должна быть особенно хорошей. Плохая вентиляция отрицательно влияет на здоровье домашних хозяек, которые проводят здесь значительную часть времени.

Кухню нельзя загромождать посторонними предметами. Для поддержания чистоты нужно периодически мыть не только полы, но и стены, а также протирать мокрой тряпкой всю мебель. Скопление пыли на кухне не допустимо.

Кухонную утварь и водопроводные краны, раковины и т. д. необходимо систематически мыть горячей водой с мылом.

Из книги «Полезные советы», выпущенной издательством «Московский рабочий» в 1959 г.

ИЗ СТАРЫХ ЖУРНАЛОВ

Хозяйственные и кулинарные советы

О КОЖАНОЙ ОБУВИ

Если новые кожаные сапоги жмут и это происходит вследствие сильной жесткости кожи, то ее смазывают мягкой тряпочкой, смоченной глицерином. Необходимо смазать глицерином кожу и подошву и дать им высохнуть. Это смазывание следует повторять от трех до четырех раз. Затем выти-

рают кожу сухой тряпкой, и кожа делается значительно мягче и скорее растягивается. Даже гуталин или ваксу можно иногда заменять глицерином, который прекрасно смягчает кожу; кожа делается прочнее, и ботинки носят гораздо дольше.

КАК УНИЧТОЖИТЬ ПАРАЗИТОВ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ НА КОМНАТНЫХ И САДОВЫХ РАСТЕНИЯХ

Если в цветочном горшке заведутся черви или же появятся на растении земляные мошки, блохи, вши и т. п. паразиты, приносящие большой вред, такие растения надо опрыскивать как можно чаще во-

дой, в которой были выварены листья обыкновенного лесного орешника. Этим отваром надо поливать и самую землю. От такой поливки черви и другие насекомые совершенно пропадут.

КАК «ЗАКАЛИТЬ» СТАКАН

Стекланный стакан опускают в чашку, наполненную водой, прибавляют сюда же немного соли и кипятят воду. Когда она покипит

некоторое время, дают ей постепенно остыть. Такой стакан не боится резких температурных переходов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВЕЖЕСТЬ ЯИЦ

Наиболее верным способом определения свежести яиц является следующий: в банку наливают чистую воду, растворяют в ней на каждые два стакана столовую ложку соли и опускают туда яйца. Све-

жие яйца тотчас же опустятся на дно, четырехдневные останутся в середине, а недельные будут плавать на поверхности. Это объясняется тем, что чем яйцо старше, тем больше оно высыхает.

КАК СОХРАНИТЬ ЛИМОНЫ СВЕЖИМИ

Лимоны сохраняются свежими и не заохнут, если их класть в кув-

шин с холодной водой, которую следует менять каждый день.

КАК УЛУЧШИТЬ ВКУС КОФЕ

В Турции, прежде чем заварить кофе, на одну столовую ложку молотого кофе всыпают щепотку поваренной соли, вследствие чего

кофе становится гораздо вкуснее. Советуют также при заваривании кофе прибавлять в воду щепотку питьевой соды.

ВАРКА КОФЕ В АВСТРАЛИИ

Молотый кофе, приготовленный для варки, делится на две равные части. Одну из частей заливают холодной водой, ставят на огонь и кипятят ее от 5 до 6 минут. Затем кипящий кофе выливают на остав-

шийся молотый кофе, который держат в отдельной посуде. Приготовленный таким образом кофе чрезвычайно вкусен, так как в нем сохраняются и аромат и крепость.

ВАРЕНЕЦ

Две бутылки цельного молока влить в широкую кринку; кипятить перед огнем, набежавшую пенку утопить, так поступать несколько раз. Дать молоку остыть. стакан сметаны размешать с одним желтком и полстаканом сахара,

опустить в молоко; поставить в теплое место, когда закиснет, вынести на холод (чем больше пенок, тем лучше). К варенцу подавать корицу, ржаные толченые сухари и сахар.

КАРТОФЕЛЬ В СОУСЕ

Очистить от кожи картофель, порезать ломтиками, варить в соусе, который приготовить следующим образом: муку поджарить в

масле, прибавить воды или бульона, соли, сделать жидкий соус, опустить в него картофель и рубленую зелень — петрушку, укроп и т. п.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА

Вареные вкрутую яйца разрезать пополам, желток вынуть и растереть со сливочным маслом и перцем, и этим фаршем наполнить

каждую половинку яйца, сверху положить два анчоуса или две кильки.

ВОЗДУШНЫЙ ПИРОГ

Испек 3-4 антоновских яблока, протереть сквозь сито, 5 белков сбить в пену, смешать их с горячим яблочным пюре и с полстаканом сахара. Положить на сковороду или блюдо, придав форму круглого

пирога. За 10—15 минут до обеда поставить в духовой шкаф при средней температуре, дать подняться и зарумяниться. Подается с молоком или со сливками.



„МОСКВА“ — ЧИТАТЕЛЯМ

В 1960 году редакция журнала «Москва» предполагает опубликовать имеющиеся в портфеле редакции или подготавливаемые для печати новые произведения следующих писателей:

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОМАНА М. А. ШОЛОХОВА «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

- Г. АЛЕКСАНДРОВ, народный артист СССР. Русский сувенир, сценарий
Н. АСАНОВ. Радиус взрыва неизвестен, повесть
Г. БЕРЕЗКО. Необыкновенные москвичи, повесть
С. БОРЗЕНКО. Год рождения 1943-й, сценарий
А. ВАСИЛЬЕВ. Понедельник — день тяжелый, сатирический роман
Ф. ВИГДОРОВА. Семья, роман
Н. ВИГИЛЯНСКИЙ. У меня есть друг, роман
Н. ВИРТА. Канал, роман
Н. ГРИБАЧЕВ. Новые рассказы
Б. ЕВГЕНЬЕВ. Очерки о Камчатке
Н. ЗАБЕЛИН. Под северным солнцем, повесть
М. ЗИНГЕР. Остров Чечень, очерки
А. КАРАВАЕВА. Остановить невозможно, повесть
В. КОЧЕТОВ. Из дневников военных лет
Л. ЛАГИН. Голубой человек, роман
Е. ЛЕВАКОВСКАЯ. Новые рассказы
Г. МАРКОВ. Соль земли, роман, книга вторая
В. МИХАЙЛОВ. Открытие, повесть
Н. Н. МИХАЙЛОВ и Э. В. КОСЕНКО. Американцы, путевой дневник
Л. НИКУЛИН. Трус, повесть
Л. ОВАЛОВ. Добрый приятель, роман
Ю. ПИЛЯР. Поздней весной, повесть
Б. ПОЛЕВОЙ. Новые произведения
Е. ПОПОВКИН. Находка, пьеса
Н. ПОЧИВАЛИН. Чистый тон, повесть
С. САРТАКОВ. Новые рассказы
К. СИМОНОВ. Новая повесть из цикла «Из записок военного корреспондента»
А. СМИРНОВ-ЧЕРКЕЗОВ. Дом холостяков, повесть
Л. СОБОЛЕВ. Новые рассказы
А. СОФРОНОВ. Новая пьеса
В. ТЕВЕКЕЛЯН. Рождение человека (Из записок старого чекиста), повесть
Н. ТИХОНОВ. Новые произведения

К. ФИНН. Красавец сгонь, пьеса
И. ШУХОВ. Зимняя повесть
С. ЩИПАЧЕВ. Новые произведения
А. ЮГОВ. На большой реке, роман

В каждом номере журнала печатаются стихи известных советских и иностранных поэтов, статьи, очерки и корреспонденции видных общественных деятелей, ученых, писателей, критиков и журналистов.

Журнал познакомит читателей с поэмами РАСУЛА ГАМЗАТОВА — «Юность», ВАСИЛИЯ КАЗИНА — «Москвская поэма», БОРИСА РУЧЬЕВА — «Индустриальная история», с новыми стихами НИКОЛАЯ АСЕЕВА, АННЫ АХМАТОВОЙ, ВИКТОРА БОКОВА, СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА, ЕВГЕНИЯ ДОЛМАТОВСКОГО, НИКОЛАЯ ДОРИЗО, МИХАИЛА ДУДИНА, ВАСИЛИЯ ЖУРАВЛЕВА, МИХАИЛА ИСАКОВСКОГО, СЕМЕНА КИРСАНОВА, ВАСИЛИЯ КУЛЕМИНА, МИХАИЛА ЛЬВОВА, ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА, СЕРГЕЯ ОРЛОВА, ЛЬВА ОШАНИНА, АЛЕКСАНДРА РЕШЕТОВА, СЕРГЕЯ СМИРНОВА, НИКОЛАЯ ТРЯПКИНА и других поэтов.

В журнале введены постоянные отделы — «ДЕЛА И ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ», «НАУКА И ТЕХНИКА НАШИХ ДНЕЙ», «ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ», «ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ», «ИНТЕРВЬЮ МОСКВЫ», «КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ».

В каждом номере — цветные вклейки, отображающие художественную жизнь столицы, и бесплатное приложение «ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ».

*ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «МОСКВА»
ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ
СВЯЗИ.*

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД — 72 РУБ., НА ПОЛГОДА — 36 РУБ., ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА — 6 РУБ.

*ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕБОЕВ В ПОЛУЧЕНИИ ЖУРНАЛА ЗАБЛАГОВРЕМЕННЮ
ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ, ТАК КАК В
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЖУРНАЛ ПО-
СТУПАЕТ В КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕННОМ
КОЛИЧЕСТВЕ.*



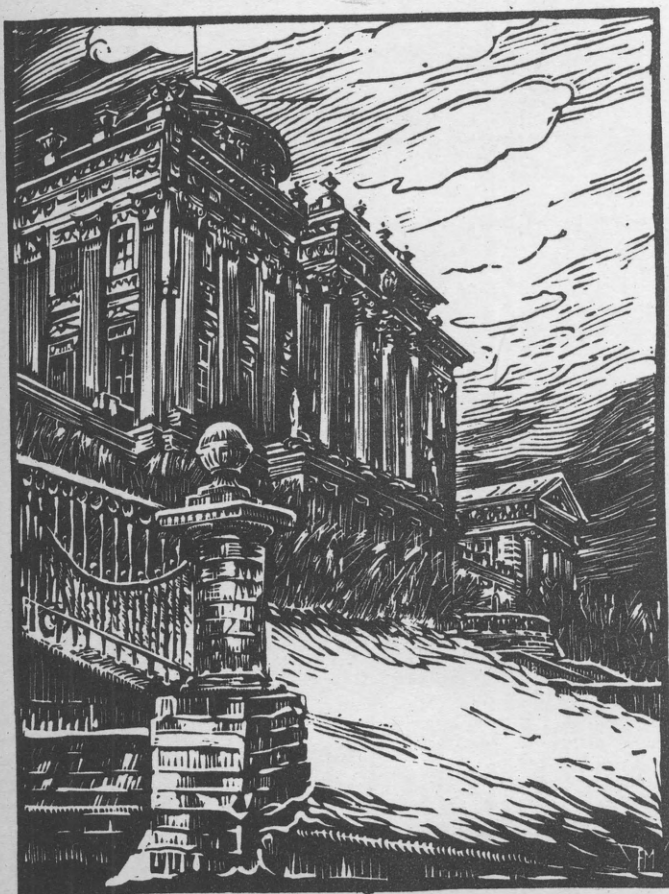
Ярославский пер., угол Садовой—Земляного вала (ныне ул. Чкалова), д. 19.

Здесь в 1893 и 1894 гг. Владимир Ильич останавливался у своей сестры А. И. Елизаровой.



ЛЕНИНСКИЕ МЕСТА В МОСКВЕ

Гравюры А. Мищенко



Моховая ул. д. 1, здание Румянцевского музея (ныне Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина).

В читальном зале библиотеки в 1893 и 1897 гг. работал В. И. Ленин.



Бахметьевская ул., д. 25 (ныне ул. Образцова, д. 27), кв. 5, флигель «Б».

В феврале 1900 года по возвращении из сибирской ссылки В. И. Ленин нелегально жил здесь некоторое время у А. И. Елизаровой.



Арбат, Собачья площадка,, д. 18, кв. 4 (ныне Композиторская ул., д. 12, кв. 4).

В 1897 году проездом из Петербурга в сибирскую ссылку Владимир Ильич останавливался и жил здесь в квартире своей матери М. А. Ульяновой.

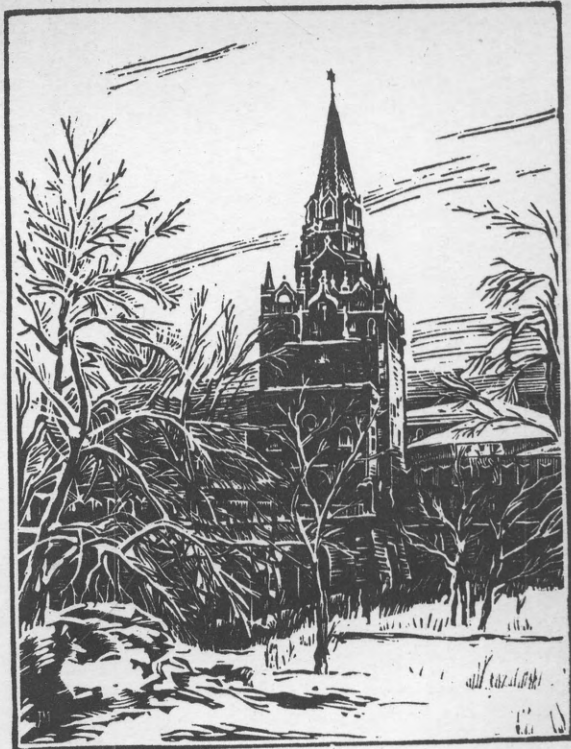
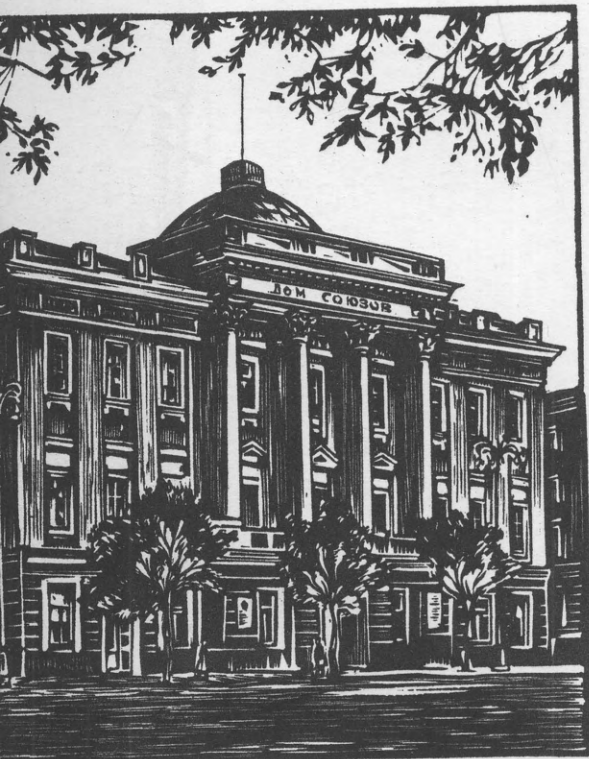


Остоженка (ныне Метростроевская ул.), д. 16, кв. 3.

Здесь в марте 1906 года на квартире секретаря большевистской организации Московского университета И. Д. Удальцова В. И. Ленин выступал на нелегальном совещании, обсуждавшем тактическую платформу большевиков к IV Объединительному съезду РСДРП.

А СОЮЗОВ. Б. Дмитровка (ныне Пушкинская ул.)

В. И. Ленин неоднократно выступал на съездах, конференциях, заседаниях московских партий и других организаций.



КРЕМЛЬ.

12 марта 1918 года В. И. Ленин через Троицкие ворота проехал в Кремль. Это было первое посещение им Кремля после переезда Советского правительства в Москву.

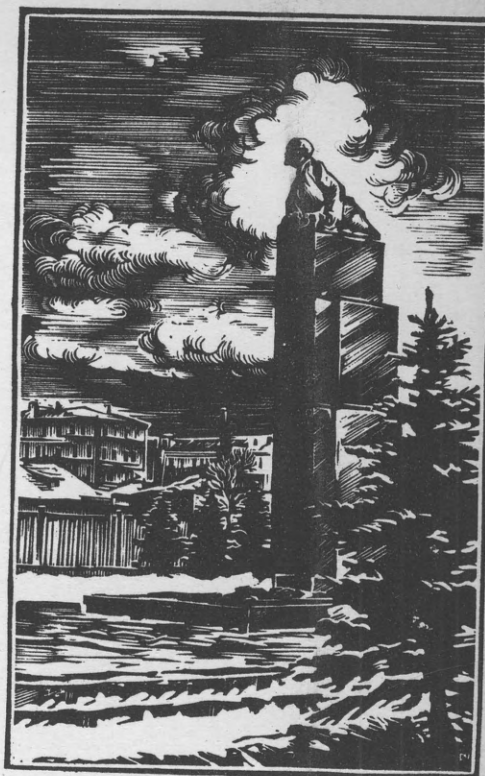
Государственный ордена Ленина Академический Большой театр Союза ССР.

Здесь неоднократно выступал В. И. Ленин.



Соколыники, 6-й Лучевой просек, д. 21, лесная школа (ныне детский санаторий Мосздрава).

В декабре 1918 года и январе 1919 года Владимир Ильич часто навещал отдыхавшую здесь Надежду Константиновну Крупскую.



3-й Щипковский пер., завод Михельсона (ныне Партийный пер., д. 4, завод имени Владимира Ильича).

В. И. Ленин неоднократно выступал перед рабочими этого завода. 30 августа 1918 года при выходе Владимира Ильича с митинга на его жизнь было совершено покушение. На этом месте рабочими завода сооружен памятник В. И. Ленину.

Машков пер. (ныне ул. Чапыгина), д. 1-а, кв. 16.

18 октября 1920 года на квартире у Е. П. Пешковой В. И. Ленин слушал сонату Бетховена.



Софийка, д. 9, клуб союза коммунальников (ныне Пушечная ул., д. 9, Центральный дом работников искусств).

Здесь В. И. Ленин выступал 27 января и 1 марта 1920 года.



Н. Жуков

В. И. Ленин с детьми

ВЫСТАВКА
СОВЕТСКОГО ЭСТАМПА



Г. Дмитриева

Площадь Пушкина



Г. Захаров

Спящий ребенок

И. Голицын

Старое и новое





М. Фейгин

Молодая учительница



С. Красковский
Дождь идет

